

НОВОБИ
МІР

НОВОБИ
МІР

12



1961

1961

НОВАЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVII

№ 12

Декабрь, 1961 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА! Мустай Карим. Абсолютная ясность.— Е. Дробица. Невозможного нет! — Петро Козланюк. У нас в Закарпатье.— Мирзо Турсун-Заде. Ярче тысячи солнц.— Ираклий Абашидзе. Полет разума	3
КОНСТ. ФЕДИН — Костер, роман. Окончание	19
КАИСЫН КУЛИЕВ — Глаза матерей, Был пахарем, солдатом и поэтом... Любой навет заранее приемлю... Стихи. Перевел с балкарского Н. Гребнев	58
АЛЕКСАНДР ПОБОЖИЙ — Глухой, неведомой тайгою. Записки изыскателя	59
Д. САМОЙЛОВ — Четыре стихотворения	114
ИРЖИ ТАУФЕР — Сонет для тебя, стихи. Вольный перевод с чешского Конст. Симонова	116
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ — Дорога к новой земле. Из путевых заметок	118
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
И. ИЛЬФ — Записные книжки. Письма из Америки	161
А. А. ФАДЕЕВ — Из переписки (К 60-летию со дня рождения). Публикация и комментарии С. Преображенского	193
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. ЖДАНОВ — Из заметок о Добролюбове (К 100-летию со дня смерти)	200
А. ДЕМЕНТЬЕВ — Две позиции	212

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	217
Д. Милютина. Страницы героической борьбы.— И. Питляр. Судьбу человека определяют его убеждения.— Э. Кузьмина. Страна внимания.— Юрий Полетика. Метаморфозы одного романа.	
<i>Политика и наука</i>	228
Е. Осликовская, А. Снегов. Прошлое, которое зовет к будущему.— С. Эпштейн. Угасающий капитализм.— Н. Болотников, действительный член Географического общества СССР. «В любом случае вперед — звучит радостнее».	
КОРОТКО О КНИГАХ	237
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	241
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» за 1961 год	243
А. ТВАРДОВСКИЙ — Несколько слов к читателям «Нового мира»	251

Вперед, к победе коммунизма!

МУСТАЙ КАРИМ

Делегат XXII съезда КПСС

★

АБСОЛЮТНАЯ ЯСНОСТЬ

Большие события застают каждого человека по-разному. Открытие XXII съезда застало меня в воздухе. Вернее, стремясь к нему всем существом, я отнюдь не по своей воле «повис в воздухе». В то знаменательное утро я летел из Дели в Москву. Внизу под нами совсем близко сверкали снежные вершины Гималаев. В другое время, когда мысль была бы свободна от забот и стремлений, наверное, невозможно было не восхищаться этой первозданной и вечной красотой.

Но мыслями я стремился к другой вершине. Я стремился в зал XXII съезда партии коммунистов. И на Гималаи смотрел я как на неизбежное пространство, которое нужно преодолеть как можно скорее.

Только после Ташкента бортпроводница взволнованным и несколько приглушенным голосом объявила:

— Товарищи! В Москве в новом Кремлевском дворце начал свою работу съезд строителей коммунизма. Поздравляю вас!

По самолету прошел гул аплодисментов. Громче всех аплодировал бородатый человек в чалме. Я только потом понял его особый восторг, когда увидел его на следующий день во Дворце съездов среди наших зарубежных гостей. Мы с ним по разным причинам опоздали к торжественному часу открытия великого форума. Но, находясь на десятикилометровой высоте, мы вместе со многими людьми мира в те незабываемые минуты сердцем и разумом были там, где звучали слова товарища Хрущева.

В жизни на мою долю выпало много счастливых часов и дней и среди них те, когда я был свидетелем и участником трех предыдущих съездов нашей партии. Память о них я берегу как драгоценный дар судьбы и, как всякий советский человек, жил все эти годы мыслями и чувствами, навеянными ими.

В то же время нельзя не сознавать, что быть участником очередного XXII, но необычного по величию поставленных проблем и по масштабам исторического значения съезда, не только безмерно радостно, но и чрезвычайно ответственно. Съезд принял новый манифест Коммунистической партии, который на многие годы наперед определит полную больших деяний и борьбы судьбу советского народа и, наверное, судьбу целых стран и континентов. Не об этом ли говорили на нашем съезде лучшие представители почти всех стран всех пяти континентов?

В одной старинной башкирской песне говорится: «Если б был в моих руках карандаш, которым пишется судьба, я не так бы написал ее». Карандаш судьбы взяли в свои руки наш народ и наша партия и написали великую и счастливую книгу судеб, именуемую Программой КПСС.

Ощущение величественности и простоты охватывает тебя с той минуты, какходишь в новый Дворец съездов. Он сам символизирует гармонию времени, дел и идеалов. Когда сидишь в зале, то тебе кажется, что у него стены прозрачные, что сюда постоянно проникает солнечный свет, что каждого из пяти тысяч делегатов видит весь мир, что съезд ведет свою работу на виду у всего человечества.

На съезде, во время одного из перерывов, беседа с делегатами в зале заседаний Большого Кремлевского дворца, где раньше происходили съезды, Никита Сергеевич мимоходом заметил: «Правда, мрачновато? А ведь был лучший зал в стране». Это только к слову. А если, предположим, любого делегата попросили бы определить особенность этого съезда одним лишь словом, то он, не задумываясь, сказал бы: **ясность!** Во все — начиная с внутривнутрипартийной жизни и кончая мировыми проблемами, — во все внесена **полная и абсолютная ясность.**

Честно говоря, мы, делегаты, иногда испытывали чувство омерзения — это очень неприятное чувство, — когда слушали о неблагоприятных делах фракционеров, когда на светлой поверхности моря всеобщей радости и ликования промелькнули последние отвратительные черные пятна. Да, это было неприятно. Но съезд своей справедливой рукой оборвал последнюю нить, которая связывала отступников с нашей партией. И душа съезда облегченно вздохнула.

Я делюсь своими впечатлениями о съезде, а у впечатлений не бывает строгого сюжета.

XXII съезд весь устремлен своими проблемами и решениями в будущее, в его светлые дали. И не только этим. Он и составом своих делегатов очень ясно говорит об этом. Бесспорно, на этом историческом форуме достойно участвуют представители всех славных поколений коммунистов — борцов за победу Октябрьской революции, за победу социализма, за победу коммунизма, люди, отмеченные наградами и иными почестями. На первый взгляд кажется, что в зале сидят одни лишь герои мирного и ратного труда, депутаты и орденосцы.

Но одно обстоятельство заставило меня несколько пристальнее взглядеться в облик делегатов, а не только в сверкающие знаки отличий. На второй день съезда мы разговорились с моей соседкой по креслу. Она оказалась свиначкой из Волгоградской области. Ее зовут Марией Монжилеевой. После окончания школы она вот уж седьмой год работает на свиноферме. Говоря о себе, она заметила между прочим: «Пока наград не имею».

И вдруг я приметил, что среди делегатов очень много молодых коммунистов, пока не имеющих наград. В составе нашей башкирской делегации также есть посланцы партии, которые пока не отмечены геройскими звездами или орденами. Но у всех этих молодых строителей коммунизма уже есть замечательные дела, и ждут их дела еще большие и самые высокие награды, потому что им дольше всех жить и трудиться, им до конца выполнять ту великую Программу, за которую они вместе со своими старшими товарищами подняли свои мандаты цвета нашего знамени.

Прежде чем думать о том, что пожинать, нужно подумать о том, чем засеять поле. Так гласит древняя мудрость. Это изречение очень по душе и строителям нового мира. Сидя в зале съезда, невольно думаешь о том, какие плоды своего труда понесет твой народ, твоя республика на благо коммунизма, во имя его победы. Радостно знать, что в этом великом походе не последнее место принадлежит твоей республике. Нетрудно окинуть мысленным взором те просторы Башкирии, которые

будут сверкать через два десятилетия горами богатств, созданных трудом и талантом моих земляков. На этих просторах появятся тысячи новых нефтяных вышек, потекут по трубам могучие реки вновь освоенных природных газов, по проводам помчатся дополнительные миллиарды киловатт-часов дешевой электроэнергии, гигантские химические предприятия одного только Салавата будут вырабатывать более пятидесяти видов синтетической продукции. Наши пашни дадут четыреста миллионов пудов хлеба, а в республиканском стаде будет около девяти миллионов коров, овец и свиней. Это в той самой Башкирии, о которой Мамин-Сибиряк писал: «Самую ужасную картину представляла башкирская деревня... Башкиры голодали и вымирали каждую зиму».

Есть еще такая область в жизни народа, которая не поддается точному планированию и безошибочному учету. Это рост духовной культуры народа, рост самосознания, умения и мастерства людей, раскрытие их талантов. Если только в народном хозяйстве республики работает более ста тысяч специалистов с высшим и средним образованием, среди которых огромное количество башкир, то этот факт говорит о многом.

Иногда очень полезно посмотреть на жизнь и дела своего народа глазами иностранца. Вот что писал французский инженер Анри Жоннес, несколько лет назад посетивший нашу республику: «Вот народ, который в эпоху, когда Ситроен строил свои первые автомобили, не имел еще своего алфавита, а сейчас располагает университетом... где его дети получают научное образование на уровне самых известных учебных заведений Запада». Этот народ располагает не только университетом, но и шестью другими высшими учебными заведениями, филиалом Академии наук, несколькими театрами, десятками газет и журналов, своей зрелой художественной литературой, национальной оперной и симфонической музыкой и самобытной живописью.

Наш народ несет на алтарь коммунизма не только богатства своей материальной культуры, но и завоевания своей духовной культуры. Поэтому перед нашей национальной литературой и искусством встают новые критерии — критерии культуры коммунизма.

В период возникновения и формирования молодой культуры бесспорно были иные требования, направленные прежде всего на удовлетворение духовных запросов возрожденной нации, которая только-только приобщалась к большой цивилизации. Нередко она, эта нация, была малотребовательна и непритворлива. Недавно я, будучи в Пном-Пене, смотрел драматический спектакль камбоджийского народного театра. В спектакле было много наивного. Артисты, изображающие людей XIII столетия, играли в наимоднейших часах-браслетах и в нейлоновых чулках, хотя остальная одежда их была традиционной. Зритель на эти несоответствия не обращал внимания, а ликовал от восторга, что смотрит спектакль.

Когда-то, лет сорок назад примерно, то же было и в башкирском театре. Когда на сцене по ходу действия насильно выдавали замуж девушку, сердобольные зрительницы поднимались на сцену и успокаивали несчастную героиню, уговаривали ее покориться судьбе: мол, не ты одна переживаешь такие муки.

С гармоническим духовным развитием народа меняется его мерило искусства. Если он дорос до сознательного строителя коммунизма, если создает могучую материальную базу коммунизма, то он требует, чтобы и духовные ценности были на уровне времени. Более того, он требует, чтобы духовный вклад его в коммунизм был достоин его материального вклада.

Когда человек смотрит через окно своего дома на улицу, он может увидеть много интересного и значительного. Но ему не мешает порой посмотреть с улицы внутрь своего дома через то же окно. Тогда он кое о чем и задумается. Нам нужно смотреть внутрь своего литературного дома с высот требований XXII съезда. Это нам поможет еще глубже понять, какая большая, почетная и ответственная задача лежит на нас.

Вот и окончил свою работу съезд. Переполненный просторный зал опустел. Но люди унесли отсюда сердца, полные светлых надежд, вдохновения, и неиссякаемую веру в торжество коммунизма.

31 октября 1961 г.

Е. ДРАБКИНА

Член КПСС с апреля 1917 года

★

НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ!

Вышло так, что в те дни, когда заседал XXII съезд партии, я нашла после долгих поисков старый, пахнущий архивной пылью журнал, нашла полтора десятка строк, которые явились для меня драгоценным подарком. Потому что эти строки протягивают еще одну золотую нить между сегодняшним днем и тем временем, когда во главе Советского государства стоял наш дорогой Владимир Ильич Ленин.

Нашла я эти строки с большим трудом.

Все началось с воспоминания, которое меня преследовало в течение ряда лет. На первых порах оно было зыбким и туманным. Потом стало отчетливым...

Передо мной комната. Впрочем, нет, не комната, а какое-то странное помещение без окон, без дверей. Одна из стен его почему-то все время колышется. Вместо потолка зияет темная дыра. Вокруг все освещено электричеством, но свет исходит не от ламп, а от какого-то невидимого источника. Возле колышущейся стенки стоит позолоченное кресло, обитое алым шелком. В кресле сидит Ленин. Он очень оживлен, он говорит. Он ведет разговор об атомной энергии...

Тут я говорю себе: нет, все это — плод воображения. Не могла я видеть Ленина сидящим в позолоченном кресле. Не мог Ленин разговаривать об атомной энергии. Вероятно, я видела сон, он врезался в память и стал казаться воспоминанием о виденном наяву. Но я снова вступаю в спор с собой. У меня не бывает цветных снов, все мои сны «черно-белые». Между тем я отчетливо вижу множество оттенков красного — от ярко-алого до густо-вишневого. Теперь я различаю уже, что колышущаяся стена — это портьера из темно-красного бархата. Около портьеры стоит кресло. Я отчетливо вижу его покрытые резьбой, изогнутые, позолоченные ручки и ножки. Все это уже припоминается настолько отчетливо, что понимаю, где происходит дело: за сценой Большого театра во время Восьмого съезда Советов. Колышущаяся стена — боковая портьера президиума. Дыра над головой — затянутые мраком потолочные своды над сценой. Невидимый источник света — верхние софиты. Позолоченное кресло — обычное кресло Большого театра.

В кресле сидит Ленин. Напротив него полукругом в таких же креслах сидят еще несколько человек. Напрягая память, я узнаю своего отца. Потом высокий умный лоб И. И. Скворцова-Степанова. Потом

живое, пылливое лицо Ш. М. Дволайцкого. Потом сухошавую фигуру Н. Л. Мещерякова.

Но разговор, который тогда шел, по мере того как я о нем вспоминаю, обрастает все новыми подробностями и от этого кажется мне все более и более неправдоподобным. Как утверждает моя память, он велся о проблемах физики, об атомной энергии, называлось имя Эйнштейна, говорилось, что Эйнштейна обвиняют в большевизме. И даже... даже говорилось о покорении космоса и межпланетных путешествиях.

Я вспоминаю, что поводом к разговору была статья в какой-то газете или напечатанном на газетной бумаге журнале, которую Ленин читал и комментировал вслух. Чтобы проверить себя, иду в библиотеку, тщательно просматриваю комплекты «Правды» и «Известий». Напрасный труд: ничего такого нет.

Однако тут в моем сознании проступает облик еще одного человека, присутствовавшего при этом разговоре: это Ф. А. Ротштейн. Он много лет провел в революционной эмиграции, жил в Англии, лишь недавно приехал в Москву. Это он принес статью, которую читал Ленин. Быть может, она напечатана в какой-нибудь английской газете или журнале?

Снова напряженные поиски, которые долго остаются безрезультатными. И вдруг, когда надежда уже потеряна, я нахожу в английском журнале «Нэйшн» статью, которую искала, и то место, которое особенно заинтересовало Ленина. Вот оно:

«Радиотелеграф принес нам известие, что один из русских ученых полностью овладел тайной атомной энергии. Если это так, то человек, который владеет этой тайной, может повелевать всей планетой. Наши взрывчатые вещества для него смешная игрушка. Усилия, которые мы затрачиваем на добычу угля или обуздание водопадов, вызовут у него улыбку. Он станет для нас больше, чем солнцем, ибо ему будет принадлежать контроль над всей энергией. Как же воспользуется он этим всемогуществом? И кому он предложит тайну вечной энергии: Лиге наций, папе римскому или, быть может, Третьему Интернационалу? Отдаст ли он ее в обмен на хартию, которая положит навсегда конец войне и эксплуатации труда? Употребит ли он ее на то, чтобы создать на земле золотой век? Или же продаст свое открытие первому попавшемуся американскому тресту?» («Нэйшн», 20 ноября 1920 года).

Трудно даже поверить, что под слоем архивной пыли можно обнаружить нечто подобное!

Сообщение, опубликованное «Нэйшн», было основано на неточной информации: в 1920 году тайна атомной энергии русскими физиками раскрыта еще не была. Но дым был не без огня. В первые годы рабоче-крестьянской власти были заложены основы советской физической школы, которой мир обязан и первыми спутниками, и «лунниками», и первыми полетами человека в космос. «Как это ни казалось парадоксальным,— рассказывает академик А. Ф. Иоффе,— в эпоху голода, холода и гражданской войны нужно было начать строить науку... Мы, ученые, считали, что это наш долг и что этим мы выполняем нашу задачу перед будущим. Поэтому очень рано, еще в 1918 году,— как вы знаете, еще в эпоху наиболее бурных событий,— мы стали строить прежде всего научные институты...».

В январе 1919 года в Ленинграде состоялся съезд физиков. «Надо сказать,— продолжает А. Ф. Иоффе,— что Ленинград в 1919 году представлял картину довольно грустную: совершенно замерзшие здания, почти полное отсутствие всякой пищи и полное отсутствие всякого тепла. Тем не менее на этот съезд, созданный в самом трудном, тяжелом положении, которое особенно сказывалось именно в Ленинграде, со всей

России съехались ученые. Это был героический поступок, потому что, отправляясь в Ленинград, никто не мог быть уверен в том, хватит ли ему хлеба для того, чтобы доехать, и сможет ли он там пропитаться, пока будут обсуждаться научные вопросы; тем не менее съехалось более ста физиков».

Ученые встретили деятельнейшую поддержку со стороны Советского правительства. «Хотя в это время,— говорит А. Ф. Иоффе,— внимание было устремлено на фронты, но все же советская власть всемерно содействовала строительству науки». Достаточно вспомнить, что, после того как А. Ф. Иоффе дал согласие организовать совместно с М. И. Неменовым физико-технический рентгеновский институт, понадобилось всего шесть дней, чтобы персональный состав работников института был утвержден и мог приступить к работе. И это в сентябре 1918 года, когда Советская Россия переживала труднейшие дни!

Героический подвиг ученых, которым была оказана не менее героическая помощь со стороны Советского правительства, дал плодотворнейшие результаты. Как ни подчеркнуто скромно А. Ф. Иоффе, но он пишет, что когда с Советской России была снята блокада, весь зарубежный научный мир с крайним удивлением узнал, что в стране, которая была, как заразный очаг, окружена кордоном и о которой за рубежом думали, что в ней все гниет и распадается, на самом деле обнаружилась молодая и сильная поросль новых научных сил, получивших уже очень серьезные результаты.

Эти результаты были столь серьезны, что, как мы видели, дали повод для сообщения, что русскому ученому удалось открыть тайну атомной энергии!

Мог ли Ленин не следить, не интересоваться, не заботиться, не думать об этой работе советских физиков, Ленин, который из всех наук о природе с наибольшим вниманием относился к физике, в чьей книге «Материализм и эмпириокритицизм» проблемы физики занимают важнейшее место? Мог ли Ленин не следить за работами советских физиков в области строения материи, если он указал естествознанию тот единственный метод, с помощью которого оно может найти выход из переживаемого им кризиса,— метод диалектического материализма; если он сам дал блестящие образцы применения этого метода к проблемам современной физики, так что дальнейшие исследования строения материи полностью подтвердили сделанные им прогнозы? Как писал покойный С. И. Вавилов: «Несмотря на необычайные изменения и рост физики за последние десятилетия, мысли В. И. Ленина о философских предпосылках и выводах нашей науки, о ее главных путях, высказанные почти 35 лет назад, сохранили значение и силу и на новейшем этапе развития физики. Тема «Ленин и физика», по-видимому, и в дальнейшем будет преобразовываться только в отношении конкретного физического содержания».

Ленина никогда не покидал живейший интерес к проблемам физики. Свидетельством тому служит тот факт, что первыми научно-исследовательскими институтами, созданными советской властью в годы гражданской войны, были именно институты физических проблем. Об этом же свидетельствует статья Ленина «О значении воинствующего материализма» (1922), в которой он подчеркивает всю важность внимательного изучения вопросов, которые выдвигает новейшая революция в области естествознания, а также необходимость вооружения естествознания тем материализмом, который представлен Марксом, то есть диалектическим материализмом.

...Но вернемся в Большой театр. Здесь заседает Восьмой съезд Советов. Партер, ложи, проходы, все пять ярусов, места в оркестре заполнены до предела. Солдатские шинели. Крестьянские зипуны. Кожаные куртки. Шлемы с красной звездой. Папахи. Кубанки. Кронштадтские матросы. Уральские металлурги. Донецкие шахтеры. Хлеборобы с берегов Днепра и Волги. Вихрастый казак с серьгой в ухе. Узбек в халате и тюбетейке. Разбитной рыбак из-под Одессы. И питерцы, питерцы, питерцы.

Один из них, сидящих в этом зале, написал слова, которые я также извлекла из архивной пыли: «Если через пятьдесят лет выживет хоть один из нас, здесь присутствующих, пусть он расскажет внукам об этом съезде и о людях, которые боролись, жили и мучительно творили в великие годы русской революции!»

Позади стола президиума с колосников свисает огромная карта Европейской России. Она испещрена красными и синими кружками. Это карта электрификации. Синие кружки обозначают уже существующие электростанции, красные — те электростанции, которые будут построены.

Заседание еще не началось. В глубине сцены, в отгороженном красной бархатной портьерой углу, сидит Ленин. Он держит номер журнала «Нэйшн» со статьей об открытии русского ученого и о величайших последствиях, которые несет с собой для человечества познание тайны строения вещества.

Пусть эта статья построена на ложной посылке: тайна строения вещества еще не разгадана. Но выводы статьи звучат пророчески: судьбы человечества определяются тем, в чьи руки попадет разгадка этой тайны. Если ею будут владеть коммунисты, они используют свое всемогущество на то, чтоб создать на земле Золотой век. Если ею завладеет «первый попавшийся американский трест», он использует это величайшее открытие человеческого гения на то, чтобы создать невиданные средства войны и уничтожения.

Страхом перед такой возможностью и продиктована статья. Поводом к ее написанию послужили заявления британских ученых, которым стало известно, что в военном министерстве, во главе которого стоит Уинстон Черчилль, ведется разработка способов химической войны. Ведется, несмотря на то, что не успели еще просохнуть чернила, которыми подписан Версальский договор, запрещающий изготовление и использование в военных целях удушающих и отравляющих газов и жидкостей. Британские ученые глубочайшим образом взволнованы. Они выражали резкий протест против действий правительства. Они заявляли, что это правительство принуждает их работать не для общества, а для «интересов крупных дельцов, перед которыми оно капитулировало в политике». С восторгом и завистью говорят они о Советской России как о единственной стране, в которой изобретатели работают не во имя выгоды крупных дельцов, а в интересах всего общества.

Ленин читает эту статью. Потом складывает журнал. Потом начинается тот разговор, свидетельницей которого я была. Разговор был слишком труден и малодоступен для моего понимания. Мне запомнились лишь его основные линии, да и то благодаря тому, что незадолго до этого я слышала в Политехническом музее лекцию А. Ф. Иоффе, посвященную проблемам молекулярной физики. И я помню, что речь шла о проблемах атомной энергии, о будущем человечества, о покорении космоса.

Мне запомнился общий тон разговора — умный, веселый, полный энергии. Запомнилось лицо Ленина, прищур его глаз, выразительные движения рук, поворот плеч. Но как ни мало запомнилось мне содержание этого разговора, в моем сознании он оставил след, похожий на

тот, что оставляет могучая буря, — с такой мощью развернулся в этом разговоре ленинский интеллект, столь неожиданным, новым, увлекающим и романтическим было то, что говорил Ленин.

Но что же все-таки он говорил? Отдаленное представление об этом может дать запись Герберта Уэллса, сделанная им после разговора с Лениным осенью 1920 года. Эту запись — также из-под слоя архивной пыли — извлекла на свет французская газета «Пари-пресс» в связи с полетом советской ракеты на Луну. Вот она, эта запись:

«Ленин сказал, что, читая его (Уэллса) роман «Машина времени», он понял, что все человеческие представления созданы в масштабах нашей планеты: они основаны на предположении, что технический потенциал, развиваясь, никогда не перейдет «земного предела». Если мы сможем установить межпланетные связи, придется пересмотреть все наши философские, социальные и моральные представления, в этом случае технический потенциал, став безграничным, положит конец насилию как средству и методу прогресса».

Парижская буржуазная газета, опубликовавшая эту запись, выразила изумление по поводу гениальности ленинского провидения.

Газета удивлена потому, что она не знает Ленина. Она не знает, что в начале века, создавая большевистскую партию, Ленин воскликнул: «Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!» Она не знает, что эпиграфом «Искры» Ленин сделал слова: «Из искры возгорится пламя!» Она не знает, что Восьмой съезд Советов, который принял ленинский план электрификации, принял также решение поручить Народному комиссариату внешней торговли закупить за границей косы, серпы, топоры...

Какая вера в созидающую силу коммунизма! Какое умение мечтать и в то же время видеть реальные возможности действительности нужно было для того, чтобы нищую, голодную, разоренную до последнего предела страну, не способную произвести такой нехитрый инструмент, как косы, серпы, топоры, чтобы эту страну поднять на небывалый подвиг — воссоздать народное хозяйство и довести его до уровня современной техники!

Советский строй с самого своего зарождения предстал перед трудовым и прогрессивным человечеством как строй, основанный на началах мира и справедливости. Недаром же еще в двадцатом году «Нэйшн» писал, что, если коммунисты овладеют тайной атомной энергии, они обратят ее на то, чтоб установить на земле Золотой век.

Сейчас, когда на XXII съезде партии принята программа построения коммунизма, мы видим, как этот Золотой век из мечты, из утопии превращается в действительность. Величайшие достижения науки, завоеванные советским народом под руководством Коммунистической партии, служат делу мира, делу небывалого развития производительных сил, гигантских преобразований природы, всеобщего благосостояния и строительства общества, основанного на принципе человек человеку — друг.

История полностью подтвердила правоту гениальных ленинских предвидений: для народа, свергнувшего эксплуататоров и создающего новую жизнь, ничего невозможного нет!

Внуки тех людей, которые в полутемном, застывшем от холода зале Большого театра вместе с Лениным как зачарованные смотрели на переливающуюся огнями будущих электростанций карту России, внуки этих людей будут жить при коммунизме!

ПЕТРО КОЗЛАНЮК
Делегат XXII съезда КПСС

★

У НАС В ЗАКАРПАТЬЕ

...Энергичное, открытое лицо. Уверенный взгляд, окидывающий дали. Широкое движение руки, будто стремящейся обнять родную землю. Таким встает из глыбы белого камня образ украинской женщины, а для меня — и всей моей родной Украины. «Поля мои широкие» — назвал свою работу молодой талантливый скульптор Я. Чайка. Он вдохнул в нее всю свою любовь к советскому человеку, всю свою гордость за плодородный, цветущий край. Мне думается, что те, кому довелось увидеть эту скульптуру на Всесоюзной художественной выставке, открывшейся в Москве к XXII съезду КПСС, могут по-разному оценивать ее художественные достоинства, но не могут не увидеть в ней, как красив наш человек, как хороша наша жизнь.

Да и то сказать, до чего же похорошело сейчас наше Закарпатье, как переменялись за двадцать лет его города и села! Там, где недавно чернели курные хаты, выросли изящные веселые коттеджи с застекленными верандами, новые, городского типа здания больницы, школ, яслей.

А почему бы им и не появиться здесь, в селах, где вчерашние батраки, забыв о своей подъяремной работе, познали наконец свободный труд — труд для себя, для своих жен и детей, для своего народа, труд, избавивший их от извечной спутницы — нужды и принесящий достаток и радость в их дом?

Делегат XXII съезда Тиберий Антоник, председатель колхоза имени Ленина, рассказывал мне, что у них из ста колхозных семей девяносто четыре имеют радиоприемники, у некоторых есть телевизоры, в каждый двор приходят газеты и журналы, нет ни одной артели без клуба и библиотеки. Колхозник получает на трудодень (в среднем) два рубля двадцать копеек в новых деньгах.

— Понятия «богатый» и «бедный» сохранились только в памяти стариков, — говорил Антоник. — Всем крестьянам обеспечена сейчас зажиточная жизнь.

И каждый вносит свою лепту в общую чашу народных благ, умножая богатство и мощь своей державы.

А сколько маяков на селе! Фекла Калиш, Гавриил Чолавин, Ярослав Чиж, Анна Лучканина... Да мало ли их, по которым равняются другие!

По подсказу Никиты Сергеевича Хрущева Закарпатье превращается в область-сад. Земля его под живительными лучами солнца покрывается и нежной зеленью льна, и буйным цветением фруктовых садов, и золотыми колосьями хлебов, и изумрудной зеленью виноградных лоз, и лесом могучих стеблей кукурузы.

Хотите знать, какая у нас кукуруза? Герой Социалистического Труда Юрий Питра, звеньевой колхоза «За новую жизнь», привез с собой в Москву на съезд стебель кукурузы, и высота его была такая, что если встанет один человек на плечи другому, то верхнего за стеблем все равно видно не будет!

Этот же Юрий Питра заявил, что он и его товарищи по звену поставили себе целью в 1965 году, последнем году семилетки, вырастить на каждом из пятидесяти гектаров по двести центнеров сухого зерна и на такой же площади — по две тысячи центнеров кукурузы молочно-восковой спелости.

— Трудно нам будет, мы знаем,— говорит Ю. Питра,— но за четырнадцать лет совместного труда члены нашего звена преодолели немало трудностей, потерпели немало неудач, но и познали светлую радость побед.

Да, успехи у нас такие, что многим на диво. Особенно тем, кто попадет к нам, в западные области Украины, издалека. А это нередко у нас случается. Ведь многие украинцы в давние времена уезжали из Галиции искать счастья и заработков за океан. Да так там и осели. А теперь навещаются в родные места. Жил в селе Стоянове, что на Львовщине, Петро Кравчук, сейчас он живет в Канаде, издает там прогрессивную украинскую газету. Часто приезжает во Львов и все радуется нашим успехам. В селе Стецеве Снятынского района Станиславской области жили два брата. Еще во времена панской Польши оба они уехали за океан в поисках работы и хлеба. Один из них, Юстин Лучук, вернулся домой, сейчас он председатель богатого колхоза. Приехал недавно к нему заокеанский брат и, памятуя старые времена, привез кой-какие подарки. А уехал сам одаренный с ног до головы да еще с золотыми часами на руке. А тут еще был такой случай. В августе в Советский Союз приехал один турист с женой и детьми. Наслышан он был от своих друзей, украинских националистов, что-де ученые у нас живут бедно, одеты все плохо, ширпотреба никакого нет. Ну и прихватил благодетель из Америки своему знакомому профессору в подарок брюки. Возили его тут по Львову, показывали сады и села Станиславщины, строительство наших городов. Увидел он, как живут у нас колхозники, шахтеры, нефтяники, строители, ученые, как они сытно питаются, как хорошо одеваются. Посмотрел, как живет его знакомый профессор. И совестно стало ему за свой подарок. Так и увез назад в Америку злосчастные брюки.

Не только пышными садами и живописными селами славится Западная Украина. Она славится и делами людей, которые добывают богатства недр, превращают энергию рек в потоки электрического света, строят прекрасные жилища, золотыми руками умельцев создают прекрасные вещи, украшающие жизнь человека, неустанно трудятся в цехах заводов и фабрик. Ведь ныне только за один месяц промышленность Львова и области дает продукции больше, чем ее было выпущено за весь 1940 год!

Кто же они, творцы таких замечательных свершений? Вот токарь Львовского машиностроительного завода Герой Социалистического Труда Владимир Иосифович Гургаль. На моих глазах молодой рабочий, почти безучастный к общественной и политической жизни, постепенно под воздействием партийной организации, коллектива превратился в передового производственника, лучшего рационализатора области, а затем и в крупного общественно-политического деятеля, облеченного доверием народа.

Столь же характерный путь прошел и другой Герой Социалистического Труда, Петр Григорьевич Олищук, в прошлом рядовой колхозник, а ныне руководитель крупной сельскохозяйственной артели, к словам и советам которого прислушиваются не только агрономы, но и работники района и области.

Тысячи людей западных областей Украины, подобно Гургалью и Олищуку выросшие и отечески воспитанные партией на основах и принципах коммунистической морали, творят и дерзают во имя великой и близкой цели — коммунизма. В замечательном движении за коммунистический труд только на Львовщине участвует около ста пятидесяти тысяч человек. Шестнадцать тысяч имен лучших людей Львовщины занесено в «Книгу разведчиков коммунистического будущего».

В канун XXII съезда партии почетное звание ударников и коллективов коммунистического труда было уже присвоено восьми тысячам передовиков, трем тысячам коллективов и семи предприятиям области.

Коммунизм — отныне самое популярное слово на земном шаре. Это уже не далекая мечта, а реальная действительность, конкретно вырисовывающаяся из Программы партии.

И сейчас мне от души хочется сказать своим друзьям из разных концов Советской страны и из-за рубежа:

— Приезжайте к нам почаще, чтобы видеть, как хорошеет у вас на глазах наш край! А через двадцать лет вы найдете здесь новые города и поселки, утопающие в зелени садов и парков, десятки новых предприятий мебельной и деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности. Тридцать новых шахт Львовско-Волынского бассейна войдет в строй и даст дополнительно тысячи тонн угля. Целые каскады света хлынут из новых ГЭС, сооруженных на быстрых реках Закарпатья; вместе они превьсят количество энергии, которое дает сейчас ДнепрогЭС. Будут открыты и освоены новые месторождения нефти и газа. И уж очень мне хочется показать вам новое лицо наших городов с их широкими улицами, проспектами и парками, водоемами, которые уже обозначены в проектах реконструкции Львова и Станислава, составленных нашими зодчими.

Разве не грандиозны перспективы, открывающиеся перед теми, кто сегодня пристальным взглядом всматривается в дни, завершающие двадцатилетие? Но только тогда, когда неустанный, одухотворенный труд советских людей свершит то, что начертано сегодня золотыми словами в Программе партии, мы сможем сказать:

— Да, мы сделали все для того, чтобы нынешнее поколение советских людей жило при коммунизме, чтобы все люди на земле жили счастливо.

МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ

Делегат XXII съезда КПСС



ЯРЧЕ ТЫСЯЧИ СОЛНЦ

Подобно тому, как горные потоки служат неиссякаемым источником полноводных рек, несущих свои воды в океан, так в родниках народной мудрости черпает свою могучую силу наша родная Коммунистическая партия. Учась у народа, она ведет его за собой, претворяя его помыслы и стремления в реальные дела. Она вдохновляет миллионы людей на создание материальных и духовных ценностей для их собственного блага. То, что еще вчера было только неясными мечтаниями, волею партии стало сегодня последовательной, стройной программой строительства коммунизма.

Тысячелетиями слагали народы свои легенды и сказания, выражая в них самые сокровенные надежды и чаяния. Меньше полувека понадобилось советским людям, чтобы воплотить эти мечты в дела рук человеческих.

В поэтической легенде народов Востока «Фархад и Ширин» отважный юноша находит волшебное зеркало, в котором человек может увидеть свое будущее. Фархад увидел в зеркале лучезарную красоту принцессы Ширин, и это вдохновило его на великий подвиг. Гениальная мысль советских физиков и конструкторов дала возможность увидеть извечно

скрытую от Земли обратную сторону Луны. За три дня и три ночи домчал храброго Иванушку сказочный конек-горбунок в тридцатое царство. За полчаса часа советский богатырь Юрий Гагарин, взмыв в космические просторы, облетел вокруг Земли. И всего лишь сутки понадобились другому отважному сыну советского народа, Герману Титову, чтобы семнадцать раз повторить полет Гагарина.

Да, наше время давно оставило позади сказку с ее чудесами.

Я смутно помню прошлое. Но явственно встают передо мной картины моего детства. Родной кишлак, в котором мы жили тогда, приютился в глубоком ущелье, зажато высокими горами. Они скрывали от нас солнце; оно светило нам лишь в часы восхода и заката. Недаром наш кишлак назывался Каратаг — Черная гора. Еще более мрачной была жизнь людей в Каратаге. Таджикский народ, народ высокой и древней культуры, в те годы был на положении нищего и раба. Мой отец, искусный резчик по дереву, неграмотный, как и все таджики, работал с утра до ночи, а в короткие часы отдыха открывал мне волшебный мир народных легенд и сказаний. От него впервые услышал я и прекрасную сказку о том, как люди нашли на севере живую воду и принесли в родной край, чтобы воскресить свою мертвую, иссушенную зноем землю.

Мне было всего пять лет, когда отец взял меня за руку и повел к мулле. Он отдал ему все свои скудные сбережения, чтобы тот научил меня читать и писать.

— Только кости моего сына принадлежат мне, — сказал при этом отец, — делайте с ним что хотите, лишь бы Мирзо стал грамотным.

Это свое заветное желание отец вложил и в мое имя: по-таджикски «мирзо» значит «писарь». Моей школой была грязная кибитка, партией — глиняный пол, на котором мы сидели, поджав под себя ноги. В центре восседал мулла с длинной тонкой палкой, от которой некуда было скрыться. Так проходило детство.

Словно капли живой воды, стали проникать к нам с севера вести о грядущей революции. Мне было десять лет, когда революция пришла в Таджикистан, чтобы возродить к новой жизни мой родной край. И то, о чем наши предки слагали легенды и сказки, на глазах моего поколения начало становиться явью. Но сколько бы ни мечтали люди о лучших днях, о счастье своего народа, не могли они предвидеть, как расцветет и разбогатеет Таджикистан, как быстро и бурно развернутся творческие силы его народа. Сегодня у каждого дехкана в руках волшебное зеркало Фархада, отражающее его жизнь на двадцать лет вперед.

Ярче тысячи солнц освещает путь в коммунизм новая Программа партии, принятая XXII съездом КПСС. Это она дала возможность торжественно провозгласить с трибуны съезда воодушевляющие слова: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

...С бешеной скоростью несет по горам и ущельям Таджикистана свои бурные воды река Вахш. Ее русло пролегло там, где, как говорит предание, упала молния, испепелившая врагов красавицы Садбарг и ее возлюбленного — чабана Нурека. На месте их гибели возникло в далекие времена затерянное в горах маленькое селение Нурек. Но скоро у этого селения забурлит жизнь. Ураганный бег вод неукротимого Вахша скоро остановит самая высокая в мире трехсотметровая плотина. Уже раскинулся здесь лагерь первых строителей нового электрогиганта. На месте старого русла реки возникнет в горах глубочайшее озеро — источник энергии будущей ГЭС. На высоте трех с половиной тысяч метров над уровнем моря шагнут через горные хребты гигантские башни высоковольтных передач, чьи провода прочными узлами экономики соединят еще крепче три республики Средней Азии и еще больше сблизят их духовно.

Как только свет Нурекской ГЭС засияет над землей Таджикистана, эта совсем еще недавно отсталая страна станет первой на всей нашей планете по производству самой дешевой электроэнергии.

В те дни, когда во Дворце съездов утверждалась новая Программа партии, строители Нурекской ГЭС только приступили к своей невиданной по масштабам работе. Но еще задолго до этого начали проектироваться новые заводы и фабрики, которые будут питать ток новой электростанции; начала планироваться оросительная система, способная пробудить к жизни голые степи, по площади равные всем нынешним плодородным землям республики. На месте мертвых пустынь возникнут тысячи гектаров новых садов, тысячи гектаров хлопковых полей.

Вот какие богатые дела стали по плечу моему народу! Вот какую силу дали ему светлые идеи Ленина, идеи коммунизма!

Все шире разливается по небосводу сияние золотых зорь коммунизма. Оно притягивает к себе взоры всех угнетенных и обездоленных, вселяя в них веру в лучшую жизнь. Они черпают в этом сиянии силу для борьбы за справедливость и свободу. Крепнут их мускулы, разрывая стопудовые цепи рабства. Народы поднимаются из безднн нищеты и бесправия к новой жизни. Им уже ясно, что на земле человек сам творит свое счастье.

Имя Ленина звучит ныне в устах миллионов людей как синоним человеческого счастья. Я слышал в одной из далеких колониальных стран, как это имя с благоговением слетело с губ умирающего от голода человека.

На наших глазах, словно трухлявый пенёк, рушатся устои колониализма. В свое время мне довелось участвовать в Первой конференции народов стран Азии в Дели. Тогда еще очень немногие африканские страны сумели завоевать свою национальную независимость, а сегодня почти на всем африканском континенте реют национальные флаги молодых суверенных государств. Мы видели посланцев Ганы, Гвинеи, Мали и многих других африканских стран в Кремле. Они с гордостью произносили слово «товарищ», обращаясь к представителям народа, чья щедрая и бескорыстная помощь помогает им добиваться политической и экономической свободы.

— Ваша Программа — наша надежда! — говорят они.

В ней миллионы трудящихся видят реальный итог человеческих усилий.

На строительстве Асуанской плотины я видел проявление воистину братской помощи, которую оказывали египетскому народу советские рабочие и инженеры, незадолго до того возводившие у себя в стране Волжскую ГЭС имени В. И. Ленина. Наши люди строят заводы, каналы, дороги, больницы, плотины во многих странах Востока, идущих по пути свободы. Советский народ с открытой душой делится своим опытом и знаниями с народами слаборазвитых стран. В этих делах воплощен высокий гуманизм народа, провозгласившего лозунг «Человек человеку — друг, товарищ и брат».

Невиданные преобразования, свершающиеся в нашей стране, гигантский размах планов требуют истинного подвига и от художника, если он хочет рассказать о подвиге своего народа. Наша эпоха и ее герои не дают нам права быть снисходительными к себе, требуют от нас высокого творческого горения, отточенного мастерства, совершенного владения профессиональным оружием.

Есть у нас, писателей, термин «находка». Мало еще в наших произведениях таких находок, таких, пусть небольших, открытий, которые с большой художественной силой запечатлели бы особенности нашего времени и современного человека.

Но как бы ни были пока скромны плоды наших усилий, советская литература честно выполняет свою благородную миссию. Она, как говорил об этом на съезде Александр Твардовский, «несет миру правдивое и победительное слово о новой жизни, разоблачая злопыхательские наветы на нее, привлекает к ней человеческие симпатии и доверие».

Я вспоминаю встречу в Конакри с одним африканским читателем.

— Из ваших книг,— сказал он,— мы узнаем правду о советской стране, о делах и жизни советских людей. Великое вам за это спасибо!

Конечно, нам хотелось бы, чтобы наши произведения были ярки, как пламя доменных печей, и обладали воспламеняющей силой бухарского газа. Но и те книги, которые хотя бы отчасти отражают жизнь строителей коммунизма, делают свое доброе дело.

Наш народ идет непроторенными путями, мы прокладываем дорогу по целине. На этом пути было и будет много трудностей, и, если наша советская литература покажет потомкам, как жили люди в наше героическое время, как они боролись за осуществление великой программы строительства коммунизма, как они стремились сделать жизнь на земле прекрасной, будущие поколения помянут нас добрым словом.

Во имя этого стоит жить и творить!

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ

Делегат XXII съезда КПСС

★

ПОЛЕТ РАЗУМА

Программа строительства коммунизма принята и стала отныне законом нашей жизни. Я думаю о ней, о нашем коммунистическом завтра — оно великолепно! И я вижу наше сегодня, в котором уже так много черт этого «завтра», так много ростков коммунизма.

«Полетом разума» назвал художник-архитектор Леонид Мамаладзе свою работу, украшающую центральную магистраль нового жилого района столицы Грузии — проспект Акакия Церетели. Динамическая конструкция из бетона и стали, устремленная ввысь, открывает вход на выставку достижений народного хозяйства Грузии. Символический ее смысл отражает многообразие и совершенство творений человеческого разума, которым по праву может гордиться грузинский народ.

Чувство восхищения и преклонения перед коллективной мыслью и вдохновенным трудом испытываешь при виде точных аппаратов и приборов, всех этих умнейших машин, создаваемых нашими фабриками и заводами в тесном содружестве с наукой. Вот они, плоды совместных трудов ученых, конструкторов, рабочих: красавец электровоз Т-8 мощностью в семь тысяч лошадиных сил; сложная и умная чаеуборочная машина, в конструкции которой применена радиоэлектроника, машина с так называемой электроследящей системой; совершенные металлорежущие станки; башенные краны; изящный автомобиль «колхида»; быстроходный катер на подводных крыльях и многие десятки образцов великолепной продукции молодой, но бурно развивающейся в республике электро-технической и приборостроительной промышленности.

Есть на этой выставке огромная карта, на ней обозначены молодые города и промышленные центры, возникшие буквально за последние

годы, и многочисленные предприятия, умножающие вклад нашей республики в создание материально-технической базы коммунизма. Это три обогатительные фабрики, рудники Дарквети, Мгвимеви-Храми, Зеда Ргани в Чиатуре, завод малогабаритных тракторов в Кутаиси, трубоволоочильный цех на Закавказском металлургическом заводе, Ладжанурская ГЭС, чайные фабрики в Махарадзевском и Чхороцкусском районах, тысячи километров чайных плантаций — зеленого золота Грузии, снискавшего себе мировую славу, — горы и ущелья с кладями бесценных ископаемых. Уже высятся корпуса гигантов семилетки — Ингурской ГЭС, Маднеульского горнообогатительного комбината, заводов большой химии в Рустави.

Когда недавно в Грузии подводились итоги социалистического развития, мы измеряли его успехами народного хозяйства, науки и культуры. Семимильными шагами движется вперед промышленность и сельское хозяйство нашей республики, опережая задания семилетнего плана.

Мы гордимся тем, что наши домны выплавляют на душу населения больше чугуна, чем в Японии и Италии, что наши грузинские мартены дают намного больше стали, чем Швейцария, Турция и Норвегия, вместе взятые.

Мы гордимся нашим Рустави — индустриальной славой республики, городом металлургов, цементников, химиков, строителей. Когда я бываю в Рустави, я говорю себе: вот он, прообраз города будущего, города коммунизма! Все в нем — и жилища, и общественные здания, и городские улицы, и заводские корпуса, окруженные садами, и люди, в нем живущие и работающие, — говорит о коммунистическом «близко»!

А ведь совсем недавно там, где раскинулись сейчас великолепные вечнозеленые аллеи парков и проспектов, где выросли величественные заводы, оснащенные самой передовой техникой, еще каких-нибудь пятнадцать — двадцать лет назад была глухомань, куда мы, тбилисцы, ездили охотиться на диких кабанов.

Тот, кто был на Руставском металлургическом заводе, знает, какое великолепное, поистине волшебное зрелище представляет собой огромный, свыше километра длиной, трубопрокатный цех — чудо современной автоматки. Молодые специалисты этого цеха впервые в мировой практике трубопрокатного производства полностью механизировали все производственные процессы изготовления труб. Достойные потомки своего гениального земляка Шота Руставели — по преданию, на месте нынешнего города был в древности поселок Рустави, где и родился Шота, — завоевывают славу своей республике вдохновенным трудом. Это подлинно коммунистический труд. На руставских предприятиях есть целые цехи и смены, десятки бригад, сотни ударников коммунистического труда. Не случайно же шесть кварталов подряд держит первенство в соревновании Руставский металлургический завод.

Город Рустави, на предприятиях которого плавится высококачественный металл и создаются образцы машин современной высокой техники, — лишь малая частица тех преобразований, с которыми Грузия шагает к коммунизму.

Я мысленно представляю себе, как дальнейший расцвет экономики и культуры изменит в ближайшее время облик Грузии. Ее безводные пространства обовьются лентами новых ирригационных систем, и на извилистых реках Ингури, Бзыби, Кодори и других возникнут новые электростанции. Линии высоковольтных передач перекинутся через высокие горные перевалы и вольтуются в Единую энергетическую систему СССР. А все это принесет с собой изобилие материальных благ для народа.

Такова программа нашей жизни на ближайшие годы, программа наших усилий, борьбы и побед.

Чем ярче свет будущего, тем рельефнее выступают отдельные недостатки и уродливые черточки, которые безобразят чистое и прекрасное лицо нашего общества, проступая то в труде, то в быту.

Народ остро критикует также и всякого рода примеры бесхозяйственности и расточительства государственных средств. На устранение этих теневых сторон жизни, задерживающих наше победное движение вперед, должно быть обращено сейчас особое внимание.

Программа партии возлагает на нас, работников культурного фронта, важную задачу — воспитание в людях нравственных основ, утверждение морального кодекса коммунизма.

О нравственном облике человека заботились лучшие представители прогрессивной мысли прошлого. Еще восемьдесят лет назад в статье «Общество и нравственность» Илья Чавчавадзе писал: «Нация, которая хочет преуспевать и иметь будущее, должна быть проникнута одной мыслью: внедрять добродетель в свое сердце, в своей семье. Для этого необходимо повышать и очищать нравственность. На это должно быть обращено внимание человека, болеющего сердцем за свой народ. Та мать или отец, которые не проявят заботы о том, чтобы их дитя стало бы истинным человеком, похожи на червя, который круглые сутки гложет корни будущего своей нации, и возможно, что при этом даже не чувствуют, в какой грех впадают. Они медленно точат нож, который рано или поздно взрежет горло их потомству, их же нации».

Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. Какие же грандиозные задачи встают перед нами в деле нравственного воспитания, или, как говорил Чавчавадзе, в деле очищения человека. Какое благородное и широкое поле деятельности для нашей литературы! Ей поручает партия воспитывать людей в духе коммунизма, раскрывать великие манящие цели, показывать красоту и богатство духовного мира человека коммунистического общества. И советские писатели выполняют эту задачу. Они оправдают оказанное им высокое доверие и будут надежным другом советских людей, добрым и умным советчиком во всех их начинаниях и делах.



КОНСТ. ФЕДИН

★

КОСТЕР

*Роман **

Глава девятая

1

Было тихо вокруг и стихло в сознании, в его глубине. Но в телесном ощущении Анны Тихоновны наступал какой-то переход: что-то кончалось и что-то вот-вот должно было начаться. Этот переход не мешал видению, которое ей мерещилось.

С крутой, непонятной высоты Анна Тихоновна смотрит на крыши Москвы. Между крыш по дну улицы игрушкой ползет поливная машина, и голубой асфальт превращается позади ее водяного душа в черный лак, зеркально отливающий блеском солнца. Двое крошечных мальчуганов то бросятся под душ, то выскочат из-под него, приплясывая, и тогда появляются на черном лаке их тени и в воде пляшут четверо мальчуганов — двое светлых, двое темных.

Спокойствие царит над Москвой. Спокойно, точно в дремоте, смотрит Анна Тихоновна на переплетение крыш, на дно улицы. Отраженный мокрым асфальтом блеск ослепляет, долго глядеть на него нельзя. Она отходит к столу.

Беззвучно в комнате. Гладко и быстро скользит перо по глянцевиной почтовой открыточке, и так славно спархивают с него наскакивающие одна на другую узенькие буквы. Милая Надя! Так ведь всегда начинались мамины письма, с самого-самого раннего детства Нади — милая Надя! В Москве очень жарко. Так жарко, что я не утерпела и на улице, как была — прямо в платье, — кинулась под душ поливной машины и искупалась вместе с уличными мальчишками. Их было сначала двое, а потом стало четверо, потому что в воде на асфальте родились их отражения. И я была сначала одна, а потом меня стало две. Можно так сказать — меня стало две? Иначе ведь, Надя, не скажешь. Меня стало две — та, которая была прежде, и та, которая сейчас. Раньше я была твоя прежняя мама. Это еще до душа, когда я не промокла насквозь, не стала мокрой-мокрой и холодной до самых костей, когда я еще не уехала из Москвы.

Анна Тихоновна перестает водить пером. Зачем же она пишет, что уехала из Москвы? Ведь Надя не знает об этом, чудится ей. Никто не знает, что она уехала из спокойной Москвы, где все так тихо и где такое ласковое солнце. Но как же никто? — спрашивает она себя. — Ведь она разговаривала по телефону с Кириллом, и он знает.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 8, 9, 10, 11 с. г.

Но ответив себе, что Кирилл знает, она чувствует, как ей делается тяжелее, и что-то действительно начинается совсем другое, новое во всем теле, и тишина куда-то явственно отходит.

Неужели она забыла о своей Наде, о своем Кирилле? Перестала о них думать? Нет, нет! Она думает о них каждую минуту и всякий миг. Но только думы о них она прячет в тайники тайников, чтобы ни Нади, ни Кирилла как бы вовсе не было в памяти, потому что все силы духа, д^с последних, нужны на одоление того, что произошло с ней после Москвы.

Но может ли быть, чтобы Москва и правда оставалась спокойной, чтобы во всей Москве ничего не переменялось после отъезда Анны Тихоновны? И о том, что с ней произошло, знает ли кто-нибудь там, в Москве? А вдруг происшедшее с ней произошло со всеми везде-везде — и в Москве и там, где Надя, где Кирилл? Если же не произошло, то что с ними теперь? Если у них не так, как здесь, если по-другому, то как же, как? Может ли быть, что у них по-старому тихо, и они не узнают никогда про то, что здесь?

И где это — здесь? Где Анна Тихоновна? Почему ей становится все тяжелее? И зачем выпустила она из тайника памяти Надю и Кирилла? Все время мысль о них жила в ней, но была нерабочей. И вот вырвалась из тьмушей тьмы, озарилась и заработала. Зачем?

Нестерпимая тяжесть придавила ее тело к земле, и саднящей болью заняло лицо. Кончилась тишина. Стоны и плач заполнили слух Анны Тихоновны. Она сама простонала и едва расслышала свой стон, как к ней вернулась ясность сознания.

Было так.

Уже близко станция Жабинка. Дорога сплошь забита брестскими эшелонами. Грузовые, легковые машины, переполненные людьми, повозки, орудия, телеги — всё вперемешку, — еле двигаясь, поминутно останавливаются. По обе стороны дороги лентами ползут пешие беженцы, семья к семье, с детьми всех возрастов, так тесно, что пыли не выбиться кверху и она только клубится в ногах. Калит полдневный жар.

Вдруг женские вскрики пробегают над толпой. В сухом небе, и кажется — низко-низко, журавлиным строем надвигаются самолеты.

О, в тот момент является Анне Тихоновне чудесное это слово — журавлиный строй! Как любила она журавлей с незапамятно ранней детской поры! Как всякий раз долго-долго провожала глазами отлетающий угольником плавный птичий плот. Как птицы гибко гребли в воздухе своими медлительными крыльями-веслами. И как она, поднявшись на цыпочки, принималась взмахивать и опускать руки и плыть, плыть с птицами над землей, и от какой-то волшебной, грустно-счастливой догадки, что птицей быть лучше, чем девочкой, у нее навертывались слезы.

Да, в тот момент женских криков нечаянно зажигается в уме слово — журавлиный строй, — и вот жгучее детское воспоминание ее осквернено: с ужасом глядит она в злобное небо, по которому журавлиным строем движется на людей смерть.

Но уже смолкает и бросается пешая толпа по открытому полю в бегство. Уже выскакивают из грузовиков, прыгивают с телег люди, догоняют толпу, бегут с нею, вдруг сбившись в одну стену — все, кто раньше ехал и кто шел пешком, бегут вместе. Стремителен молчаливый бег, густо вздымаются в поле вихри поднятой пыли. Толпа бежит, бежит вперед, все равно куда, только вперед.

Молодые актрисы, точно грибы из корзины, сыплются через борт грузовика на землю, артисты подхватывают их, толстяк актер, одной ногой уже за бортом, по-капитански командует:

— Сперва женщин, пропустите женщин, товарищи! Егор Павлыч, дерзай!

— Дерзай, Аника-воин! — кричит толстяку молодежь. — Не позабудь чехомданчик!

«Они смеются от страха. Надо, надо смеяться!» — думает Анна Тихоновна, в отчаянии прыгая из кузова в чьи-то руки, и тянется своими руками назад, к борту, и тоже силится крикнуть:

— Егор Павлыч! Сюда!

«Не надо бежать со всеми, — говорит она себе, — не надо с толпой». Она схватывает Цветухина за рукав. «Дальше, дальше от толпы, — твердит свое рассудок, — ни шагу нельзя с людьми! Вон туда не бежит никто. Туда, туда!» Она тянет Егора Павловича, но непосильна тяжесть, и сами разжимаются пальцы.

Она не слышит под ногами землю. Вес тела исчезает. Вперед. Вон что-то вроде строений. «Ты ведь одна. Выбирайся сама», — повторяет без перерыва мысль. Вот какой-то забор. Перепрыгнуть? «Не останавливайся, не выбирай, выбора нет». Есть! Выбор есть. Вон чуть в стороне — ворота. Они закрыты. Раскрыть их! Со всего разбега и всем телом — в решетку ворот. Они не поддаются. Их створы сцеплены, закручены чем-то железным. Проволока. Раскрутить, сбросить ее! Не пускает засов. Вытащить, выломать его! Силы безмерны, в них все спасение. Вперед.

Тут, за распахнутыми воротами, — наезженная, крепкая дорога. Бег становится полетом. Длинный дом без единой двери тянется вдаль. И поодаль от дома, в самом конце его, одиноко стоит красноармеец. Он при винтовке. Неподвижен. Голова поднята. Свободной рукой он притеняет лицо от солнца. Каких-нибудь двадцать шагов до него. Десять. Пять. Два последних шага — и крылья ли, ноги ль приносят к нему Анну Тихоновну. Она падает — нет, повисает на нем, прижавшись щекой к его мокрой от пота гимнастерке. Он не шевельнулся. Он смотрит вверх. Ее глаза сами собой следуют его взгляду.

Самолеты изменили строй — они тройками, похожими на рогатки, облетают все, что видно окрест, примериваясь и выискивая цели. И потом сразу — ни неба, ни земли. Встают и судорожно развеваются сыпучие столбы извержений там, где бежит народ чистым полем, и там, где верста за верстой кучатся по тракту машины, телеги, орудия со своими статными конями и артиллеристами на передках, где под кузова машин и телег забралась со своими малышами и младенцами матери.

Анна Тихоновна считает взрывы. Она сбивается со счета. Она ждет взрыва, который кончит собой все. Но он медлит, этот последний, этот назначенный одной ей, этот ее взрыв. И она сильнее, сильнее сжимает в руках странно неподвижное раскаленное тело человека, приросшего со своей винтовкой к почве. «Нет, ты не одна, — говорит ей упорный голос, — не одной тебе пазначен последний взрыв. С тобою вместе ждет его человек, который держит тебя. Обними его еще крепче. Держись за него. И держись, как он».

Кажется, реже сотрясается воздух. Когда же, когда последний взрыв? Реже, реже. Вот всего только один, и чудится — далекий. Еще один, и еще дальше. Уходят, исчезают перекаты гула. Глохнет воздух. Земля опять начинает отделяться от неба. Неужели последний взрыв уже был? Неужели он не назначен ни ей, ни человеку, который ее все время держит?

Человек, не торопясь, разжимает, разводит руки Анны Тихоновны, высвобождает себя из ее незванных объятий.

Она видит лицо красноармейца — юноши, нет, мальчика! — так светится навстречу ей это неожиданное лицо, омытое струящимся потом и все в трепете необоримых чувств, точно лицо ребенка, залитое слезами и уже готовое озариться улыбкой радости. Она порывается что-то сказать ему, но нет ни голоса, ни слов, и она хочет вновь обнять, прижать его к

своему сердцу — уже от счастья, а не в беспамятстве ужаса. Но красноармеец с маху вытирает рукавом свое лицо. Оно вдруг становится иным: поджаты губы, сузились глаза, дрогнули ноздри. Нет, это не мальчик, не юноша.

— А ну, проходи, гражданка,— говорит он глухо.— Здесь нельзя...

Он делает шаг назад и вместе с шагом припечатывает приклад винтовки к земле у своего сапога.

Тогда Анна Тихоновна иссушенным ртом натужно выговаривает и потом почти шепотом продолжает лепетать единственное слово, все повторяя и повторяя его:

— Спасибо, спасибо... Спасибо, спасибо!

Он круто отворачивается от нее. Она должна, должна добавить к своему лепету хотя бы одно лишь слово, одно. Но у нее дергаются, дрожат щеки, подбородок, и она не может справиться с собой. Она смотрит красноармейцу в прямую его спину с раздвинутыми лопатками. Он по-прежнему неподвижен. Теперь она знает, почему он прирос тут к почве со своей винтовкой. Он не сойдет с поста, пока не явится его сменить заступающий. Пусть слилось небо с землей — он выполнил долг, остался на месте. Он принял на себя и другой долг — долг сильного перед слабым, в беде потерявшим над собой волю. Он не дал и не даст слабому упасть.

— Товарищ! — вылетает у нее наконец тихое слово, которого недоставало ее благодарности.

Красноармеец оглядывается на нее, молчит. Жестко сведены брови, опущена голова. Анна Тихоновна кланяется ему быстрым поклоном. Еще раз с поднятыми руками тянется к нему. Но он отрывистым кивком указывает на ворота, и ей понятно, чего он требует: ступай, откуда пришла! И она идет.

Она идет скорее и скорее к растворенным настезь воротам, за которыми непроглядно дымится пылью пространное поле.

Вдруг ей кажется — что-то шевельнулось обочь дороги. Она останавливается. В примятых зарослях чертополоха, в канавке, скорчился человек. Она видит сгорбившуюся спину в синей рубахе, седой затылок и торчком над затылком, точно заячьи уши, концы завязанной косынки в красных горошинах. Ну как же, как же — это курносенькая актриса сердобольно дала Цветухину свою косынку — подвязать раненую руку, и сама Анна Тихоновна наспех затянула узел на его шее, как только разместились в грузовике!

— Егор Павлыч! — зовет она.

Так вот где было ее место в эти нещадные минуты бомбежки! Зачем она отступила от своего долга? Зачем оставила Егора Павловича? Что с ним? Она зовет его еще раз, боясь подойти ближе.

Он осторожно выглядывает из канавки, протягивает руку.

— Помоги-ка... Я тут обстрекался в крапиве.

Он искательно улыбается, будто ему нужно замять какую-то смешную неловкость. Да и не пришло ли время улыбнуться хотя бы тому, что уже не существует ничего неловкого, ничего смешного? К тому же и он и Анна Тихоновна насквозь видят друг друга.

— Не бросай меня, — говорит он с той же нелепой улыбкой на дрожащем лице, наперед зная, каков будет ответ.

— Никогда, никогда! — восклицает она в порыве страстного сочувствия к нему и стыда за себя.

Он опирается здоровой рукой о ее плечо. Они подходят к воротам, и тут, на что-то наткнувшись, она отступает и глядит в землю.

Растянутая спираль толстой проволоки и рядом деревянный брусок валяются на дороге. Откуда взялась у Анны Тихоновны небывалая сила — размотать эту проволоку, выбить этот брус из железных скобок

ворот? «Если силу породил страх, — внезапно приходит ей на ум, — что же тогда? Значит, нет страха — нет и сил? Ах, ведь это совсем не так», — сбивается она, изумленно переводя взгляд на свои тонкие пальцы.

— Я тебя почти догнал, когда ты сюда ломилась, — говорит Цветухин.

Вся в набежавших мыслях, она молчит — да это и не мысли даже, а так, коловращение какого-то вопроса, который переиначивается на неосмысленные лады. «Может, у меня есть совсем иная сила? — спрашивает она себя. — Но такой силы, как от страха, не было и нет. Страх — самая большая сила. Эти изверги убивают нас от страха. От своего страха. Им страшно, и они убивают. Ах, вздор!» — опять останавливает она себя.

— А наших нет и нет, — говорит Цветухин.

— Каких наших? Вздор! — отзывается Анна Тихоновна, все продолжая спорить сама с собой. «Это вздор, что страх. Это одиночество. Не на кого рассчитывать. На одну себя. Вся сила в одиночестве. Если каждый положится на одного себя, он в десять раз сильнее... И все не то, не то!.. Зачем только бегут все вместе? Я не добежала бы до красноармейца, если бы с Цветухиным. Он обессилел. Боже мой, как можно было его бросить? Не раскрой я ворота, он так и остался бы в поле. Его убили бы. И меня тоже. Как всех...»

— Егор Павлыч! — неожиданно вскрикивает она. — Что же там со всеми? Чего мы стоим?

Наверно, оба они эту минуту одинаково боялись выйти за ворота, точно за какой-то заговоренный порог, и вдруг пошли, пошли, набавляя шаг, открытыми ртами хватая горкло-палящий жар полудня.

Над полем зыблется туман от истолченной в порошок земли. Желтый свет, струясь, пробивается вниз. По сторонам мелькают тени. Вон кто-то бежит, кто-то плетется вперевалку, кого-то медленно несут. Звуки слышнее и слышнее. Надсадный голос выталкивает из груди приказания. Женщина причитает, как вопленица у разверстой могилы. Вздвигивает пронзительно ребенка. Плачи, плачи наступают издали мучительным хором, и вблизи кто-то хрипит.

— Дети! Слышите? Скорее! — задыхаясь, торопит Анна Тихоновна отстающего Цветухина.

Но оба они вдруг останавливаются.

Небо — источник земной радости, краса жизни, теплый покров человека, — небо стало злобным вором и врагом. Опять близится гул, и воздух дрожит в нарастающих его волнах. Бомбардировщики показываются в светлой синеве. Растопыренные крылья растут, и вырастает их число. Неужели они обманно скрылись, чтобы вернуться, лишь только развеется пыльный туман, и люди в поле станут видны? Они вернулись, чтобы убить живых, добить недобитых. И небо сейчас рухнет на землю, чтобы разрушить ее.

Анна Тихоновна опять бежит. Ей кажется, она бежит назад, бежит туда, где ее спаситель. Прильнуть к его мокрой, потной гимнастерке, обнять его, прижаться и ждать, ждать, когда все кончится, пронесется, когда снова земля отделится от неба. Только он — этот мальчик и богатырь, только он один уберезет ее от смерти. Никто не видит, как она бежит за своей жизнью от смерти. И где же, где те ворота, к которым она безоглядно мчится и за которыми ее жизнь?

— Ложись! — доносится до нее слабый, но страшный голос.

Она быстро озирается. Поле пусто, люди исчезли — прилипли, наверно, к земле. И по пустынной земле скользит, разрастаясь, огромная серая тень растопыренных крыльев с коротким, словно обрубленным хвостом.

— Ложись! — кричит Анне Тихоновне бегущий за нею Цветухин.

Она уже не слышит голоса, но видит, как Егор Павлович скрывается где-то между наваленных куч мусора, и сама, споткнувшись о мусор, куда-то летит или все еще бежит, бежит. без остановки.

Так было...

Сознание вернулось к Анне Тихоновне с ее стоном от боли. Это не было тем обычным сознанием, которое является с пробуждением на смену отошедшим снам. Призраки еще жили рядом с действительностью, и то казалось Анне Тихоновне — она в самом деле пишет Наде письмо и смотрит из окна московской гостиницы, как поливают улицу, то словно бы во сне видит красноармейца на посту, и он отворачивается от нее, и она хочет ему что-то крикнуть и не может.

Но забыть ее постепенно отступало перед болью.

Анна Тихоновна лежала ничком. Вплотную перед глазами ее, когда они открылись, высилась груда щепок, стружек, комьев извести с кирпичной крошкой. Ее щека прижималась к этой груде, но боль лица была слабее ломоты, тяготившей голову и тело. Насилу повернувшись на бок, она приподняла голову и увидела на мусоре кровь. Щеку саднило. Она пощупала ее. Пальцы сейчас же склеились. Но она как будто осталась безразличной при виде крови, попробовала сесть и не могла. Прислушиваясь к отдаленным крикам, она старалась понять — те ли это голоса, хор которых слышался, когда она вышла через ворота в поле с Егором Павловичем, или же это новые плачи и вопли? Почему она лежит, придавленная ноющей тяжестью к земле? Упала ли она сама или кто-то ее толкнул? Почему она разлучилась с Егором Павловичем? И где он теперь, где?

Она наконец одолела боль, согнула колени, обхватила их и села. Кругом дымилась пыль — вверху бледно-желтая, светящаяся, снизу почти непроглядная.

Вдруг сбоку и совсем близко от себя она увидела Цветухина. Он сидел на такой же, как она, куче строительного мусора и, глядя на Анну Тихоновну, медленно потирал подвязанную руку. Они понимали, что видят и узнают друг друга, но молчали и долго не двигались.

Потом Цветухин встал. Он шел к Анне Тихоновне, высматривая, где ступить, будто не доверяя земле. Подойдя, он с тем же недоверием вглядывался в ее лицо.

В это время слышнее стали автомобильные гудки. Он показал в ту сторону, откуда они доносились, и так же молча, одним жестом дал Анне Тихоновне понять, что надо идти. Ей все еще не хватало сил подняться. Он подал руку. Она исподволь начала подтягиваться, вставая. Какой-то момент они держались как дети, которые приготовились покружиться, и тогда руки их чуть-чуть не расцепились, и отчаянное усилие исказило их лица. Но и тут они не вымолвили ни слова, и немота всё так же продолжалась после того, как Анна Тихоновна уверилась, что может двигать ногами. Если бы что-нибудь сказалось в эти минуты словами, то разве только изумление, что перенесенного было все еще мало, чтобы умереть.

Они брели полем. Она изредка покачивалась, и он останавливался, чтобы удержать ее. Повременив, они опять трогались вперед. Пыль разрежалась. Все лучше становилось видно. Голоса резче долетали до слуха.

Они обходили воронку с выброшенной из глубокой пасти чистой глиной, когда на другой стороне ямы появился человек, который что-то нес. Он обгонял их, маршем отмеривая крупный шаг. Неожиданно он стал. По-прежнему держа свою ношу, немного нагнувшись, он смотрел в землю. Но почти сразу, как он остановился, кто-то крикнул:

— Не оглядываться!

Человек кинулся с места, и Анна Тихоновна увидела свисавшие у него через руку легкие ножки ребенка: в лад с быстрым бегом удалявшегося человека они подскакивали в воздухе.

Этот ребенок — раненый или мертвый — поднял ее силы, она опомнилась, и происходившее окончательно отделилось от того, что ей мерещилось, когда она приходила в себя после беспомощности. Отстранив руку Цветухина, она сама повела его.

На том месте, где только что стоял человек с ребенком, лежала женщина. Над нею нагибался красноармеец — коротенький, с плечами и спиной, как шар. Это его команда раздалась — «не оглядываться», и сам он не мог не оглянуться и стоял теперь неподвижно, уткнув кулаки в колени, и против него остановились Анна Тихоновна с Цветухиным и тоже не шевелились, глядя на женщину.

Она лежала навзничь, и что в ней прежде всего бросалось в глаза — был ее вздутый беременный живот, туго обтянутый яркой шотландской юбкой. Распростертые голые до плеч руки вдруг отрывались от земли и, согнувшись в локтях, плавно складывались на высокой груди, чтобы через секунду опять раскинуться, упасть на землю и потом снова медленно скреститься на груди. В движениях этих, которые все повторялись, особенно когда руки откидывались на стороны, заключена была не только мука, но, казалось, необыкновенное удивление. Серое лицо женщины с завалившейся книзу челюстью, было неживым.

— Отходит, — сказал красноармеец одному себе и распрямился, снял пилотку, обтер ею взмокшее лицо. — Катком проехали по народу, — все так же тихо договорил он и, вдруг оглядываясь, взмахнул рукой, закричал: — Ребята! Ко мне! Двое! Двое ко мне!

Невольно обернувшись, Анна Тихоновна увидела ворота, за которыми она выстояла первый налет и откуда сейчас выбегало несколько бойцов, рассеиваясь в поле поодиночке.

— Ну, чего стали? — голосом, привыкшим по-старшински командовать, сказал красноармеец. — Ноги держат — шагайте до тракта. Раненых берут на машины.

Он показал, куда идти.

Снова Анна Тихоновна взяла Цветухина под руку — наступал ее черед быть ему поддержкой, как он был ей поддержкой, когда ее силы истощались. Она была не одна и уже знала, что вдвоем они не дадут уснуть своей воле к жизни. Жить, жить! — никогда еще с таким упрямством не требовала жизнь борьбы за себя, и никогда не испытала Анна Тихоновна такой власти этой борьбы, какими были сейчас упрямство и власть измученного, изломанного ее тела. Жиг, жить! — твердило оно почти ожесточенно и с тем большей злобой, чем беспредельнее виделись вокруг людские страдания, грознее, уродливее витала повсюду смерть.

Шоссе было засыпано выбросами грунта от взрывов, обломками, осколками грузовиков, повозок, камнями и растерзанным беженским скарбом. По канавам и дальше в стороны от них торчмя высились перевернутые машины, валялись опрокинутые лафеты с орудиями. И все же в этих хаотических следах, оставленных судорогами земли; среди тел убитых, рядом с искалеченными, обессиленными, потерявшими ясность ума людьми — все же там и тут шевелились, выкарабкивались из хаоса уцелевшие машины, перепрягались лошади, несли, вели раненых, помогали друг другу перевязываться, подобрать с земли, что может как-нибудь изгодиться человеку. Все громче треск моторов врывается в людские стоны, глушил их и шумом своим будто звал народ продолжать судьбою вынужденный исход: уже толпились женщины с детьми в оче-

редях перед готовыми двинуться грузовиками, хлопотали о порядке добровольцы распорядители.

Последнее, что Анна Тихоновна увидела на этом поле смерти, было кольцо артиллерийского расчета вокруг подыхающей лошади. Грязный тяжелый круп с поджатыми ногами и откинутым, слипшимся от крови коротким хвостом не двигался, а конь все сучил передними расползающимися ногами, силясь подобрать их, чтобы приподняться. Голова его то отрывалась от земли, то падала и, наконец, высоко вскинулась на вытянутой шее. В этот момент стоявший ближе всех командир вынул из кобуры пистолет, наставил коню в ухо и подряд дважды выстрелил. Голова рухнула наземь, ноги выпрямились, дрогнули. Конь утих.

На эту смерть Анна Тихоновна глядела из кузова грузовой машины, набитого ранеными, куда ее усадили вместе с Цветухиным. Она следила за лошадьё пристально, не отрываясь. Она понимала, что это сильное, красивое животное надо было пристрелить. Понимала, что его гибель должна вызвать у нее жалость. Но она не могла и не старалась понять, почему не испытывает ни жалости к погибшему коню, ни страха, что на ее глазах его убивают. Она смотрела на него, как слепец. Все в ней сосредоточилось на том, чтобы не дать рассудку пошатнуться.

Она взглянула на Егора Павловича, и встречный его взгляд отозвался тем же упрямым чувством самозащиты, которое властвовало над ней. Она увидела в растрепанной белой гриве Цветухина запутавшуюся щепку, аккуратно вытянула ее, отрывистым движением пальцев отряхнула от сора его волосы и потом начала приглаживать свои...

Часами двумя позже их грузовик после проволочки в городе Кобрине добрался с колонной машин до поезда, отведенного далеко от станции: он принимал раненых летчиков с разбомбленного Кобринского аэродрома, и вокруг него быстро набухали толпы беженцев.

2

Вагон был переполнен, но в проходе люди все еще двигались, проталкиваемые вперед теми, кому удавалось взобраться с подножки в тамбур. Егор Павлович старался держать раненую руку как можно выше, подпирая ее здоровой, которая гнела его болью не меньше, чем раненая. Анна Тихоновна, спиной вплотную к нему, стала опорой его локтям. Она жадно отыскивала глазами, кого бы попросить, чтобы дали ему сесть.

Женщины с детьми на руках лепились друг к другу по скамьям и на полу. С верхних полок свешивались пыльные босые и обутые ноги ребятишек, теснившихся, как на нашестах куры. Несмотря на давку, все словно бы примирились, стихли, и только снаружи отчаяннее доносились голоса потерявших надежду попасть в поезд.

Кто-то снизу потолкал Егора Павловича. Он тяжело наклонил голову. На самом краю скамейки примостился толстяк актер.

— Думал, я один кавалер на весь вагон,— сказал он горестно-шутливо,— ан старикам и впрямь у нас почет. Жив, оказывается?

Анна Тихоновна попробовала сдержать собой Цветухина под напором людей.

— Поступитесь местечком для раненого! — нежданно жалостным позывом протянула она, оглядывая женщин.

Старуха, устроившаяся на полу с беленькой девочкой, погладила ее успокаивающе по острому голому плечу, кивнула актеру:

— Ты, батюшка кавалер, встал бы. Наместо тебя, я чай, двое усядутся.

Вагон дрогнул от сильного толчка, в проходе люди отвалились назад, Анна Тихоновна толкнула Цветухина, он очутился на коленях актера,

Где-то прокричали громко: «Поехали». Слово повторилось едва ль не всеми устами, и с ним будто слабый свет облегчения скользнул по измученным лицам. Старуха начала креститься, бормотать молитву.

— Приподымись, Егор, дай вылезти,— сказал актер. Обняв Анну Тихоновну, он подтянулся, встал, помог Цветухину усесться.

Старуха оборвала молитву, принялась быстро распоряжаться:

— Садись, Флорочка, садись живей с дяденькой,— говорила она, подсаживая с пола девочку и стараясь втиснуть ее на скамью под бок к Цветухину.— Дяденька добрый. Садись.

— Это как же, бабуля, зовешь внучку-то? — сердито спросил актер.

Старуха махнула рукой.

— Кабы я нарекала-то! Папочка у ей больно образованный. Флоринной назвал. Так и пошло... Сиди, Флорочка. Пускай дяденька ручку здоровую за спинку тебе положит. Вам обоим и не обидно.

— Флора,— по виду все еще сердито, но с глубоким вздохом проговорил актер.— Цветы природы... Косят под корень, терзают вас... За что?

Он перевел взгляд с девочки на Цветухина, дотронулся до платка, в котором покоилась раненая рука, спросил:

— Помнишь, чей подарок?.. Курносую нашу не забыл, Егор, а?

Цветухин молча прикрыл глаза. Актер, потеряв краешек платка в пальцах, точно на ощупь пробуя шелк, посмотрел на Анну Тихоновну, мелко замигал.

— Все, что от нее осталось. От курносой, Егор! Платочек...

Он было всхлипнул, но удержал вздох.

— После жабинской второй бомбежки, как ни искали... Ничего!.. А всю первую рядышком второй пролежала со мной. На поле... И еще с нами парень один. Тоже пропал. Все смеялся. Аникиой-воином меня прозвал. Талант!.. А курносая-то что за чудо была травести! Как играла мальчишек! Неотразимо! Да ты сам видал, Егор! В Ленинград ее переманивал, верно, а? Егор, слышишь?.. За что же ее теперь, за что?.. Лучше бы меня. Отжил, отмыкался. Уж все равно...

Он больше не сдерживал всхлипов, понуро свесил на грудь свою безволосую вздрагивающую голову. Старуха сказала твердо:

— Война любит молодых.— И тут же испуганно покосилась на внучку и вновь закрестилась.

Пока актер говорил, Анна Тихоновна не отрывала взгляда от девочки. Встречный взгляд малышки сначала робко и ненадолго, потом смелее, пристальнее отвечал ей любопытством и участием. У Анны Тихоновны выше и выше вздергивались щеки, собирая морщины под воспаленными нижними веками, и вдруг по вишневым засохшим царапинам ее лица капля за каплей побежали слезы. Может, от истощения сил, а может быть, потому, что не отступало от ее взора поле смерти, по которому она только что прошла, но на нее наплывали красные круги, и в них беспорядочно виделись детские лица — одно за другим и одно из другого, как эти плывущие красные круги: лицо Нади, чем-то схожее с беленькой девочкой, но потемнее, и лицо Сашеньки с жутко алой, разорванной челюстью, и бледное, подернутое известковой пылью лицо братика Сашеньки с ниткой почерневшей крови на виске, и снова — Надя, Надя, вдруг маленькая, а то взрослая, в один миг сплошь залитая красным, и за этим красным — курносая артистка, протягивающая Егору Павловичу зубную кружечку.

Тогда расслышала она писклявый, но полный какого-то серьезного увещания голосок девочки:

— Не плакай, тетя. Ведь мы поправдышному едем. Ведь да, бабушка?

— Едем, милая, едем! — ответила старуха. — Ты у меня счастливая. Вот мы и едем. А тетя пускай поплачет. Сердце бабье слезами облегчается.

Анна Тихоновна, не вытирая лица, взяла узенькую горячую руку девочки и стала мягко пожимать ее в своей малосильной ладони. Теперь девочка совсем уже не отводила от нее глаз, и странным успокаивающим лучением светились эти глаза, вызывая к себе благодарное, тихое чувство.

— Сколько тебе лет? — спросила Анна Тихоновна.

— Пять стукнуло, — гордо ответила девочка.

Все, кто расслышал ответ, облучились улыбками, и было это так нечаянно, что каждый с недоверием к себе оглядел соседей, а затем опять улыбнулся, видя что и в безысходном горе не гаснет бесследно человеческая ласка. Цветухин тоже открыл глаза на девочку, переглянулся с Анной Тихоновной, с актером, и на минуту как будто исчезла его тупая подавленность своею болью.

Девочка, наверно, не задумывалась над причиной оживления взрослых, но оно не ускользнуло от нее. Она сочла нужным продолжать разговор и с вежливой серьезностью сообщила Анне Тихоновне:

— У меня точь-в-точь родинка на плече, как у папы.

Она немного выпятила остренькое плечо, покосилась на него и убедительно договорила:

— Это от родинки мой папа счастливый. Его не убьют. Правда, бабушка?

Анна Тихоновна кинула быстрый взгляд на бабушку. Старуха нагнула голову, сказала себе в колени:

— Так, Флорочка, так... В крепости твой папочка. В крепости-то как убить?

Кто опустил, кто поднял глаза, невольно отворачиваясь от девочки. И тут она начала меняться в лице — из-под насупленных бровей испытующе следить за взрослыми, строго шевелить оттопыренными губками, шепча какое-то тайное слово, пока внезапно удивительной угрозой не прозвучал ее писклявый голосок:

— Папа мой немцев всех перестреляет!

В людской тесноте нельзя было пошевеливаться, все только покачивались с ходом поезда, но после слов девочки будто застыли, и с верхних полок недоверчиво смотрели на нее сосредоточенные, молчаливые дети. Старуха страшно засуетилась, что-то отыскивая в своей кошелке со всякой всячиной, обрадованно вытянула за уголок тонкую раскрашенную книжку, принялась совать ее внучке.

— На вот, на, возьми. Попроси дяденьку, он тебе почитает. Твоя смешная книжка. Посмейся-ка. Возьми!

— Почитаешь? — с сомнением спросила девочка Цветухина.

Он будто очнулся, вскинул руку, подержал ее над собой, растопырив пальцы, схватился за голову:

— Очки! Как теперь я? Очки!..

— Ах, Егор, милай! — вздохнул актер. — Чего ж плакать по волосам? Того гляди сымут голову.

Кто-то было подхватил — снимут голову, громко напомнив, что нет цели для бомбежки приманчивей, чем поезд. Но так и повисло жестокое напоминание без отзыва — никто не хотел говорить вслух о том, чего каждый страшился про себя.

Поезд шел, не задерживаясь подолгу на маленьких станциях. С каждым перегонном прибывала надежда, что опасность уже не возвратится вновь. Но с ростом этой надежды злее томили голод и жажда. Кто был с детьми и успел захватить с собой съестного, отдал его детям либо при-

берегал для них, а сам терпел наравне с теми, у кого не было во рту ни крошки с прошлого вечера.

Уже клонилось к новому вечеру, но в открытые окна залетал по-прежнему знойный воздух. В духоте вагона и дети и взрослые расслабленно поддавались дремоте. Редко-редко слышался между вздохов чей-нибудь вялый голос.

Но вдруг взорвалось сразу множество голосов, наполнивших весь вагон, и был миг, когда, наверно, в каждой голове пронзающе пронеслась одна и та же мысль: опять!.. Только это был именно один миг, столь же острый, сколько ничтожно краткий и тотчас исчезнувший, потому что из конца в конец вагона шумевший рой голосов звучал каким-то восторгом избавления:

— Хлеб, хлеб! Вода!

Похоже было, будто настезь распахнулись двери школы и под долгожданной звонок горохом высыпали из всех классов на двор ученики и кричат, кричат освобожденно под топот неудержного своего бега.

Случилось это, когда поезд словно ощупью пробирался к станции с длинными платформами. У станционного здания вдоль перрона выстроились, лицом к подходящему поезду, девушки с ведрами, полными воды, отсвечивавшей розовыми кругами на закатном солнце. Корзины с хлебом стояли тут же. Во всей строгой линейке девушек и, очевидно назначенных соблюдать порядок, мужчин, которые расставлены были по самому ранту перрона, виделось что-то озабоченно продуманное, почти торжественное, как перед смотром. Неожиданность могла бы почудиться сном, если бы явь не сдунула обворожения, едва поезд начал отъезжать: люди спрыгивали с подножек, руки тянулись из окон, умоляя, требуя скорее утолить жажду и голод.

Анна Тихоновна с актером вцепились в раму окна, изо всех сил противясь хлынувшим с полок ребятишкам, готовым заодно со старшими отстаивать право на глоток воды, кусок хлеба. В актере пробудилась азартная распорядительность, он покрикивал, не разжимая скрюченных пальцев на раме:

— Сперва ребят! Ребята! В очередь, в очередь! К порядку, товарищи! Хватит всем, всем!

Поданное с перрона ведро он ухватил за дужку, но подтянуть его кверху не мог. Анна Тихоновна помогла ему обеими руками. Вдвоем они подняли и поставили ведро на раму. На них плеснуло водой. Актер кричал, что было духу:

— Разольете! Граждане ребята, не нажимайте! Тише! Порядок!

Но порядок по неизбежности быстро установился сам собой: не хватало посуды. У кого нашлись чашка, манерка, кружка, те протягивали их к ведру через головы остальных и получали воду первыми. Все вокруг смирили свое нетерпение и, замолкая, ревниво провожали глазами каждый глоток счастливцев. Попытка этих счастливцев добиться повторной порции была дружно пресечена. Господство справедливости учредилось, и справедливость, как всегда, потребовала жертв: поили детей, и старшие дети давали пить сначала младшим, а матери думали не о надзоре за ними, но трепеща о том — самим останется ли что-нибудь на дне ведра.

Вряд ли от кого понадобилась горшая жертва, чем от Анны Тихоновны и актера, которые черпали, раздавали воду. Пусть еще дышала она неостуженным теплом кипягильника, но они непрестанно слышали ее зовущий плеск, руки их были мокры, перед глазами сменялись одно за другим обрадованные мгновением лица. Но ведь обязаны же были они показать пример порядка, раз сами призвали к нему других. Актер прильнул было к воде, улучив момент хлебнуть через край ведра, но

Анна Тихоновна одернула доброхотного распорядителя с решимостью, от которой он опомнился.

В эти минуты пылкого общего дела воспрянувшая энергия Анны Тихоновны боролась в ней с изнеможением. Мельком увидела она лицо Цветухина. Он сидел на своем месте, неподвижный, с закинутой головой, прислоненной к стенке купе. Лицо его казалось слепком, второпях сработанным из глины, и он ничем не отличался бы от слепка, если бы не прыгала его нижняя челюсть: он будто откусывал от воздуха маленькие кусочки и жевал.

Получив из рук какой-то женщины кружку, Анна Тихоновна зачерпнула воды, но не воротила кружку, а подняла ее, глянула прямо в глаза ожидавшей женщине.

— Надо дать раненому.

— Бог с тобой! Давай живей,— ответила та.

Перед Анной Тихоновной посторонились. Она поднесла кружку ко рту Цветухина. Его зубы застучали по фаянсу. Вода потекла за ворот рубашки. Он сделал два-три глотка.

— Вам плохо, Егор Павлыч?

— Заснуть бы,— сказал он нехотя.

Она плеснула немного воды ему на голову, потеревила, как ребенка, волосы и обтерла мокрой ладонью его лицо.

— Сейчас я к вам сяду.

Она шагнула назад к окну, глядя в кружку, наполовину еще с водой.

— Попей, попей сама,— вдруг сурово-участливо сказала женщина и в то же время высвободила из ее пальцев кружку, залпом допила остаток, пробилась к ведру, зачерпнула пополнее, осторожно подала Анне Тихоновне.

— Пей!..

Это были первые глотки Анны Тихоновны с тех пор, как мирной ночью, посматривая в любящие лукавые глаза Егора Павловича, она чокнулась с ним вином, и — по нетленному обычаю — они пожелали друг другу счастья. Теперь вода ожгла, как вино, горько-сладкой болью. Анна Тихоновна качнулась. Ее поддержали, усадили рядом с Цветухиным. Она нагнула его голову себе на плечо. И так они остались на скамье, оба с закрытыми глазами.

Взрослая девушка и с ней подросток — пионерка в красном галстуке прошли вагоном, роздали хлеб, и по купе началась дележка подушных пайков. Они были скудны, эти первые пайки войны, но каплей и крохой они зачали веру, что пострадавшие не обречены на произвол, не брошены теми, кого люди зовут «своими». Именно эти «свои», взволнованно приготовившие раненым и беженцам встречу на неведомой станции, именно они заново пробудили доверие к жизни. И разве только прирожденному скептику пришло на ум, что поезд просто случаю обязан счастливой заботой станционного начальства, и этим скудным хлебом, и этой бедной водой. Жизнь тем и стоит, что верит в саму себя, хотя бы грозили отнять ее у человека.

— Евангельское чудо, больше ничего,— сказал толстяк актер, с благоговейной улыбкой дожевывая свой паек.

— Ты, батюшка, помене точи лясы-то,— остановила его старуха.— Знай приличие...

— И верно, мать. Поужинали, давай поспим,— предложил он.

— Тьфу тебе, старый! — отмахнулась она, загоразвивая от него и привлекая к себе свою внучку.

Мало было снов, как мало сна недолгой ночью и бесконечными июньскими сумерками заката и восхода над равниной Полесья. Земля

не отдохнула, лежала мутной, как в похмелье, накрытая душным туманом болот, редких полей, непроглядного леса.

Сказка промелькнула и не повторялась. На одних станциях встречало поезд глухое безлюдье, на других — растерянная суета. Все в вагоне вспоминали поутру, что идут вторые сутки с тех пор, как Брест проснулся в войне. Уже известно стало, что не один Брест подвергся внезапному нападению — назывались город за городом, которые бомбил немец. Но это были слухи, никто толком не знал, верны ли они. Говорили, что война идет по всей границе, с юга до севера. Но и это не принималось за достоверное. Почти дословно на станциях повторялся эпический ответ железнодорожника-украинца, когда его спросили, что говорит наше радио:

— Наших мы увесь день й не чулы. Немец марши грае. Та Гитлер гавкае.

Ничего не менялось в томительной дороге. Надежды оживали перед каждой остановкой и, не исполненные, оставались позади. Испытания неизвестностью, голодом, тоской и болями состязались одно с другим, росли от перегона к перегону, пока вечером поезд не дотащился до Пинска — большого города, породившего в людях задолго до прибытия большие ожидания.

3

На разъездах безмолвно стояли вагоны — разрозненные либо сцепленные в короткие составы. Вокзал бурлил народом, но в бурлении не было и тени той возбужденно нетерпеливой отрады приездов и отъездов, которой обычно полны вокзалы. В гуле сдерживаемых голосов таилась настороженность, будто все друг в друге видели тревогу и всякий пытался ее скрыть, как больной, которому страшно признаться, что у него жар.

Распросы перекрестно захватили тех, кто собрался бежать из города, и тех, кто прибежал с границы. Подтверждалось все худшее, что узнавали беженцы в пути, а все новое, что услышали они по прибытии, не обещало лучшего: истекшим вторым днем войны уже отбыли из города пинские власти. Горожане воочию наблюдали их бегство и вольны были решать на свой страх — уходить самим или оставаться на месте.

Первое, что стало твердо известно беженцам, было приказание немедленно очищать вагоны и всем переходить в вокзальные помещения. В сумятице, царившей около служебных комнат станции, передавали из уст в уста, будто срочно формируются поезда для раненых и беженцев, но тут же говорилось, что сам начальник станции, замкнувшийся у себя в кабинетике, не может ответить — что означает «срочно» и когда поезда будут отправлены.

Как только Анна Тихоновна устроила Цветухина на полу в уголке пассажирского зала среди детей, плачущих или забавляющихся на материнских коленях, на узлах и голых скамьях, она пошла привести себя в порядок.

Пока она продвигалась в очереди к умывальникам, надо было обогнуть плотно сгущенную группу женщин, которые теснились перед старым трюмо. Ей страшно хотелось тоже посмотреть на себя, но темное, в мерклых радугах зеркало было узко, она видела только чужие лица да мелькание рук, работающих пуховками, губной помадой и наскоро оглаживающих прически. Невольно она начала поправлять свои волосы в тот самый момент, как сразу две женщины отошли от зеркала и в просвет она опять увидела чье-то чужое лицо и тонкие руки, красиво и странно знакомо закладывающие прямые светлые пряди волос за уши. Вдруг ее руки остановились, и по остановившимся рукам отражения

она узнала в чужом лице себя. Она тут же зажмурилась, сжала в пальцах лицо и так, не в силах глянуть на свет, подталкиваемая очередью, дошла до умывальника.

Она старательно, до привычного похрустывания кожи, растирала руки под краном в теплой, казавшейся липкой воде и потом долго мыла лицо, ощущая пощипывание царапин на нем, опасаясь сорвать подсохшие корочки и в то же время словно бы надеясь смыть начисто все то отталкивающее чужое, что ужаснуло в зеркале. Ее торопили ожидавшие очереди. Она боялась снова взглянуть на себя и вместе неудержимо стремилась как можно скорее сделать это, настойчиво пробиваясь к загороженному женщинами зеркалу.

Прильнув к нему почти вплотную, она подробно рассмотрела лицо. Запекшаяся ссадина резко прочеркнулась от виска к губам. Мелкие царапины, будто высеянные зерна, окропляли щеку. Мочку правого уха отяжелела круглая черная корка. «Это брестская,— подумала она,— точно клипс». Ее поразили не столько эти ссадины (она была уверена, что от них не останется следа), сколько омертвевшие черты лица, его одутловатость, и она вспомнила, что была такой только однажды, совсем молодой — перед родами. «Ужасно постарела»,— сказала она себе, кончиками пальцев ощупывая одну за другой каждую складочку лица.

Рядом с нею маленькая женщина-пышка, не замечая ее, всецело поглощенная своею яркой, пухленькой мордочкой, пудрилась с деловитой и нежной поспешностью. Когда она щелкнула крышечкой пудреницы и, послыняв пальчики, начала ими ловко отряхивать крашенные ресницы и протирать наполовину выщипанные бровки, Анна Тихоновна протянула к ней сложенную лодочкой ладонь.

— Вы не отсыплете мне чуть-чуть пудры? — нерешительно попросила она, движимая потребностью поправить свою беду и смущенно завидуя довольной собой маленькой особе.

Та метнула на соседку глазами через зеркало, сразу обернулась к ней всем пышным, но поворотливым станом, с изумлением оглядела поцарапанное лицо.

— Оттуда? Да? — спросила она быстрым шепотом.

— Да,— ответила Анна Тихоновна, мигом поняв вопрос.

Пышка подняла пальчик к ее лицу.

— Это вас... о н и? — придержала она свой шепот на слове о н и.

— Да.

С каждым «да» маленькую женщину передергивало как от озноба, она все шире распахивала подведенные свои глаза, и могло показаться — вот-вот убежит, если бы не мешало убежать любопытство, пылавшее в этих глазах. Ни разу не мигнув, она безошибочным движением открыла пудреницу, потрясла ею над ладонью Анны Тихоновны и в то же время не утерпела с новым вопросом:

— Страшно?

— Где страшно? — едва уже не шутливо спросила Анна Тихоновна, щепоткой беря у себя из горсти пудру и накладывая ее на царапины.

— Там,— прошептала пышка, больше прежнего ужасаясь.

Анна Тихоновна растерла остаток пудры в ладонях, мягко омыла ими все лицо, оторвалась от зеркала.

— Не очень,— медленно и учтиво сказала она.— Не очень страшно,— повторила, засмеявшись, и опять оборотилась к зеркалу.

— Господи! — перепуганно воскликнула пышка и начала было выбираться из толчеи, но остановилась, откопала на дне своей пузатой, чем-то звякавшей и шуршащей сумки палочку губной помады, подала ее Анне Тихоновне: — Натё!

— Что вы! Зачем?

— Нате, у меня две! Возьмите! Ах, скорей, пожалуйста, скорей! — неожиданно со слезой в голосе пробормотала пышка, насильно всовывая помаду в руку Анны Тихоновны, и вдруг юрко пронырнула между женщин и исчезла.

Без долгих колебаний Анна Тихоновна мазнула по губам помадой, тщательно разровняла ее пальцем. Цвет ей понравился. Он был не темный и не светлый. Он был ее цветом. С чувством, похожим на удовольствие, испытываемое после переодевания, она возвратилась в зал и, увлеченная людскими потоками, поддаваясь первому из них, очутилась на улице.

У нее не было никакой цели или перед ней было так много целей и они так заплелись в голове, что надо было их немедленно расплести, расставить в разумном порядке. Она была уверена, что сейчас же что-то предпримет, как только уяснит, на каком месте находится это «что-то». Вернувшиеся к ней силы требовали, чтобы она добилась посадки в поезд для раненых или хотя бы в беженский; чтобы Цветухину сделали наконец настоящую перевязку; чтобы вместе с ним она попила чаю из стакана, а не пресного поила из жестяной кружки на цепочке, за которым они уже отмаялись в очереди к кипятивнику; чтобы послать в Тулу телеграмму о том, что жива, несмотря ни на что, — жива и едет домой; чтобы прежде всего, чтобы сию же минуту поесть! Это главное, с этого и начинать — с какой-нибудь еды. Тогда остальное само собой отыщет свой порядок, и чего она ни предпримет, все разом осуществится.

Ах, если бы она зажимала в кулаке хоть самую малость денег вместо губной помады — куда все было бы проще! Кругом сновал, толпился народ, осаждая ларьки, магазины, оцепляя продавцов. Не было видно человека без кулков, кошелок в руках — всех била лихорадка купли и вдруг очнувшегося от дремоты обычая мены тряпья на продукты. Что могла бы выменять на еду Анна Тихоновна? Она все катала пальцами в горсти холодный футлярчик с помадой.

Мужчина того редкого сложения, которое называют представительным, в охалку прижав к бостоновому отличному своему пиджаку тяжелые буханки хлеба и ворох пакетов, шагал наискосок через дорогу к старенькому рыжему автомобилю. Перед ним отворилась дверца, и он, наполовину всовывая громоздкое туловище в машину, вывалил на сиденье всю добычу. Анна Тихоновна подбежала к нему.

— Скажите, вы уезжаете... вы оставляете... — заговорила она, никак не попадая сразу на подходящее выражение, и вдруг, поймав его, выпустила очередь, как в мишень: — Эва-ку-иру-етесь, да?

Спиною вполкорпуса к Анне Тихоновне представительный незнакомец, в пару с шофером, перекладывал покупки с переднего сиденья назад, где стройно высились чемоданы.

— Допустим, — громко ответил он, пыхтя и не оглядываясь. — Что от меня желаете?

— У меня раненый. Известный артист. Он не тяжело, легко ранен. Я тоже. То есть артистка. Народная артистка республики. Мы...

С трудом нагибаясь, мужчина вытащил из дверцы туловище, распрямил себя в рост перед Анной Тихоновной, обмерил ее отчетливым взглядом.

— Фамилия как?

— Улина. Анна Улина.

— Не слышал. А его как?

— Это уважаемый, старый артист...

— Постойте, это который... — не давая досказать, спросил он с некоторым интересом. — Этот, как его? Знаю, знаю! Видал...

— Конечно, очень возможно, он ведь популярен, его имя...— обнадеженно торопилась Анна Тихоновна, но он, не слушая, говорил вместе с нею:

— Видал... Так он что, ранен? Где это его? Третью дни сидели еще с ним в соседних ложах... Овацию ему устроили. Как его, черт, вылетело!.. Скудин, ну, как же! Скудин!

Он обернулся к шоферу, довольный, что вспомнил:

— Слышал? Приезжий-то актер попал под бомбежку, а?

Она сказала удивленно:

— Почему Скудин? Я говорю о Цветухине. Артист Цветухин.

— Цветухин? — будто даже оскорбился незнакомец. — Народный?

— Нет, но поверьте мне, известный драматический...

— Не слышал, — опять перебил он, теперь уже спиной вталкиваясь в машину и в повороте прижимая своим весом шофера.

— Возьмите, прошу вас, довезите нас только до первого города! — все быстрее говорила Анна Тихоновна, ухватив дверцу, которую он подтягивал к себе.

— Это как такое взять? — Прежним строго отчетливым взглядом он посмотрел и кивнул на чемоданы. — Куда взять?

— Поймите, я забочусь, я сопровождаю раненого!

— Вхожу в положение. Раненых много. Хлопочите, чтобы в организованном порядке... Сожалею!

Он захлопнул дверцу. Шофер нажал стартер. Анна Тихоновна закричала, спохватываясь:

— Вы говорите — Скудин! Он здесь?

— Вчерась был здесь, — раздался сердитый голос за стеклом, — а нынче... Что он, дурак — сидеть в Пинске?

Автомобиль уже двинулся. Она не расслышала последние слова, постояла мгновение, не шевельнувшись, и скорым, решительным шагом пошла на вокзал.

Цветухин сидел на старом месте, протянув на полу ноги. У него был сонный вид, он тихо покачивался, поддерживая руку, но улыбнулся Анне Тихоновне.

— Ты долго, — слабо сказал он.

Она присела против него на корточки.

— Здесь Скудин, в городе! — ясно и с такой значительностью проскандировала она, будто одного этого известия только и ждал Егор Павлович.

Но он едва качнул головой.

По ее убеждению получалось, что Скудин поможет во всем — у него связи, несравненное влияние, его повсеместно уважают, он необыкновенно дружески относился к Анне Тихоновне и, конечно, не мог позабыть Цветухина: в провинции они начинали карьеру в одно время. У Скудина, безусловно, должны найтись деньги, он с радостью даст взаймы. Анна Тихоновна, не теряя ни минуты, разузнает, где он остановился (ну там по телефону, через театр — как удастся!), и пойдет к нему.

— Потерпите, Егор Павлович, миленький, совсем еще немножечко, часочек! Потерпите — и сегодня мы ужинаем в буфете. и (вот увидите!) отправимся с первым же поездом!

Пока она выкладывала свой план, Цветухин слушал с безразличием, но стоило ей дойти до ужина, как он снова улыбнулся и на этот раз с хитринкой.

— Синица в небе, — сказал он. — Ступай лови ее у своего Скудина. А я — чем бог послал.

Он не спеша достал из кармана и положил ей на колени бумажный сверточек.

— Оставил тебе. Я уже поел.

Это был ломоть черного хлеба в пол-ладони, с побелевшими сырыми краешками ноздрей по поверхности.

— Он не мокрый, он посоленный. Ешь, ешь,— приговаривал он.— Соль — это сахар нищих, изрек когда-то Беранже.

Она мгновенно вспомнила, что он уже говорил об их нищете — тогда, под кладбищенской стеной, до ранения,— и хотела попрекнуть его, но не удержалась, откусила подряд раз, другой от пахучего ломтя и с полным ртом, прожевывая, спросила:

— Откуда это?

Он показал на окружающих женщин, молча следивших за ними.

— Не без добрых людей...

— А я все-таки пойду за нашей синицей! И вы, милый, увидите, увидите! — сказала она с горячим упрямством и быстро поднялась.

Продолжая с наслаждением жевать, она погладила взлохмаченную гриву Егора Павловича. Он поймал ее руку за палец, заставил нагнуть-ся и сказал на ухо, ласково подмигивая:

— Война войной, а грим-то наложить исхитрилась!..

Она засмеялась и ушла, прокладывая себе дорогу зубчиком в усеявшей весь пол непокойной толпе, ощущая приток волнения от не сравнимого ни с чем запаха ржаного хлеба.

4

В городе, спрашивая у встречных, как пройти в театр, Анна Тихоновна рассудила, что надо также искать и лучшую гостиницу: еще бы. — где иначе подобало остановиться актеру Скудину? Но узнав, где гостиница, она испугалась, что не застанет Скудина, что он мог уехать, а может быть, и вовсе не жил тут — зачем бы ему понадобился какой-то Пинск? О чем напоследок сболтнул отъезжавший в автомобиле барин? (Она с негодованием припомнила, как сердито отряхивал он свой бостон, глядя на нее через стекло, и мысленно обозвала его не только барином, но и чинушей и рвачом.) И все же, несмотря на возраставшую боязнь не найти Скудина, она почти влетела в неосвещенные двери гостиницы и в полутьме, сквозь толчею людских теней, между наставленных повсюду чемоданов, тюков, добралась до портье. Ей сразу ответили:

— Они у себя.

— Правда? — вскрикнула она на весь вестибюль вне себя от счастья.

Ее особенно в этот момент восторгнуло позабытое словечко — «они». Это так шло Скудину, его маститости, его ореолу — эта старомодная, заочная почтительность множественного числа — они! Впрочем, подумалось Анне Тихоновне, когда она чуть не ощупью поднималась в номер по темной лестнице, впрочем, Скудин мог ведь находиться у себя не один, и, стало быть, она сочиняет чепуху о множественном числе. Все равно он останется в единственном числе — он, единственный в своем роде, способный вызвать восторг в эти страшные дни.

Она постучала и услышала за дверью стариковский, с трещинкой голос:

— Пожалуйте! Кто там?

В номере пылала люстра, окна были занавешены. Скудин стоял посередине, под лампами, держа стакан с чаем, притеняя другой рукой лицо и щурясь в переднюю, куда вошла Анна Тихоновна. В сторонке от него, на полу, спиной к передней, кто-то затягивал ремнем объемистый узел в портплед. Так как длилось молчание, то этот работавший человек, про-

должая упираться в узел коленкой, покосился назад, вглядываясь в темноту передней. Через мгновение он выпустил из рук еще не застегнутый ремень, сам повернулся со скоростью свистнувшего в пряжке ремня и сел на узел, раскрыв рот. Он, наверно, закричал бы, но Анна Тихоновна стремглав вошла в комнату.

— Неужели не узнали? Прохор Гурьевич!

Скудин отступил на шаг. Чай слегка брызнул из его стакана на ковер.

— Голубушка,— проговорил он, и голова его задвигалась в том слабом трясении, которое отличает чувствительных стариков.

В то же время вскочивший с узла человек, опомнившись, воскликнул неудержимо восхищенно:

— Прохор Гурьевич! Да это наша... Бог ты мой! Анна Тихоновна! Нечаянная радость! — кинулся он к ней, прихватив по пути и подставляя стул.

Взгляд ее невольно отошел от Скудина: перед ней расшаркивался, пританцовывая по мягкому ковру, администратор брестской труппы. На лице его плясали самые противоречивые мины, и казалось, раз начав восклицать, он не мог остановиться:

— Знаю! Все знаю и понимаю, все вижу, несравненная Анна Тихоновна! Вижу, что пострадали! Клянусь, вся душа истерзалась о вас! Подумать, вы меня сочтете своим злым гением! Но не вините, не вините! Видит бог, с опасностью для жизни искал вас, искал по всему Бресту! В страхе перед смертью — все ради вас, трепеща за вас, милейшее вы создание! Разве я иначе мог? Примчался к вашей квартире — вас нет. Думаю, Цветухин собирался вечером к вам, не увел ли вас куда? Я к нему. Я туда, сюда! Спросите вот Прохора Гурьевича: я выложил ему все, как есть. Правда, Прохор Гурьевич, правда?

Он лгал слишком уже явно, и Анна Тихоновна, не перебивая, только сильнее и сильнее кусала губы. Скудин участливо поглядывал на нее, вздыхал, но, видно, ничего не имел против, что зачин неожиданной встречи проводится хоть и дешевым, но опытным оратором.

— Вы гневаетесь на меня, Анна Тихоновна. Вы думаете — перед вами похититель вашего спокойствия, вашей безопасности! Вывез, мол, из столицы и бросил на лютую казнь. Будь проклят час, когда я посмел увлечь вас на роковой этот шаг! Ведь он мог нам стоить вашей жизни! Да кто же во всем свете, кроме проклятых фашистов, предвидел сатанинский их план? В несчастное утро, когда я... ведь я под бомбами, в пламени огня, забыв самого себя...

— Вы забыли не одного себя, а всю труппу, с которой обязаны были... — оборвала его Анна Тихоновна, но оратор не дал ей кончить.

— Труппу? — спросил он с видом уязвленной гордости. — Да труппа-то наша, если угодно знать, Анна Тихоновна, труппа теперь от здешних мест предалеко-далеко, если не подъезжает уже к Москве! И кто, как не ваш покорный слуга, обеспечил ее транспортом? Сам-то вот на силу добрался до Пинска, и ежели бы не благодетель Прохор Гурьевич...

Он сменил гордый тон на растроганный, но Анна Тихоновна остановила его резко:

— Вы, кажется, в такие минуты привыкли падать на колени?

— В такие минуты! — негодуяще переговорил он. — Не ждал, не ждал от вас злопамятства. Да ведь это же тра-ге-дия! Исторические минуты! В такие минуты короли Лиры рождаются!

— Или бессовестные болтуны,— добавила быстро Анна Тихоновна и стала к нему спиной.

— Миша, уймись,— с болезненной мольбой сказал Прохор Гурьевич,— пакуй шурум-бурум, дай поговорить.

Он нежно взял за обе руки Анну Тихоновну, усаживая ее, и сел напротив, касаясь ее колен своими. Глаза его источали добрый, стариковски жидкий голубой свет. Не отпуская ее рук, тихо оглаживая их, он опять назвал Анну Тихоновну ласковым именем: голубушка!

Вдруг собрав силы, она высказала ему одним духом все, что пришлось перенести ей с Цветухиным: как их подобрала на дороге молодежь брестской труппы, как после бомбежек под Жабинкой выбирались они с поля смерти, не зная, кто из труппы уцелел, не понимая, каким чудом уцелели они сами. Когда она помянула первый раз имя Цветухина, Прохор Гурьевич взялся за сердце:

— Ранишь меня, ранишь!

Голова его затряслась чаще, он, видно, старался пересилить слезы.

— Что ж ты все врал, Миша? — сказал он огорченно своим душевным голосом с трещинкой, оглядываясь на беднягу, который потерял речь и сидел с закрытым лицом.

— Ранишь, ах, ранишь, — стонуше причитал Скудин, вновь обращая кротко слезящиеся глаза к Анне Тихоновне. — Рассказывай, душенька, как оно в сам-деле было, рассказывай. Ах, ах!

«Ужель притворство? Какой артист!» — с удивлением думала она, слушая его вздохн, страдая за себя вместе с ним и отгоняя непрошено обидную мысль: нет, самой природой, казалось, ему было отказано в лукавстве. Он плакал как ребенок.

...Прохор Гурьевич Скудин был одной из наиболее видных примет одушевленной театральной жизни Москвы. Уроженец старой столицы, он в молодости, как делали нередко москвичи, ушел искать свою звезду в провинцию. Ему не очень долго пришлось испытывать гороскоп — счастливая планета, поведив его по губернским сценам, вернула домой почти готовым любимцем публики. Натура его изобиловала качествами, которые в особо красочном подборе встречаются в московских талантах с их непринужденной простотой повадок, с громами смеха и задушевностью бесед, с умом суждений, радушной шуткой и хитрой подковыжкой, с бесшабашным размахом в пировании — до дыма коромыслом и с тонким соображением насчет копейки. Он был жарок в работе и терпим к мелким прорухам, умел простить, но раз невлюбив или разгневавшись, помнил нелюбовь и туго сменял гнев на милость. Зато в симпатиях бывал прямо неистов, требуя себе не менее двойной меры ответного чувства. Все вперемежку уживалось в нем совершенно так, как в русском его лице уживались кое-как сметанные и словно бы на разный масштаб закроенные черты, связь которых, однако, была на редкость привлекательна. Связью этой и служила его чувствительность, столь живая, что Скудин слыл у всех, кто бы его ни встретил, человеком отзывчивой, нежно-женственной души.

Судьба Прохора Гурьевича обладала полным равновесием таланта с оценкой его зрителем, что не так уж повседневно в делах искусства. Газетам ничего не приходилось о нем выдумывать, они только низали на строчки то, что думал о нем зрительный зал, обмануть который не легко артисту, но гораздо труднее критику. Популярность его была буквальной, то есть была народностью его имени, и ей во всем помогала живописная натура Скудина. Словом, он считался одним из чудес артистического мира. О нем так и говорилось, случись ему выступить даже в провалившемся спектакле: «А вот Скудин все-таки был чудесен».

Личное знакомство с Анной Тихоновной произошло у него около десятка лет назад. В то время он пробовал свои силы в режиссуре. Исполнитель бытовых ролей, он превосходно знал театр Островского и решил, что приспела пора блеснуть перед Москвой любимым классиком в истолковании постановщика Прохора Скудина. Он был упоен начатой рабо-

той, и его целыми днями облепляли, как комары, люди всех театральных цехов. Тогда-то Анна Тихоновна и явилась к нему с письмом от своей покровительницы Гликерии Федоровны Оконниковой.

Очень долго для своего возраста, лет уже за тридцать, успев добиться известности на сценах Поволжья и отправить в школу дочь, Анна Тихоновна сохраняла все еще девичью статью, и иногда на нее нападала не-оборимая застенчивость. Войдя в пышную комнату Скудина и застав его окруженным людьми, она остановилась в уголке. Кончался какой-то спор, все поднялись, с шумом топтались у стола, так что она ничего не видела, кроме спин. Потом грянул дружный хохот, несколько человек пошли к двери, жестикулируя, смеясь и не обращая внимания на Анну Тихоновну. Позади стола видно стало плосколицую, с большими ушами, седую голову на коротком, ловко округленном туловище. Нерешительность приковала Анну Тихоновну крепче к месту: словно жар хлынул на нее от этой крупной скудинской головы с лицом, застывшим в изумленной серьезности, и с маленькими голубоватыми, ярко-лукавыми глазами, которые вопросительно передвигались с одного собеседника на другого, будто недоумевая, чего они хохочут. Вдруг Скудин крикнул в тот дальний угол, где стояла Анна Тихоновна:

— А вы, девочка, зачем?

— У меня к вам письмо,— сказала она, не решаясь сделать шага.

— А! Ну, погодите, милая.

Минуту спустя собеседники кончили разговор, вышли, и Скудин поманил ее согнутым указательным пальцем, как манят детей. Он, не присев, разорвал конверт письма воткнутым под язычок толстым красным карандашом, насадил роговые очки. Окончив чтение, ниже нагнул голову, точно собираясь боднуть Анну Тихоновну, пристально рассмотрел ее поверх очков:

— Ну, хорошо. А где же эта самая дама Улина?

— Это я.

Он встряхнул голову кверху, разглядывая Улину уже через очки, вдруг скинул их, бросил на стол.

— Деточка моя! Да что же вы сразу-то... Чего же вы там забились в угол, а?

Он тихо шагнул к ней, с благоговением взял ее голову в ладони и, дав ей ими на щеки так, что у нее губы выпятились дудочкой, притянул к себе, чуть наклонил и поцеловал в темечко. Глаза его быстро заволочились слюдяной пленочкой влаги.

— Как же, как же, родная,— говорил он проникающим в душу мягким голосом,— счастлив, счастлив! Довелось, увидал... Ах, что же это, а? Ну, совсем ведь девочка! А сколько уж лет о вас слышим, как же, как же... То-то вас за глаза зовут все Аночкой! Вон ведь и тетя Лика пишет... Вон как, вон...

Он повел Анну Тихоновну к дивану и хоть не очень долго, но и не торопясь, посидел с ней, продолжая растоплять ее сердце своим воркованием, изредка поглаживая то одну, то другую ее руку.

Оказалось, в пьесе, которую он собирался ставить, не совсем удачно «расхотелись» роли и как раз такая актриса, как Улина, могла бы подойти вместо намеченной не вполне подходящей исполнительницы. Скудин поэтому, как подарком судьбы, был порадован приходом Анны Тихоновны и обещал всенепременно и наискорейше ее посмотреть, чтобы потом уже и пригласить на постоянную работу в Москву, что ему в письме советовала сделать почитаемая Гликерия Федоровна.

— Слово ее священо,— говорил на расставание Прохор Гурьевич,— тетя Лика для меня — закон. А в столицу, милая, вам давно пора.

Что-то, впрочем, помешало ему посмотреть Улину, пока она была в

Москве, — из радужного плана ничего не получилось. Но знакомством с Прохором Гурьевичем Анна Тихоновна была до глубины тронута и эту первую встречу с ним называла незабвенной.

Немного позже ей довелось быть на юбилее Скудина (чествовали его нередко, но и не настолько часто, чтобы лаврам примелькаться, а красно-речию хвалителей поблекнуть). Он был радушен с Анной Тихоновной, спросил, не сетует ли она на него, и, услышав восторженное «ни капельки!», сказал, что ведь и нельзя сетовать: на режиссерском поприще ему не повезло, и залучи он Улину в московский театр, прибавить ей успеха он не сумел бы. Слава, мол, у нее и без Москвы на всю Россию. Пусть любезность прозвучала благожелательно-шутливо — Анне Тихоновне услышать такое было лестно. Но еще больше взволновало совсем уже неожиданное признание Скудина, когда она на банкете подошла к нему с бокалом вина и он, чокнувшись, тихо взял ее за локоток.

— Единственно чего я хочу вам, это счастья, — сказал он так, что слышно было ей одной. — А свались на вас какая беда, осчастливьте и меня — сообщите, дайте случай доказать, как вы мне дороги.

Анна Тихоновна пошла к своему месту, едва не шатаясь. Тетя Лика, которая сживала званой гостьей на всех больших актерских юбилеях, тотчас привалилась к ее ушку:

— Чего он тебе этаким бесом нашептал? Присватывался, что ль?

— Ах, он такой чудесный! — воскликнула Аночка, сама, как юбиляр, сияя.

Она радовалась, что чудодей заставил ее гордыню трепетать от похвалы. Радовалась, что, ни звуком не намекнув Скудину о невыполненном обещании, убедилась, как крепко он о нем помнит (хотел ведь выполнить, но — что поделаешь — не мог! Совестьлив, значит, и добр)...

Теперь, в пинской гостинице, опять лицом к лицу с Прохором Гурьевичем, она покорялась доверию к нему, которое не переставало теплиться в ее памяти, а тут начало быстро согревать сердце.

— Сбегай, Миша, насчет чайку, — сказал он. — Звонками-то буфетчика не дозовешьсяя.

— Один минут, Прохор Гурьич! — имитируя полового, выкликнул оживший администратор и даже кинул себе через руку, для пущего сходства, какую-то тряпчонку и лакейски засеменял к выходу.

Сценка была словно выхвачена из старомосковской чайной. Да ведь и само имя Прохора Гурьевича купеческим созвучием своим настраивало на былую московскую гамму, и этой нечаянной актерской импровизации Анна Тихоновна улыбнулась.

На мгновение иной мир отразился в ее улыбке — мир превращений, игры и наитий, родной мир, о котором за истекшие два дня она позабыла думать.

5

Наедине с Анной Тихоновной Скудин без заминок и междометий перешел на деловую речь. Он отдавал себе отчет, насколько Улина и Цветухин нуждались в помощи, и сказал, что не только всей душой хочет, но считает долгом друга сделать для них все, что в его силах.

— Да вот беда, сам-то я на казарменном положении.

— Как — на казарменном?

— А так. Начальством здешним настрого приказано никуда не выходить, сидеть, дожидаться, чего прикажут дальше. И театр тоже сидит. Всей группой смирененько ожидает телефонных распоряжений.

— Но все начальство, говорят, сбежало? — не утерпела Анна Тихоновна.

— На телефонах, кого надо, оставили...

Тут Прохор Гурьевич картинно рассказал, как он очутился в Пинске и что испытал за два первых военных дня. В истории было нечто похожее на злключения Улиной, хотя в более легкой, воодушевляющей вариации.

Скудин приехал посмотреть репетицию пьесы с участием двух дорогих ему учеников. Появление его не обошлось без чествования, несколько будто бы не подготовленного, однако сопровождавшегося овациями. Прохор Гурьевич, говоря об этом, повел ручкой на букеты пионов с охапками поздней махровой сирени, которые пышно громоздились на полу и столиках за спиной Анны Тихоновны (ароматы перенасыщали просторный номер — она это все больше чувствовала). В воскресное утро сон Прохора Гурьевича потревожен был отдаленным грохотом. С улиц виднелся на горизонте струящийся дымок. Передавался слух, будто во время учений на одном из аэродромов возник пожар. Кое-кто с сомнением покачивал головой, но легковеры были в большинстве — город собирался проводить праздник как ни в чем не бывало.

Утренняя репетиция в театре шла не просто своим чередом, а на том взлете всех способностей коллектива, когда артисты знают, что за игрой следит обожаемый ими мастер. Он воспламенял их. Лицо его, молодея, вторило каждой удаче исполнителей, передергивалось болью на каждом промахе, и тогда он хватался за блокнотик, черкал в нем, не переставая косить глазом на игровую площадку.

— Вдруг слышу (здесь Прохор Гурьевич перемежил рассказ паузой), отворяется дверь, кто-то входит в репетиционный зал — и тихое этакое шевеление на стульях позади меня. Я было сморщился, думал обернуться, но... не поверишь: шаги!.. Ох, милая моя, кабы ты слышала! Не знаю, что было у него на сапогах, у этого пришельца, — чупун иль камень! Только я как сидел, так и остался. Потом слышу рядом где-то голос — негромко, но колюче так для уха выговаривает: «Скажите Прохору Гурьичу, чтоб остановил репетицию». Я вздрогнул... Понимаешь? Кто посмел, думаю. Но — опять те же шаги... И проходит передо мной на площадку, чуть не прямо к артистам, вроде бы замухрышистый человек — ну, не понять, он ли, этакое росточка, нагнал на меня страху? Останавливается, оглядывает нас и опять так негромко говорит: «Товарищи! Сейчас по радио...»

Прохор Гурьевич махнул рукой.

— Как в бреду! — прошептал он и съезжился, пригнулся в кресле.

Анна Тихоновна потянулась его поддержать, но он выпрямился.

— Одно скажу: шаги!.. Кто со мной их слышал, запомнит на всю жизнь. Каменный гость!..

Он подождал, легонько потряс у большого своего уха согнутым указательным пальцем, вдруг замер, прислушиваясь к чему-то, и было это так заразительно, что Анна Тихоновна тоже прислушалась. Но он беззвучно засмеялся.

— Вообрази! Это был председатель исполкома. Встречал меня на вокзале. С букетом. Речь мне сказал. А в эту минуту, как явился на репетицию, я его не признал. Подменили человека... Ну, что дальше рассказывать? Кинулись к радио — немцы марши свои барабанят со свистульками: там-тарарам, фить-фить-фить! Чуть Москва прорвется — опять что есть мочи там-тарарам. Высыпали мы на улицу, а уж тут гонка машин с беженцами. Так-то вот...

Она слушала Прохора Гурьевича, не прерывая. Его беда рядом с той, которую перенесла она, казалась ей разве что беспокойным стечением обстоятельств. Но он страдал, ей было больно смотреть на него, и только не исчезала из головы одна мысль — зачем же он все время уходит

ст самого главного: как быть ей дальше, на что надеяться? Она собралась вернуть его к этому главному, когда он неожиданно спросил:

— Как ты, в общем, думаешь обо всем?

Он увидел, что она не поняла его, удивился, настойчиво сказал, втолковывая:

— О войне, о войне!

— В общем?.. Я не подумала еще. Не успела. Больше думала о том, что под носом...

Она ладошью обвела вокруг своей исцарапанной щеки, не дотрагиваясь.

— Ах, ах! — зажмурился он. Жалостливо смялись его морщины, но он пересилил волнение и стал говорить, сам себе задавая вопросы один другого жестче.

— По пословице рассчитал действовать немец? Обманом, мол, города берут? Угоститься к нам идет? Нагишом от нас домой воротится! Нагишом!

Разгневанный, вскочил, сделал несколько поспешных узеньких шагов, остановился у незастегнутого портплекда, прижал руку к сердцу, усмиряя его.

— Сперва бы только нас догола не очистил,— сказал тихо.

— Я-то уж почти голая! — с горьким смешком отозвалась Анна Тихоновна и, распрямив ноги, показала на них.

Прохор Гурьевич обернулся, воскликнул изумленно:

— Не успела и чулок надеть?!

— Одним перетянула Цветухину руку, другой — не знаю. Сняла... потеряла.

Вдруг он чуть не подбежал к ней, нагнулся, быстро сказал:

— Завтра поутру начальство обещает вывезти меня машиной. Не обманет — возьму тебя с собой. И Егора возьму... Чш-ш! Молчи!

Она ухватила его шею, готовая повиснуть на ней.

Он вырвался, ткнул пальцем на дверь, еще сильнее зашипел: «Тш-ш!»

Что-то звякнуло в передней, и в ту же секунду раздался голос администратора:

— Насилу добился! Выстоял! Вымолил!

Расшаркиваясь, он внес на блестящем подносе чайник и стаканы.

— Вашим именем, Прохор Гурьич, вымолил. Магическое у вас имя! Буфетчик голову потерял. Один за всех! А как услышал ваше имя...

— Ладно, ладно, Миша,— говорил Скудин, нюхая, каков заваренный чай.— Куда спрятал лимон? Достань живей. И сухариков. Сухарики оставались, подай тоже.

Он уселся, вынул из жилетного кармашка ножичек, отрезал горбушечку лимона, налил чаю, аккуратно запустил в стакан сахару, помешал ложечкой.

— Подвигайся, Аночка, к столу.

Пока она глядела, как медленно длилось это священнодействие, у нее кружилась голова. Но с первыми глотками кровь встрепенулась в ней, окутывая мягким теплом. За всю свою жизнь, кажется, она не испробовала ничего похожего на такое лакомство богов! Глядя в расплывающееся лицо Скудина, она видела себя — как больше и больше она ему нравится, как хорошеет, становится собою в его глазах.

— Ах, если бы стаканчик этого чаю нашему Цветухину!

— Голубушка,— в смущении развел руками Прохор Гурьевич,— чего было бы лучше, когда бы я вас обоих взял к себе в номер!

— Что вы, что вы! Нам бы с Егором Павлычем только чайку на заварку. Да разве еще на придачу в кулак... рубликов пять. А уж (Анна

Тихоновна мельком взглянула на администратора), а уж... выстоять да вымолить на вокзале кипятку я сумею.

Все еще не опуская разведенных рук, Скудин потряс ими с безнадежностью.

— Не поверишь, милая: сижу на бобах!.. Театру нынче из Минска дали распоряжение — взять в банке деньги, раздать штатным работникам. Я-то ведь не в штате!.. Покумекаешь! (Он слегка щелкнул пальцем по лбу, потер его, собираясь с мыслями.) — Вот тебе мой совет, — сказал он твердо. — Отправляйся-ка сейчас с Егором в театр. Актеры везде свои люди. Поделятся, чем богаты. Переночуете. А утром прямо ко мне.

Он оторвал от газеты четвертушку, завернул надрезанный лимон, положил его перед Анной Тихоновной. Поднялся, достал из брючного кармана смятые деньги, вытянул за уголок синенькую бумажку, шепотом повторил:

— Чем богаты... — И присоединил бумажку к лимону.

Она тоже встала, прильнула к нему. Он оглянулся, строго сказал: — Миша. В чужом городе и днем потемки. А сейчас на улице, поди, глаз выколи. Покажешь, как идти в театр. Да смотри...

— Нет! — не дала кончить Анна Тихоновна. — Я сама. Я знаю.

Она сжала руку Прохора Гурьевича и, быстро выпустив ее, пошла к двери.

— Да что ж ты, Аночка! — испуганно вскрикнул он, схватил лимон с деньгами, догнал гостью в передней. — Неужто обиделась на старика? На, на! — Вдруг заговорил на ухо: — Мишка прибился ко мне. Что поделаешь! Не выгонять, чай. Ты завтра приходи с Егором пораньше. Бог даст, устрою вас обоих.

Анна Тихоновна обняла его. Сказать что-нибудь в ответ она не могла — залубенело горло.

Но порыв нахлынувших сил чудом нес ее по темной лестнице, и людской толчеей вестибюля, и по сумрачной улице, пока она не спохватилась, верно ли идет? Прохожий показал дорогу на вокзал — «вон куда пошла машина, прямо». И если бы не мрак, она бегом кинулась бы этой дорогой — прямо, прямо. Ей чудилось — все теперь ясно, все распрямилось, стало видно далеко впереди. Отлегло от сердца, и она почти пожалела, что не простилась с болтуном администратором. Много ли спросишь с человека в дни таких потрясений? Ну пусть несчастный прибился к Прохору Гурьевичу. Каждый ведь брошен на произвол, каждый ищет, к кому бы прибиться. И счастлив, кто встретит великодушие, как встретила его Анна Тихоновна.

На вокзале мудрено было отыскать Цветухина. Над дверями и по переходам одиноко светились лампочки, обмотанные синими тряпицами, а в зале ожидания еще не сделали затемнения и царствовала тьма. На ощупь пробираясь среди человеческих теней, она по памяти старалась угадать, где место, которое занимал Егор Павлович. Не раз и все громче она звала его, пока наконец он не откликнулся и перед нею не заблела нерывяз его руки, когда он привстал со скамьи.

— Вот она, наша синица! — бормотала Анна Тихоновна, развертывая лимон и поднося его к лицу Егора Павловича.

— Гм... Это что? От Прохоровых щедрот?

— Да, да! Я говорила — вы не знаете, каков он, наш чудесный Прохор Гурьич, не знаете!

Она наскоро выложила план, рожденный в номере отеля и выросший в ее воображении до воздушного замка. Слова ее взбудоражили Цветухина — он заявил торжественно, что чувствует себя мобилизованным. За время отсутствия Анны Тихоновны ему сделали в мед-

пункте вокзала перевязку, и на вопрос, хорошо ли сделали, он отговорился, повеселев:

— Чулок был лучше.

Он заторопился с выполнением ее плана из трех пунктов: напиться чаю, послать телеграмму в Тулу, отправиться на ночевку в театр. Они поплыли друг за другом в слепой темноте зала, обсуждая по пути, что написать в телеграмме Извекову. Текст вызвал нечаянное разногласие. Анна Тихоновна составила такой: «Жива здорова возвращаюсь».

— А про меня? — тотчас спросил Цветухин.

Они тут же столкнулись с каким-то встречным. Когда разминулись, она ответила:

— Я вас привезу сюрпризом.

— А сюрприз не получит от твоего Кирилла по затылку?

На них налетели плачущие дети, потом женщина, и лишь добравшись до двери, Анна Тихоновна сказала:

— Дорого будет стоить.

— Что?

— Телеграмма. Много слов, если еще о сюрпризе.

Над ресторанным буфетом теплился мертвый синий огонь. Но света было довольно, чтобы разглядеть множество голов, которые чуть-чуть шевелились, заслоня стойку. Толпа томилась, как повисший на ветке пчелиный рой.

Они спросили, чего народ ждет. Им ответили: «Пошли за кипятком». Они решили сначала отправить телеграмму.

— Достаточно двух слов: «Здорова возвращаюсь», — рассудила Анна Тихоновна. — Если здорова — значит жива.

Цветухин не ответил. Ему хотелось чаю.

— Вы пососите лимон, — сказала она. — Это очень бодрит.

На почте было темнее, чем в ресторане, — только несколько лиц подсвечивались у телеграфного окошечка. Но позади их нависал такой же изнывавший от нетерпения отроившийся клубок пчел, как у буфета.

— Не лучше ли нам сразу в театр? — вдруг спросила Анна Тихоновна. — Вы можете пойти?

— В театр? — громко вырвалось у Цветухина. — В театр я дойду и мертвым!

Этот поход им обоим казался самым важным в спасительном плане. На вокзале оставались обманутые надежды — поезд все еще не был сформирован, народ маялся в ожидании. А в тревоге мрачных улиц билось движение. Оно обещало перемены, и каждая машина своими линейками просветов в заклеенных фарах торопила, звала к манящей дали.

Торкнувшись понапрасну в одну, другую дверь театра, Анна Тихоновна напала на открытый вход. Егор Павлович не выпускал ее руку из своей. Они остановились. Темень была полной. Но где-то в неизмеримом на глаз отдалении тлели и вперемежку загорались красными зрачками папиросы.

Анна Тихоновна осторожно подвела Цветухина к безмолвным курильщикам, спросила, можно ли увидеть директора либо заведующего труппой. Ей сказали, что оба на огороде.

— Где?

— Со всеми вместе на огороде. За театром. В курилку их не отпускают, чтобы, чего доброго, не улизнули.

— Нынче навыворот, — вмешался другой голос. — Живем на улице, курить ходим в хату.

— Наружи нельзя чиркать спичками, — сказал опять первый. — А вы кто?

Улина назвала себя. Папиросы, как по команде дернулись кверху, раздвинули свои огненные зрачки. Прояснило, и в пурпурном свечении видны стали четыре несхожих головы с глазами, уставленными в ее лицо. Пурпур сейчас же начал потухать, немного задержавшись на чьей-то лысине и потом исчезнув в дыму.

— Анна Улина? Откуда это вы? — недоверчиво спросил лысый.

Когда она сказала, что с ней раненый и выговорила слово «Брест», все четверо ахнули, обступили ее, и она уже не знала, на какую из протянутых ей рук опереться, чтобы идти за этими одинаково радивыми людьми.

— Я вижу. Не беспокойтесь, вижу, — говорила она, ничего не видя. — Только, пожалуйста, не потревожьте руку Егору Павловичу!

Все выбрались во двор. Наверно, самый молодой из провожатых побежал вперед. Было светлее, чем в здании, но не настолько, чтобы рассмотреть лица — они, казалось, повторяли друг друга. Вечер дышал покоем, и с каждым шагом свежее наплывала откуда-то прохлада влажной земли.

Беззвучно явился перед Анной Тихоновной высокий человек, снял шляпу и, точно совершая обряд, стал молча долго жать ей руку.

— Наш директор, — отрекомендовал его кто-то.

Она ощутила в рукопожатии такое расположение к себе, что сразу обрушила на молчаливого незнакомца свои с Егором Павловичем несчастья, нужды, мытарства и кончила встречей с Прохором Гурьевичем, внезапно оборвав себя вопросом:

— По-вашему, дадут ему машину?

— Скудину как не дать, — не спеша ответил директор. — А вот не знаю, на каких фаэтонах будет выбираться отсюда наш колхоз?.. Ну что ж, милости просим, присоединяйтесь к нам.

Он вздохнул с тихой покорностью судьбе и надел шляпу.

Подошло еще несколько человек, и уже целая свита провожатых повела Анну Тихоновну с Цветухиным туда, где актерская труппа стояла лагерем.

6

Так началась ночь, может быть, самая странная и трогательная из памятных ночей, которые запечатлело когда-нибудь сердце Анны Тихоновны.

Нельзя было рассмотреть, сколько высилось деревьев на том клину, куда ее привели. Под купиной их густела такая чернота, что за ее пределами, точно из-под ящика, все казалось виднее. На полянке стали различимы силуэты людей — там кто лежал, кто сидел со своими пожитками. Пространство дальше было ровно, еле угадываемое в наступивший самый темный час кратких ночей солнцеворота. Оттуда стлался аромат политых огородных грядок.

Многие заснули либо забылись от усталости. Двумя колечками вокруг Анны Тихоновны и Цветухина какое-то время держались любопытные, но и они, послушав да порасспросив, отходили на свои облюбованные раньше места и стихали. Говорилось немного, с паузами, как будто заранее было условлено, что думать нужнее, чем разговаривать. Вышло само собою, что женщины толковали больше с Улиной, а мужчины с Егором Павловичем, но изредка слушатели менялись позициями из опасения пропустить в разговорах что-нибудь особенно значительное. Клуб этот вскоре начал таять. Анна Тихоновна осталась в обществе двух актрис. Рядом с Цветухиным, усевшись на земле, помалкивал, если не дремал, единственный собеседник.

Вот тогда, в минуту, грозившую горечью разочарования, к двум актрисам подле Улиной, словно рожденная кроной дерева, прибавилась третья.

— Нехорошо сидеть на траве. Встаньте-ка, пожалуйста,— проговорил низкий голос.— На пледике уютнее... Подушек-то ни у кого нет. Я вам жакеточку свернула, под голову... Ложитесь-ка. Приятная жакеточка. Укладывайтесь.

Правда, небывало уютно стало Анне Тихоновне, когда она вытянулась во весь рост и накрыла пледом ноги и услышала под затылком ворсистую зашекотавшую ткань. Медленно, сперва недоверчиво начала она как бы наново узнавать свое тело, бесконечно усталое, измолотое болями. Эти боли давали о себе знать по очереди, и каждый раз, как они сильнее вступали, она видела себя где-нибудь в прошедшие дни и говорила: «это мост» или «это Жабинка». Но упрямое оживание болей не страшило ее. Она ведь уже пересилила их, перенесла, и они оживали теперь, потому что она жива. Она живет — вот почему ей больно. И пусть будет больно! Пусть ноет тело. Жизнь взяла верх — она течет, течет по жилам,— и что же это за наслаждение лежать, закрыв воспаленные глаза, и слышать себя всю, всю, от пальцев ног до горячих висков с гулкими их отзывами на толчки сердца!

— Кто это так хорошо меня уложил? — спросила она, не двигаясь.

Соседки лежали по сторонам от нее — не спали, шевелились, и та, которая устроилась справа, ответила:

— Наша старуха.

— Она славная,— пояснила та, которая слева.— Мы ее выбрали вашей опекушкой.

— Кто — мы?

— Ну мы, комсомолки... И утвердил комсорг. Сказал, чтобы — порядок!

Речь велась тихо. Один голос звучал глубоко и был, наверно, сильный — в нем слышалась альтовая струна. Другой, по-видимому, не легко было сдержать — он рвался вверх, к своему певучему звону.

— Она не старая,— сказал альт.— Мы только между собой говорим — старуха. По амплуа.

— Я поняла,— ответила Анна Тихоновна и потом, вслушиваясь в ночное безмолвие и яснее всего слыша непрерывающую свою борьбу с болями, сказала:— У меня дочь комсомолка.

— У такой молодой? — прозвенел голос слева, на мгновение смолкнул и заговорил тише: — Мы с Мариной первые решили взять над вами опеку. А комсорг говорит: пожалуйста, на добровольных началах. Но, говорит, чтобы я знал, с кого спрашивать. За народную артистку я в ответе. И назначил старуху.

— Значит, Марина. А вас как?

— Лена.

— И значит, опекушку мне не выбирали, а назначили?

— Какая же разница... в данных обстоятельствах,— удивилась Лена и, будто решив прекратить разговор, принялась шуршать бумагой, что-то перекладывая или развертывая. Немного пошуршав, остановилась. Анна Тихоновна почувствовала прикосновение чего-то легкого, будто лист упал с дерева на плечо и скатился.

— Возьмите, пожалуйста,— расслышала она шепот.

— Что такое?

— Ну, я даю! Возьмите.

Анна Тихоновна ощупала над плечом воздух, пальцы наткнулись на теплую руку, и эта рука ответной ощупью вложила ей в ладонь продолговатый сверточек. Сразу же остро пахнуло сыром. Она откусила от

бутерброда и, только судорожно проглотив кое-как разжеванный кус, выговорила свое спасибо. Потом она глотала, глотала, заставляя себя не спешить и неудержимо спеша.

Осторожные шаги прошелестели в траве. Знакомо зажурчал низкий голос:

— Заждались? Провозилась я с буфетчицей... Плитка перегорела! Сцепим пружинку, воткнем штепсель — пшик! — опять лопнула... Держите-ка, товарищ Улина. Не обожгитесь... Сахар на дне, помешайте.

— Егор Павлович! Скорее сюда! — обрадованно позвала Анна Тихоновна.— У меня чай!

— Уже пью,— откликнулся он, и ей показалось, она опять расслышала его прежний маслянистый бас, не стареющий, красивый.

Что-то приговаривая, опекунша укладывалась рядом с Мариной. Анна Тихоновна жглась и пила и в промежутки между глотками наскоро смахивала со щек слезы — они текли ровно, без перерывов, и ей делалось все спокойнее, и боли точно бы позабывались.

Минул перелом темноты, заметнее отделились друг от друга спящие люди на полянке, туман становился полосатым.

Тогда справа неторопливо зазвучал альт Марины.

— Мы уж до вас встречали беженцев из Бреста. На улице. Кто в чем. Мужчину видели в одном белье. Как вскочил с постели, так и побежал. Где-то уж за городом его подобрали, привезли сюда. Оркестрант какой-то. Сколько его ни спрашивали, он все одно: играл ночь в джазе, пришел домой, лег спать, а что было потом — ничего не помню...

— А вы все помните? — спросила Лена.

Долго молчали, ожидая, что скажет Анна Тихоновна, но она не ответила.

— Еще был случай,— опять заговорил альт.— Приезжал к нам областной начальник по делам искусств. Познакомиться со Скудиным. Смотрел репетицию. Черноволосый такой, напوماженный. Сразу, как услышали сообщение, он кинулся в свою машину — и в Брест. Только уж не успел — в городе немцы... К ночи вчерашней вернулся. Вся голова белая. Как лунь... Сидит раскачивается, бормочет: «Ах, мерзавец, мерзавец». Про самого себя. В Бресте у него семья осталась — дети, жена. Беременная. Она целую неделю к нему приставала: отправь да отправь ее с детьми из Бреста,— оказывается, на базаре только и разговора слышала, что немцы со дня на день войну начнут. А он на нее кричать — «мещанка, дура»... Вот на себе и рвет теперь седые волосы. Мы обступили его, смотрим. А он схватится за голову, закачается и опять бормочет: «Ах я мерзавец»... Не знаю, может, это нехорошо, только нам его было не жалко.

— За что его жалеть? — сказала Лена.— А вам разве его жалко, товарищ Улина?

— Ну что пристали? — с доброй укоризной вмешалась опекунша.— Страха, что ли, не повидала Анна Тихоновна? Дайте покой. Натерпелась, поди, без ваших рассказней.

— От страха не уйти, мы должны быть к нему готовы,— с решимостью возразила Лена.— Не нынче, так завтра... И не все страшно. Даже смешно бывает. Правда, Марина?.. Представьте, товарищ Улина. С первыми машинами беженцев видим мы — мчится грузовик, полный всякой мебели. И посередке — толстая тетища в обнимку с высоченным трюмо! Вцепилась в него, глазщи вперед, лицо от жары с ветром — как кирпич. И шарф газовый за спиной извивается голубыми змеями.

Лена усмехнулась, подождала, но рассказ никого не повеселил.

— Такая мать-командирша... настоящая «сама»! Детей не пожалеет, а свое трюмо отстоит... — сказала она, почерствев и будто замыкаясь.

Никто не двигался. Чем ближе шло к рассвету, тем полнее немота охватывала воздух. Розовел оседающий клочьями туман, и с зарею больше охлаждалась почва. Запахи трав, листья грузнели, источая мед и пряность, но дышалось свободно.

Вдруг Анна Тихоновна привскочила. Уткнув выпрямленные руки в землю, она замерла. Обе молодые соседки всполошились — что с ней?

— Самолет! — едва слышно проговорила она, глядя в небо.

— Разведчик, — сказала Лена. — Он и вчера начал поутру шарить.

— Как раз в это время, — спокойно подтвердила Марина.

Анна Тихоновна с недоверием посмотрела на них и опять подняла взгляд. Мотор вопил слышнее.

— Мы сначала ужасно боялись вот этого воя, — сказала Марина. — Чуть кто услышит, крикнет, мы врассыпную, а то собьемся в кучу. Весь первый день так. А второй — ничего. Даже когда целое звено пролетит. Разве убежишь? Под крышей хуже. Еще вчера утром мы ложились на землю, лицом вниз. Страшнее всего почему-то за лицо. А нынче лежим животами кверху. И глядим.

— И клянem, проклинаем этих... этих... — искала слова Лена и либо не могла найти никакого, либо застенялась найденного и сжала рот.

Анна Тихоновна снова прилегла, закрылась до самых глаз углом пледа. Лишь в эти минуты перед восходом она могла разглядеть своих новых, поднесенных ей судьбою друзей.

Марина была крупной, с лицом ярким, с волосами, отливавшими краснотой и спутанными, как сноп без перевясла. Пухлые губы были надуты, словно от обиды. Лена казалась маленькой. Острые, прямые черты ее личика были как-то кучно посажены. Сильно выпячивался подбородок, может быть только потому, что запрокинута была голова. Косынка обтягивала лоб, и вровень с ее краем чернели отточенные стрелки бровей. Все говорило о Лене как об упрянице, если бы не рот, почти такой же пухлый, как у Марины.

Обе подруги лежали под своими пальтишками, и Анна Тихоновна успела невольно отметить в уме, что каждая выбрала материю со вкусом — Марина темную, Лена светлую — по контрасту своих типов. Сейчас же вспомнился ей очень хороший образчик бежевой ткани с чуть заметным рисунком в клетку — она увидела его в самолете, по дороге в Брест, решила такой образчик разыскать по возвращении в Москву и купить на пальто Наде. (Разведчика над головой уже не было слышно, и она подумала, что больше никогда, ни за что не согласится лететь самолетом.) Ее удивило, что у Марины с Леной, несмотря на несходство в лицах, так долго сохраняется общее наивное выражение рта. И ведь совершенно так же у Нади: приподнятый в середине краешек верхней губы, неясность, небрежность очертания и ребячья надутая обида. Правда, все это — до первой улыбки. Или до первого волнения. (Неужели эти девушки ничуть не испугались, когда появился разведчик? Нет, решила Анна Тихоновна, они просто хотели ее успокоить.)

Еще раз посмотрела она на Марину и Лену. Они по-прежнему лежали с открытыми глазами. Она спросила:

— Вы сказали, Марина, в Бресте — немцы?

— Да.

— Неужели не верите? — изумилась Лена.

Анна Тихоновна ответила не вдруг. В коротком «да» Марины, в изумлении Лены послышалась ей такая боязнь спугнуть непрочное спокойствие, что она должна была побороться с набежавшими опять слезами.

— Милые, милые, девочки. Пусть только уберезет вас судьба от того, что я... уберезет вас от бомбежек!

На минуту остановившись, чтобы овладеть собой, она нечаянно для себя стала говорить о том, как разбудил ее грохот в Бресте, как явился за ней Цветухин, и они шли и бежали по городу и впервые увидели кровь — на девочке Сашеньке, и потом как смотрела она на мертвого братика этой девочки. Она говорила медленно, будто — сказку детям, и чем дальше лилась сказка, тем легче было говорить. Все время ей виделась Надя и думалось, что вот так будет она Наде рассказывать обо всем, обо всем, когда вернется домой. И тогда все, что сейчас неизмеримо тяжело, станет легко...

Девушки изредка о чем-нибудь спрашивали, не удержавшись. Она отвечала, и ей начинало казаться, что, о чем бы она ни рассказывала, все гораздо страшнее Лене с Мариной, нежели ей самой. Она дошла до Жабинки и тут остановилась, как будто на этом быть уже не поддавалась уложить себя в сказку. Но девушкам смертельно хотелось знать, что же случилось с актерами, спасшими Улину и Цветухина. Наперебой они придумывали хитрые околичности, лишь бы выудить какой-нибудь намек на ответ. Но она отмалчивалась.

— Ну скажите, что было самым-самым страшным? — с испугом на упрямом личике допытывалась Лена.

Тогда раздался отрезвляющий голос:

— Угомонитесь вы наконец, девчонки, или нет?

Все были уверены, что опекушка крепко спит, свернувшись под теплым платком. Но вряд ли спросенок могла так отчеканиться ее остратка, и, значит, она молчаливо участвовала в разговоре (что старуха любопытна, девушки хорошо знали). Все-таки ее послушались, стали поворачиваться с отлежалого бока на другой — земля ведь на чуточку лишь мягче голых досок.

Утро засияло, обещая июньский жар. Лагерь, залитый солнцем, еще спал, и разве только кто-нибудь потягивался, разминая ноющие кости или тоскуя в бессоннице.

Анна Тихоновна не успела задремать, когда Лена осторожно выползла из-под своего пальтеца, подобралась к ней на коленках.

— Я поцеловать вас. Хорошо? — шепнула она быстро.

Без раздумья привлекла ее к себе Анна Тихоновна и расцеловала, как целует мать своего ребенка или старший товарищ — младшего, когда надо вместе выдержать одно испытание.

— Спать нужно, спать! — тоже, как старшая, сказала она, натягивая на себя потуже плед. И телом и утихшей душою чувствовала она, что сейчас сладко уснет под этой еще не исчезнувшей прохладной тенью деревьев. Только теперь, увидавши листву, она узнала клены — такие же, какие нависали над кладбищенской стеной, где ранило Егора Павловича. Но она тотчас решила про себя: «Нет, не вспоминать, не думать! Скоро будет хорошо. Все хорошо. Хорошо». Она повторяла и повторяла это слово, точно нянька у колыбели, и слово убаюкало ее.

7

Очнулась Анна Тихоновна от внезапно толкнувшей ее мысли: «Опоздала! Надо бежать». С улицы доносился шум езды. Полянка, которую припекало солнце, опустела от актеров — одни чемоданы, узлы лежали врассыпную. Марина и Лена спали. Опекушки не было.

Анна Тихоновна взглянула на Цветухина. Рядом с ним было пусто. Он тоже спал. Перевязанная рука покоилась на груди, голова привалилась к плечу. Чтобы не разбудить, она отошла от спящих тихо, но потом

уже не могла сдержать ног. В дверях театра она с разбегу натолкнулась на простоволосую женщину.

— Куда вы?

По голосу легко было узнать ночную благодетельницу.

— Который час?

— Что вы, милая, всполошились? Шесть только пробило.

— Если проснется Цветухин, скажите, я пошла к Прохору Гурьичу. Да покормите его. Нет ли у вас платочка?

— Идемте, я достану. И умоетесь кстати.

— Нет, нет! С собой у вас есть?

— Да что за горячка, право! — вытягивая из-под рукава помятый платок, с досадой ворчала опекунша. — Пошли бы наверх, позавтракали с товарищами.

Анна Тихоновна схватила платок, бросилась к выходу на улицу.

Вокруг было тревожно. Переполненные людьми, неслись грузовики. Лентами тянулись пешеходы с поклажей, детьми. Когда она остановилась передохнуть и зорче глядела на народ, испуг встряхивал ее. Казалось, брестское утро гонится за ней по пятам, и она опять бросилась вперед.

Но в вестибюле гостиницы было спокойно и так светло, что в первый момент Анна Тихоновна с недоумением осмотрелась — туда ли попала? Ошибиться она не могла — на свету все представляется иным, чем в темноте, и она признала лестницу, по которой спустилась накануне вечером. Навстречу шел сонный человек, спросил, к кому она в такую рань.

— Положено справиться у дежурного, — кивнул он на остекленную выгородку портье.

За окошечком взлохмаченная женская голова оторвалась от своих голых локтей, уложенных на столе.

— Кого? — переспросила женщина, с трудом раскрыв клейкие веки.

— Я к народному артисту Скудину.

— А-а... Уехал.

— Он мне назначил, — пропуская ответ мимо ушей, сказала Анна Тихоновна.

— Артист, говорю, уехал.

— Вы меня не понимаете. Он назначил прийти к нему утром. Вот в этот час.

— Это вы не понимаете. Нет такого у нас, выбыл! Понятно?

На лице Анны Тихоновны начала медленно появляться улыбка.

— Вы ослышались, — сказала она немного снисходительно. — Скудин. Прохор Гурьевич.

— Ну, Скудин! — раздраженно переговорила женщина, пододвинув к себе конторскую книгу и сердито залистав. — Какие-то все... точно... не знай... Пожалуйте, отмечен: Скудин, П. Г...

Она вскинула глаза на Анну Тихоновну, примолкла и потом досказала смягченно:

— Не буду же я зря... Вон и ключи от номера. Я как раз на дежурство пришла в двенадцать ночи. Сама видала, как его усаживали в машину. Скудина этого.

— В машину? — повторила за ней Анна Тихоновна.

Брови ее сошлись круто, словно она не могла разобраться в чем-то запутанно сложном. Она еще раз повторила:

— Машина...

Это ушла ее машина. Та самая, которая должна была отвезти ее в Москву, домой. Которую она ждала весь вечер, и ночь, и утро. Которую дожидается сейчас Егор Павлович.

— Благодарю вас,— сказала она тихо.— Извините.

Отодвинувшись на шаг от окошка, она вдруг повернулась к лестнице и побжала наверх. Сначала одной рукой, потом сразу обеими она за-барабанила в дверь номера. Гул долго гулял коридорами. За дверью покоилось безмолвие. Анна Тихоновна забила по ней ногой.

Тот человек, что встретил ее в вестибюле и велел обратиться к портье, запыхавшись, подлетел к ней и отдернул за руку в сторону.

— Вы что безобразничаете?

Она опомнилась.

— Можно... Можно, я посмотрю в номере? — пролепетала она.

— Как такое — в номере?

Она теребила и мяла в пальцах платочек, не в силах совладать с дрожью, окатывавшей ее, как ледяная вода.

— Вчера я здесь, у Прохора Гурьича,— не могла она остановить своего лепета, и то ли ей пришла на ум ложь, то ли было это правдой, но она, сжимая в комок платочек, выпалила: — Я забыла в номере свою губную помаду. На столе.

— Стыдно, гражданка! Нашли время думать про помаду! Идите-ка отсюда, я провожу вниз.

Она шла, покачиваясь, а сойдя с лестницы, опустилась, присела на ступеньку. Всплыло в памяти, как здесь в вестибюле прошедшим вечером назван был Прохор Гурьевич почтительнейше в третьем лице — «они». Почему ж о нем теперь не сказали «они», а просто — «такого нет»? Значит, между «есть» и «нет» — пропасть. И что же в пропасти? Время. Время, пожирающее все, не исключая совести, и вплоть до надежд.

Анна Тихоновна заметила, что за нею следят все те же двое — выпроводивший ее сверху мужчина и дежурная. Они будто остерегались приблизиться и смотрели на нее, как глядят здоровые на душевнобольных.

«Этого не будет,— подумала она со страшной болью оскорбления,— я знаю теперь цену опекунам. Я обойдусь. Я разогну проволоку своими руками. Как тогда, в Жабинке. И если опять — слезы, никому не дам их утирать. И если — пропасть... меня толкнет в пропасть одна смерть».

Она поднялась. Не оглянувшись, вышла на улицу. До самого театра она ни разу не остановилась, и ни разу шаг ее не сменился бегом. Он стал тем шагом, какой всегда был ей свойствен — стремительно ровным и в эти минуты — на ее ощущение — невесомым. Вслед за потрясением, испытанным в гостинице, по пути к театру мысли Анны Тихоновны свелись к одной: молчание! Слишком много слов она вчера слышала и чересчур легко обольстилась ими, чтобы вновь доверяться словам. И не говорила ли она слишком много сама, чтобы теперь уже молчать и только действовать, только делать, что необходимо?

На тротуаре перед театром стояли Цветухин, Лена и полненький актер из брестской труппы (Анна Тихоновна издали узнала его по клетчатому штанам). Когда она подошла, все трое будто удивились ей, и мгновение взгляды их не отрывались от ее глаз. Глядя на Егора Павловича, она проговорила, чуть скандируя:

— Изволили отбыть в двенадцать ночи.

— На машине? — вполголоса спросил Цветухин, и смуглость его отдохнувшего за ночь лица стала серой.

— Да. Их усадили в автомобиль.

Лена зажала рот рукой. Актер ахнул, дернулся всем телом.

— Как же это, а? Я-то думал, вы меня тоже куда в багажник припакуете!.. И Мишка с ним? — спохватываясь, выкрикнул он.

— Не знаю. Меня не было там в полночь... Что с поездом? Ушел?

— Ах, с поездом! Не добиться до сих пор, когда сформируют. Гонят одни военные составы... А я как потерял вас, думаю, куда им деться? Ясно, думаю...

Анна Тихоновна перебила актера на полуслове.

— Пойдемте,— дотронулась она до руки Егора Павловича.

— На вокзал? — изумился актер.— Я же только оттуда! Егор, милый! Там же бедлам! Не продохнуть, не вылезти. А тут плохо-плохо — свои люди. Чего нам еще, старикам?

Анна Тихоновна видела, что Цветухин колебался. Его успели переодеть в чистую рубаху и поверх во что-то похожее на пижаму, один пустой рукав которой был подколот снаружи к плечу английской булавкой. Заботы эти обязывали его. Он нерешительно оглянулся на Лену. Тогда Анна Тихоновна притянула и прижала Лену к себе.

— Спасибо. И скажите от нас с Егором Павловичем спасибо всем, всем товарищам. До свиданья.

— Но зачем вы, зачем... в такую полную неизвестность?! — плачущим и все же звонким голосом вылетело из груди у Лены.

— Неизвестность везде. И что лучше — остаться с нею на месте или попробовать вырваться из нее? — ласково ответила Анна Тихоновна.— Пошли, Егор Павлыч.

И правда, ни те, кто продолжал стоять на улице, ни те, кто уходил, не знали с точностью, зачем стоят или идут. Воля обладает взрывной силой, и редкий, кому посчастливилось спасти тонущего, знал наперед, что бросится в воду. Одним казалось, что вернее не двигаться, другим — что надо идти.

Улина с Цветухиным не прошли полсотни шагов, как их догнала Лена.

— Я приду... мы принесем на вокзал, принесем вам...— торопилась она.

— Ничего, родная, ничего не нужно,— успокаивала Анна Тихоновна.

— Нет, мы все равно!.. И я вам не успела сказать. Мы решили и уже послали телеграмму, чтобы нас... чтобы всю нашу труппу считали фронтовой! Вот.

Было что-то наивное во внезапно возникшей ребячливой привязанности девушки, но была и покоряющая прелесть чистосердечия. Анна Тихоновна печально улыбнулась.

— По правде сказать, двадцать лет назад я думала — у нас больше никогда не будет фронтовых театров. Никогда. Ну что ж! Может быть, до встречи на фронте?

— Ах, я бы так хотела! — воскликнула Лена.

Они еще раз простились, как родные.

— Вечный фронт, вечный фронт! И люди нашего театра! Что за славный народ! — произносил Цветухин в ногу с маршем, который старался подравнивать к частым шагам своей спутницы. Он был, как видно, рад покориться твердому курсу, опять настраивался на мажор возвышенной роли, и Анна Тихоновна немного иронично взглянула на него: надолго ли?

Вокзал встретил их не тем, каким они оставили его и каким актер думал припугнуть Егора Павловича. Совсем другой испуг охватил Анну Тихоновну, когда она увидела нараспашку стоящие двери, полупустые переходы и зал с приютившимися по скамьям унылыми горстками людей. Она сразу вышла на перрон, ведя за собой Цветухина.

Было тихо. Огромный, казавшийся бесконечным поезд тянулся у платформы. Он пестрел разнокалиберными вагонами — пассажирскими, товарными, русскими, польскими. Анне Тихоновне не надо было справок, чтобы понять, что произошло. Но первый спрошенный ответил мимохо-

дом: «Посадка кончена». Кое-где у дверей вагонов, словно приплюснутые к ним, жались молчаливые кучки народа. Двери были закрыты.

— Идем,— сказала Анна Тихоновна.— Идем! — повторила она настойчивее и почти столкнула с места опешившего Цветухина.— Без вас нельзя.

У двери в комендантскую стоял впечатляющего вида железнодорожник, заслонявший собой вход. Его обступала такая же, как у вагонов, неподвижная плотная кучка людей. Анна Тихоновна на ходу сбросила с плеча Цветухина борт пижамы, внакидку свисавший на забинтованную руку, чтобы перевязка была виднее.

— Пожалуйста, пропустите раненого,— сказала она, выбирая, где бы ближе протиснуться к двери.

Никто не обернулся. Она дотронулась до спины какой-то низенькой женщины и до локтя ее соседа. Они не двинулись. Тогда начались седуэли с голосами этой спаянной ожиданием семьи поневоле. Она все упрямее повторяла, что раненого надо пропустить. Ей отзывались, что тут до нее стоят раненые и что очередь одна для всех. Она громче сказала, что человек ранен в Бресте, но слово будто уже потеряло свою магию: ей ответили — она не одна из Бреста. Тогда она вскрикнула — до каких же пор мучиться человеку, после того как он счет потерял бомбежкам и чудом уцелел в Жабинке? Слово это на момент затушило пререкания. На Анну Тихоновну стали оглядываться, и ей удалось, остерегая руку Егора Павловича, вклинить его в ослабнувшую снизу людских тел. Но сразу раздался грубый или уже сверх меры накричавшийся голос:

— В Кобрине было пожарче твоей Жабинки. От самолетов-то наших ничего не осталось...

— Вы что же думаете — убитые в Жабинке не заслужили у нашей Родины почитания, которого достойны убитые в Кобрине? — вызывающе спросила Анна Тихоновна.

Несколько человек заговорило с сочувствием к ней. Она еще немного продвинула вперед Цветухина. Страж у двери сказал:

— Ладно шуметь. Приказ всем один — дожидаться другого поезда. Кто-то выкрикнул с возмущением:

— Дождись такой посадки, как нынче: люди штурмом поезд взяли! Вояки...

— Чего вас к дверям поставили? Вон она куда пролезла!

— Да она никакая не раненая. Напустила на себя!

Анна Тихоновна, как в судороге, взбросила к лицу руку, зацепила ногтями корку своей царпины, содрала ее со щеки.

— Ты не в себе, Аночка! — стараясь удержать ее руку, крикнул Цветухин.

Но она не далась и, ухватив пальцами мочку уха, рванула ее книзу раз, другой, пока не оторвала болячку и ухо не покрылось кровью. Она поглядела на руку и размазала кровь по лицу.

Все, кто стоял вплотную, отступили от нее, гесня друг друга. Железнодорожник приоткрыл дверь, поманил кого-то к себе. Вышел высокорослый человек с красными распухшими глазами. Ворот его гимнастерки был растегнут, худая шея тянулась столбиком.

— Что такое?

— Вроде как... — начал было отвечать страж, но только качнул с сомнением головой.

Высокий уже увидел Улину. Встречно глядя на него немигающими глазами, Анна Тихоновна заговорила о том, что должно было, как ей снова подумалось, окончательно все разрешить:

— Я народная... народная... — Дальше этого она не двинулась.

Цветухин растерянно поводит кистью руки по очереди на нее и на себя, что было тотчас понято высоким.

— Пройдемте,— сказал он.

В комнате Анне Тихоновне подали стул. Говорить она не могла. Кровь капала из уха на платье. У Цветухина нашелся платок — великодушный дар пинских друзей. Он сам приложил его к лицу Анны Тихоновны и велел держать. Его попросили рассказать покороче, что произошло. Он справился с задачей довольно хорошо.

Через несколько минут они оба шли по перрону следом за высоким. За ним бежали женщины с детьми. На мольбы и плач он отвечал одной фразой: «Со следующим поездом». И лишь иногда, будто не справляясь со своей мягкостью, добавлял: «Да, скоро» или «Да, сегодня».

У вагона с красным крестом, недалеко от паровоза, они остановились. Он сказал проводнику, что надо посадить.

— Полным-полно! — развел тот руками.

— Надо. И передайте медсестре, чтобы гражданке оказали там... все такое...

Проводник отпер дверь. Высокий нагнул голову на своем тонком столбике и ушел, заарканенный петлей женщин.

Анна Тихоновна с Цветухиным остались на площадке, забитой людьми. Они глядели в дверное стекло и молчали. Очень скоро состав перекликнулся буферами, вагон дернуло и повлекло с тяжким, медленным усилием.

Тогда, в последнюю секунду, оба они вскрикнули. Лена и Марина бежали по перрону с узелками в руках, заглядывая в окна, и за ними устало поспешал актер в клетчатых брюках. Никто из них не увидел, как принялись махать им руками Улина и Цветухин. Проводник отворил снаружи дверь, прижав ею к стенке Егора Павловича. Анна Тихоновна успела отодвинуться и зажала все лицо платком в красных пятнах и разводах.

Поезд набирал понемногу скорость.

Так потянулась дорога, исход которой остался позади и был бегством от смерти. Впереди мерещилась жизнь. Она звала к себе с могуществом, никогда, казалось, прежде не испытанным. И в то же время она внушала сознанию, что бегством ее не отстоишь. Как и чем придется отстаивать — на это еще не могли ответить ни Улина, ни Цветухин. Общими часами испытаний две разные судьбы слились в одну. Но впереди каждому виделась своя судьба отдельно от других. Какой она будет? Пока они чувствовали себя только беженцами.

На первой большой станции известно стало, что с отходом их поезда немцы высадили в Пинске воздушные десанты. Раскаты брестского огненного извержения безостановочно ширились над землей. И самой скрытой, а потому самой мучительной боязнью у всех в поезде стала одна: что если эти раскаты обгонят, забегут вперед, перережут путь?

Поезд уступал дорогу встречным и попутным составам, нескончаемыми стоянками вымаливая себе чуть не всякий перегон от разъезда к разъезду. Но чем дальше пробирался он по неписаному, небывалому маршруту — этот сборный, не составленный, а кое-как сляпанный поезд без номера и литеры, — тем больше его изнуренное население накапливало разительных известий о войне. Тогда эти известия начали складываться в новое знание о событии, обрушенном историей на страну.

Война была для Анны Тихоновны Брестом. Теперь же Брест становился лишь одной главой из десятка других глав, с неслыханной мгновенностью вписанных в книгу жизни кровью всего советского народа. Трагедия Бреста не делалась от этого меньше — она открывала собой гордую череду всех трагических превратностей войны.

И в какую-то минуту Анна Тихоновна нарушила молчание задумчивым словом:

— А ведь мы, Егор Павлович, пощажены нашим счастьем с большим великодушием.

Он поднял брови и не отвечал долго, как будто ее мысль была неожиданностью. Потом поскреб ногтями заросший подбородок, улыбнулся.

— Да. Мы, в сущности, отделались крепкими тумачами.

Он привык последние годы не слишком доверять своему жребию, который в молодости рисовался цветистым. Теперь, в конце многотрудного пути, он сомневался в скороспелом решении ехать в Тулу. Не ждет ли его там какой-нибудь новый тумак? Не упадком ли духа рожден этот план? Не разумнее ли отправиться к себе в ленинградский угол — одинокий, бедный, но свой, и ждать, когда неизменной верности труду и — вместе с трудом — самой жизни будет поставлена точка?..

На пятый день путешествия голос Анны Тихоновны вывел его из дремоты:

— Видна Москва!

Волнению, овладевшему всеми, было дано слишком много сроку, чтобы перейти в крайнее беспокойство, а затем улечься и смениться унынием. Поезд держали на отдаленном подступе к столице. Паровоз отцепили, вагоны заперли, вдоль полотна по обе стороны расставили охрану. Уже к вечеру опять зазвенели сцепы, торкнули буфера, колеса залязгали на стрелках. Но двигались не к вокзалу, а в обход города. Сразу стало известно, что поезд передан на Окружную дорогу и пойдет на восток, в Москве же сходить никому не разрешено.

Но Москва, с ее дорогами на десять сторон, не для одних москвичей означала свободу, к которой все рвались. Улучив момент, когда поезд сильно примедлил ход, Анна Тихоновна и Цветухин выбрались на площадку. Проводник, ожидавший станцию, потребовал вернуться на места. Они отказались, уверяя, что умрут в вагоне от духоты. Он пригрозил позвать охрану. Выйдя на подножку, он захлопнул за собою дверь. Поезд тормозил. Проводник стоял, держась за поручень, заслоняя спиной выход.

— Прыгаем? — быстро обернулась к Цветухину Анна Тихоновна.

— Да. Пусти, я первый.

— Нет!

Ухватив ручку замка, она поднялась на цыпочки, всем весом своего легкого корпуса надавила на нее и распахнула дверь. Прежде чем проводник оглянулся и, чтобы помешать ей, вытянул свободную руку, она соскочила на ступеньку, прыгнула на платформу и упала. Проводник, с умелостью железнодорожника, приземлился за нею длинным, плавным шагом, сделал поворот назад, крикнул кому-то: «Сюда!»

Анна Тихоновна видела, как спрыгнул Цветухин, припал на одно колено, но выпрямился, стал подниматься. Два молодых человека уже бежали к нему, словно готовые помочь в беде ближнему, и загородили его. Проводник вскочил на подножку другого вагона. Около Анны Тихоновны тоже стояли двое — девушка с юношей, и девушка взяла ее под руку.

— Не ушиблись?

— Благодарю вас. Ничего.

— Ну пойдете...

И вот Анна Тихоновна и Егор Павлович сидят друг против друга перед столом, накрытым черной клеенкой. В окно напротив видно, как уползает мимо последний вагон беженского поезда. Они в Москве, а если не в Москве, то рядом с нею. За столом перед ними — пожилой

сосредоточенный человек в военной форме. Он только что разложил чистые листы бумаги, рядом какие-то бланки и, не собираясь писать, приготовился слушать. Он уже спросил Анну Тихоновну, сохранился ли у нее пропуск в Брест.

— Сохранилась одна я,— не без шутливости ответила она.

Это прошло вполне незамеченным. Егор Павлович предъявил уцелевшее в заднем кармане замызганных чесучовых своих брюк командировочное удостоверение самодеятельного драмкружка с печатью заводского комитета. Бумажка вызвала у военного усмешку, но осталась при бланках.

Задержанные рассказывают свои истории. Военный точно бы проникается расположением к пострадавшей Улиной. Даже замедляет сочувственный взгляд на девушке, которая привела Анну Тихоновну с перрона и осталась при двери вместе с юношей, таким же добровольцем охраны, как она. Щеки девушки покрываются пятнами, и она часто мигает, услышав, как гитлеровцы бомбят на шоссе женщин с детьми. Затем говорит Егор Павлович. Тон его несколько небрежен, будто он хочет внушить, что перенес все ужасы достаточно бодро. Когда на вопрос, зачем спрыгнул он с поезда, Егор Павлович ответил, что едет в Ленинград, а не в Сибирь,— Анна Тихоновна странно поглядела на него. Военный не пропустил ее движения.

— У вас, стало быть, пересадка в Ленинград,— сказал он,— а у вас в Тулу? Интересные точки выбраны.

— Вы не верите? — простодушно удивилась Анна Тихоновна.

— Я вернусь к этому. Сейчас я должен произвести личный обыск.

Она вдруг встала. Бледная, с поднятой головой, сказала глухо:

— После того, что мы пережили... такие же люди, советские люди, как вы, здесь... После всего...

— Сядьте,— остановил военный.

Считай он нужным выкладывать свои мысли, он, наверно, сказал бы: «Не мешайте выполнять обязанности транспортной власти. У вас нет документов. Вы прибыли из военной зоны. Нарушили приказание не покидать поезда. Между собой не связаны ни родством, ни службой. Случайно встретились на границе. Случайно попали в беженский поезд на территории, захваченной врагом... И мы будем отпускать на все четыре стороны кого бы ни приволок такой поезд?»

Но он сказал то же самое на кратком служебном языке:

— Пройдите в дверь налево.

Анна Тихоновна опять вскочила.

— Это оскорбление... Как не совестно! Позвоните моему мужу, Извекову, в Тулу. Он заместитель председателя исполкома. Меня знают в Москве. Соединитесь с любым человеком из десятка, который я назову... Егор Павлович! — внезапно сменила она пыл на мольбу.— Что же вы ничего не скажете?!

— Что я могу? — Он пожал одним плечом.— Первый раз вижу такое обращение с советскими актерами. Как с чумными. Я понимаю — военное время. Бдительность... А вдруг в бинтах моих заматана какая тайна!

— Бинты тоже просмотрим,— прищурился на него военный.

— Но это же насилие! Над раненым! — обрывисто восклицала Анна Тихоновна.— Люди помогали друг другу под бомбежками, а вы... Почему вы не делаете ничего для выяснения? Вам подтвердят его личность. Позвоните... Соедините меня с Оконниковой, с народной артисткой!..

Существуют имена, один звук которых действует, как горящая спичка, брошенная в сено. Конечно, сырое сено не вспыхнет — далеко не все насторожатся при ином, даже громком имени. И Гликерия Федоровна не могла бы рассчитывать, что вся улица обернется, если крикнут —

«идет Оконникова!», как обернулась бы в свое время, если бы услышала — «идет Шаляпин!» Но огонь ее славы воспламенял московских театралов.

Военный, видимо, не был театралом. Зато едва произнесено было имя Оконниковой, как девушка, не покидавшая поста у двери, явно сдерживая восторг, спросила:

— Тетя Лика?!

— Да, да, тетя Лика! — обрадовалась Анна Тихоновна. — Позвоните ей! Пожалуйста!

Девушка, осмелев, попросила разрешения найти номер телефона, но начальник манием руки указал ей на ее место. Все же порыв театралки смягчил его. Он достал истрепанную телефонную книгу.

Анна Тихоновна, как только начался разговор, пыталась взять у военного трубку, но указующая его рука делала свое дело. Он не отступил ни на йоту от формы, положенной для такого рода бесед. Лишь удовлетворенный ответами, он проговорил почти уже не служебно:

— Передаю трубку гражданке Улиной.

По существу совершилось восстановление Анны Тихоновны в правах гражданства, и, как при всяком торжественном акте, это мгновение не могло не взволновать. Анна Тихоновна успела крикнуть в телефон: «Тетя Лика!» — и расслышать ее голос. Потом она уронила голову на стол и разрыдалась. Военный бережливо вынул из ее стиснутого кулака трубку, сказал:

— Прошу подождать. Гражданка должна успокоиться.

То, что наступило затем, было действительно спокойствием, наверное таким, какое живет на большой глубине вод. Но поверхность маленького события, происходившего в этот час на товарной станции Окружной дороги, напоминала скорее шум и плеск разгулявшихся на ветру беляков.

Тетя Лика приехала в сопровождении Доростковой. Обе они сразу сжали в объятиях Анну Тихоновну и не выпускали ее, пока все трое не выплакали первых слез. Потом начался беспорядок вопросов и ответов с короткими всплакиваниями, которые чередовались с наплывами радости и утешений. Потом тетя Лика прижалась к уху Анны Тихоновны.

— Прости ты меня, старуху!

— За что, тетя Лика?

— Господи, да кабы я тебя не втравила в эту поездку!.. Дай, дай я еще поцалую твои ранки, милая.

Она почмокала Анну Тихоновну в давно опять очерствелые на щеке царапины и тут же сообщила самую большую московскую новость:

— Угодил, говорят, Прохор-то Гурьич к немцам. У всех только одно на языке — Скудин!

Анна Тихоновна призналась, что видела его в Пинске, и уверила в благополучном его отъезде. Но в Москве о нем после его отбытия из Пинска не было никаких известий, и, по словам тети Лики, об этом гудят все театры. Анна Тихоновна ни звуком не обмолвилась, как поступил с нею Скудин, и была рада, что в момент разговора о нем куда-то вышел из комнаты Егор Павлович. Перед тем как садиться в машину, она поспела шепнуть ему, чтобы и он ничего не говорил о Скудине никому.

— Он, может, правда погиб. Не надо его винить. Не всегда человек властен над собой.

— А боец властен? — недобро спросил Цветухин.

— Он не боец... Да и мы с вами, какие мы бойцы?

— Положим, мы прошли нашу подготовку, — усмехнулся Цветухин, добавив: — Не все так добры, как ты.

Проводы со станции оказались не тем, чем была встреча. Служащие, искавшие повода взглянуть на артистов во время свидания в комнате, теперь дружно выглядывали из окон, когда они усаживались в черный «зил» тети Лики. Кое-кто вышел на дорогу, и даже сосредоточенный военный солидно тронул пальцами висок, провожая дотоле мало что говорившую ему Оконникову.

Вечер и ночь Улина с Цветухиным были ее гостями. Расходясь по отведенным спальням, они пожелали друг другу покойной ночи. Взаимные улыбки долго держались. Но в последнюю секунду Анна Тихоновна довольно требовательно спросила:

— Что вы сказали на этом допросе, на товарной станции? Вы собираетесь в Ленинград?

— Я думал об этом, Аночка. Я ведь уже поправился... И еще. как меня встретят в твоём доме, незваного?

— Пока совсем не выздоровели, вы просто в моей власти,— сказала она.— Утром мы едем.

Он поклонился. Быть покорным — иногда это и легче и приятнее.

В тульском поезде они почти весь путь простояли рядом у окна, ни о чем не разговаривая, одинаково отдыхая и —кто знает — не одинаково ли думая.

Небо было оживленным — то дымилось тучками, то сверкало лазурью. Русские леса казались созданными, чтоб открывать человеческую душу и полнить ее нежностью к миру.

На мосту через Оку Анна Тихоновна сказала, что эта река почему-то ее всегда волнует.

— Это почти Волга,— ответил Цветухин.— А Волга — что может быть роднее?

Ни слова, ни одного слова не выговорили они о войне, наверно потому, что не могли забыть о ней ни на минуту. Брест стоял у них в глазах, и они мало теперь смотрели друг другу в глаза. Тот Брест, где ясным утром нарушилось все, что было человечностью. Тот Брест, откуда пошла неутолимая любовь к человеку, обороняющая себя от зверства.

Конец третьего тома трилогии



КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

ГЛАЗА МАТЕРЕЙ

На свадьбах веселых поют сыновья —
Радость в глазах матерей,
На бурках
джигитов проносят друзья —
Горе в глазах матерей.

В глазах матерей и осенняя даль
И весна, что цветет у дверей.
Я видел и радость земли и печаль —
Я видел глаза матерей.

* * *

Был пахарем, солдатом и поэтом...
Я столько видел горя, столько бед,
Что кажется порой: на свете этом
Уже я прожил десять тысяч лет.

Меня работа ждет и манят дали.
Я столько строк еще не написал,
Что кажется порою: не вчера ли
Я на коленях матери играл?

* * *

Любой навет заранее приемлю,
Но про меня, когда мой час пробьет,
Сказать, что не любил родную землю,
Едва ль на ум кому-нибудь придет.

Кто скажет, что в разлуке мне не снились
Родимых гор снега и ледники,
Что я не видел, как потоки бились
И глыбы скал дробились у реки,

Что я на землю не глядел влюбленно,
Не озираю родимые края
Так, словно на ее пологих склонах
В малинниках горела кровь моя?

Перевел с балкарского Н. Гребнев.

АЛЕКСАНДР ПОБОЖИИ

★

ГЛУХОЙ, НЕВЕДОМОЙ ТАЙГОЮ

Записки изыскателя

Недавно я ехал с побережья Тихого океана, из порта Советская Гавань, в город Комсомольск-на-Амуре. Кругом теснились сопки, покрытые хвойным лесом. Иногда они отступали, и тогда на смену им появлялись с одной стороны скалы, а с другой — бурные реки, зажимая полотно дороги на узкой полоске. Железная дорога здесь — ниточка жизни, затерявшаяся в еще мало обжитом крае.

После пяти часов пути, за станцией Высокогорная, начался подъем на перевал, и поезд медленно подвигался вперед, скрежеща колесами на закруглениях. Но вот, преодолев подъем и поднявшись почти на тысячу метров над уровнем океана, мы остановились на хребте Сихотэ-Алинь. Здесь, на разъезде Кузнецовском, была объявлена длительная остановка, во время которой еще раз проверялись тормоза, чтобы состав мог безопасно спуститься по крутым уклонам.

Я вышел из вагона посмотреть на памятные для меня места. Пассажиры с платформы осматривали окружающую разъезд местность и делились впечатлениями. Военный моряк объяснял молоденькой девушке историю названия разъезда. Я невольно прислушался к их разговору. «Вы знаете, Олечка, — объяснял моряк, — этот разъезд назван Кузнецовским по имени начальника группы геологов и геодезистов Кузнецова. Сам Кузнецов, говорят, погиб от несчастной любви или что-то в этом роде. Никто не видел, как он покончил с собой, и труп его занесло снегом. Искали Кузнецова долго, но все же нашли на том самом месте, где сейчас стоит вокзал».

История, которую рассказывал моряк, была далека от истины. Я не стал больше слушать его и быстро пошел на сопку, где находилась могила Арсения Петровича Кузнецова. Я стоял над могилой товарища, и мысли мои унеслись в прошлое, когда здесь не только не было железной дороги, но даже таежные тропы были малопроходимы.

В то время, пятнадцать лет назад, здесь шумела тайга, которой, казалось, не было конца.

Край этот был тогда дикий и пустынный, и в моей голове не могли сейчас совместиться две картины: одна — когда мы хоронили Арсения Петровича в морозный декабрьский день на хребте Сихотэ-Алинь, среди суровой природы, вдалеке от жилых мест, и другая — та, что была теперь передо мной: гудки паровозов, красивые домики железнодорожников, веселые лица нарядных пассажиров, спешивших из небольшого вокзала разъезда в спальные вагоны...

Поезд проследовал по темному тоннелю, а через час показалась бурная река Хунгари со скалистыми прижимами.

...Все ушло в прошлое. Кто помнит места, где стояли наши первые землянки и палатки? Забыты и американские летчики, блуждавшие тогда в отрогах хребта Ходзял, которых мы ходили спасать, отправляясь на поиски с берегов Хунгари.

Долго стоял я у окна, всматриваясь во тьму, вспоминая пионеров-изыскателей, и мне захотелось рассказать о них. Надеюсь, читатель простит мне литературные недостатки, если мои записки помогут узнать, что здесь происходило на самом деле. Ведь, наверно, среди читателей будут и такие, которые, как и мы когда-то, пойдут сквозь глухую, неизвестную тайгу, и по их следам придет туда новая жизнь.

1. На Дальний Восток

Шли тяжелые бои на фронтах Отечественной войны. И все-таки нас, тогда еще молодых и выносливых, прямо с Волги, где мы закончили строительство стратегической рокады, направили на изыскания для новой железнодорожной линии, которая должна была соединить город Комсомольск-на-Амуре с портом Советская Гавань. Нам было совестно удаляться от фронта в глубокий тыл. И мы, кроме того, удивлялись такому решению: зачем нужны эти изыскания в то время, когда страна напрягает все силы, чтобы остановить и разгромить немецких захватчиков? Ведь постройка железной дороги протяжением более четырехсот километров через горы и тайгу потребует огромных материальных средств и тысяч людей. Только много позднее мы поняли всю мудрость этого решения.

Поезд шел на восток. Наш комбинированный вагон был забит пассажирами. Ехали рабочие, колхозники, ехали воины из госпиталей. Внизу сидели, сколько можно было поместиться, спали на вторых и третьих полках по очереди. Пассажиры делились скудными продовольственными пайками и пили кипяток из солдатских котелков.

По ночам на весь вагон горела одна сальная свечка, в полумраке завязывались беседы о войне. От этих рассказов становилось тяжело на душе, хотелось пересест в встречный поезд и уехать обратно на запад.

Поезд наш двигался медленно. Только на седьмые сутки проехали Иркутск.

Состав из пятнадцати пассажирских и почтовых вагонов, извиваясь вдоль скалистых берегов Байкала, то входил в темные жерла тоннелей, то шел по самому берегу, куда долетали брызги бушевавшего озера.

Техники Саша Кондрашов и Митя Филатов считали тоннели. Один насчитал тридцать, а другой двадцать пять. Они спорили, а в это время вагон вновь и вновь погружался во мрак, и спорившие окончательно сбивались со счета.

Чем дальше на восток, тем поезд шел быстрее, останавливался реже, и на пятнадцатые сутки мы прибыли в Комсомольск-на-Амуре.

В городе тогда уже было много заводов, вокруг которых раскинулись кварталы жилых домов, но между постройками были большие пустыри с торчащими пнями, напоминающими о недавно шумевшей здесь тайге.

Нас ожидали. Прибывшие раньше работники управления уже готовились к большому строительству. Правда, начальник строительства — Федор Алексеевич Гвоздев — был еще в Москве, его замещал главный инженер Цвелодуб.

Стоял конец мая, и нам нужно было спешить с выступлением в тайгу. Задерживали только сборы — многого не хватало. Мы, конечно, и не мечтали о непромокаемых плащах, болотных сапогах, раскладных кроватях и стульях — словом, обо всем том, что мы имели до войны, отправляясь на изыскания. Нашему хозяйственнику Асядулину удалось получить для партии старые палатки, поношенные брезентовые костюмы, кирзовые сапоги, телогрейки и кое-какую кухонную посуду. Не было еще и рабочих. В горкоме партии несколько раз ставился этот вопрос, но рабочие были заняты на предприятиях, и можно было собрать только молодежь, а горком комсомола боялся посылать ребят и девушек в далекую тайгу. Однако когда сообщили в первичные организации о наборе рабочих в экспедицию, то желающих оказалось много. Нам удалось подобрать двадцать юношей в возрасте семнадцати-восемнадцати лет. Взяли на работу и трех девушек, которым уж очень хотелось поехать на изыскания. Ребята подобрались крепкие, некоторые выглядели старше своего возраста, а держались они все строго, с достоинством взрослых людей. С первых дней мы почувствовали к ним уважение и верили, что они не испугаются трудностей таежной жизни.

Изыскательской партии, которую я возглавлял, достался участок по долине реки Хунгари. До начала участка нужно было пройти по тайге около ста километров, через Саяканский и Тудурский перевалы, за которыми течет река Хунгари. Для такого перехода нам нужно было не менее пятнадцати вьючных лошадей, но никто не знал, где их достать. Удалось получить всего лишь трех лошадей, выбракованных из армии. Мы сидели и ломали головы, где достать лошадей, но тут неожиданно пришло сообщение, что к нам идет эшелон с лошадьми из Монголии. Через два дня эшелон прибыл, и мы всей партией пошли взглянуть на монголоков. Из вагонов через перила на нас смотрели злыми глазами низкорослые, покрытые длинной шерстью лошади. Асядулин подошел было к дверям вагона и чуть не получил удар копытом в голову. В вагоне сразу началась возня, затопало множество ног.

Лошади были степные, дикие, и в первые дни было опасно к ним подходить. И потом, когда они уже немного привыкли к нам, с большим трудом удавалось приучить их к седлу. Не успеешь сесть на монголку, как летишь вниз, а она прыгает через тебя и убегает в лес. Много мы получили ушибов и укусов, прежде чем поехали верхом. Больше всех досталось Саше Кондрашову и Асядулину. Саша со всем упорством приучал степных лошадей, приговаривая, что в конце концов медведей и тех приучают ездить на велосипеде, а это все же лошади.

Наконец все было собрано, погружено, и маленький облезлый катер, выбрасывая от кормы клубы дыма, натянул трос, сясь сдвинуть тяжело груженную баржу, чтобы потянуть ее на противоположный берег Амура, к Пивани. С низовьев Амура дул сильный ветер, волны ударили в баржу, еле двигавшуюся за катером. А у того то и дело глох мотор, и тогда его разворачивало и волнами несло вместе с баржей вниз по течению.

2. Путь к Хунгари

Уже четвертый день мы идем по тайге к бассейну Хунгари. Саяканский и Тудурский перевалы остались позади. Тяжелый переход утомил людей и навьюченных монголоков. Караван растянулся по узкой тропе. Бьюки часто задевали за деревья и сваливались набок, приходилось останавливаться, вновь прилаживать их к седлам. Встречалось на тропе много поваленных деревьев, и нам приходилось расчищать ее, чтобы лошади могли продвигаться вперед. Но самым тяжелым испытанием

для людей и животных была мошка, от которой ничем невозможно спастись. Она набивалась под накомарники, забиралась в обувь и одежду. Укусы ее вызывали сильный зуд. У многих лицо и тело покрылись множеством мелких ранок, а кто не выдерживал и расчесывал раздраженное укусами тело, у того появились и опухоли. Несчастные лошади на привалах головами забирались в дымокуры и хвостами отбивались от гнуса. Губы и веки у них опухли и начали гноиться.

Я шел впереди каравана со старшим геологом партии Федором Петровичем Завалишиным и Сашей Кондрашовым. За нами шли рабочие во главе с Лукьянчиковым. Все мы были вооружены топорами и пилами.

Повсюду в беспорядке валялись погибшие деревья, придавая лесу унылый вид. Быстрее других здесь погибали ель, пихта и береза. Они, видимо, не выдерживали борьбы за свет и чахли под высокими листовыми кронами и ветвистыми кедрами. Лучи солнца почти не проникали через густые кроны деревьев, в лесу было сыро и воздух наполнен затхлым запахом гниющих деревьев. Кроме редких папоротников, под деревьями не росло ничего, и для привалов приходилось искать места, где был бы корм для лошадей.

Четвертый день пути клонился к вечеру. За кедровым лесом тропа вывела нас на чистую поляну, к небольшому ручью. Мы решили заночевать здесь. Вскоре подошел караван.

Разгорались костры, задымили дымокуры. Девушки, гремя ведрами, пошли к ручью за водой.

Палатки мы не ставили, хотя две ночи подряд шел небольшой дождь, — они были хорошо уложены и подогнаны для вьюка, поэтому разбирать их и вновь складывать не было смысла. Спали в шалашах и просто у костров, выделяя на ночь дежурных для охраны лошадей и поддержания огня в дымокурах. После тяжелого перехода и ужина лагерь наш затихал быстро. Мошка к ночи немного унималась, и уставшие люди моментально засыпали.

Мы с Федором Петровичем еще рассматривали у костра карту; завтра мы должны были увидеть Хунгари, где начнется работа. К нашему костру подошла Маша и попросила у Федора Петровича бинт, она стерла ногу. На изыскания Маша поехала впервые. В первый день она не хотела расстаться с городским нарядом: из Комсомольска она вышла в простеньком ситцевом платье и в туфлях. На второй день пути Маша надела брюки и кофточку из плотного материала с длинными рукавами. На третий день мы уговорили ее надеть и кирзовые сапоги. Со слезами на глазах она сняла и выбросила порвавшиеся туфли.

К костру подошел Саша. Он хотел помочь девушке забинтовать ногу, но, как всегда, не смог обойтись без шуток.

— Теперь тебе, Маша, недолго осталось привыкать, — беря в руки бинт, сказал он. — И начинай считать с этой первой мозоли. Как сотая прорвется, так и знай, что ты таежница и медведь тебе родной брат.

Маша посмотрела на него уничтожающим взглядом, вырвала у него бинт и пошла к своему костру, а Саша, не то продолжая шутить, не то серьезно, сказал:

— Я хочу обсудить план насчет подножного корма! Лошади у нас все сытые, а мы полуголодные. Пора и нам переходить на подножный корм. Я сам вчера видел кабаргу. Была бы у меня винтовка, был бы у нас шашлык. Вам охотиться недосуг, так позволили бы мне.

И в самом деле! Уговаривать меня долго Саше не пришлось, я дал ему тяжелый карабин, который, кстати, порядком натер мне плечи.

Наутро все поднялись с рассветом: нужно было торопиться на участок, да и мошка поднималась рано, а лучшее спасение от нее в быстрой

ходьбе. Наш бивак пришел в движение. Асядулин с Митей и рабочими стали завьючивать лошадей. Я, как обычно, обходил лагерь. Женщинам велел торопиться со сборами, а сам пошел к крутому обрыву, где тлел костер. У потухшего костра Поздняков и Ноздрин, укрывшись с головой, еще спали. Я рассердился и сдернул с них одеяло. Но то, что я увидел, потрясло меня: между спящими, свернувшись, лежала змея. Она, видимо, пригелась у их тел и недовольно зашипела. Я остолбенел и не знал, что делать. Ведь если ребята пошевелиятся, змея может их ужалить. Я боялся крикнуть кого-нибудь на помощь, чтобы не разбудить их. Змея, поворачивая голову из стороны в сторону, тихо поползла к голове Ноздрина. Овладев собой, я тихонько поднял с земли прут и стал дразнить змею, отвлекая ее на себя. Она подняла голову еще выше, зашипела и, казалось, стала гипнотизировать меня, но в этот момент я изловчился и ударил ее по голове, не задев ребят. Удар, видимо, был сильный, змея свилась в клубок, и в этот миг я прыгнул на нее и быстро раскидал ребят в разные стороны. Оба они вскочили, не понимая, в чем дело. Увидев змею у меня под ногами, они отбежали в сторону, а я все еще топтал эту тварь, чуть не наделавшую беды. Когда все было кончено, руки и ноги у меня дрожали.

Наскоро попив чаю, мы двинулись к Хунгари. Тропа круто поднималась на водораздел. Лошади, как бы беря разгон, шли быстро, напрягая все силы, но, пройдя метров пятьдесят, останавливались, часто и тяжело дыша. После отдыха шли вновь быстро и опять останавливались, жадно хватая воздух. Минут тридцать длился этот подъем, но вот склон стал положе, и тропа вышла на высокий плоский водораздел. Впереди на восток и вправо на юг раскинулась широкая долина, покрытая по окаймляющим ее склонам темным лесом. Западный склон был изрезан глубокими логами, между которыми местами виднелись большие участки горелого леса. Перед нами была долина реки Хунгари, по которой когда-то прошел Арсеньев, исследуя хребет Сихотэ-Алинь и его отроги. По карте до Хунгари оставалось около десяти километров. Тропа теперь спускалась вдоль ручья. Идти вниз было легко. Только на крутых спусках лошади приседали на задние ноги, а передними упирались в землю, как бы сползая.

Через три часа наш караван вышел на пойму реки. Здесь среди хвойного леса стали встречаться тополя толщиной в два обхвата. Кусты черемухи переплетались с кустами шиповника и дикого винограда. Зеленые папоротники огромными листьями прикрывали сырую почву. Реки еще не было видно, но шум воды на перекатах известил, что она уже близко. Мы прибавили шагу и, пройдя метров двести, вышли к реке, откуда дул свежий и прохладный ветерок. Над нашим караваном роем вилась мошка, ветер отгонял ее в лес, и, чтобы отделаться от нее совсем, мы прошли на галечниковую косу, уходящую до самой воды.

Сбросив вьюки с измученных лошадей, мы пошли к воде, где женщины уже пили прозрачную воду, смывали пот с лица. Река обмелела и была шириной не больше двухсот метров. Течение в ней было небыстрое, но ниже в русле виднелись каменные глыбы, и оттуда слышен был шум воды. Погода стояла хорошая, подъем воды не ожидался, и мы решили разбить свой лагерь прямо на галечниковой косе, куда мошка почти не залетала.

Чтобы не было лишней суеты, мы опять разделились на группы. Опытным изыскателям, не раз бывавшим в тайге, Федору Петровичу и Драпаку, поручили установку палаток. Лукину и Мите с пятью рабочими — заготовку дров. Саше и Тарасенко нужно было до захода солнца осмотреть прилегающую местность и найти пастбище для лошадей. Асядулину — разобрать продовольствие и с женщинами приготовить

обед. Настроение у всех было приподнятое, трудный путь остался позади, и после короткого отдыха каждый приступил к своей работе.

В прибрежном лесу застучали топоры и зазвенели пилы. На косу выносили жерди, чурки, хвою и сухую траву. Первую палатку установили для женщин. Коляя каркасов лезли в галечник плохо, пришлось разгребать его лопатой; к счастью, слой галечника был небольшой и под ним был песок. Палатки устанавливали с растяжками, чтобы они могли устоять и в случае сильного ветра. Спать на гальке неудобно и холодно, поэтому решили сделать нечто вроде коек из тонких жердей, застелив их хвоей. Для каждой койки нужно было забить по четыре кола. Эти колья сверху должны иметь рогатины, чтобы можно было на них положить поперечины, а уж тогда на эти поперечины класть тонкие жерди. Палатки были вместительные, и в каждой из них можно было установить до восьми таких самодельных «кроватей». С первой палаткой возились довольно долго, но потом освоились и до вечера установили еще три. Самую большую палатку, в которой должны были жить Федор Петрович, Драпак и я и где должны были составляться все чертежи, решили установить на другой день. Саша нашел неподалеку хорошее пастбище, туда отправили на ночь лошадей под присмотром Ноздрина и еще одного рабочего. И все же Саша пришел огорченный: кроме соек и дятлов, ему ничего не удалось встретить.

— Ну и тайга! — волновался он. — Хоть бы рябчики быстрее росли, а то и они меньше воробья. Ни тебе медведей, ни тебе коз, ни сохатых — словно все повымерли!

— Уж такое, Саша, сейчас время — июнь. Все твои жертвы еще подрастают и прячутся не только от человека, а и друг от друга. Подожди до августа или до сентября, — успокаивал его Федор Петрович.

Закончив установку палаток, мы пошли к костру, где готовился обед. Продовольствия у нас было мало. Мы получили его по своим карточкам на два месяца, и когда пришли сегодня к Хунгари, то оказалось, что мясные консервы, выданные нам по две банки на человека на весь срок, были уже за дорогу съедены. Вместо жиров нам дали яичный порошок и по одной банке сгущенного молока; сгущенное молоко тоже уже было съедено. Остались у нас мука, пшено, по одному килограмму риса и по две банки рыбных консервов. Конечно, досадно, что мы в первые дни распустили пояса, но ведь переход был тяжелый; и если мы съели за пять дней по две банки мясных консервов и по банке сгущенного молока, то это было совсем немного.

Я приказал Асядулину с сегодняшнего дня выдавать продукты строго по норме, чтобы хватило их на два месяца, еду готовить два раза в день, утром и вечером, а днем давать только чай.

Кашу ели молча, она была без масла, жидкая и разваристая. Заедали сухим черным хлебом, привезенным из Комсомольска, стараясь не уронить ни одной крошки. Хлеба полагалось по шестьсот граммов в день, но при нашем скудном обеде его хватало только на два раза.

Я спросил после обеда:

— Ну как, молодежь, маловато варева?

Мне никто не ответил. Только Саша, заглядывая в пустой котел, произнес:

— Ничего, даст бог день — даст бог пищу.

Мне стало жаль людей, пошедших со мной далеко в тайгу. Ведь при таком питании на тяжелой работе люди будут слабеть, могут появиться болезни, которых лечить здесь некому и нечем. Но что мне предпринять? Ответа я не находил.

Мои товарищи уже спали, а я еще долго лежал на спине и смотрел

на небо. Как тихо в тайге! Только на перекате тихими перегибами шумит вода, да иногда ночная птица нарушит тишину теплой ночи.

Утром раньше всех проснулись девушки. Они плескали у реки друг на друга прохладной водой. Их крик и смех разбудили нас.

В несколько минут весь лагерь пришел в движение. Нужно было вставать, да к тому же и мошки налетело много, больше, чем мы ожидали. После завтрака все собрались у дымокура. Кто сидел, подвернув под себя ноги, а кто лежал прямо на галечнике, натянув на себя накомарник. Я решил сегодня познакомиться всех подробно с предстоящими работами и с историей изысканий этой железной дороги.

К бухте Советская Гавань — лучшей бухте на нашем Тихоокеанском побережье — еще в 1931 году пытались проложить трассу от города Хабаровска. Но в 1932 году началось строительство на берегу Амура индустриального города Комсомольска. К новому городу от Волочаевки начали строить и железную дорогу. После этого решили дорогу в Советскую Гавань прокладывать не от Хабаровска, а от Комсомольска, к тому же в то время было намечено строить Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль. Эта магистраль начиналась от Тайшета и следовала через Усть-Кут и Нижне-Ангарск на Комсомольск. Таким образом, железная дорога от Комсомольска до Советской Гавани должна стать восточным участком Байкало-Амурской магистрали.

— Мы с вами находимся почти в центре горной страны Сихотэ-Алинь, — говорил я. — Эта страна раскинулась от Амура до самого побережья Татарского пролива. Самым главным препятствием на пути железной дороги будет хребет с многочисленными отрогами. Подход к нему намечено сделать по долине реки Хунгари и по ее притоку — реке Верхняя Удоми. По реке Хунгари пройти будет тоже трудно из-за скалистых прижимов, круто обрывающихся в реку с большой высоты. Обойти эти скальные участки можно, только переходя железной дорогой с одного берега на другой, а ведь для этого потребуется строить через реку большие мосты.

Перед отъездом с Волги меня предупредили, что металла для постройки мостов нет. Металл нужен для вооружения, и необходимо сделать все, чтобы не строить этих мостов, а пройти железной дорогой по одному берегу. Мы с вами на правом берегу, и вот здесь, в одном километре от нас, первый шестикилометровый прижим, который мы с завтрашнего дня начнем исследовать. Если мы решим, что по нему можно построить железную дорогу, то мы сразу выбросим два моста. Один длиной триста и второй двести метров. А это значит, что мы сэкономим полторы тысячи тонн высококачественного металла.

— Вот так, товарищи, — закончил я. — Впереди трудная и тяжелая работа. От нас, и особенно от геологов, зависит решение первого вопроса — можно ли прокладывать трассу по этой трудной местности.

Я посмотрел на Федора Петровича. С ним мы еще раньше работали на изысканиях, и я знал его как очень грамотного инженера-геолога, но уж очень осторожного, который не пойдет на необходимый тут риск. Ведь строить будем здесь не что-нибудь, а железную дорогу, каждый километр которой обходится миллиона в два рубля. Если скалы, нависающие над рекой, окажутся слабыми и начнут обваливаться, по ним не смогут безопасно ходить поезда...

Федор Петрович сосредоточенно молчал, затем, оторвавшись от карты, проговорил как бы про себя:

— Да, нужно посмотреть, изучить, а потом уж что-нибудь и предполагать.

— Почему же предполагать? — спросил я его. — Ведь и решать нужно будет.

— Конечно, конечно. Но решать будем не мы, а начальство повыше. Мы представим только материалы и выскажем свои предположения и соображения.

Я не стал ему возражать. Действительно, сначала надо детально исследовать горные породы.

Саша предложил геологам пойти на прижим сейчас же.

— А нам, путейцам,— сказал он,— что скалы, что ровное место — мы трассу где угодно проложим. Кривые разобьем, пронивелируем. Хоть на пузе, а проползем. Вот если уж построят дорогу, а на нее сверху будут камни сыпаться, тогда пусть геологи свою «точную» науку мобилизуют или госпуду богу молятся, чтобы крушений не было... А нам, путейцам, что?..

В лагере еще было много дел. Поэтому решили, что на прижим пойдут Федор Петрович, Драпак и я. Остальные должны установить большую палатку и соорудить печку для хлеба.

Через несколько минут мы вышли к крутому обрыву и невольно залюбовались отвесными скалами. Они обрывались прямо в реку Хунгари, которая ударяла о них быстрыми струями, стремясь отвоевать новое пространство для своего ложа. За тысячелетия реке удалось в некоторых местах подмыть скалы, и, обрушившись в реку, они образовали глыбовые навалы. Вода у этих глыб буквально кипела, стараясь сдвинуть их со своего пути. Но это было ей не по силам, и, ударяясь о них, она поднимала снопы брызг. За скалами был виден крутой, почти отвесный косогор, заросший лесом, а дальше — опять скалы и осыпи.

Федор Петрович определил, что косогор сложен различными горными породами и поэтому так часто меняется его крутизна. Мы подошли к первому небольшому выступу песчаника. Высота скалы была около двадцати метров, а выше на крутом склоне рос лес. Обходя этот мыс верхом, нам пришлось карабкаться по крутому склону, придерживаясь за выступы. Обогнув первый утес, мы стали осторожно продвигаться вдоль по склону, рассматривая горные породы. Здесь уже были глинистые сланцы, но из-за растительности невозможно было определить направление падения их пластов. Пройдя метров триста, мы вновь встретили отвесные скалы песчаников, теперь уже высотой около пятидесяти метров. Обойти скалу у реки было невозможно. Посоветовавшись, мы решили подниматься вверх по косогору в надежде обойти скалу сверху. Шаг за шагом, все выше и выше, где ползком, где хватаясь за деревья, мы медленно продвигались вверх. Скала справа кончилась, но взбираться на ее вершину оказалось делом слишком рискованным, так как косогор был настолько крутой, что малейшая оплошность грозила верной гибелью. Что поделаешь — пришлось все-таки карабкаться дальше вверх. Выше склон оказался более пологим, и, поднявшись еще метров на сто, мы остановились и сели под ветвистым кедром.

За густой растительностью реки не было видно, солнце на косогоре припекало, и тучи мошки не давали нам покоя. В накомарниках было душно, и по лицам струился пот.

— Ну, как прижимчик? Кажется, не из приятных? — спросил я Федора Петровича.

— Да похож на слоеный пирог,— ответил он.— Здесь, вероятно, разные горные породы. Мы уже видели песчаники и окременелые глинистые сланцы, а прошли-то всего около пятисот метров, меньше десятой части. Вероятно, породы сильно разрушены, на первый взгляд это подтверждается наличием слоя делювия¹, — заключил геолог.— В одном

¹ Делювий — сильно разрушенная часть скалы, сплывшая вниз водой или обрушившаяся под влиянием собственной тяжести.

месте.— продолжал он,— я заметил щель в этом делювии, а это говорит о его неустойчивости, он может в любое время сползти по крутому склону. Важно будет определить, куда глинистые сланцы имеют наклон пластов. Если от реки в сторону косогора, то это еще хорошо, но если они падают в сторону реки, надо прямо сказать, что здесь железную дорогу строить нельзя. Конечно, пока гадать нечего; нужно начинать детальную геологическую разведку, и только после этого можно будет судить о каждом участке косогора отдельно.

Отдохнув, мы снова стали подниматься вверх, и только когда дошли до противоположного склона, повернули в сторону лагеря.

В лагере стучали топоры. От костров валил густой дым. Тарасенко и Митя с двумя рабочими строили печку. Они вырыли в косогоре небольшую пещеру и свод ее укрепили большими скальными плитами. Митя пробивал дымоход, а Тарасенко с рабочими приготавливали глину для обмазки этих плит и пода. Даша, готовясь стать пекарем, давала советы, как лучше сделать печь. Ей раньше приходилось печь хлебы только дома, в русской печке, но это ее нисколько не смущало. Эта рослая, здоровая белокурая девушка всегда была готова что-то делать. Так и сейчас, не задумываясь долго, она запустила свои полные руки в раствор глины, куда Тарасенко лил воду, и стала размешивать и разминать ее.

Вечером, после ужина, мы все собрались у костра. Посоветовавшись, решили строить лодки, чтобы на них можно было проплыть вдоль прижима, осмотреть его с реки, а одновременно, где возможно, пробивать по косогору тропу, обходя отвесные скалы по верху.

Прокладку тропы взялся возглавить Федор Петрович. Он же по мере продвижения тропы вперед будет изучать строение горных пород прижима, делая расчистки и пробивая шурфы. В этой группе должны работать все геологи и десять рабочих. Саша и Митя с тремя рабочими взялись построить лодку, а остальные рабочие под руководством Драпака и Тарасенко будут строить домик для проектных работ и конюшню. Маша присоединилась к «кораблестроителям», а остальные девушки поступили в распоряжение Асядулина, на работы по ремонту палаток, снаряжения и спецодежды.

С этого дня вся партия начала трудиться от восхода солнца до наступления сумерек. В строительных делах все давалось трудно. Главным образом не клеилась распиловка леса на доски и тес. Пилы были плохо разведены, да и никто из нас раньше не пилил продольной пилой. Сначала пришлось сооружать высокие козлы, на которые закатывается бревно, чтобы человек мог свободно под ним стоять и тянуть пилу. Верхний пильщик, пока привык, не раз срывался с козел. Только через пятнадцать дней мы спустили на воду первую лодку. Она получилась кособокая, тяжелая и неуклюжая. Но все же это была лодка, на которой можно было плыть по реке. Маша назвала лодку «Чайка», хотя она больше была похожа на черепаху.

Геологи за это время проложили по прижиму три километра тропы, выкопали несколько неглубоких шурфов и сделали расчистку скальных осыпей, чтобы определить падение пластов глинистых сланцев. Теперь можно было приступить к работам и путейцам.

Строительство лодок решили продолжить, поэтому Сашина бригада осталась на прежней работе. Драпак и Тарасенко перешли на прокладку трассы.

Нам не терпелось осмотреть прижим со стороны реки. Рано утром Федор Петрович, Саша и я пустились в первое плавание по Хунгари. Держались у самого берега и, упираясь в дно шестами, медленно продвигались вверх. Вскоре показался прижим. У первого выступа, где

течение было быстрее, нашу лодку развернуло, и не успели мы оглянуться, как ее понесло вниз. Пока разворачивались к берегу, нас унесло от прижима метров на сто. Пришлось все начинать сначала. Вновь подошли к прижиму и, упираясь шестами, старались держать лодку против течения. Лодка виляла, и ее несколько раз прибывало к берегу, но как только нос чуть-чуть отклонился в сторону реки, нас моментально вновь развернуло. Федор Петрович, пытаясь удержать лодку, чуть не вылетел в воду. И опять мы оказались там, откуда только что выбрались, с таким трудом.

Да, так дело не пойдет. Получается шаг вперед — сто шагов назад. — Давайте переедем на тот берег, — предложил Саша.

Часа три мы поднимались вверх вдоль другого берега. На перекатах приходилось вылезать из лодки и, вымокая по грудь, толкать ее против сильного течения; но день был теплый, и на солнце мы быстро обсыхали и согревались. Несколько раз прижим на противоположном берегу скрывался за островами, поросшими лесом. Через три часа он кончился, у реки появилась пойма, сопки стали удаляться, и, повернув лодку, мы поплыли к своему берегу. Лодку несло быстро по течению. На дне мелькали галька и валуны; вода была настолько прозрачной, что на середине реки можно было различить каждую песчинку. Не доплыв до берега, я повернул лодку по течению и стал тормозить шестом. Прижим был перед нами как на ладони. Высокие скальные утесы бросали исполинские тени на прозрачную воду, в некоторых местах утесы сменялись крутыми склонами, заросшими хвойным лесом. Из ущелий, разрезавших горы, вытекали ручьи, и падающая вода журчала где-то под каменными россыпями.

Лодка вошла в неширокую протоку. На острове было навалено много плавника, и стволы вековых деревьев, смытые водой, выходили далеко в русло. Скорость течения у прижима то усиливалась, то затихала. В одном месте лодку понесло на выступ скалы. Дружно работая веслами, нам кое-как удалось отбиться дальше от берега. В следующий момент лодку стало разворачивать и кружить на месте. Затем струя воды, подхватив ее, потащила вдоль берега в обратном направлении. Пришлось выгребаться из этого водоворота.

Вскоре протока соединилась с главным руслом. В некоторых местах нам хорошо были видны глинистые сланцы с падением пластов в сторону косогора. Это нас радовало и вселяло надежду на прокладку железной дороги по прижиму. Кончился прижим, и через пять минут наша лодка причалила к косе у лагеря.

Я вылез на берег и сел на песок. Последние дни я чувствовал усталость, временами кружилась голова от недоедания и тяжелой физической работы. То же самое было со многими моими товарищами, почти все они похудели. Но никто не жаловался. Особенно сильно похудел инженер-геолог Лукин. Это был высокий блондин родом из Архангельска. Такому большому, здоровому человеку при тяжелой физической работе, конечно, особенно не хватало нашего скудного пайка. Всю свою норму хлеба он съедал утром, а остаток дня ходил полуголодный. Пшеничную кашу без масла пытались сдабривать переросшей черемшой и еще какими-то растениями, но только голод заставлял съедать ее без остатка.

Кое-как поужинав, мы с Лукиным пошли вдоль реки вниз по течению, захватив с собой охотничье ружье и винтовку в надежде убить что-нибудь из дичи. Пробираясь по пойме, прислушивались к каждому звуку. Дятел стучит по дереву, выбивая частую дробь, сойка перепорхнула с одного дерева на другое, вот и все. В одном месте встретили рябчиков. Цыплята были еще маленькие, они бегали по траве, не в си-

лах подняться на деревья. Мать летала над ними, стараясь отвлечь наше внимание. Лукин было поднял ружье, целясь в мать, но, отвернувшись, пошел от выводка. Да и что нам было в одном рыбчике?

Пройдя километра три, мы вышли к реке ниже переката. На самом перекате скорость течения была большая, и уклон реки был заметен на глаз. Ниже переката течение было беспокойное, с водоворотами. Мы сели отдохнуть на толстый ствол дерева. Я пристально смотрел на кипящую воду, любясь ее переливами.

Но что там такое? В том месте, где быстрые струи обрываются и, выбросив снопы брызг, затихают, вливаясь в плес, что-то выпрыгивало из воды. Что бы это могло быть? Всплески стали приближаться к берегу, и я увидел прыгающих рыб. Да, это были рыбы! Они теперь уже непрерывно одна за другой прыгали из воды, хватая низко летающих насекомых. От такого открытия у меня даже защемило в груди. Вот оно, избавление от недоедания и болезней! Но чем и как поймать в прозрачной воде у бурного переката рыбу, способную преодолеть любую скорость течения и легко подниматься вверх среди пенящихся струй?

Я заторопил Лукина домой: нужно было рассказать товарищам о нашем открытии и приготовить на завтра к ловле.

Рыболовных снастей у нас не было. Не было и опыта рыбной ловли в бурных реках с водой такой светлой, что в ней все видно на десять метров.

Сообща решение всегда находится быстрее. Наши женщины предложили десяток тонких иголок, из которых Тарасенко и Ноздрин моментально изготовили крючки: они нагревали иголки, затем загибали их и за неимением машинного масла охлаждали в касторке. У серой монголки надергали из хвоста белого волоса и из него сделали лески. Но на что ловить и какую нужно приманку для этой рыбы, этого никто не знал.

Лагерь еще спал, когда мы с Митей направились к перекату. В кармане у каждого было по два крючка с лесками. Не прошло часа, как мы были уже на том месте, где вчера видели всплески рыб. Солнце еще не взошло, но обитатели тайги просыпались. На прибрежных кустах щебетали птицы. Над деревьями с шумом пролетел ястреб, в лесу что-то ухнуло и раскатилось по тайге.

Всплесков рыбы не было. Неужели она ушла к другим перекатам? Мы решили подождать до восхода солнца, а пока стали соображать, на какую же приманку ловить хариуса. Забрасывать удочку с грузилом на перекате было совершенно бессмысленно: ее немедленно занесет под камни. Значит, крючки и леска должны плыть по воде, а приманкой должны служить те же насекомые, которыми лакомятся рыба. Придя к такому заключению, мы стали внимательно следить за оживающими после ночи насекомыми. Вот первые лучи солнца стали пробиваться сквозь деревья, и как по команде появились бабочки и стрекозы, потом пролетел овод, издавая монотонное гудение. Над рекой зажужжали большие черные мухи и, распластав длинные крылья, парили над водой. Часть их садилась на воду и плыла вниз по течению. Одновременно с мухами над водой появились и всплески на перекате. Значит, мы будем ловить хариусов на этих же мух.

Долго нам не удавалось поймать этих мух, все они вились над рекой. Но вот в руках Мити оказалась муха с длинными крыльями и длинными усиками, я надел ее на крючок и с помощью длинного удилица забросил далеко на перекат. Вначале было видно, как течение подхватило приманку и понесло вниз, но она тут же затерялась в пенящейся воде. В том самом месте, где скрылся крючок с приманкой, из воды по-

казалась голова рыбы; я дернул удилище, и серебристая продолговатая рыба заблестела на солнце. Радости было много — мы поймали первого хариуса, граммов пятьсот весом. Но наша радость, к сожалению, скоро сменилась огорчением: больше не могли поймать ни одной мухи.

Солнце начало припекать. Хариусы прыгали все реже и реже, а мы все еще бродили по берегу в поисках приманки. Поймали бабочку, потом стрекозу, много раз бросали их в воду, но все было напрасно. Хариусы не обращали на них внимания.

Так с одной рыбиной и с надеждой на будущее мы вернулись в лагерь.

Начался трудовой день. Сегодня мы приступали к съемке поперечных профилей на прижиме, на всех его характерных участках с высоты ста метров и до самого уреза воды. Если до этого опасные места мы обходили, то при съемке поперечников нужно было их обязательно измерять. На эту работу пришлось назначить Митю и пятерых рабочих во главе с Поздняковым.

Работа предстояла опасная. Люди могли сорваться со скалы, и тогда гибель была неминуема. Альпинисты и те при подъеме на скалы обходят такие места; здесь же этого делать было нельзя. Высоту нужно было брать в лоб, не отклоняясь ни на метр ни вправо, ни влево. Решили съемку производить сверху вниз. Три человека с Митей будут вести измерения, предварительно обвязав себя веревками, а трое вверху должны их поддерживать за концы веревок.

Маша просилась в бригаду Мити. Она приводила много доводов: она и легкая, и голова у нее не кружится, она чуть ли не создана лазить по скалам и даже собиралась стать альпинисткой. Она умоляюще смотрела то на меня, то на Митю. Но я ей не разрешил, хотя и довел ее этим до слез.

Саша в это время уже заканчивал строительство второй лодки. Первая лодка, наша «Чайка», была все время у прижима. Ею управляли двое рабочих. Они охраняли людей, работающих на скалах, на случай если кто сорвется и упадет в воду. Новую лодку мы прикатали к реке по тонким бревнам. Она была такая же тяжелая, как и первая. По желанию Саши ее назвали «Хунгари». Смолили ее смолой, собранной с лиственниц. Такая смола растапливалась на солнце и прилипала к рукам и одежде, но мы были довольны, что нашли хоть такую. Когда наконец лодка закачалась на воде, мы посидели в ней в одних трусах, отгоняя ветками мошкар. Саша беспрерывно брызгался водой, защищаясь от мошки. За последние дни он очень похудел, щеки ввалились, но взгляд был по-прежнему задорный, и шутка у него была всегда на языке.

Двое рабочих и Лукин не смогли утром пойти на работу. Они ослабли, а у Лукина появились на ногах кровотокающие раны. Я опасался, не цинга ли у него началась. Иногда мы подкармливали его хлебом из своего пайка, но этого было недостаточно. Хоть бы ягоды и грибы скорее появились!

За день мы наловили много мух и оводов, которые роем кружились около лошадей, и теперь мы с Сашей готовились пойти на ночь к перекату за хариусами.

3. Орочи

— Гляди! Что такое? — окликнул меня Саша, сидевший в лодке и болтавший ногами в воде.

— Где? — спросил я.

— Да вон лодка плывет к нам снизу.

Я увидел узкое суденышко, продвигающееся в нашу сторону. Кто бы это мог быть? За прожитое у прижима время мы не имели никаких сношений с остальным миром. Ближайшая ороchonская деревушка Кун была от нас в пятидесяти километрах вниз по реке, никто там, конечно, не мог ничего о нас знать.

Когда суденышко приблизилось, мы увидели в нем двух людей, толкавших его шестью вверх по реке. Мы приветственно замахали руками, Саша стал даже приплясывать, приговаривая:

— Нашего полку прибыло.

Но приезжие на все приветствия реагировали странно: они повернули свое суденышко к противоположному берегу и причалили там в двухстах метрах ниже.

Из лодки вышли мужчина и женщина и, видимо, стали о чем-то совещаться, хотя мы и не слышали их голосов. По их одежде и по форме лодки мы догадались, что это орочи, и стали кричать, чтобы ониплыли к нам. Мужчина прошел по берегу и остановился против нас. Саша кричал ему:

— Давай к нам, кашу есть, чай пить!

— Вы какой такой народ? — крикнул тот.

— А ты какой? — крикнул ему Саша.

— Моя ороch Тарас из Куна. А ваша зачем сюда ходи?

Саша крикнул:

— Давай сюда плыви, толковать будем!

— Сначала скажи, какой вы народ, тогда приплыву. Может, вы плохие люди. Хорошие сейчас не по тайге ходят, а воевать идут. Может, твоя воевать не хочет, по лесу шататься хочет? — кричал нам Тарас.

Саша, совсем уж рассердясь, приготовился дать ему отпор, но я его остановил. Ведь орочи могут уплыть и подумать о нас самое плохое. Я стал объяснять ороchonу, что мы экспедиция из Комсомольска, железную дорогу собираемся строить, и уговаривал его плыть к нам. Все население нашего лагеря подошло к реке и приветственно махало руками.

Девушки пошли по косе, чтобы зайти напротив лодки орочей и поговорить с женщиной. Ороchon тоже пошел к своей спутнице и долго совещался с ней. Я хотел было плыть к ним, но лодка орочей направилась к нам и через пять минут причалила к косе. Похожая на длинное корыто, она была выдолблена из цельного дерева. Нос лодки был приподнят вверх, а корма скошена, как у индейской пироги. Ороchon и ороchonка были в национальных костюмах. Мужчина был лет пятидесяти пяти, его спутница — совсем юная девушка — оказалась его дочерью. Лодку они называли «ульмагдой». В ней лежали аккуратно упакованные вещи, ружье и посуда. В носу лодки на свежей траве валялось штук двадцать хариусов. Я залюбовался серебристой рыбой. Ороchon заметил и спросил:

— Уха кушай будем?

Я ответил, что мы рыбу еще ловить не научились. У нас есть только каша и чай.

— Чай — это хорошо, а уха лучше каши. — И он приказал дочери: — Дунька, твоя давай крепко уху вари.

Орочи занялись своими делами, и я теперь спокойно мог рассматривать их. Тарас был невысокого роста, ходил вразвалку — ноги его были немного искривлены. Его седеющую голову прикрывал подвязанный накомарник. Одет он был в свободную куртку из кожи, выделанной под замшу, и унты. В зубах его горчала длинная, прокуренная, выдавшая виды деревянная трубка. На поясе висели небольшой кожаный мешочек и охотничий нож в деревянных ножнах.

. Смуглое и по-своему красивое лицо его дочери Дуни обрамляли густые черные волосы, заплетенные в косы. На ней было яркое платье и унты, расшитые разноцветным замысловатым орнаментом.

Мы с Тарасом разговорились о тайге. Он сообщил, что дожди обычно здесь начинаются в конце августа и идут до середины сентября. В сентябре пойдет кета из Амура вверх по Хунгари, и тогда погода бывает хорошая. В дожди вода заливает галечниковые косы и по реке несет много леса, смытого с берегов. В это время по Хунгари плавать трудно и опасно. Деревня Кун — самая последняя от Амура, и других поселков здесь на сотни километров нет. (Об этом мы знали и сами.)

Ужин был приготовлен, и мы все пошли к столам, сделанным из досок. Дуня принесла большой котелок с ухой и положила несколько лепешек. Даша подала все ту же нашу жидкую кашу. Мне стало совестно перед Тарасом за наше скудное угощение. Саша с шутками и прибаутками взял из рук Дуни миску и, подмигивая девушке, начал уплетать уху за обе щеки. Тарас угостил ухой и меня, но я отказался и передал миску Лукину.

— Твоя совсем худой, — сказал мне Тарас. — Твоя надо сырую рыбу много есть и крепкий чай пить.

После ужина Тарас все допытывался, почему мы не на войне. Саша сказал:

— Мы, Тарас, были тоже на войне на Волге. Слышал? (Тарас закивал головой.) Так вот, фрицы там сдались и сказали, что Гитлер — капут. Ну раз капут, мы тогда тоже поехали в тайгу железную дорогу строить.

— Твоя мала-мала болтай есть. Иди с моей Дунькой болтай, — обиделся Тарас. — Наши двое из Куна вчера на фронт ходи, будут Гитлера на мушку брать. Гитлер не совсем капут. Его тоже, говорят, много люди есть.

Я объяснил ему, какое значение будет иметь железная дорога, и тогда он успокоился. В разговоре выяснилось, что Тарас был один раз в Комсомольске, а больше не был нигде. Ему понравились дома, широкие улицы и нарядно одетые люди. Не понравилось только Тарасу, что по улицам днем ходит много людей, которые ничего не делают.

— Люди с утра до вечера ходят, а ночью ведь спать надо. Когда же они работают? — говорил Тарас.

Убедить его, что и в городе все работают, мне полностью не удалось. Я незаметно перевел разговор на ловлю хариусов, похвалил эту рыбу, сказал, что она очень вкусная. Тарас покивал головой и добавил:

— Хариус рыба хитрая. Ее надо немного обмани и тогда ульмагда таскай. Из медвежьей шерсти мушку надо делать, какую хариус кушать любит.

И, вытащив из своей котомки небольшой сверток, он развернул его и показал нам искусно сделанные мушки. Это были копии мушек, на которых я поймал хариуса у переката. Мы стали просить Тараса показать нам, как сделать такие мушки. Он охотно согласился. Достав кусок медвежьей шкуры, он выдернул из нее клочок шерсти и, приложив ее к крохотному крючку, стал обматывать вокруг крючка черной ниткой, пригибая шерсть в разные стороны. Через несколько минут в руках у Тараса была готовая мушка. Мы все хвалили искусную работу. Тарасу ничего не оставалось, как подарить эту мушку нам. К подарку он прибавил еще и клочок медвежьей шерсти, сказав:

— Твоя сама геперь такую мушку делай будет.

Мы подарили Тарасу две лески, сделанные из волос нашей серой монголки. Тарас принял подарок, похвалив и нашу работу. Я попытался сам сделать мушку, но получилось плохо.

— Твоя понимай мало есть,— сказал Тарас и повторил еще раз всю операцию.

Во второй раз я постарался сделать хорошо — ведь эти маленькие мушки должны избавить нас от недоедания, болезней и ускорить нашу работу!

Тарас велел дочери готовиться к ночлегу. Мы уговаривали его ночевать в палатках, но он не согласился. Разложив недалеко от костра небольшой брезент, Дуня застелила его шкурами кабарги. Мы не стали им мешать и разошлись по палаткам. Утром, после завтрака, Тарас заторопился плыть вверх по Хунгари до устья Уктура. В верховьях этой реки были его охотничьи места. Он собирался заготовить там дрова на весь сезон охоты, починить зимовье и постараться наловить рыбы для собак. Зимой он выезжает туда на собачьей упряжке, и корма собакам требуется много. Мне нужно было побольше узнать от него о тайге, и я попросил его остаться еще хоть на один день в нашем лагере.

— Ладно, моя сегодня отдыхай, а завтра далеко ходи будет,— согласился Тарас.

Сидя с Тарасом на песке, мы составляли карту окружающей местности. Вернее, составлял Тарас, а я только смотрел, как он выкладывал из сучьев и веток всю речную систему бассейна Хунгари. Саму Хунгари он изобразил толстой длинной палкой. К этой палке он приставлял ветви, обозначающие притоки, к веткам подкладывал тонкие веточки — это были ручьи. Когда Тарас закончил составление своей карты и в довершение выложил из камней хребет Сихотэ-Алинь и его отроги, я попросил подробно рассказать, где он сам был и что видел.

— Моя везде был, только там не был,— сказал Тарас, показывая на хребет.— Уктуре охочусь. Здесь вот,— и показал на самый конец толстого сучка.— Нижней Удоми тоже ходил, соболей гонял. Верхней Удоми был с экспедицией, тропу им топтал. Хунгари ходил к самой большой горе, думал, там пушнины много.— Указав на среднюю ветку, сказал: — Это Сегджему, моя тут еще маленький первого медведя стрелял.

Тарас еще много рассказывал о своих походах по тайге. Я стал спрашивать и о тропах.

Он сказал, что тропа здесь одна, что ее давно проложила экспедиция, и показал, где она проходит. Его рассказ соответствовал и нашей карте.

Долго длилась наша беседа. Тарас рассказал, как заходили сюда с побережья японцы и много выжгли тайги, как еще совсем молодой он выменял у купца совсем плохое ружье за триста беличьих шкурок, а за топор отдал двух соболей.

— Моя тогда совсем глупый был, а его шибко хитрый,— вспоминал он.

Остаток дня Тарас отдыхал, чистил ружье, а под вечер сел в ульмагду и поехал, сказав:

— Моя недалеко. Медведя смотреть надо.

Вечером мы с Сашей и Лукьянчиковым пошли к перекату. У меня было четыре мушки, из которых две подарил мне Тарас. У переката я вытащил мушек и предложил по одной Саше и Лукьянчикову. Лукьянчиков не взял и показал три искусно сделанные мушки. Я не стал спрашивать, откуда они у него,— и так понятно было, что их подарила дочка Тараса. На этот раз ловля у нас была прекрасная. Хариусы хватили приманку на лету.

Домой мы возвращались с богатым уловом. Метров за двести от лагеря услышали возбужденные голоса. Лагерь я свой не узнал: там было много народу и завьюченных лошадей. Кто бы это мог быть? Мы поспешили, подстегиваемые любопытством, и через минуту я крепко

жал руку Арсения Петровича Кузнецова и его молодой жены Кати, работающей в одной изыскательской партии с мужем.

Партия Кузнецова двигалась на хребет Сихотэ-Алинь. Тридцать лошадей были навьючены продовольствием, легким буровым оборудованием, палатками и другим снаряжением. Вместе с его партией к нам пришли еще пять рабочих, и они привели с собой двух лошадей, завьюченных продовольствием.

Пришла и первая за полтора месяца почта. Всех порадовало, что немецкие захватчики, разгромленные на Орловско-Курской дуге, откатывались все дальше на запад.

Арсений Петрович передал мне инструкции от начальника строительства Федора Алексеевича Гвоздева и начальника экспедиции Петра Константиновича Татаринова.

В инструкциях указывалось, что строительство на нашем участке начнется с ноября. Арсений Петрович добавил на словах, что до шестидесятого километра уже ведется строительство временной автодороги, а от Пивани на первых километрах начали укладку рельсового пути. По решению Государственного Комитета обороны всю железную дорогу нужно построить за два года и первый поезд до Советской Гавани пропустить в июле 1945 года. Строительство отнесено к очень важным. Для постройки дороги выделяется много автомашин, экскаваторов и других механизмов. В Советскую Гавань через Владивосток выехало строительное подразделение, которое будет вести работы с востока к хребту Сихотэ-Алинь.

Мы до полуночи расспрашивали прибывших о новостях и обсуждали, как передвигаться дальше партии Кузнецова к хребту Сихотэ-Алинь. По многочисленным притокам Хунгари ему с лошадьми не пройти. Прямой тропы через горы нет. Единственная тропа, по которой можно двигаться, переходила с берега на берег Хунгари, обходя прижимы. Если двигаться по этой тропе, то нужно будет четыре раза переправлять лошадей, груз и людей через бурную реку. Первый раз тропа переходит на противоположный берег у нашего лагеря, второй раз — через сорок километров, третий брод находится от второго в десяти километрах и последний от третьего — в пяти. Значит, до последнего брода пятьдесят пять километров.

Тарас принимал горячее участие в нашем разговоре.

— Торопиться надо,— сказал он.— А то дожди пойдут, ваша сопке сидеть будет. Река злая бывает, ходить нельзя.

Тарас был прав. Через Хунгари можно переправлять такой табор только в низкую воду, а если пойдут дожди, уровень воды в реке быстро поднимется, скорость течения увеличится, и тогда ничего не останется делать, как «на сопке сидеть».

4. Вверх по Хунгари

Арсений Петрович спешил к перевалу. Ему нужно было пройти по тайге еще около ста километров, и он категорически отказался от моего предложения отдохнуть хоть немного в нашем лагере. Я знал, что, несмотря на всю его опытность, ему будет трудно пройти по долине Хунгари, но знал и другое: он может из самолюбия отказаться от моей помощи, хотя мы и были товарищами и вместе работали уже около пяти лет. Приходилось быть осторожным. Я сказал Арсению Петровичу, что, пока нет дождей, я завтра тоже поеду на лодке вверх по Хунгари, чтобы ознакомиться с остальным своим участком. Мне и в самом деле нужно было посмотреть следующие прижимы по реке и ряд притоков, которые

должна пересекать трасса. Вместе веселей, да и можно будет по дороге кое о чем посоветоваться: в тайге консультантов нет, решать все технические вопросы приходится в узком кругу. Арсений Петрович посмотрел на меня с подозрением, но мои доводы показались ему искренними.

— К тому же,— прибавил я,— в лодку мы сможем положить около тонны груза, а если нужно, возьмем и вторую лодку, это облегчит лошадей.

Тарас, потягивая трубку, внимательно слушал наш разговор.

— Моя тоже так думает. Лодка надо ходить. Без лодки твоя, Арсений, пропадай, тонуть будешь. Моя тоже вам помогать поедет. Ваша реку не знает, если будешь тони, моя будет ульмагду таскать.

Мы оба обрадовались решению Тараса и стали его благодарить, а он добавил:

— Тайге хорошим люди всегда помогать надо.

Я предложил Арсению Петровичу взять присланные для нас продукты и двух вьючных лошадей — ведь его отряд идет далеко, и вьючный транспорт с продовольствием скоро к нему не попадет. Если же пойдут дожди и река разольется, то может случиться, что и вообще до зимы по Хунгари никому не пробраться.

— У вас на хребте рек нет, а мы вот хариуса уже ловить начали и как-нибудь проживем,— уговаривал я.

После долгих колебаний Арсений Петрович сдался.

На следующий день с рассветом начали переправу. Через два часа все имущество и люди были на левом берегу Хунгари. Лошадей решили переправлять немного выше лагеря, где течение спокойное, а на противоположном берегу была галечниковая коса.

Первая лошадь, кобылица-восьмилетка, долго не хотела идти в воду. Ее тянули за лодкой и подталкивали сзади. С противоположного берега ее манили, называя как можно ласковее: Лысушка, Лысушенька. Но вот, наконец решившись, Лысуха быстро пошла в глубину. Ее подхватило течением и потащило вниз по реке, но лошадь, отфыркиваясь, плыла, не отставая от лодки.

— Ух и красиво же плывет! Эта лошадка человека из огня и воды вытащит,— любуюсь, говорил Саша.

Лысуха действительно держалась молодцом. Она плыла, не оглядываясь. Вот она уже вышла на косу, метрах в трехстах ниже, заржала, и ей стали отвечать лошади с нашего берега. Теперь лошадей загоняли в воду группами, и все они плыли на зов Лысухи. Заминка произошла только с одной кобылой. Она на середине реки стала вертеться, как бы собираясь вернуться обратно, и ее потащило течением вниз по реке. Мы опасались, что лошадь унесет на перекат, тогда считай ее погибшей. Но километром ниже она прибилась к берегу. Берег в том месте был завален лесом, и конюхи немало потратили времени, пока вытащили ее из реки.

Арсений Петрович распорядился завьючиванием лошадей, я укладывал громоздкие вещи в лодки и ульмагду Тараса. Прошло много времени, пока караван двинулся по тропе, а лодки — вверх по Хунгари. Тарас плыл с Дуней на ульмагде впереди, за ними моя лодка, третьей, и последней, управлял Лукьянчиков. Каждую лодку тащили на длинной бечевае двое рабочих Арсения Петровича.

Быстрая вода все время разворачивала неуклюжие лодки, и их то прибывало к берегу на камни, то относило далеко к фарватеру, где скорость течения была такая, что два «бурлака» не могли сдвинуть лодку с места. Стоя на корме, я подталкивал ее шестом, но, несмотря на все мои старания, движение наше было очень медленным.

На первом же перекаате мою лодку чуть не перевернуло, пришлось все вещи привязывать, а на середине перекаата всем вылезать в воду и толкать их, ухватясь за корму. На дне реки было много каменных глыб, и нам приходилось все труднее и труднее: воды между глыбами было по пояс. Наконец перекаат кончился, течение стало слабеть, и лодки пошли быстрее.

До места первого ночлега, куда придет и караван лошадей, оставалось километров семь. Мы все сильно устали и перемокли.

Перед вторым перекаатом нас ожидала ульмагда. На берегу горел костер, у костра хлопотала Дуня, Тарас с кормы ловил рыбу. Причалили и мы. Я тоже стал ловить рыбу, а Лукьянчикову велел готовить рогатины для печения хариусов. Хариусов запекали у костра, распластав их на рогатинах. Пожалуй, за всю мою жизнь я никогда не ел более вкусно приготовленной рыбы — без приправ и без примесей. Поев и отдохнув, мы снова двинулись в путь.

Добрались до условленного по карте места, когда солнце уже закатилось за сопки, но было еще довольно светло.

Арсения Петровича с караваном здесь еще не было. Мы стали заготовливать на ночь дрова, поставили две палатки и, разложив дымокуры, стали ждать. Вскоре тайгу окутала ночь. У нашего бивака густой стеной стояли вековые тополя в два обхвата и приютившийся под их кронами молодой ельник.

Окончательно устроившись, мы стали подавать голосами и выстрелами из ружья сигналы затерявшемуся каравану. Спать решили по очереди. В свое дежурство, чтобы не уснуть, я все время подбрасывал в костер сучья и ветки хвои. Я решил взяться за свой запущенный дневник и, перебирая в памяти события последних дней, стал делать карандашом записи в затрепанной и не раз подмоченной тетради.

Солнце уже взошло, когда на нашу поляну у реки высыпал караван Кузнецова. Лошади кинулись к дымокурам, отчаянно отбиваясь хвостами и ногами от мошканы и подставляя свои головы под дым.

Подожли Кузнецов с женой.

Арсений Петрович был хмур и чем-то расстроен.

— И надо же было тому косолапому черту выйти на караван, а этому растяпе испугаться, — сказал он со злобой.

— А что случилось? — спросил я.

После переправы через Хунгари они долго искали тропу. По ней последние годы никто не ходил, и она заросла мелколесьем. Караван продвигался медленно. Тропа поднималась на сопки, спускалась в заболоченные низины. Перед заходом солнца из ручья, заросшего густым пихтачом, на тропу вышел медведь. Увидав караван, остановился, заревел и бросился бежать в лес, ломая мелкие пихты. Передний конюх, испугавшись медведя, бросил лошадь и побежал назад. Лошадь кинулась за конюхом, сорвала с себя о деревьях вьюки и убежала в тайгу.

Ее нашли в километре от места происшествия. Она лежала среди деревьев и билась в предсмертной агонии. Кишки вывалились из ее живота и намотались на ноги. Видимо, она распоролла живот об острый сук поваленного дерева.

Пока искали лошадь, солнце уже село, и пришлось ночевать в лесу между болотом и сопкой.

Арсений Петрович был очень расстроен потерей лошади и вызванной этим задержкой в пути. Однако Катя не дала ему долго хмуриться. Она пртянула его к реке умыться и попить прозрачной воды, брызгала на него водой и смеялась. Скоро хмурое выражение сошло с его лица.

После завтрака весь лагерь пришел в движение. Арсений Петрович, с ружьем за плечами, выступил в поход первым. За ним следом пошли

два десятка рабочих с топорами и пилами, затем вьючные лошади. Замыкали шествие остальные сотрудники с Катей и хозяйственным партией.

Условившись с Арсением Петровичем, что встретимся вечером у второй переправы через Хунгари, находившейся в пяти километрах от высоких сопок под названием «Три дурака», мы тоже отчалили от берега и поплыли на своих суденышках вверх по реке. Второй день плавания по Хунгари ничем не отличался от первого, разве только чаще приходилось перебираться от берега к берегу, выбирая тихое течение. Позади остались устья рек Сегдjemu и Нижней Удоми. Руки у меня были в мозолях от шеста. Мозоли лопались, кровоточили и болели. Кисти рук одеревенели и с трудом разгибались. Но нужно было непрерывно толкать и толкать шестом. Стоило только на секунду задержаться, как лодку начинало разворачивать и тянуть сильным течением вниз. Только непрерывная работа позволила держать ее против течения и хоть медленно, но продвигаться вперед.

— Твоя ульмагда хуже медведя ворочается,— возмутился Тарас.— Такой ульмагде пропадай только.

Он часто и подолгу ожидал нас. Лодку не везде можно было тащить бечевою. Во многих местах берега были завалены лесом, бечева задевала за него, и люди с трудом пробирались по берегу. У таких завалов приходилось продвигаться только на шестах.

Наконец впереди на левом берегу показались скалистые горы, обрывающиеся отвесной стеной в реку. Кузнецову по этим скалам с отрядом не пройти, и он, конечно, остановится, не доходя до них. Проплыв около километра, мы увидели на берегу дым, а затем и весь отряд Кузнецова, пришедший туда раньше нас.

День клонился к концу, и мы, решив остановиться здесь, пошли выбирать место для переправы лошадей. Тарас посадил меня и Арсения Петровича в свою ульмагду и повез вверх по реке.

— Моя здесь все хорошо знает. Прошлый год кету острогой колол. Ух и много ее плавай!

В ульмагде нужно было сидеть осторожно: стоило только опереться рукой о борт, как она сильно накренялась и черпала воду.

Когда повернули к середине реки, Тарас предупредил нас:

— Ваша пусть как куль с мукой сидит. Двигайся нельзя, шевелись нельзя.

Глубина здесь была большая. Бросив в ульмагду шест, который не доставал дна, Тарас схватил весло и, встав на колени, стал быстро гребсти. Ну и ловко же у него это получалось!

На противоположном берегу была узкая, но удобная коса, которую мы увидели, только подплыв поближе. Судя по скорости течения, лошадей придется заводить в воду метров на двести выше.

Исследовав реку, мы возвратились в отряд и решили, не теряя времени, людей и вещи перевозить через реку сегодня, переправу же лошадей и конюхов отложить до утра.

Опять все пришло в движение. Две лодки и ульмагда непрерывно курсировали по реке. Когда стемнело, на обоих берегах зажглись костры. Уставшие люди устроились на ночлег кто где мог; нужно было беречь силы. Засыпали быстро. Рано утром предстояло переправить лошадей, пройти пять километров и еще раз переправиться через реку у «Трех дураков».

Лагерь еще спал, когда на том берегу стали кричать, стрелять и свистеть. Мы вскочили, не понимая, в чем дело. Но вот на середине реки показались головы лошадей. Они плыли кучей к нашему берегу. Мы кинулись к лодкам. Лошадей сносило течением. «Хоть бы не пронесло их

мимо косы», — испугался я. Ниже косы вода ударяла в высокий обрывистый берег, на который лошадям не выбраться. Их понесет дальше на перекат, и тогда все пропало. Тарас был уже в ульмагде и, оттолкнувшись от берега, стал обходить лошадей ниже по течению. Мы с Арсением Петровичем последовали за ним. Лодка черпнула воды, но, не обращая внимания на это, мы стали обходить лошадей. Где нам было, однако, успеть за ульмагдой! Тарас уже обошел лошадей, поставил ульмагду носом против течения и стал отпугивать табун к косе. Тарас кричал им что-то на своем языке. Повинуясь, лошади, борющиеся с течением, изменили направление. Слышно было тяжелое их всхрапывание. Зубы их были оскалены, и казалось, что им не хватало воздуха. Минуты две шла эта борьба — нам она показалась очень долгой. Вот наконец над водой появилась спина первой лошади, и она, пошатываясь, вышла на косу. За ней вторая, третья — и так весь табун. Только одну лошадь унесло вниз по реке к перекату. Это была та самая кобылка, которую снесло еще на первой переправе. В сером свете раннего утра мы видели, как она ударилась головой о свисавшее с берега толстое дерево и ушла под воду. На миг показались из воды не то нога, не то хвост, и все было кончено.

Потом выяснилось, что с вечера лошади почему-то были сильно взволнованы, часто наостряли уши, но потом как будто бы успокоились. Уставшие конюхи уснули, а лошади, увидев на другом берегу лагерь, поплыли через реку к нему.

— Им макушку бить надо, — сердился Тарас на конюхов. — Неужели понимать нет? Лошади зверя боялись, караулить их надо, стреляй надо, спать не надо.

За два дня погибли две лошади. Этак Кузнецову не дойти до хребта. Мы решили прикрепить к каждому инженеру и технику по три-четыре лошади, за которые они вместе с конюхами будут отвечать головой.

В середине дня подошли к «Трем дуракам». Почему эти скалы получили такое название, непонятно. Может быть, потому, что здесь река, обходя их, два раза меняет направление. С левой стороны были видны две высокие скалы, а справа — одна. Кто их назвал «Тремя дураками», даже Тарас не знал.

— Моя понимай так, — говорил Тарас. — Там гора, тут гора, а здесь река. Людям нет места ходи.

Потом сердился.

— Дурак! — сказал он. — Плохое место.

Может, это было и так.

Здесь у одних и тех же рек и ручьев по несколько разных названий. Одни дали орочи, другие — китайцы и корейцы, есть названия и удэгейские, а некоторые реки имели двойное название.

Следующие две переправы через Хунгари обошлись благополучно. Мы с Арсением Петровичем благодарили Тараса за неоценимую услугу. Если бы не он, трудно было бы нам пройти по незнакомой Хунгари.

Он еще в первый день проплыл мимо Уктура, куда держал свой путь, но даже ни словом не обмолвился об этом. Теперь ему и мне нужно было возвращаться обратно по реке — Тарасу в Уктур, мне в свой лагерь. А Арсению Петровичу с отрядом нужно было еще пройти шестьдесят километров до хребта.

— Нелегко тебе будет на хребте. Ведь тебе дали задание пройти с трассой через хребет без тоннеля, — говорил я, прощаясь, Арсению Петровичу.

— Хоть и трудно, а нужно, — задумчиво проговорил Арсений Петрович. — Строить тоннель длиной в два-три километра сложно, и большие сроки нужны, у нас их, к сожалению, нет.

Арсений Петрович выпрямился и, как бы окончательно решившись, сказал:

— Пройдем без тоннеля. Сказано пройти — и пройдем. Там, — указал он на запад, — еще труднее... Ну, до свидания, друзья, скоро ли увидимся?

Тарас еще давал наставления, куда надо идти дальше, какой стороны реки держаться, и советовал торопиться.

— Дождь скоро будет, — говорил Тарас, — твоя надо шибко ходи.

Вот уже последняя лошадь скрылась в лесной чаще, не стало слышно голосов, а мы еще долго смотрели вслед людям, ушедшим тропой изыскателей.

5. Опасная трещина

На обратном пути вниз плыли быстро и к середине дня были уже в устье Уктура. Мне не хотелось расставаться с Тарасом, но делать было нечего — его ждали свои дела, а мы торопились к прижиму. Для знакомства с Уктуром я решил все же взять одну лодку и проплыть с Тарасом. Нам все равно придется пересекать эту реку, и нужно хоть примерно наметить место мостового перехода. Со мной отправился и Лукьянчиков. Ульмагда Тараса шла легко, а наша лодка опять, несмотря на все наши старания, отставала.

Уктур — более спокойная река, чем Хунгари. Перекатов по ней мало, и скорость течения меньше. Километров через пять пойма стала сужаться, и с левой стороны показались сопки; где-то здесь должен быть и переход. После многочисленных извилин началось прямое русло. Я крикнул Тарасу, чтобы он остановился.

— Давай отдыхать, Тарас. Мы дальше не пойдем, — сказал я.

Тарас закивал головой и, причалив к берегу, велел дочери кипятить чай.

Я решил осмотреть местность. Чем дальше от реки, тем заросли становились гуще. Кустарник сменился толстыми лиственницами и березами. Мое внимание привлекло множество узеньких тропинок; тропки были торные, и ходили по ним к реке, видимо, какие-то небольшие животные. По одной из них я стал тихо пробираться вперед, стараясь ступать на мох, чтобы не было слышно шагов. Пройдя около километра, я заметил на тропе свежий помет кабарги. Она прошла здесь совсем недавно. Я стал продвигаться еще осторожнее; на мое счастье, легкий ветерок дул мне в лицо — значит, кабарга меня не учует. Вдруг впереди затрещали сучья, я вскинул ружье и, почти не целясь, выстрелил в темное пятно. В следующий момент я кинулся туда. Кабарга еще билась, разгребая ногами мох. Ножом я прирезал животное и, бросив добычу на плечи, пошел обратно.

Тарас помог мне снять с кабарги шкуру и разрубить мясо на куски. Я предложил Тарасу взять свежего мяса, но он отказался.

— Сегодня вечером таймень кушать будем. Его много вверху реки есть.

Лукьянчиков прощался с Дуней. Он держал девушку за руки и не хотел отпускать. Она застенчиво смотрела на Виктора и улыбалась. Тарас уже давно на них косился.

— Ты мою Дуньку не порти, — незло сказал он. — Зачем ей глаза смотришь? Девка тайге скучать будет.

Орочонка засмеялась и побежала к ульмагде. Лукьянчиков кричал ей вслед:

— Еще увидимся! Пиши, Дуня! Адрес знаешь — лагерь у прижима! Почту с кабаргой присылай!

— Твоя сама пиши. Я русски читать умею,— смеясь, ответила девушка.

Тарас пошел вслед за ней. Они встали в ульмагду и оттолкнулись от берега. Лукьянчиков кричал Дуне, чтобы она заезжала на обратном пути, а я просил Тараса не забывать новых знакомых. Орочи как по команде взмахивали шестами, и вскоре их ульмагда скрылась за поворотом реки.

В лагере мы были до захода солнца. Ужин получился на славу: уха из хариусов, а на второе тушеное мясо. Такого ужина у нас в тайге еще не было. Лица у всех повеселели. Молодежь вечером пела песни, а потом под звуки визжащих гребенок и выбиваемую ложками дробь некоторые пустились в пляс.

Страшный громовой раскат разбудил меня. Проснувшись, я сначала подумал, что это мне показалось во сне, так было сейчас тихо. Прошла минута, другая, и сноп света ворвался в палатку. Вспышки молнии и громовые удары, то близкие и резкие, то далекие и раскатистые, повторялись все чаще и чаще. Со стороны леса послышался шум. Он нарастал с каждым мгновением, и вдруг налетел ветер. Палатку рвало — казалось, она разлетится в куски.

— Ну, кажется, началось,— проговорил проснувшийся Федор Петрович.

Я встал и хотел зажечь свечу. Но ветер влетал через полотняные двери в верхнее отверстие, под полог и тушил спички. Наспех одевшись, я вышел наружу. Стояла кромешная тьма. Скрипели деревья, временами в лесу что-то трещало и падало. При блеске молний было видно, как копошились люди. Одну палатку уже сорвало и чуть не унесло в реку. Во тьме слышались голоса. Асядулина ударило колом по голове, он ругался, проклиная тьму и налетевший ураган. Люди из сорванной палатки перебирались в другие.

Через десять минут ветер утих так же неожиданно, как и налетел. Пошел дождь. Вскоре он превратился в настоящий ливень. Я не мог разглядеть свою палатку и стал кричать Федору Петровичу, чтобы выйти на его голос. В этот миг молния осветила косу: палатка была в двадцати метрах. На мне не было сухой нитки. Но и палатка в заплатах местах протекала.

Нас беспокоили лошади. Где они? Не искалечили ли их во время урагана падающие деревья? Наши монголки последнее время привыкли к тайге, они находили себе пастбище, и мы их отпускали без конюхов. Искать их сейчас, в дождь, было бессмысленно. Приходилось дожидаться утра.

Дождь не прекращался всю ночь. Рассвет наступил поздно. По небу низко несло свинцовые тучи, они покрывали ближайшие сопки и, казалось, купали их в море воды. Такого сильного ливня мне не приходилось видеть.

Наш лагерь среди разбушевавшейся стихии выглядел жалким. Если так будет лить до вечера, косу зальет водой.

К обеду ливень стал стихать. Я решил с Митей и двумя конюхами-бурятами пойти поискать лошадей. Лес был неузнаваем. Часто встречались вывороченные с корнями деревья. Сломанные сучья и верхушки валялись повсюду.

Разыскать лошадей нам удалось довольно скоро. Они приютились у подножия сопки и стояли, понурив головы. Одна лошадь издавала жалобные стоны. Она держала переднюю ногу на весу и мотала головой. Бурят Церембал, знаток лошадей, определил у нее перелом ноги между коленом и щиколоткой. Мы разорвали одну рубашку и пере-

бинтовали ей ногу. Церембал примостил к больной ноге лошади палку и устроил подобие лубков. Лошадей решили загнать в недостроенную конюшню. Несчастная искалеченная лошадь около километра скакала на трех ногах, жалобно стелая. Загнав лошадей и отделив больную, мы стали настилать крышу конюшни ветками и прутьями. Дождь, конечно, проникал сквозь это перекрытие, но все же так было тише и теплее. Церембал решил остаться с лошадьми. Мы устроили ему шалаш меж двух близко стоящих друг к другу лиственниц. В лагерь вернулись мокрые и замерзшие.

Обедать не пришлось. Дождь залил плиту, дрова были мокрые, а костер развести не удалось. Пришлось довольствоваться одним черным хлебом. Все сидели в палатках. Я чинил порвавшуюся одежду, а Федор Петрович с Драпаком в сухом углу составляли чертежи по прижиму.

В палатку пришли Саша и Митя.

— Моя палаткой тайгу сегодня ночевать ходи будет. Коса боюсь,— подражая Тарасу, сказал Саша.

Да, пожалуй, нужно было перебираться в лес, тем более что пришел инженер и сказал, что вода прибывает. Это и решило спор. Началось переселение на высокую террасу.

А дождь все лил и лил. Он и на следующий день еще продолжался, но был уже не такой сильный. Мы пошли посмотреть на реку.

Могучий поток воды нес огромные деревья, их корни торчали из воды. Вода, пенясь, неслась мимо нас с огромной скоростью. Косы нашей, конечно, не было видно. А вода все прибывала и прибывала. Хорошо, что мы вытащили лодки высоко на берег, иначе они были бы раздавлены проносившимися деревьями или унесены водой. К вечеру река вышла из берегов и разлилась по всей пойме.

Три дня с небольшими перерывами шел дождь. Только на четвертые сутки выглянуло солнце, освещая притихшую тайгу. Все население лагеря высыпало из палаток — погреться под теплыми лучами. Развешивали промокшую одежду, постели, имущество. Наш лагерь стал похож на старинный цыганский табор.

Когда мы подсчитали остаток продуктов, то выяснилось, что при самом экономном расходовании их хватит только на десять дней. О том, чтобы ловить рыбу, нечего было и думать. Надо было посылать в Комсомольск за продуктами.

Через три дня вода в Хунгари стала спадать, и Асядулин с тремя рабочими на десяти лошадях выехали в Комсомольск. У нас продовольствия оставалось на пять дней, а привезти продукты из Комсомольска Асядулин сможет не раньше чем дней через десять. Пришлось уменьшить и без того скудные пайки.

Церембал сообщил, что с лошадью, сломавшей ногу, плохо. Она перестала есть и за время болезни ни разу не ложилась. Что же делать? Пришлось прекратить страдания животного, а мясом ее пополнить запас продовольствия.

Наш прижим тоже пострадал от ливня. В тех местах, где тропа проходила не по скалам, ее размыло. В двух местах появились сплывы растительного слоя вместе с деревьями. По тропе приходилось пробираться еще осторожнее.

У одного обрыва Федор Петрович велел бригаде Позднякова рыть шурф. Мне он предложил подняться вверх по крутому склону и осмотреть трещину, которую он давно уже заметил. Поднявшись метров на шестьдесят, Федор Петрович остановился. Мне бросилось в глаза дерево, разорванное от корней вверх.

— Вот она,— показывая на узкую щель под деревом, сказал Федор Петрович.

Трещина была шириной сантиметров тридцать — сорок. Она проходила вдоль прижима тонкой литью, пересекая разорванное дерево. Разрыв в дереве был старый, но выше по стволу появились свежепорваные места, что подтверждало расширение трещины.

— С косогора сползает слой грунта по скале,— пояснил геолог,— и попавшая в трещину вода ускорила процесс. До дождей эта трещина была раза в два меньше, а пройдет немного времени, и вся масса щебня и грунта вместе с растительным слоем и деревьями обрушится в реку.

Это было очень неприятно и уменьшало наши шансы на прокладку железной дороги по прижиму. Найдя длинную палку, мы пытались определить глубину трещины, но шест уходил на всю длину вниз, не доставая дна. Федор Петрович решил заложить шурф ниже трещины, чтобы выяснить мощность слоя рыхлой породы.

Эту работу хотели поручить как физически сильным недавно прибывшим в партию рабочим Ковальскому и Сорокину. Оба они недавно освободились из длительного заключения, где отбывали наказание за воровство. Отличались они от всех остальных рабочих, как ни различны были те между собой, угрюмым взглядом. Держались все время вдвоем, не входя в общий коллектив.

Мы с Федором Петровичем вызвали их, чтобы дать задание и разъяснить, как рыть глубокий шурф на крутом косогоре и как крепить, чтобы избежать возможных обвалов.

Сорокин, войдя в палатку, недовольно спросил:

— Чего вам еще надо от нас?

Не обращая внимания на его тон, я стал рассказывать суть нового задания. Слушали оба нехотя, а потом Сорокин заявил:

— Прижим нас не трогает, так зачем мы его будем трогать? Пусть стоит, как стоял, нам он не мешает.

Мы не сразу поняли, что рыть шурф оба они категорически отказываются. Я пытался их убеждать, но все было напрасно. Ковальский кончил разговор словами:

— Ты, начальник, зря агитацией занимаешься. Сколько можем, столько работаем, а на тяжелую работу подожди других.

Они ушли.

Делать было нечего: таких сразу не перевоспитаешь.

Я вызвал Лукьянчикова, секретаря комсомольской организации, и рассказал ему обо всем. Виктор возмущался, но согласился, что сейчас делать с ними нечего. Он предложил вырыть шурф своей бригадой. Ребята работали усердно, врезаясь в глубь косогора; двое заготавливали крепезный лес для шурфа, двое рыли. Это было опасно: они работали ведь ниже трещины, и в случае обвала их могло засыпать. Федор Петрович успокаивал меня, поясняя, что оползни подготавливаются постепенно и до следующего ливня беспокоиться нечего. Сползание может происходить только по смоченной поверхности, подстилающей скалы.

Бригада Лукьянчикова прошла шурф на глубину семь метров и все еще не добралась до скалы. Со дна шурфа с помощью ворота вытаскивали щебень вперемешку с рыхлым грунтом. По нескольку раз в день приходилось тщательно осматривать крепление шурфа: мы опасались, что его может смять двигавшаяся с косогора огромная масса породы.

Федор Петрович сегодня ушел на съемку конца прижима, и мне пришлось дежурить у шурфа. Мы с Лукьянчиковым по очереди спускались на дно и разрабатывали грунт, нагужая его в бадью. Другие ребята

вытаскивали ее наверх и подавали вниз крепезный материал. Вот наконец и скала, сильно разрушенная. Но потом, еще на метр глубже, показалась блестящая черная горная порода. По ней еле заметно стекала вода. Какое-то давящее и непонятное чувство охватило меня. «Что бы это могло значить?» — подумал я и стал себя успокаивать: это, наверно, от усталости и недоедания. Но вдруг где-то надо мной послышался треск. Я дернул за веревку и крикнул не своим голосом:

— Тащите!

Цепляясь за стенки шурфа и придерживаясь за веревку, я в одну минуту оказался наверху. Ребята, испуганные моим криком и видом, стали спрашивать, в чем дело. Я и сам толком не мог объяснить, что происходит со мной, но в эту минуту внизу раздался сильный треск и под нами осела земля. Шурфа как не бывало. На его месте образовалась неглубокая воронка. Сразу трудно было сказать, что произошло, и на всякий случай я велел ребятам уходить с опасного косогора к скале, а сам полез наверх, к трещине. Трещина была шириной уже около метра. Все ясно — произошла очередная сдвижка грунта. Поздняков предложил рыть рядом новый шурф. Я откровенно удивился его смелости. Но она была сейчас излишней: мы уже дошли до скалы, и мне удалось захватить в карманы несколько ее обломков, чтобы показать их геологам.

На середине реки показалась лодка, плывущая вниз. Двое сидели в ней и гребли веслами. По форме лодки нетрудно было догадаться, что это орочи. Наверно, это был Тарас. Мы стали им кричать, махать руками, но из-за шума воды и деревьев они нас не заметили.

День клонился к концу, шурф завалился, и нам ничего не оставалось делать, как идти в лагерь. Мне не терпелось увидеть Тараса. Когда я сказал ребятам, что пора возвращаться домой, Лукьянчикова как ветром сдуло. Мы видели только, как он вскарабкался на первый утес и тут же скрылся из виду. Через час мы были в лагере.

— Моя думай, что ваша совсем пропади,— взволнованно говорил Тарас.— Дождь сильный, давно такой не видал, ведром поливай, и то меньше бывает. Моя тоже боялся. Хотел лесу отдыхай. Потом сильно боялся: темно стало. Зимовье стал ходи, едва успел.

6. Охота на медведя

Тарас сказал, что в десяти—пятнадцати километрах от реки он как-то заметил следы медведя и, когда в прошлый раз был в лагере, ходил туда и обнаружил, что он еще гуляет там. В деревне у Тараса осталась больная сестра, ей нужно было медвежье сало.

Вечером у костра Тарас курил свою трубку, щуря глаза, и сосредоточенно думал. Мне хотелось пойти с ним на охоту, но я не хотел быть навязчивым. Как бы угадав мои мысли, Тарас вдруг сказал:

— Твоя хочет медведя гоняй?

Я закивал головой.

— Тогда завтра рано просыпайся надо, чай крепкий пить и сопки со мной ходи, а сейчас отдыхай надо.

Мы проснулись, когда еще начинало светать, выпили чаю. Пролыв в ульмагде километра три вниз, Тарас причалил к галечниковой косе на противоположном берегу.

Шли молча по неторным лесным тропкам, известным только одному Тарасу. Вскоре пойма кончилась, мы стали подниматься по довольно крутому склону и минут через тридцать—сорок вышли на самый верх сопки. Кое-где на сопке торчали сухие, обгоревшие деревья; гарь была старая. Молодой растительности не было совсем. С вершины долина

Хунгари была как на ладони. На северо-востоке виднелся наш прижим, а перед нами толпились сопки с горелым лесом, похожие одна на другую.

— Его там должна ходи,— указывая на эти сопки, сказал Тарас.

У меня был с собой бинокль, и я посмотрел в указанном направлении. На сопках ничего не было видно, кроме обгоревших стволов и колодин.

— Моя там его тоже не видит,— улыбнулся Тарас.— Дальше должна ходи.

Перейдя распадок и перевалив еще одну сопку, мы сели отдохнуть. Солнце уже было высоко над лесом.

— Теперь недалеко. Надо ходи той сопкой, там ягод много, медведь их кушай.

Я снова стал пристально смотреть в бинокль, но ничего не увидел и передал его Тарасу.

— Может, ты посмотришь?

Тарас взял цейсовский бинокль, повертел в руках и возвратил мне.

— Моя и так лучше твоей трубки видит. Она может обмани.

Мы прошли еще метров двести и выбрали наблюдательный пункт между двумя колодинами.

— Здесь долго смотри надо, тихо сиди, курить не надо,— распоряжился Тарас.

Опершись спиной об обгорелую колодину и как бы слившись с ней, Тарас стал наблюдать местность перед собой. Мне он велел смотреть в другую сторону. Склоны распадков были прорезаны неглубокими, но крутыми ложками.

Прошел час, другой. Я несколько раз потихоньку проверял, заряжена ли винтовка и как действует затвор. Тарас повернулся и стал смотреть в том же направлении, что я. Через минуту он потряс меня за плечо и, показывая рукой, сказал:

— Вон там его ходи.

Волнуясь, я ничего не мог разглядеть.

— Вон там дерево, шибко большое, его там ходи.

Переведя бинокль в указанное место, я увидел медведя. Он походил на обгорелый пень, но этот пень шевелился. Был он от нас метрах в трехстах, стрелять на таком расстоянии бесполезно.

— Как его скроется, так наша пойдет к нему.

Медведь, покопавшись минут десять, пошел влево через небольшую возвышенность и вскоре скрылся из виду. Мы стали осторожно продвигаться вперед, прячась за колодинами. Тарас шел впереди, часто останавливаясь. Все остальное произошло неожиданно. Мы сошлись с медведем почти вплотную. Он переваливал через небольшой бугор навстречу нам, а мы поднимались на этот же бугор, не зная, что за ним медведь. Тарас выстрелил первым. Медведь взревел, перевернулся через голову и покатился по склону к нам. Мы отскочили в разные стороны и одновременно выстрелили, почти не целясь. Медведь опять заревел, но встать уже не мог. Когда зверь совсем затих, мы осмотрели его огромную черно-бурую тушу. Первая пуля Тараса задела затылок медведя между ушами, не пробив кости, но, видимо, оглушив его. Вторые две пули прикончили зверя, перебив переднюю лопатку и прострелив живот.

Мяса было пудов девять, унести его мы не могли. Уложили в рюкзаки пуда по три лучшего мяса и жир, остальное завернули в шкуру и прикрыли ветками. С тяжелой ношей на обратном пути часто останавливались и, не снимая рюкзаков, ложились отдыхать на спины. В лагерь вернулись задолго до захода солнца.

Тарас заторопился домой — мясо может испортиться. Он взял с собой

жир и свою часть мяса, а то, что принес я, оставил нам, хотя мы и настаивали, чтобы он взял все.

Провожали Тараса с дочкой всем лагерем.

— Зимой нартах приеду,— обещал Тарас, усаживаясь в ульмагду.

Дуня была веселая, звала в гости, в Кун, всех, но смотрела при этом на загрустившего Лукьянчикова.

Вскоре ульмагда скрылась за поворотом реки.

— Алексеич, пойдём! — обратился ко мне Саша.

— Куда еще?

— Да за медведем! А то его там растащат звери и птицы.

Я страшно устал, но и мне жаль было оставленного мяса. Саша и другие уговаривали пойти туда сейчас же и просили показать только дорогу, а принесут они сами.

Пришлось мне еще пройти по тайге много километров.

7. Как у Фенимора Купера

Стояла золотая осень. С началом сентября дожди прекратились совсем. Лиственницы, тополя и березы пожелтели; кусты черемухи, дикого винограда, малины, шиповника украсили лес разноцветными красками, а ветвистые кедры и сосны оставались такими же вечнозелеными. Красива и разнообразна в это время тайга! Прозрачный воздух, лесные ароматы приносят с собой легкость и бодрость.

Работали мы с большим подъемом. Заменяв больного Митю, Саша уходил на прижим рано по утрам и возвращался, когда солнце садилось к горизонту. Он целыми днями лазил с рабочими по скалам, измеряя каждую складку косогора, а поздно вечером, сидя у костра, наносил их на план. Саша похудел еще больше, лицо вытянулось, одежда и обувь на нем истрепались.

Несмотря на «подножный корм», продуктов часто не хватало. Но ели мы теперь все вместе, отдавая все продукты и хлеб на общий стол, и кому раньше не хватало еды, те этого теперь не чувствовали. Саша и Лукьянчиков в свободное время ходили на охоту, принося то рябчиков, то глухарей, мне иногда удавалось наловить хариусов, и все это шло на общее питание.

Только рабочие Сорокин и Ковальский по-прежнему ели отдельно и по-прежнему были угрюмы. Им было лет по тридцать. Все тело их было расписано татуировкой. Эти украшения они выставляли напоказ. Женщины их сторонились, потому что они пытались грубо за ними ухаживать. Оба были всем недовольны, требовали спирту. В одно из воскресений ко мне пришли Лукьянчиков и Ноздрин. Оглядываясь по сторонам, Лукьянчиков сказал:

— Нехорошо стало в партии, Алексеич. Молодые наши ребята попали под влияние Сорокина и Ковальского.

— Это как же так? — спросил я в свою очередь Виктора.

— Эти двое,— пояснил Лукьянчиков,— в карты играют. Ладно бы хоть сами, а то заставляют играть и молодых парней. Ребята их боятся и играют, проигрывают деньги и вещи. Ковальский принуждает Дашу с ним жить и чуть ее не побил.

Виктор был расстроен.

— Вот устроим им темную,— с гневом сказал он.

— Зачем же темную, Виктор? Можно ведь и светлую поговорить,— стал успокаивать я ребят.

— Да мы им говорили уже не раз, да только они на все плюют и еще грозятся, если будем мешать, ножами порезать.

По взволнованным лицам ребят было видно, что беспокоятся они не зря.

Решили сегодня же вечером собрать комсомольцев и пригласить Ковальского с Сорокиным. Вопрос один: «О правилах общежития в изыскательской партии». Я выступил первым и кончил заявлением, что никто не позволит разлагать коллектив, и хотя знал, что до первого милиционера больше ста километров, пригрозил в случае повторения подобных поступков сообщить властям.

Комсомольцы предлагали объявить им бойкот всем коллективом до их исправления. Ковальский и Сорокин отрицали свою вину грубыми репликами. Саша только безнадежно махнул рукой и сказал:

— Создал вас бог и сам заплакал.

Жили мы с этого вечера настороже. В лагере не слышно было, как раньше, песен и смеха. Через день у одного молодого паренька появился под глазом большой синяк. Нетрудно было догадаться, что это дело рук тех двоих, но парень не говорил, боясь расплаты. Еще через день при возвращении с работы нас встретила расстроенная Даша и сообщила, что ее обворовали.

— Что же у тебя, Даша, украли: продукты или вещи? — спросил девушку Саша.

— Да нет, ужин с костра украли.

— Как ужин?

— Да так. Варила ужин, — пояснила Даша. — Над костром висел котел с супом, а на сковородке жарились рябчики, которых ты, Саша, вчера настрелял. Когда ужин был готов, я пошла накрывать на стол, а вернулась — ни сковороды, ни рябчиков нет.

Кинулись проверять, все ли дома. Оказалось, что все, кроме Сорокина и Ковальского. Разделились на группы и пошли искать воров по лесу. Далеко ходить не пришлось. Они сидели на колодине в двухстах метрах от палаток и преспокойно ели. Когда их поймали с поличным, оба нисколько не смутились и даже ворчали, что им помешали ужинать.

На этом наше терпение лопнуло.

Сорокина и Ковальского привели в лагерь. Асядулину я приказал выдать обоим причитающуюся зарплату и на пять дней продуктов. Через час мы их выгнали. Понурился, они пошли по трассе в сторону Комсомольска.

На прощание я их строго предупредил, что, если посмеют приблизиться к палаткам, мы будем стрелять. Саша еще напомнил им что-то насчет неписаных законов тайги, нарушение которых оправдывает расправу. Другого выхода у нас не было.

Мы уже стали забывать о Сорокине и Ковальском. Но вот через семь дней после их ухода Митя рано утром обнаружил записку, прикрепленную к палке рядом с палатками. Записка была написана на бересте углем. Буквы было трудно разобрать, но нам удалось прочитать: «Примите обратно, будем выполнять все по-хорошему. Ответ на скважину у пикета 240. Идти нам некуда». Записку обсудили. Ребята теперь перестали бояться Ковальского и Сорокина и решили их испытать. Был составлен короткий ответ: «Ладно, приходите, только будьте другими, а если слово не сдержите, пеняйте на себя». Чтобы записка не размокла, написали ее тоже на бересте простым карандашом.

— Прямо как у Фенимора Купера получается, — шутили мы.

Записку отнесли Саша и Ноздрин. Они прикрепили ее на кол, воткнувший в ту скважину, которую раньше бурили Сорокин и Ковальский. А через день пришли и нарушители порядка.

8. «Мистер Америка!»

В середине сентября работы на прижиме были закончены. Трасса для железной дороги пролегла извилистой линией, цепляясь за скалы и крутой косогор. Нас беспокоило только, устоит ли косогор, когда по нему будет пробита полка для полотна железной дороги, или он обрушится в тех местах, где имеется мощный слой рыхлых грунтов и скала сильно разрушена. Федор Петрович заявил, что обвалы будут неизбежны.

Я часто ходил на прижим и ломал голову, что же еще можно предложить, чтобы пройти по нему и не строить мостов. Сидя у скалы, я перебирал в памяти всевозможные случаи постройки железных дорог в подобных условиях. Строить сплошь поддерживающие или подпорные стенки на большом протяжении при мощности рыхлого грунта до восьми метров — дело дорогое и безнадежное.

Мы как проектировщики находились здесь в выгодных условиях, так как проектировали полотно железной дороги не в Москве, а рядом с прижимом. Это даст нам возможность посоветоваться со строителями и предложить наилучшую организацию работ. В случае чего можно ведь будет на ходу внести и некоторые изменения в проекты. Но все же было трудно решиться на то, чтобы идти по прижиму.

Незаметно для себя я перестал думать о железной дороге и засмотрелся на каменные глыбы, вокруг которых пенилась вода. Глыбы лежали спокойно, не обращая внимания на беснующуюся воду. Они будут лежать здесь сотни, а может, и тысячи лет... И вдруг меня осенила радостная мысль, появилась надежда на выход из трудного положения. Посмотрев еще раз на воду и вспомнив недавний высокий ее горизонт, когда скорость течения была в два раза больше, я почувствовал, что внезапная эта надежда стала как будто исчезать. Но в следующую минуту, снова переведя взгляд на отвесные скалы, я вернулся к блеснувшей у меня в голове мысли. В тех местах, где косогор опасный и грозит обвалами, мы проложим полотно дороги по руслу реки. Нужно только отсыпать насыпь выше самого высокого горизонта из глыб, подобных тем, что лежат в русле, — тогда вода не в силах будет их сдвинуть с места. Препятствий для этого нет. Скала рядом, остается только ее взорвать и обрушить в реку. Это будет и дешевле и проще всего. Я поспешил в лагерь, чтобы поделиться своими мыслями с товарищами.

Федор Петрович после некоторого раздумья согласился с моим предложением; наш прижим, добавил он, во много раз страшнее самой бурной реки, и поэтому из двух зол нужно выбирать меньшее.

Окончательно решив вопрос с прижимом, партия занялась работами на других участках. Место для железнодорожной станции выбрали в трех километрах от прижима, недалеко от нашего лагеря, и дали ей название Хунгари.

Решив еще ряд вопросов по трассе, мы с Федором Петровичем собрались сходить на рекогносцировку в сторону хребта Сихотэ-Алинь. Но это нам сделать не удалось. Двадцатого сентября, поздно вечером, к нам прибыли радист с проводником на трех измученных лошадях. Третья лошадь была завьючена радиостанцией. Спрыгнув с лошади, радист, даже забыв поздороваться, вручил мне запечатанный пакет с надписью «Весьма срочно». Я тут же вскрыл пакет, в котором оказались топографические карты и письмо начальника строительства Гвоздева на мое имя. В письме говорилось. «Вам дается правительственное задание по спасению американских летчиков. В ночь на 19 августа самолет союзников Б-29 потерпел аварию. Летчики с большой высоты ночью прыгнули с парашютами, причем 9 человек экипажа оказались примерно в 100 км

ст Хабаровска и были на четвертый день найдены, а командир корабля и стрелок-радист оставили самолет позднее и, по расчетам, должны были приземлиться в необжитом районе, в отрогах хребта Ходзьял». Мне поручалось в первую очередь обследовать долину реки Хосо, притока реки Хунгари, от устья до истоков — место наиболее вероятного нахождения летчиков. Людей на поиски разрешалось подбирать по моему усмотрению, только были бы смелые и выносливые.

В помощь выделялось два самолета, которые будут подниматься в воздух для корректировки поисков и при необходимости сбрасывать продовольствие.

«Сегодня двадцатое сентября — значит, американские летчики находятся в тайге уже более месяца. Большой срок для пребывания в глухой тайге! Могли погибнуть в лесной чаще от голода или дикого зверя», — подумал я.

Я начал подготовку к поискам в этот же вечер. Желающих было так много, что мне пришлось выбирать людей. Первым, кого я взял с собой, был Саша Кондрашов. Посоветовавшись с ним, мы взяли еще трех рабочих: Лукьянчикова, Позднякова и Ноздрина.

Сорокин и Ковальский тоже просились, но я их не взял — не потому, что не доверял, а потому, что нельзя было останавливать буровые работы. Они, кажется, были недовольны, но не обиделись.

Собираться в тайгу для нас было привычным делом, нужно снаряжение имелось, надо было только отобрать необходимое. Мы взяли с собой спальные мешки, посуду, пилы, топоры и продовольствия на десять дней.

Поиски решено было организовать следующим образом: спуститься на лодках вниз по реке Хунгари до деревни Кун, где заменить наши лодки на местные ульмагды, приспособленные для плавания по бурным рекам, а также пригласить с собой Тараса и еще кого-нибудь из орочей; от деревни Кун проплыть до устья реки Хосо, а оттуда уже начинать поиски.

На следующий день мы поднялись с рассветом, чтобы пораньше отправиться в путь, но забыли взять с собой аптечку, а ведь американцы могут быть больными, и мы обязаны оказать им первую помощь. Аптечку собрали не без труда: оказалось, что никто из нас ничего не понимает в медицине. Пришлось советоваться со всеми, выясняя, кто что знает. На это ушло довольно много времени, и мы отплыли, когда солнце уже стояло высоко.

День начинался яркий, на небе ни облака; вода в Хунгари была настолько прозрачной, что солнце просвечивало ее до дна.

Мы с Сашей и радистом плыли на первой лодке, а на второй — трое наших молодых рабочих.

Шум переката мы услышали, когда его еще не было видно. По мере нашего приближения к нему, течение усиливалось, и вскоре река разделилась на три рукава. На островах было много застрявшего плавника, местами его навалило ярусами; стволы огромных вековых деревьев, омытые водой, уходили далеко в глубь реки. Проходы между завалами были в десять — двадцать метров. Я выбрал правую, более широкую протоку и направил лодку туда. Саша греб изо всех сил, чтобы выйти на главную струю. Такой прицел нужно делать всегда заблаговременно перед перекатом, иначе, попав на него, сделать это будет уже поздно.

Не успели мы оглянуться, как нас вынесло на самую середину переката. Лодка в одном месте, черпнув воды, пронеслась между огромными каменными глыбами и, подхваченная волнами, вылетела на широкий простор реки. Вторая лодка шла точно по нашему следу, лавируя между завалами и каменными глыбами.

Первое испытание мы выдержали. А сколько еще таких перекатов впереди, мы не знали: может, двадцать, а может, и больше...

Проплыв еще два часа, мы увидели справа высокие скалы, обрывающиеся прямо к руслу. Только на высоте трехсот — четырехсот метров над уровнем реки виднелась крутая терраса, покрытая лесом. Кое-где у обрыва были навалены огромные глыбы, сорвавшиеся с верхнего карниза.

Ориентируясь по карте, мы стали держаться правой стороны — за этими скалами должна находиться деревня Кун, первая наша остановка. Прохладное осеннее утро сменилось довольно теплым днем. Лодки медленно несли по течению, но мы решили не грести, а беречь силы для работы на перекатах.

Вскоре за скалами появилась деревня, расположившаяся почти на самом берегу.

Развернув лодки против течения, мы пристали к берегу. От деревни к нам бежали ороchonские ребятишки; обгоняя их, неслись с лаем собаки. В одну минуту на берегу выстроился целый отряд галдевшей детворы. Они показывали друг другу пальцами на наши неуклюжие лодки и громко смеялись. Собаки с лаем кидались в воду. От этого шума мы даже растерялись и не решались выйти на берег.

Деревня стояла далеко от обжитых дорог, и в нее можно было попасть только по тропе. Плавание по бурной реке Хунгари для русских было делом очень рискованным, и если кто из русских и попадал в деревню, то только по таежной тропе.

Вскоре на берег пришли пожилой ороchon со старухой, оба в ярких национальных костюмах. Они разогнали собак и пригласили нас в деревню пить чай. Саша забрал рюкзак с продовольствием, и мы пошли в деревню, окруженные толпой ребятишек.

Пригласивший нас ороchon довольно хорошо говорил по-русски. Я стал его расспрашивать о Тарасе.

Оказалось, что Тарас сейчас плавает по Хунгари, ловит кету, и где он находится, никто не знает. Река большая, проток и притоков много, так что найти его очень трудно. На мой вопрос, сможет ли кто-нибудь другой пойти с нами на поиски американских летчиков и можно ли обменять лодки на ульмагды, ороchon покачал головой. Мужчин в деревне совсем мало, многие ушли на фронт, а оставшиеся сейчас ловят кету — готовят продовольствие фронту. В деревне одни старухи и ребятишки.

— На ваших лодках, — сказал он, — по реке ходить нельзя. Наши ульмагды все на рыбалке, в деревне только две, сильно прогнившие. — И добавил: — Хунгари — трудная река.

Это мы знали и сами. Еще в 1939 году вверх по Хунгари из Амура в высокую воду была сделана попытка проплыть на катере с большой плоскодонной лодкой, груженной продовольствием. Пройти удалось недалеко: лодку разбило на перекате о лесные завалы, все продовольствие было потоплено. Утонул и хозяйственник, находившийся в лодке. Катер с большим трудом возвратился в Амур.

Но ведь нам-то нельзя возвращаться: в тайге ждут люди.

Ороchonы уверяли, что, не зная реки, мы не пройдем на своих лодках, и советовали пробираться пешком. Но поход пешком до устья реки Хосо по бездорожью, в лесу, с радиостанцией, продовольствием и снаряжением отнял бы у нас не меньше пяти дней и задержал бы поиски. А люди, блуждающие в тайге, которых мы искали, в любую минуту могли погибнуть.

Решено было заночевать в деревне Кун, расспросить стариков о реке и попытаться найти Тараса.

Я взял с собой грустившего по ороchonке Лукьянчикова, чтобы спуститься с ним на лодке километров на пять в надежде встретить Тараса. Остальным поручалось заготовить на ночь дров, наловить рыбы и приготовить ужин. Мы взяли с собой одну острогу, чтобы поохотиться за кетой и сделать запас рыбы и икры в дорогу.

Плыли, держась левого берега, по левым протокам, намереваясь в обратном направлении пройти вдоль противоположного берега.

Вскоре мы услышали шум переката и решили дальше не плыть, а то будет трудно подниматься по нему обратно. Поднялись немного вверх, завернули в одну глухую протоку, где тихие плесы сменялись мелкими перекатами. Местами протока была настолько узкая, что ветви деревьев противоположных берегов доставали друг друга. Подойдя к мелкому перекату, мы увидели косяк кеты. Воды было всего пятнадцать—двадцать сантиметров, и спинки рыб блестели на солнце. Когда мы подплыли близко, рыба всполошилась, часть ее устремилась вниз, а главная масса бросилась вверх. Вода закипела. Мы причалили к берегу и вышли из лодки. Я схватил острогу и побежал на перекат. Охотничий азарт вывел меня из равновесия; я с берега бросил острогу в большую рыбину, ползущую по перекату, но, как всегда бывает, когда не хватает выдержки и расчета, промахнулся. Острога, ударившись о камни, со звоном отлетела и поплыла вниз по протоке. Мне ничего не оставалось делать, как идти вслед за острогой, плывущей к нашей лодке. Выкурив папиросу и успокоившись, я взял снова острогу, выправил изогнутые от неудачного броска зубья и пошел снова вверх. На перекате рыбы уже не было видно, и мне пришлось пройти дальше. В одном месте толстый ствол березы свисал над водой, и я решил лечь на него и наблюдать за ходом рыбы. Пристроившись как можно удобнее и спустив острогу на уровень воды, я стал ждать. Мошкара роем кружилась надо мной. Волосная сетка предохраняла только голову, а руки мошка ела со страшной силой. Я старался не шевелиться, чтобы не пугать рыбу. Дно было видно хорошо. Через пять—десять минут показались первые косяки. Кета медленно шла вверх по протоке и терлась друг о друга. Это она метала икру. У многих рыб были сильно побиты плавники, они даже побелели. Я пропустил несколько рыб, выбрал небольшую кету и бросил в нее острогу. Острога на этот раз была приязана бечевкой, мне без труда удалось вытащить рыбу. Через несколько минут, когда все стихло, вновь показалась кета, она шла еще медленнее, и мне не стоило никакого труда заколоть еще одну рыбину.

Ловля была настолько увлекательной, что хотелось еще продолжить ее, но много рыбы нам не требовалось, и к тому же нужно было возвращаться в деревню. Выбравшись из протоки, мы стали на шестах подниматься вверх вдоль правого берега реки. Здесь тоже встречались косяки, но, увидев лодку, рыба быстро уплывала на глубину.

Встретить нам никого не удалось. Должно быть, Тарас занимался ловлей выше и мы проплыли мимо него по другой протоке.

Итак, у нас нет проводника, а между тем каждый час промедления может оказаться роковым для тех двоих, затерявшихся в тайге. Как-то незаметно эти незнакомые люди стали близкими, потому что в нашем чувстве укрепилась мысль — от нас зависит их спасение. И невозможно было вытеснить из памяти неосуществимое желание как-то поддержать в них надежду, дать им знать: продержитесь еще немного, мы идем к вам!

В деревню мы возвратились, когда солнце уже зашло, но еще было светло. На берегу горел костер. У костра на воткнутых в землю тонких деревянных рогульках пеклись распластанные хариусы. Кету мы распотрошили, обе рыбины оказались с икрой, которую мы тут же засолили

и уложили в стеклянную банку для американских летчиков, если мы их найдем.

Полужинав, улеглись прямо на берегу, чтобы с рассветом двинуться в путь. Все легли, а я еще долго сидел у костра, обдумывая, как начинать поиски. Небо было усыпано звездами, река шумела, неся свои воды в Амур. Костер уже догорал, и, почувствовав усталость после напряженного дня, я тоже улегся.

Поднялись мы все как-то сразу. Сварили чай, закусили оставшейся рыбой и через час уже плыли вниз по реке на своих самодельных, неуклюжих лодках, без проводника, надеясь лишь на собственную сметливость и силы. Путь я отмечал на карте; на ней были показаны все протоки, скальные обрывы, и ориентироваться по ней особого труда не представляло. Через четверть часа показался пережат. На этот раз действовали осторожнее. Теперь на обеих лодках на веслах сидело по два человека и по одному на корме, с тем чтобы в случае опасности можно было быстрее уйти к берегу. Пережат шумел с какими-то переливами. Шум его то затихал, то начинался с новой силой, напоминая морской прибой. Вновь показались лесные завалы, преграждающие путь. Река разделялась на три рукава, и свободный проход был только у правого скалистого берега. Поставили лодки в десяти метрах от берега. Нас понесло течением. Русло реки и здесь было усеяно огромными глыбами. Мы, уже немало перевидавшие, были потрясены величественным видом нависающих здесь над рекой скал и бурной мощью воды, проносившей нас с огромной скоростью среди каменных глыб. Не проплыли мы и двадцати километров от того места, где лодки вынесло на спокойное течение, а протоки все соединились в одно русло шириной более трехсот метров, как, пройдя несколько небольших пережатов и тихих плесов, мы услышали новый шум — и такого грохота мы до сих пор еще не слышали ни на одном пережете. Все насторожились. Через пятнадцать минут показался и сам пережат.

На этот раз мы решили действовать еще осторожнее и не плыть сразу навстречу неизвестности. Я понимал, что отвечаю за жизни своих товарищей и американцев, которых мы должны спасти, и решил не рисковать без особой надобности. Поэтому перед самым пережатом мы подошли к берегу, чтобы осмотреть реку и найти проходы среди завалов.

Берег зарос густым лесом, мы с Сашей с трудом пробирались сквозь ельник. Реку оттуда было плохо видно. Мы вышли на плавник и, карабкаясь по гладким стволам, старались подняться на самый высокий завал. Под завалами журчала вода, между деревьями выступала пена. Взойдя на завал, мы нашли дерево, торчащее вверх. Саша немедленно на него забрался и стал осматриваться вокруг. Ничего утешительного он не увидел. Сплошь, насколько хватало глаз, река была покрыта плавником. С большой осторожностью нам удалось перебраться на остров; за ним мы нашли узкую протоку, свободную от леса. В двух местах она имела извилины, и вода с большой силой била в завалы.

Вернувшись, решили не рисковать, а перетащить все имущество и лодки по берегу. На это ушло четыре часа тяжелого труда. Потом снова плыли по Хунгарн. До поселка Толемо по карте осталось около сорока километров, это расстояние надо было во что бы то ни стало покрыть сегодня.

Дальнейшие пережаты проходили хотя и с большим риском, но благополучно. Как говорится, мы к ним уже приновились. Все время держались главного фарватера и дружно работали веслами. Плечи мои очень болят, а руки были покрыты мозолями.

Но вот у одного пережата нас чуть не постигло несчастье. Река в этом месте разделялась на множество протоков, и та, по которой мы пошли, ока-

залась наглухо забитой плавником. Вода с огромной скоростью устремлялась под завал. Когда мы заметили, что прохода нет и нас может разбить, я крикнул, чтобы товарищи гребли сильнее, а сам повернул лодку к берегу. Вторая лодка, плывшая за нами, тоже повернула вслед. Но нас неумолимо несло на завал. В это время у радиста сломалось весло. Положение казалось безнадежным. Мы с Сашей напрягли все силы, я греб кормовым веслом так, что содрогались борта.

Трах! Лодку ударило о стволы, она затрещала. Мы выпрыгнули на завал. Радист упал и разбил себе лицо и руку. Саша и я упали тоже, но благополучно, нам еще повезло — успели схватить лодку за борт. К нашему счастью, течение здесь оказалось слабее, в этом было спасение. Если бы мы ударились о завал на десять метров ближе к середине реки, это была бы верная гибель. На главный фарватер страшно было смотреть: течение поставило огромные стволы вертикально, другие лежали поперек, третьи — вверх корнями. Все это сотрясало, и стволы толщиной в два обхвата качало, как былинки. Такой силы воды я никогда и нигде не видел.

Вторая лодка причалила к берегу. К нам на помощь, карабкаясь по завалам, спешили Поздняков и Лукьянчиков. Оттягивая лодку шестью, мы стали продвигать ее к берегу. Когда были уже на земле, у меня еще сильно колотилось сердце и дрожали руки. По лицу радиста струилась кровь. Сделав ему перевязку и немного отдохнув, мы с Сашей пошли вниз по реке.

Пройти здесь на лодках по другим протокам мы не решились, боясь оказаться в таком же переплете, из которого едва выпутались. Второй раз в этот день нам пришлось тащить по берегу имущество и лодки. На это ушло более двух часов.

Наконец наши лодки вынесло на плес, где глубина реки была такая, что дно совсем не просматривалось. Течения здесь не чувствовалось, а встречный ветер относил нас назад. Руки у всех болели, но нужно было грести и грести, чтобы сегодня быть в поселке Толомо.

Плыли вдоль высоких отвесных скал. За весь день плавания — а мы проплыли уже более шестидесяти километров — нам не встретилось никаких признаков жилья.

Ничто не нарушало тишины, и только всплески хариусов, ловящих насекомых, рябили воду. Над скалами высоко в небе парили огромные орлы, которых в верховьях Хунгари я никогда не встречал.

Поздно вечером вблизи устья реки Хосо на большой галечниковой косе мы увидели множество шалашей. Вокруг них на специальных приспособлениях была развешана распластанная кета. Кругом копошились люди. Коса представляла временный лагерь. После трудного путешествия мы обрадовались встрече с людьми и немедленно повернули свои лодки к косе. Собаки с лаем бросились к нам, но люди в замешательстве стояли у своих шалашей и не подходили. Как выяснилось, мы были первыми русскими, приплывшими без проводников с верховьев Хунгари да еще на своих не приспособленных к такому плаванию лодках. Только минут через десять к нам подошел рослый, средних лет удэгеец и, назвав себя Канчугой, сказал, что он член сельсовета. Мы предъявили ему свои документы, на его лице появилась улыбка. Он сказал:

— Наша думай, какой люди так ходи? Хороший люди так никогда не ходи. Мы думали, вы плохой люди.

Вскоре подошло еще несколько человек, потом с опаской приблизились дети. Вокруг образовалась толпа. Оказалось, что часть поселка Толомо снесло водой Хунгари, и они сейчас строят новые дома далеко от реки, а сами живут на косе и занимаются ловлей кеты.

Ноздрин с Поздняковым стали готовить ужин, а мы продолжали беседу. Канчуга хорошо знал тайгу и вызвался нам помочь в поисках американских летчиков. То же предложил и другой удэгеец — Киля, ставший нашим вторым проводником. Река Хосо, по их словам, совсем небольшая, местами заваленная деревьями; пройти по ней на ульмагдах можно, лишь распиливая отдельные стволы.

После длительного обсуждения было намечено: завтра, 22 сентября, начать поиски двумя группами. Моей группе, с Килей и Поздняковым, предстояло обследовать левую долину Хосо и ее притоки, второй группе, в которую входили Саша, Канчуга и Ноздрин, — правую долину с ближайшими притоками. В случае неудачи поисков было намечено вернуться не позднее вечера 23 сентября с таким расчетом, чтобы утром на другой день подняться на ульмагдах в верховье реки Хосо и там продолжать поиски.

Рано утром, позавтракав и взяв с собой продовольствие, ружья и легкие брезенты, мы отправились в путь. Попрощавшись со второй группой, пошли вверх по долине Хосо. Вначале продвигались быстро, по хорошей тропе, но тропа все время разветвлялась и километров через пятнадцать была уже едва заметна. Стали встречаться горелые участки леса с завалами. Пройдя гарь, мы попали в густой смешанный лес. Здесь росли преимущественно лиственница, береза и пихта. Местами чаще переплетали кусты черемухи и ольхи. Несмотря на осень, огромные листья папоротника еще были зелеными и сплошным ковром покрывали землю.

— Здесь надо отдыхай, — сказал Киля, выйдя на берег небольшого ручья.

Мы развели костер и вскипятили чай. За обедом Киля рассуждал:

— Какой такой странный люди, еще самолетом умеи летать, зачем долго они тайге ходи. Надо к реке ходи. рыбу лови, людей встречай. Тайге сейчас люди нет, охота есть только зимой. Летом совсем не надо ходи, только мошку корми.

Киля еще долго волновался, что ученый народ «понимай тайги нет».

После отдыха мы осмотрели долину ручья, но никаких следов человека не нашли. Тропа выходила к заболоченному месту и круто поворачивала вправо, в не попутном нам направлении. Дальше решили идти без тропы, ориентируясь по солнцу и сопкам.

Киля шел посредине, а Поздняков и я — по бокам, метрах в тридцати от него. Все старались идти там, где была растительность, на которой легче обнаружить следы.

Пройдя так километров пять, я увидел помятую траву, а затем явный след, обозначавшийся на папоротнике. Я крикнул Киле о своем открытии. Он внимательно осмотрел след, потом покачал головой и сказал:

— Твоя тоже мало понимай. Это не люди, медведь ходи.

Я не поверил Киле и настаивал на том, чтобы идти по следу. Киля неохотно согласился, так как не мог мне объяснить, как отличить след медведя от следа человека: ведь, кроме помятой растительности, ничего не было видно. Ему это было понятно, а нам нет. Скоро мы вышли к заболоченному месту и увидели на сыром грунте отпечатки медвежьих лап.

— Его сегодня ходи, — сказал Киля. — Нам надо мало-мало его гоняй.

У всех нас были ружья. Киля пошел быстро по следу, мы едва поспевали за ним, спотыкаясь о валежник.

Вскоре след вышел на старую гарь, поросшую малиной.

— Тихо ходи надо, — сказал Киля и стал первым пробираться по следу.

В одном месте медведь, видимо, ел малину — много кустов было помято; но малина уже почти вся осыпалась, и лакомства для медведя было мало.

Пройдя по гари еще с километр, Киля первым увидел зверя. Медведь сидел на толстой колоде и лапами загребал к себе кусты. Киля приготовил карабин, но косилапый учуял нас, прыгнул с колоды и замелькал среди кустов. Такого проворства от него я не ожидал.

Следов нам больше не попадалось. На всякий случай я решил изредка стрелять и кричать в надежде, что разыскиваемые откликнутся.

Второй приток Хосо мы тоже обследовали хорошо, но никаких признаков людей не было. Здесь мы напали на большой выводок рябчиков и убили шесть штук. Этого было вполне достаточно на ужин и на завтрак. По карте определили, что прошли около тридцати километров, и так как наступил вечер, решили заночевать у ручья. Из трех рябчиков сварили суп, а остальных, выпотрошив и посолив, зарыли в горячую золу. Через сорок минут выташили и очистили от пера. Мясо было белое и хорошо пропеченное. Вечером мы с Поздняковым чинили одежду: перелезая через колодины, я порвал брюки, а он рубашку. Потом на-таскали дров и развели большой дымокур, который поддерживали всю ночь.

Встали на другой день рано утром. Поздняков остался готовить завтрак, а Киля и я пошли вперед километров на пять.

Идти по тайге после отдыха в прохладное утро было легко. Внимательно осматривая местность, вышли на большую старую гарь. Взобравшись на огромное поваленное дерево, стали осматриваться. На юго-востоке виднелся хребет Ходзял. Высокие сопки его уже были покрыты снегом и четко выделялись на фоне неба. Справа и слева долину Хосо обступали сопки, сплошь покрытые лесом. Стояла такая тишина, что казалось — воздух неподвижно повис над тайгой.

Я громко крикнул, и эхо прокатилось по тайге. Киля выстрелил. Но ответных звуков не было слышно — полное безмолвие.

Покурив, мы пошли обратно к речке, где оставили Позднякова. Оттуда мы пошли в сторону Хунгари другим маршрутом. Добрались до стойбища жителей Толомо поздно вечером. Возвратился и отряд Саши, его поиски тоже были безрезультатны.

На следующий день, когда я вылез из спального мешка, меня обдало холодом. Мешки были покрыты инеем — температура воздуха по всей вероятности была близка к нулю. Костер совсем потух, нам долго пришлось возиться, чтобы развести его.

Мне не терпелось быстрее отправиться в путь на ульмагдах вверх по Хосо. Велев готовить завтрак и собирать имущество и радиостанцию в поход, я пошел к удэгейцам. Меня встретила громким лаем стая собак. Из шалашей выходили удэгейцы. Канчуга повел меня в свой шалаш. В шалаше было уютно, на полу была расстелена свежая хвоя и сухая трава. В углу спали дети под теплыми одеялами. На скамейках стояла посуда и разная домашняя утварь. Жена Канчуги на улице кипятила чай и что-то варила. Канчуга пригласил меня завтракать. Я долго отказывался, но потом вспомнил, что по их обычаю отказ от еды равносителен оскорблению. Жена Канчуги положила нам полмиски кетовой икры и налила по кружке чая. Икру ели ложками, как кашу. Она была не такая соленая, как обычно, и очень вкусная.

После чая, погрузив имущество на ульмагды, тронулись в путь. Поднявшись на шестах около километра по Хунгари, ульмагды вошли в устье Хосо.

Мы с Сашей стояли с шестами на носу, Канчуга и Киля — на корме,

остальные сидели. Хотя я много раз ходил с шестами на лодках, но первые полчаса ульмагда слушалась меня плохо. То шест заносило под дно ульмагды, то я упирался шестом в борт, отчего нос отходил к середине реки. Канчуга сердился на меня, но мало-помалу я привык и дальше работал шестом хорошо.

Несмотря на сильное течение, ульмагда, рассекая струи воды, быстро продвигалась вперед. Вскоре дорогу преградили три лиственницы, упавшие с берега на берег. Пришлось обрубать сучья, а у одной лиственницы вершину, чтобы протаскать ульмагды под деревьями. Чем выше поднимались по реке, тем становилось труднее. Появилось много перекатов, через которые нужно было тащить ульмагды, бредя по воде. Все чаще приходилось расчищать путь между деревьями. Работали мы все дружно и продвигались довольно быстро. Временами выходили на берег и осматривали прибрежный лес в надежде обнаружить следы человека. За этот день нам удалось пройти около двадцати километров.

На следующий день мы решили вначале отправиться на одной ульмагде на разведку, а весь груз и радиостанцию оставить. Радист должен был развернуть станцию и связаться с Комсомольском-на-Амуре.

Двадцать пятого сентября мы с Сашей, Канчугой и Килей с восходом солнца отправились в путь. Продвигались быстро, задерживались только для расчистки русла. Несколько раз выходили на берег, осматривали местность и кричали. К полудню я уже охрип. Совсем уже было собрались повернуть обратно, как вдруг на мой голос откликнулись совсем недалеко слабые голоса. Мы переглянулись. Неужели это заблудившиеся в тайге американцы? Я спросил Килю:

— Может, это кто из ваших жителей сюда забрался?

— Наша все дома кету коли,— коротко ответил удэгеец.

Мы сильнее налегли на шесты и, пройдя около двухсот метров, увидели дымок, а затем и двух людей, стоящих у костра на берегу. Мне хотелось им крикнуть: «Мы пришли за вами!» — и еще многое, но я не знал ни одного слова по-английски. Волнуясь, я не знал, как приветствовать людей, родина которых находится далеко за океаном, и я крикнул:

— Мистер Америка!

Может быть, это было и не совсем удачно, но они поняли и замахали руками.

9. На разных языках

В одну минуту все были на берегу. Начался беспорядочный «разговор». Мы все жестикулировали, английские слова мешались с русскими и удэгейскими, но понять друг друга мы не могли. Американцы стали обнимать нас и целовать, потом заплакали, опустили на колени и, как я догадался, молились богу. Я до того растерялся и разволновался, что в отчаянии спросил Килю:

— Может, ты поговоришь с американцами?

Киля ответил:

— Ты, Александра, совсем дурак, однако, стал. Откуда моя может понимать, когда твоя не понимает?!

Саша дал летчикам по плитке шоколада, они стали делиться с нами, хотя я отчаянно махал руками и старался объяснить, что это нужно съесть им самим. Американцы были настолько слабы, что не могли долго стоять. Мы все сели у костра, на который Саша уже повесил чайник и кастрюлю с водой.

Теперь я мог спокойно рассмотреть американцев: они были очень худые, обросшие бородами. На одном — высоком — была кожаная куртка, надетая поверх изодранного комбинезона, не прикрывавшего даже колен. На ногах были разбитые ботинки. На втором был только комбинезон, свисавший от пояса клочьями так, что виднелись черные истлевшие трусы. Вместо обуви на одной ноге была привязана кобура от пистолета, вторую ногу он обмотал тряпками. Оба были подпоясаны широкими брезентовыми ремнями наподобие тех, что у нас носят пожарные. Головы их прикрывали фуражки с длинными козырьками. Лица и тела были изъедены мошкой так, что в некоторых местах образовались гнойные раны с кровоподтеками. Пребывание в тайге дорого обошлось этим молодым людям.

После беспорядочного «разговора» наступила тишина. Высокий летчик, видимо поняв, что я старший в группе, показывая на меня пальцем, спросил:

— Комиссар?

Я не знал, как ему ответить. Потом, помотав головой и ткнув себя пальцем в грудь, сказал отдельно:

— Инженер Александр Побожий. — И показал пальцем на него в надежде узнать, кто он такой.

— Дик Маклин, — назвал себя американец. Потом он сказал: — Эропланес. — И, расставив широко руки, помахав ими, стал имитировать звук самолета. Затем он опять, показав на себя пальцем, повторил, что он Дик Маклин, и стал показывать, что он сидит за штурвалом, поворачивает его.

Мне стало ясно, что Дик — летчик. Когда Дик умолк, я опять ткнул себя пальцем в грудь и повторил, что я инженер Александр Побожий, и тут же показал пальцем на второго американца. Тот назвал себя Чарльзом Робсоном. Он потряс рукой, произнося: «Ти-ти, та-та». Затем взял валяющуюся у костра палку и, поставив ее одним концом кверху, сделал вид, что стреляет из пулемета: та-та-та. Это помогло нам узнать во втором американце стрелка-радиста.

Хотелось еще «поговорить» с американцами, но мы решили дать им отдохнуть перед дорогой.

Наша ульмагда была довольно длинная. Постлав на дно спальные мешки, мы уложили на них Дика и Чарльза. Теперь по расчищенной реке да еще вниз по течению мыплыли быстро. Когда прибыли на первую нашу стоянку, солнце было еще высоко.

Радист стал натягивать антенну, Поздняков с Ноздриным готовили ужин, а остальные строили шалаши. Я развернул аптечку, достал термометр и приступил к исполнению обязанностей врача. Температура у американцев была почти нормальная. Следовало выяснить, у кого что болит. Я показал на свою голову и стал стонать. Оба отрицательно замотали головами. Затем я ухватился за живот, скорчился и тоже стал стонать. Дик сразу же оживился, закивал. Он стал делать жевательные движения и после каждого, страдальчески сморщив лицо, шипел. Мне стало все ясно. Я нашел лекарство от расстройства желудка и велел ему принять. Чарльз понял наш «разговор» и попросил тоже этого лекарства. После этого я хватался за грудь, за горло, за другие части тела, стонал, но на все получил отрицательные ответы. Диагноз был установлен: расстройство желудка от длительного питания растениями и сильное истощение всего организма.

Мы согрели воды и здесь же, у костров, вымыли своих пациентов. Раны смазали и забинтовали. Собрав у кого что было из белья и одежды, переделали парней во все чистое. Назавтра я заказал по радио самолет,

чтобы он сбросил побольше белья, теплой одежды, обуви и продовольствия.

После «бани» Дик и Чарльз полулежали на спальных мешках у костра и разговаривали между собой. О чем они говорили, нам было непонятно, но по их улыбкам мы догадались: рады спасению.

Радист вел переговоры с Комсомольском-на-Амуре. Мы получили поздравления от начальника строительства и своих товарищей по работе. Врач Долгушин по рации инструктировал Сашу, как и чем можно кормить летчиков. На вопрос Саши, можно ли дать им немного водки по случаю спасения, врач ответил: можно, но не более двадцати граммов слабо разведенного спирта.

Ужин был торжественный. Мы напилки из толстого дерева чурбачков, которые могли заменить стулья. На один чурбач поставили единственный чемодан, около которого уселись Дик, Чарльз и я. Остальным пришлось ставить миски прямо на чурбаки. Выполняя распоряжение врача, Саша налил Дику и Чарльзу по двадцать граммов разведенного спирта. Налил и нам. По русскому обычаю чокнулись. Выпив глоток, Дик, улыбаясь, стал гладить себя по животу и сказал:

— О'кэй!

Это было первое слово, понятое нами.

После ужина Чарльз захотел спать, и Саша с Ноздриным уложили его в шалаше. С Диком мы еще долго «разговаривали» жестами. Узнали, у кого какая семья, есть ли дети. Когда на небе зажглись звезды, я уложил Дика в свой спальный мешок, а сам растянулся рядом с Сашей у костра. Утром мы проснулись от холода. Все кругом было покрыто инеем...

10. Мы нашли общий язык

Умывшись и позавтракав, я стал рассказывать Дику и Чарльзу о нашем дальнейшем пути. Нарисовал ульмагду, плывущую по реке, указал на извилистую змейку — Хунгари и показал стрелкой вниз по течению. Затем нарисовал широкую реку Амур, изобразил пароход и стал гудеть. На этом же клочке бумаги отметил точками Комсомольск и Хабаровск, стоящие на берегу Амура. Дик и Чарльз долго не понимали слова «Амур», и мне пришлось делать сравнение:

— Амазонка — Амур, Миссисипи — Амур, Миссури — Амур.

Вдруг Дик с восторгом выговорил:

— А, Волга, Волга!

Взаимопонимание было почти достигнуто.

Вскоре радист сообщил, что из Комсомольска-на-Амуре вылетели два самолета. Мы отправились на самое широкое место косы и разложили сигнальные костры. Дик и Чарльз пошли вместе с нами. На время, когда нам будет сбрасывать груз, я посадил их на всякий случай под поваленный ствол огромного дерева.

Все, что мы просили, нам сбросили, и самолеты, покачав крыльями, ушли на Комсомольск.

Экипировав Дика и Чарльза, мы решили продолжать путь. Пока готовились, радист, собирая свою радиостанцию, оживленно беседовал с Чарльзом. Ему удалось узнать, что Чарльз холостой: когда радист обнимал воображаемую жену и чмокал губами, изображая поцелуй, Чарльз крутил головой. После сборов мы с Сашей тоже вступили в разговор. Дик нарисовал на бумаге две могилы с крестами, закрыв глаза, сложил руки на груди, как у покойника, и показал три пальца. Мы догадались, что в тайге летчики рассчитывали прожить еще три дня, после

чего думали застрелиться, чтобы не умереть от холода и голода. Они тут же подарили мне пистолет кольт с двумя оставленными для этого патронами. Чарльз нарисовал рыболовные крючки и мелких рыбок. Жестами показал нам, что за время пребывания в тайге они поймали двух рыбок. Дик, взяв новый лист, изобразил плот и вынул большой кинжал — им они обрубали деревья. Плот они строили восемь дней и рассчитывали на нем плыть по реке Хосо. Но их неуклюжий ковчег скоро занесло под коряги, откуда они не смогли его вытащить. Так восьмидневный труд пропал даром. Затем Дик нарисовал почтовый ящик и написал, как мы поняли, свой американский адрес. К сожалению, на другой день вся моя бумага размокла под дождем, а я забыл попросить его написать свой адрес снова. Дик несколько раз хлопал меня по плечу, выкрикивая при этом:

— Эмерикэн — Рашен! — И крепко сжимал мне руку.

Я соглашался и тоже хлопал Дика по плечу.

По реке Хунгари предстояло пройти еще девяносто километров. На этом пути, по рассказам удэгейцев, было много опасных мест. Я решил не рисковать жизнью новых друзей и уговорил Килю и Канчугу плыть с нами.

Опять стали попадаться перекаты с завалами, но теперь нас вели хорошо знающие реку проводники. Лодки шли по следу ульмагды, и мы, работая веслами, быстро продвигались вперед. К вечеру стал накрапывать дождик. Погода испортилась, тучи на небе все время сгущались. Подул холодный ветер, дождь усилился, пришлось причалить к берегу.

Соорудив шалаш и спрятав в него Чарльза и Дика, мы стали готовиться к ночлегу. В шалаше хватало места только на двоих-троих; остальные решили почевать под лодками, перевернув их вверх дном. Дик и Чарльз настаивали, чтобы я лег с ними в шалаше, и мне пришлось уступить.

Разместившись кое-как, мы еще долго говорили каждый на своем языке. Потом я сказал: «О'кэй!» — и они тут же ответили: «Хорошо». Значит, все хорошо и можно спать.

Утром дождь был слабее, но все же моросило. Позавтракав, поплыли дальше. Дика и Чарльза уложили на дно ульмагды в спальные мешки и прикрыли брезентом. Через час мы все были мокрые. В середине дня пошел снег, все мы замерзли, но приставать к угрюмому лесу не хотелось. Гребли изо всех сил, чтобы добраться до поселка Воскресенского, расположенного недалеко от устья Хунгари.

Поздно вечером показался поселок. Лодки наши приблизились к ульмагде, и радист крикнул:

— Нью-Йорк!

Дик и Чарльз подняли головы и заулыбались. Чарльз, показав на самый большой дом, закричал: «Эмпайр! Эмпайр!», — приравнивая его к нью-йоркскому небоскребу. Наверно, после блужданий по тайге этот поселок казался ему желаннее любой столицы.

Вскоре все сушились в домах. Дика и Чарльза поместили в квартире врача. Войдя в чистую, уютную комнату, Дик и Чарльз заплакали. Сорок дней в тайге они были на волосок от смерти...

Утром дождь прекратился, и мы снова двинулись в путь.

Амур предстал перед нами так неожиданно, что мы немного растерялись. За поротом показалась широкая водная гладь. Быстрые струи Хунгари как бы выбросили нас на простор Амура, и мы не успели оглянуться, как были в ста метрах от его берега. Лодки, закачавшиеся на волнах, казались такими маленькими суденышками среди величавых

вод реки, что нам как-то стало даже не по себе. Километрах в трех вниз по Амуру стоял большой катер. Мы догадались, что он выслан за нами.

В Комсомольск-на-Амуре мы прибыли в середине дня. На высоком берегу собралось много народу. Когда катер причалил к пристани, я занялся лодками и снаряжением. Вскоре прибежал матрос и сказал, что меня зовут американцы и без меня они не хотят выходить на берег. Мы все втроем вышли из катера. Они обняли меня за шею, и мы стали подниматься на крутой берег.

Подали «виллис», и при виде этой машины американцы закричали:

— Вилли, Вилли!

Их увезли в госпиталь. Помню, как Чарльз отказывался мыться и стричься и настаивал:

— Фото, чик!

Я сразу понял и сказал врачу, что они хотят сфотографироваться в таежном виде, с бородами, на память.

К вечеру у меня поднялась температура до тридцати восьми градусов. Все тело ломило, невозможно было повернуться. Пришлось вызывать врача.

С Чарльзом и Диком я еще раз встретился через пять дней в госпитале, куда приехал после выздоровления. На прощанье Дик вынул из кармана бумагу, как я догадался, приготовленную заранее, и, сильно волнуясь, запинаясь, прочел по складам по-русски:

— Александр, мы, американцы, никогда не забудем подвига смелых и отважных русских.

Выздоровев, они уехали на родину, в Америку, а мы еще раньше их возвратились на берег Хунгари к своему прижиму.

С тех пор я их больше не видел, и писем мы друг другу не писали. Сколько раз я жалел, что холодный дождь смыл их адреса. Сейчас нас разделяют тысячи километров и долгие годы «холодной войны», и мне хотелось бы знать: вспоминают ли Дик и Чарльз о той дружбе, которая зародилась когда-то на берегу таежной реки Хосо?

11. Пришли строители

К концу октября зима установилась. Почти каждый день валил снег. Мелкие ели и черные пни превратились в снежные бугры. По ночам мороз доходил до двадцати. На Хунгари появились большие забереги и шла сплошная шуга, смерзаясь в льдины. Пройдет еще день-два, и наша Хунгари будет скована.

Конюхи делали сани, загибая полозья из обструганных небольших березок.

— Эх и прокачу же я тебя, Маша, на тройке,— говорил Митя.

После падения на прижиме он болел долго, но сейчас окреп и выглядел молодцом. Лицо у него обветрилось, раны зарубцевались, и шрамы покрылись загаром.

Подошел Саша.

— Погибший человек он,— показывая на Митю, сказал он.— Был человек как человек — и вдруг влюбился. Чего доброго, еще женится и...

Саша еще что-то хотел сказать, но лошади уже были запряжены. Я, Саша и Лукьянчиков ехали навстречу строителям временной автодороги из Комсомольска. Вчера мы слышали первые взрывы на западе.

Мы пробирались по просеке на санях. День стоял безоблачный. Лучи солнца пробивались полосами между деревьями, ярко освещая чистый белый снег. На снегу были видны свежие следы зайцев, белок и кабарги.

Проехав километров пять, услышали взрывы. В чистом прозрачном воздухе они были раскаты и, гулко пронесясь по тайге, затихали далеко в сопках. Рвали, очевидно, совсем недалеко — километрах в двух. Значит, строители уже спускаются на пойму Хунгари, решили мы, и как бы в подтверждение наших слов в лесу послышались вскоре голоса.

На двадцати подводах по нашей просеке двигался передовой обоз строителей. Мы выскочили из саней и поспешили им навстречу.

— Ливанов Виталий Федорович, — представился мне плотный, невысокий, средних лет человек с веселыми глазами, одетый в ушанку, белый полушубок и серые валенки.

Я назвал себя.

Ливанов ехал в нашу партию, на площадку намеченной нами станции Хунгари, чтобы организовать там строительный участок. Он забросал меня вопросами о местности, о реке, где прошла трасса, сумели ли мы пройти по прижиму, или нужно будет строить мосты. Энергичный, подвижный, он хотел знать все сейчас же, немедленно, так как время не ждет и ему нужно дать распоряжение, где остановиться обозу. Из Комсомольска они выехали на автомашинах и только последние десять километров едут на лошадях.

Завернув монголку, я посадил его в свои сани и стал в свою очередь спрашивать о новостях.

— И вам и нам скоро будет жарко, — стал рассказывать Ливанов. — Начальник строительства Гвоздев всех из Комсомольска гонит на трассу и приказал до нового года пробить зимник до Сихотэ-Алиня и развезти по нему людей и оборудование до самого хребта. Дня через три ждите самого Гвоздева со всей свитой.

Слово «свита» в ушах человека, знакомого с геологией, звучит особенно: это не «царедворцы», а породы, сопровождающие то или иное ископаемое, которое ищут.

По дороге я указал Ливанову, где будет станция, как она размещается на местности, где будет депо и станционный поселок. Ливанов тут же велел разгружаться и ставить палатки. Мы звали его в землянку, но он наотрез отказался, боясь разомлеть в тепле — тогда трудно будет вновь привыкать к холоду. На площадке станции задымили костры, рабочие разгребали снег и устанавливали большие длинные палатки, похожие на бараки.

Через пять дней нашу тайгу нельзя было узнать. Она оглашалась взрывами аммонала, рокотом тракторов и сигналами автомашин. Спеленные вековые лиственницы с грохотом падали на землю, поднимая облака снежной пыли. Наступление на тайгу велось большими силами. Ежедневно прибывали новые автоколонны со строительными материалами, горючим, оборудованием и людьми. За несколько дней вырос палаточный городок. Строители по нашему примеру рыли и землянки. Прямо под открытым небом заработала лесопилка, оттуда день и ночь вывозились тес, доски и брусья. Нам оставалось только вспоминать, с каким трудом мы распилили десяток тесин для постройки первой лодки. Река Хунгари замерзла, отряды строителей пошли по льду вверх по реке. Сопровождали их наши техники, показывая места для прокладки зимника. Сотни людей двигались по первому следу временной автодороги в сторону хребта Сихотэ-Алинь, где работала партия Кузнецова. К нему последние месяцы летали маленькие самолеты «уточка», сбрасывая в тайгу у лагеря продовольствие.

Во второй половине ноября к нашим землянкам подъехал грузовик, крытый брезентом. Из кабины вылез полный человек в собачьих унтах и дохе. Он потоптался на месте, разминая затекшие от долгой езды ноги, и, приподняв шапку, полуобнажил седую голову.

— Наверно, начальство приехало,— шепнул мне Саша.

Гвоздева я знал еще раньше как руководителя большой проектной организации и крупных строек. Человек он был волевой и умный. Молодой рубака из конницы Буденного, в первые годы после гражданской войны он поступил на рабфак, а затем успешно окончил институт инженеров железнодорожного транспорта. Его многие не любили за грубость, но, правду сказать, зря он не ругал и если уж отчитает, так только за дело. Больше всех от него доставалось его ближайшим помощникам. В его управлении люди работали до полуночи, и сам он уходил домой, когда начинались новые сутки.

Поздоровавшись с нами, он крикнул в кузов своего грузовика:

— Вы что там, уснули, что ли?

Из кузова начали вылезать крупного сложения люди, одетые в тулупы. Среди них был и начальник нашей экспедиции Петр Константинович Татариннов, высокий, сухощавый, всегда подтянутый и стройный мужчина лет за пятьдесят. Гвоздев сказал мне, чтобы я сейчас же вел всех на прижим. Я было предложил с дороги пообедать, отдохнуть, но мне тут же влетело.

— Вы что тут, в тайге, обленились, что ли, и стали похожи вон на тех деятелей? — показывая на своих спугников, хмуро выговорил начальник строительства.— Едва их из Комсомольска вытащил. Прижились там около литерной столовой, едят по пять раз в день, а на трассе не знают, что делается и чем людей кормят! Ты их,— обратился он ко мне,— кроме положенного пайка, что сами получаете по карточкам, ничем не корми. Если узнаю, что балуешь, смотри, и тебе несдобровать. Кормите нас всех тем же, что сами едите, и отрезайте у всех талоны на продовольственных карточках. Вася,— обратился Гвоздев теперь уже другим голосом к своему шоферу,— а ты вот что, проверь, нет ли в кузове каких продуктов. А то ведь Ливанов в поселке мог им подбросить. Как-никак, а все мы начальство ему.

— Хорошо, Федор Алексеевич, проверю,— ответил Вася, лукаво скосив глаза на молчаливых пассажиров.

До прижима шли недолго. Теперь он казался не таким страшным, как летом. Река замерзла, и можно было свободно идти по льду.

— Стой! — скомандовал Гвоздев.— По реке не пойдем, веди прямо, как проложена ваша трасса, от пикета к пикету.

— Не пройти вам, Федор Алексеевич, и им тоже,— показывая на работников управления, стал возражать я.

— А вы как же, по воздуху летали, что ли, или у вас там трассы никакой нет? — начал сердиться Гвоздев.

— Нет, трасса есть, и мы прошли, но там опасно.

Гвоздев так посмотрел на меня, что я спорить больше не стал и начал карабкаться по прижиму. Вслед за мной стали на четвереньки все прибывшие, а вместе с ними и Гвоздев. Они часто садились на снег, боясь подняться, когда неосторожное движение грозило падением на лед. Пройдя метров сто, начальник технического отдела сорвался и покатился по склону. Падение, к счастью, было довольно удачным: поднявшись, он только держался за бок и гладил ушибленное колено. Подойдя к первому крутому утесу, Гвоздев, видя, что дальше и ему не пройти, велел возвращаться. Уже на льду он тихонько мне сказал:

— Хотел своих помощников подробнее познакомить с трудностями трассы. Пусть знают условия строительства в натуре, а не по проектам.

Дальше шли по льду. Прижим был покрыт снегом, и отдельные скалы черными пятнами выделялись на белом фоне. По дороге обсуждали технические вопросы. Завалишин рассказывал о строении прижима и высказывал свои опасения относительно обвалов. На вопросы началь-

ника строительства он отвечал сложно, обставляя каждый вывод оговорками и «возможностями». Тот слушал его внимательно, но потом не выдержал и спросил:

— Скажите прямо, можно или нет строить дорогу по прижиму?

— Да знаете ли, Федор Алексеевич, если бы не трещина, понимаете ли, и не мощный слой элювия, да...

Гвоздев перебил геолога и сказал:

— Вы мне лапшу не сыпьте. Говорите ясно: можно или нет?

Завалишин развел руками. Мне было обидно за Федора Петровича, но я и злился на него за то, что он, кажется, уже готов отступить от того решения, которое было нами принято.

— Ну а вы, ученые мужья, что скажете? Как решать будем? — обратился Гвоздев к «свите».

— Так с ходу нельзя, Федор Алексеевич, надо материалы изыскателей посмотреть, — ответил главный инженер строительства.

— Ну, нет! — возразил Гвоздев. — Вас что, к землянкам потянуло, в тепло захотелось? Нет уж, давайте решать здесь, у прижима. Или, думаете, Завалишин вам еще что-то новое скажет? Рассказывайте им, Завалишин, подробнее, только без этой самой, без лапши, — уже мягче приказал Гвоздев.

— Здесь, в районе прижима, проходит зона смятия горных пород, — начал более твердо Федор Петрович. — Поэтому горные породы имеют различные напластования. Наша трасса проходит то параллельно пластам, то в крест простирания, то...

— Стойте, стойте, — остановил его Гвоздев, — рассказывайте проще, а то вон Ливанов, который здесь будет строить, плохо понимает, что это за крест простирания.

Помолчав, Завалишин продолжал:

— ...То есть имеют наклон в сторону косогора, а в других местах — к реке и нередко вдоль косогора. Косогор сложен толщей юрских осадочных пород мезозойской эры, представленных чередующимися слоями глинистых сланцев и песчаников.

Гвоздев морщился, но не прерывал геолога. Федор Петрович продолжал:

— В поздний период горообразования Сихотэ-Алиня эти породы были не только смяты в сложные складки, но и участками сильно раздолблены многочисленными трещинами. Плоскости таких трещин могут совпадать по направлению своего наклона с плоскостью косогора. Так как сейчас коренные породы во многих местах скрыты под мощным покровом элювиальных отложений из разрушенных сланцев и песчаников, выявить место возможных скольжений и обвалов по трещинам в коренных породах очень трудно.

Гвоздев внимательно слушал, но, опять не выдержав, сказал Завалишину:

— Ну, неужели нельзя проще? Ведь мы не книги по геологии собираемся писать, а железную дорогу строить. Будьте хоть немного практичным человеком.

Завалишин закончил свой рассказ о прижиме, но так и не сказал, можно ли по нему строить железную дорогу. Я пока своего мнения не высказывал и решил вначале послушать, что скажут старшие.

— Ну как, мосты, что ли, будем строить? — сердито спросил Гвоздев. — Металл просить будем?

Он расхаживал по снегу, заложив руки за спину. Лицо у него было хмурое. Все молчали.

— Вы, профессор, что скажете? — обратился он к одному из спутников.

— Я, Федор Алексеевич, профессор по расчетам мостов, а не по геологии,— уклонился тот.

— Знаю, знаю. Но ведь вы много на своем веку железных дорог видели.

— Видите ли, Федор Алексеевич, мне кажется...

— А если без «кажется»? — перебил его Гвоздев.

— Мне кажется,— подчеркнул это слово, продолжал профессор,— лучше строить мосты. Это хоть и дорогое сооружение, но зато дорога будет гарантирована от всяких неприятностей. А ведь на этом прижиге кто его знает, что может случиться. Вы сами видели прижимы по Байкалу и знаете, какие там бывают обвалы. Из-за них и крушения бывали.

Гвоздев молчал. Видимо, эта аргументация в пользу постройки мостов его не убедила.

Долго ходили вдоль прижима, то один, то другой из приезжих отвечал на вопросы Гвоздева, но договориться так ни до чего и не могли.

С верховьев Хунгари потянул холодный ветер, по льду понесло позмку. Под вечер мы возвратились в землянку.

Работники управления и главка по настоянию Гвоздева ели постный жидкий суп из сухих овощей и жидкую кашу без масла. У нас, конечно, теперь были продукты «подножного корма», но Гвоздев категорически запретил из них что-либо давать. Он сказал:

— Это ешьте сами.

Он ел со всеми своими вместе, зло похваливая обед и косо поглядывая на начальника торгового отдела строительства. Видимо, хоть мы и не жаловались, до Гвоздева дошли слухи, что нас плохо снабдили продуктами в тайгу и мы долго были голодные.

— Слушайте, Хволос,— обратился Гвоздев к начальнику торговле, — кто у вас додумался изыскателям положенные по карточкам жиры заменить яичным порошком? Да еще за килограмм жиров выдавать всего сто граммов порошка?

— Мы ведь думали, товарищ начальник, масло в дороге может испортиться, а порошок нет, да его и легче в тайгу везти.

— Ну, раз вы такие умники, то я на первый раз приказываю вам лично в течение двух месяцев получать вместо положенных двух килограммов масла двести граммов этого самого порошка.

— Слушаю, товарищ генерал,— печально ответил Хволос.

В землянке было тепло. Гвоздев расстегнул китель. Он был явно не в духе и бросал то одному, то другому сердитые реплики. Причиной этому был, конечно, нерешенный вопрос с прижимом. Государственный Комитет обороны дал ему право все проекты утверждать на месте, без санкции Москвы. Но о мостах он не хотел слышать и, кратко переговариваясь, все время сосредоточенно думал.

После обеда вернулись к обсуждению нерешенного вопроса. Я показал планы и профили по трассе и стал высказывать свои соображения о прокладке дороги у опасных мест прижима по руслу реки. Чтобы застраховать полотно дороги от размыва бурной рекой Хунгари, я предложил от лица всех специалистов нашей изыскательской партии перекрыть верхнюю протоку дамбой, по которой на протяжении трех километров пройдет дорога. А в тех местах, где трасса идет вдоль главного русла, обсыпать полотно крупными камнями. Несмотря на отступничество Завалишина, я сказал это также и от его лица. Он промолчал, и Гвоздев тоже лишь мельком, даже не зло на него взглянул.

— Ваше мнение, товарищ Ливанов,— спросил он главного инженера участка.

— Я уже раньше слышал о таком решении изыскателей, много над ним думал и пришел к выводу, что это единственно правильное решение. Прошу только разрешить мне рвать прижим на массовое обрушение породы в реку,— добавил Ливанов.

У Гвоздева заметно повеселело лицо, и, посоветовавшись с Татариновым, он потребовал все чертежи. Большинство присутствующих поддержало наше предложение. Профессор — «бог воды», как иногда его называли,— сделал много предупреждений насчет укрепления откосов от размыва и даже предлагал соорудить со стороны реки бетонные стенки. Когда утихли споры, Гвоздев встал, прошелся по землянке, косо посмотрел на Хволоса, еще раз склонился над планами прижима и сказал:

— Изыскатели — молодцы! Они хорошо поняли, как металл нужен для фронта, и, видимо, долго искали решение, как его сэкономить. Решение очень простое, но додуматься до него трудно. Я знаю много случаев в практике строительства, когда проектировщики и строители очертя голову лезут с трассой на крутые и опасные косогоры, боясь не только самой реки, а иногда даже просто затопляемой поймы... И кстати насчет Байкала, профессор. Если бы вот эти изыскатели прокладывали там трассу для железной дороги, то ручаюсь вам, там было бы не больше десяти тоннелей, а не полсотни. Байкал не такой уж страшный, и в большинстве мест дно его отлогое, много мелей. Наши изыскатели обязательно бы прошли по ним без тоннелей, минуя опасные косогоры. Так что, профессор, на Байкал больше не кивайте. Там при постройке дороги были страшные трагедии. Говорят, если бы собрать все кости каторжан, погибших под обломками скал во время постройки дороги, хватило бы их, чтобы отсыпать целую насыпь. Так-то вот, Хволос. Теперь понятно, что такое изыскатели железных дорог? А вы их яичным порошком кормите. А ты тоже хорош,— обратился Гвоздев ко мне.— Почему молчал?

Я было стал оправдываться, что думал — война, продуктов нет.

— И что же думаешь,— прервал меня генерал,— получая десятки тысяч пайков на строительство, мы не смогли бы прокормить сотню изыскателей?.. Эх, если б этот Хволос дела не знал да если б хоть крупинку для себя хапнул, я бы его...

Отчитав Хволоса и меня, Гвоздев повеселел, как бы приняв лекарство. Наступила тишина. Керосиновая лампа тускло освещала землянку, в железной печке потрескивали дрова. Курить при Гвоздеве никто не смел.

— Я считаю техническое совещание законченным,— распорядился он.— Цвелодуб, подготовьте протокол обо всем, что здесь говорилось. Железную дорогу будем строить по прижиму. Вы, Татаринов, подписывайте составленные изыскателями чертежи, дайте мне их утвердить,— уже совсем мягко закончил он.

Утром Гвоздев был веселый и разрешил всех накормить хорошим завтраком, используя нашу добычу. Даша подала жареных рябчиков и моченую бруснику даже с сахаром.

— Видите сами, товарищ генерал, они питаются неплохо, тайга всегда прокормит человека,— говорил Хволос.

— Ничего-то вы не поняли,— махнув рукой, отвернулся от него Гвоздев. Потом вновь резко повернулся к нему.— Раз уж вы такой гений, так скажите: какая будет длина нашей железной дороги от Комсомольска до Советской Гавани?

Хволос не ждал такого вопроса и растерялся. Он хмурил брови и сосредоточенно думал.

— Смелее, смелее, Хволос,— подбадривал Гвоздев.— Если на десяток-другой километров ошибетесь, это ничего.

Хволос молчал.

— Не знаете? Ну хорошо. Тогда ответьте на совсем простой вопрос. Какая длина одного рельса, который мы укладываем в путь? (Хволос молчал.) Тоже не знаете? Плохо дело,— сердился Гвоздев.

Некоторые из присутствующих стали улыбаться. Гвоздев посмотрел на них и вдруг вспыхнул:

— Чему вы улыбаетесь? Плакать надо, а не смеяться. Вот вы,— повернулся он к начальнику автотранспорта,— над Хволосом смеетесь, а сами тоже, наверно, не знаете самых элементарных вещей. Скажите, сколько весит рельс?

— Смотря какой, Федор Алексеевич,— уклонился инженер от ответа.

— Да из тех, что мы получаем от заводов-поставщиков,— пояснил генерал.

— Я не знаю, какие мы получаем рельсы.

— Это как так не знаете? Ведь ваши автомашины их сотнями перевозят со станции к берегу Амура, а вы не знаете!

Тот молчал.

— А знать вам это надо. Автомашинами, которые находятся в вашем ведении, мы будем перевозить много рельсов.

— Федор Алексеевич, ведь мы с Хволосом не инженеры-строители,— пытался оправдаться начальник автотранспорта.

— Знаю, но вы руководители, и самые элементарные вопросы должны знать. Прошу вас,— обратился генерал к главному инженеру строительства,— организуйте для всех руководящих работников строительства кратковременные курсы и дайте самые элементарные понятия о железнодорожном строительстве. Ведь вот перед нами хороший автомобилист и очень неплохой работник по снабжению, но им нужно знать, по-настоящему знать, для чего мы все здесь находимся, и тогда они будут работать со знанием основного дела. Зачеты после курсов буду принимать я сам на хребте Сихотэ-Алинь в марте.

Все это мне не очень понравилось... «Как буря»,— вспомнил я когда-то читанные слова из «Дела» Сухово-Кобылина о князе, начальнике старых времен, генерале в дурном расположении духа.

Следующий день прошел в рассмотрении чертежей. Были утверждены профили всей пройденной нами трассы и местоположение станции-депо Хунгари.

К вечеру ездили на площадку станции. Ливанов давал пояснения об устройстве городка. Ему от Гвоздева попало за то, что на месте будущего железнодорожного поселка начали вырубать весь лес подряд.

— Неужели не хватает ума? — ворчал генерал.— Ведь в самом поселке ни одного деревца не останется. Выходит, жителям надо будет среди тайги самим садить эти березки?

Мне стало почему-то веселей. Правда, я никогда не любил начальственных окриков, но здесь было и что-то другое. Во-первых, сам он дело отлично, до мелочей знает, и, во-вторых, ярость его вызывают действительные недостатки в работе и в людях. Он внешне похож на «разбушевавшегося начальника», а на деле защищает от бюрократических «начальников» работающих людей, будь то рабочие или техники, инженеры, научные работники. Наверно, он был всегда таким же внутренне убежденным и резким в мнениях — «генеральство» наложило (не всегда хороший) отпечаток лишь на способы выражения. Но это уже мелочь.

Столовая строителей расположилась в большой утепленной палатке. Осматривая помещение, Гвоздев увидел в углу грязные тряпки и тазы

рядом с продуктами. Все это полетело на середину столовой, а вслед за этим началась ругань, настоящая ругань настоящего генерала.

— Разгильдяи вы, бездельники! Вам не людей, а свиной кормить! — кричал генерал.

Заведующий столовой и повара торопливо покрывали грязные столы чистыми, новенькими клеенками, ни разу не бывшими в употреблении. Гвоздев приказал Хволосу тут же проверить все калькуляции, закладку продуктов в котлы и стоимость обеда.

Счетовод столовой трясущимися руками разбирал накладные, фактуры и еще какие-то бумаги.

Воровство было явное. Значилось сливочное масло, но его нигде во всей столовой не оказалось. Значилось свиное мясо, а в котел были заложены одни кости.

— Вы что думаете? Из города в тайгу уехали, так на вас и управы здесь не найдется? Жулики, разбойники! — кричал генерал.

В столовую пришла обедать бригада рабочих. Гвоздев спросил, как их кормят. Самый пожилой из них, зло посмотрев и на повара и на генерала, высказался:

— Хорошо кормят. Курятиной закармлили, аж в животе кудахчет.

Здесь же был подписан приказ о снятии с работы заведующего столовой, шеф-повара и счетовода по такой статье кодекса, по которой на подобную работу нигде не примут.

На лесопилке Гвоздев заметил, что рабочие одеты в плохую спецовку и нет хороших рукавиц, а работать ведь приходилось на морозе, под открытым небом. Через час нужное появилось на лесопилке.

Начальник участка, холеный мужчина с барскими манерами, засуетился и начал рассылать гонцов на другие объекты, чтобы предупредить возможность таких же неполадок. Это было замечено всевидящим Гвоздевым, и тут же ему влетело за очковтирательство.

— Слушайте, начальник, — обратился Гвоздев к начальнику участка, — неужели вы не поймете, что о людях нужно заботиться, что только тогда, когда вы их всем возможным обеспечите, они вам сами все сделают и план ваш будет выполнен? Ведь ум у вас не воробьиный? Стида нет?

Начальник участка стоял красный. Он был человек порядочный, и стыд у него был не перед генералом. Гвоздев только его чувство разбередил. А Гвоздев продолжал:

— Вам доверили больше тысячи советских людей. Смотрите, как он разоделся, словно боярин, только шапки соболойной не хватает. А вот одеть бы вас в рваную телогрейку, в которой вон тот парень работает, да еще бурдой накормить, что в столовой готовят, тогда узнали бы кузькину мать, в чем она ходит.

Гвоздев еще долго ругал начальника участка.

Начальник строительства еще два дня находился на Хунгари, вникая во все мелочи.

Мы понимали, что далеко не все, что он требовал, на что указывал, будет выполнено. По существу дела начальственная ревизия, если даже она не только «как буря», но даже «как божья гроза», всего решить не может, решают повседневный труд и повседневная проверка. Однако главное, чего мы могли только желать — утверждение проекта, — Гвоздев нам дал. Поощрения и несдержанные, иногда недопустимо грубые «разносы» Гвоздева не оставили по себе раздоров, а напротив, уйдя в прошлое, увели в прошлое и многие наши споры.

По разработанному графику временная автодорога должна была пройти к хребту Сихотэ-Алинь к новому году, а первые взрывы на при-

жиме начаться в феврале. Мне Гвоздев предложил съездить — вернее, пробраться — с группой инженерно-технических работников на хребет и, если потребуется, оказать помощь Кузнецову. Гвоздев много говорил о главном перевале как об основном препятствии на пути железной дороги. По его мнению, она должна пройти перевал без большого тоннеля, который за короткий срок невозможно построить.

Гвоздев уехал так же неожиданно, как и приехал. Уехали с ним и все работники управления строительства, кроме начальника торгового отдела Хволоса, которому было поручено организовать магазины и наладить питание в поселке. Гвоздев ему запретил появляться в Комсомольске, пока не наладит снабжение на трассе, — правда, не думаю, чтобы он все это время ел яичный порошок. Начальник участка за эти дни до отъезда Гвоздева перестал бриться и вместо пальто на меху надевал потертый полушубок. Полученные со склада собачьи унты — такие, какие носил сам Гвоздев, — у всех управленческих работников были отобраны и отданы шоферам, возившим грузы в сторону перевала.

12. К хребту Сихотэ-Алинь

Поздно вечером мы услышали лай собак, доносившийся со стороны Хунгари. Ни в нашем лагере, ни у строителей собак не было и поэтому вновь прибывший должен был быть кто-то другой. Мы с Сашей выскочили из землянки и пошли навстречу. Из-за поворота показались нарты с собачьей упряжкой. К нам ехал Тарас. В нарты были впряжены три небольшие собаки из породы лаек, самая большая собака бежала за нартами. Нарты были груженные. Тарас сам вынужден был помогать собакам тащить их. Поздоровавшись с таежным другом, я спросил его, почему он не запрягает большую собаку, чтобы самому не везти нарты.

— Эта собака хитрая, она работать не хочет, контора писать хочет, — ответил Тарас, хитро сощура на меня глаза.

Мы спросили Тараса переночевать у нас в землянках, а утром продолжать путь к Уктуру. Вечером угощали его соленой рыбой, он нас — вяленой. У меня нашлось немного спирта. Тарас развести спирт водой отказался, добавил в спирт две ложки горячей ухи и выпил. Мы поморщились за него, а он — ничего, только крикнул и сказал:

— Шибко хорошо!

Я предложил гостю еще немного спирта, но он отказался, заявив, что завтра у собак голова болеть будет, а ему ехать надо. Мы посмеялись с ним. Потом долго пили чай, вспоминая совместные путешествия.

Тарас по секрету сообщил мне:

— Моя Дунька сюда просилась — наверное, твой парень голову ей крутил. Скучать мало-мало стала. Он ей шибко голова забивай. Велела ему белка-шапку передать. — С этими словами Тарас вытащил из котомки новенькую беличью шапку. — Твоя только шибко не болтай. Дунька тихо просила, — наставлял меня Тарас.

Я обещал просьбу выполнить и тайну сохранить. На другой день, когда я проснулся, Тараса уже не было. До восхода солнца он ушел с нартами в тайгу за пушным зверем.

Позавтракав, уложив в рюкзаки крайне необходимые вещи и взяв са- модельные лыжи, мы вчетвером — Саша, Митя, Лукин и я — сели на попутную машину и поехали в сторону перевала. За «Тремя дураками» — в том месте, где мы расстались летом с Кузнецовым, — зимник кончился. Мы встали на лыжи и пошли по тропе Кузнецова. Снегу навалило много, тропа была узкая, по ней никто зимой не ходил. Вскоре тропу потеряли и стали ориентироваться по компасу и карте. Пройдя по лесу километров

десять, мы спустились на русло реки Верхняя Удоми; по занесенному снегом льду пошли быстрее.

Короткий день клонился к концу. У крутого поворота на берегу реки рос густой ельник, и, забравшись в него, мы нашли небольшую поляну, окруженную со всех сторон плотной стеной густого леса, где решили переночевать. Разгребли лыжами снег, устроили из веток шалаш с козырьком. Заднюю стенку завалили снегом, а перед шалашом развели костер.

— Интересная жизнь у нас, — начал разговор Саша. — Сегодня здесь, завтра там, и, смотришь, через два-три дня — на хребте, в гостях у Арсения Петровича.

У костра сидеть было жарко, дым ел глаза, но стоило отойти на два-три метра, как все тело пронизывал сильный мороз. Раздевшись, сушили валенки, портянки и кипятили чай из снега. Лукин потрошил убитых по дороге рябчиков, а Митя любовался шарфом — подарком Маши.

В шалаш набросали хвои и по примеру Тараса на нее расстелили шкурки кабарги. Укрывшись полушубками, крепко уснули.

Утром я проснулся от сильного холода, мороз был больше тридцати градусов. Костер догорел, от наваленных на него бревен остались одни угли. Шапка ночью у меня с головы свалилась, и волосы смерзлись. Вскочив, я стал бегать, разминая застывшие ноги. Подложив в костер дров, разбудил товарищей.

Вскипятили чай. Закончив завтрак, спустились на лед реки и двинулись дальше. Река была извилистая, и нам приходилось спрямлять путь то выбираясь на берег, то вновь спускаясь на лед.

В одном месте, при спуске с крутого обрыва к реке, Лукин провалился в реку. Его подхватило течением и стало заносить под лед. Он пытался опереться на лед, но он обламывался, и Лукин все глубже и глубже погружался в воду. Он уже хлебнул воды. С крутого обрыва мы кинулись к товарищу на помощь. Я успел подать ему лыжу, он ухватился за нее обеими руками, но он был тяжелее и потащил меня на опасное место. Еще мгновение — и я полетел бы в прорубь. Спасибо, Саша и Митя ухватили меня за ляжки рюкзака. Лукин со всей ношей был вытаскен из воды на крутой берег. Руки его были поранены о лед. Мороз был около сорока градусов, и через пять минут Иван превратился в ледяную глыбу. Мы с Сашей спешили разложить костры, а Митя раздевал мокрого Лукина догола. Костры разгорелись не сразу. Подстелив шкуру кабарги, мы поставили Ивана совершенно голого между двух костров и стали растирать. Затем скинули с себя полушубки и прикрыли его. Одежду его развесили у костра на сучьях деревьев и рогатинах. Через два часа, одевшись во все сухое, Лукин перестал стучать зубами. Но еще долго стоял босой то на одной, то на другой ноге, ожидая, когда высохнут валенки.

Когда Лукин был вновь готов продолжать путь, ему от нас крепко попало за неосмотрительность. Хорошо, если все кончится благополучно и он не заболет после такого купания. А если заболет? Тогда нам придется возвращаться обратно и нести большого товарища по тайге.

За оставшийся день прошли совсем мало. Ночевали снова у костра. За целый день нам ничего не удалось подстрелить, пришлось варить кашу. Хлеб намок и замерз. Оттаивая, он становился мокрым и крошился. Спать легли угрюмые. Мороз поднял нас утром, когда еще небо было усыпано звездами.

Шли по тайге на лыжах.

Вскоре вышли на старую гарь. Идти на лыжах по бурелому стало невозможно, и пришлось тащиться без них, утопая по пояс в снегу.

Со стороны хребта подул холодный, пронизывающий все тело ветер. Саша и я обморозили щеки и еле оттерли их снегом. Шли молча, всматриваясь вдаль. Гари, казалось, не будет ни конца ни края. Но вот под вечер на востоке свинцовые тучи разошлись, и мы увидели отроги хребта. Только к вечеру выбрались из гари в тайгу, уставшие и голодные, еле волоча ноги.

От ветра, снега и дыма глаза у всех троих воспалились, лица почернели и обветрились, а у меня и Саши в довершение ко всему очень болели обмороженные щеки. Мы вновь построили шалаш и заготовили дрова на ночь. Сидя у костра, грелись горячим чаем, обжигая губы о жестяные кружки.

Легли отдыхать. Лукин лежал рядом со мной. Слышно было, как он вздыхает и ворочается.

— Что, Иван, холодно? — спросил я его.

— Знобит что-то немного. В тепло бы хоть на часок. Только бы согреться, — дрожа, ответил Лукин.

Я лежал и думал: хорошо бы его сейчас на русскую печь — и тут же вспомнил один охотничий рассказ. Следуя совету одного из охотников в этом рассказе, я тут же велел всем подниматься, хотя Саша и Митя уже крепко уснули. Костер наш горел давно и должен был прогреть землю. Мы быстро разгребли его и на этом месте устроили постель. Земля там была горячая. Разведя другой костер рядом, мы уложили Лукина на самое теплое место, а сами легли по краям. Через несколько минут Иван согрелся на лесной печке и уснул хорошим, здоровым сном.

Чем дальше к хребту, тем снегу становилось все больше и больше. Плечи от рюкзака болели, ноги передвигались машинально и все медленнее и медленнее. Привалы стали частыми, и вставать после них не хотелось.

Выйдя из леса на гать, мы увидели на востоке горную панораму Сихотэ-Алиня. Я ожидал увидеть скалистые горы с острыми вершинами, но перед нами был ровный, плоский хребет с нагромождением купообразных вершин, разделенных широкими седловинами. Мы направились к самой низкой из них, видневшейся на северо-востоке, — туда, где, судя по карте, должна находиться партия Кузнецова. Только к вечеру дотащились до подножия хребта, и когда сил почти не оставалось, мы случайно натолкнулись на базу изыскательской партии, приютившуюся в глухом распадке.

Нас встретил хозяйственник и ввел в единственное зимовье, где хранилось имущество и продовольствие. Мы были рады обогреться и снять наконец с себя смерзшуюся одежду. Грелись у раскаленной докрасна железной печки, закрывая от жары руками обветренные и обмороженные лица. Завхоз вскипятил чайник и, сдобрив кипятком листьями смородины, угощал нас чаем с клюквой. От тепла и усталости тяжелели веки, все тело расслабло, и, забравшись на нары, застланные пахучей хвоей, мы крепко уснули.

На другой день я проснулся, когда дневной свет, проникая через единственное крохотное оконце, слабо освещал темное зимовье.

Все еще спали, только место Саши было пустое. На дворе заскрипели лыжи, а затем открылась дверь, и вместе с клубами холодного воздуха в зимовье ввалился Саша, весь в снегу, с заиндеветыми ресницами. За плечами у него было ружье и рюкзак. Сбросив с себя охотничью амуницию и полушубок, он закричал:

— Эй вы, сони, вставайте! Вечер на дворе!

Дернув Митю за волосы, а Ивана за ноги, он стал развязывать рюкзак. Вытряхнув из него трех белок с пушистыми хвостами, он обратился к Мите:

— Будь другом, обдери белок. Я тебе заднюю ножку уступлю, а то надоели тебе одни передние от рябчиков.

Оказывается, мы так долго спали, что день уже и вправду клонился к вечеру. Собрав быстро вещи, мы отправились на перевал, где находилась партия Кузнецова.

13. Могила на холме

Подъем на хребет был крутой. Вдоль тропы на опасных местах были протянуты веревки, за которые то и дело приходилось цепляться. Два зимовья и несколько палаток изыскателей приютились в седловине и были защищены с севера высокой сопкой.

— Какими же ветрами занесло вас сюда? — взволнованно спрашивал, обнимая меня, Арсений Петрович. — Да как вы пробрались в такой холод, как нашли нас на хребте?

Мы задавали друг другу вопросы, не ожидая ответа. Только когда успокоились, Арсений Петрович сказал:

— Ведь я до постройки зимника или до весны по такому снегу никого не ждал, а тут на тебе, гости!

Мы передали им почту, где среди других писем было письмо Гвоздева.

Арсений Петрович вскрыл его и стал читать. Закончив, он спросил:

— Значит, помогать пришли? Ну что же, это дело неплохое, но только ведь я помощи не просил.

Я понял, что Арсений Петрович, как всегда, ревниво относится к своей работе и не хочет, чтобы на хребте, кроме его коллектива, работали еще другие. Он помрачнел и задумался. Разговор после этого не клеился. Я сидел на чурбаке, заменявшем стул, а Арсений Петрович шагал по слабо освещенному зимовью, заложив руки за спину. «О чем он думает? — размышлял я. — Наверное, о хребте, где так трудно проложить трассу. А может, его мысли унеслись далеко на запад, где он во время тяжелых боев строил волжскую рокаду. Возможно, вспоминает о лесах и болотах Северной Двины, где перед войной прокладывал путь для северной магистрали. А может, думает о близких и родных, сражающихся далеко на западе с фашистами. И наверно, снова и снова о своем долге, который выполняет тут».

Я смотрел на похудевшего за эти месяцы товарища, на его озабоченное лицо, и мне захотелось обнять его и сказать ему самые теплые слова.

— Неужели ты думаешь, Арсений Петрович, — начал я, — что в успехе твоей работы хоть кто-нибудь сомневается? Если нас и послали помогать, так только потому, что знают, как вам тяжело в короткие сроки решать такую сложную задачу. И знаешь еще что? — добавил я. — В январе на хребет пробьются с зимником строители и сюда пройдет много людей и техники.

От последнего сообщения лицо Арсения Петровича просияло. Сразу повеселел, он хлопнул меня по плечу и сказал:

— Вот это здорово! Значит, не зря трудимся. Скоро и на нашем перевале загрохочут взрывы аммонала и будут рокотать машины. А вы, стало быть, вроде квартирьеров из авангарда!

Он велел собирать на стол, а за ужином рассказывал, как они добивались до хребта и обживали его. На восток от хребта, в сторону Советской Гавани, они с трассой прошли уже до долины реки Мули. А вот на запад идти оказалось труднее, и изыскания на этом участке еще в полном разгаре. Не закончив ужина, он вытащил нас из-за стола и стал показывать планы снятой местности.

— Вот видите, — пояснял он, — река Верхняя Удоми. Очень близко прижалась к хребту, и на коротком расстоянии, между седлом и рекой, большая разница по высоте. Если бы можно было заложить тоннель километра в два-три, тогда все было бы проще. Но это, вы знаете, исключается. Остается одно: спускаться с большой высоты хребта в долину реки, а это — ох как трудно!

Мы разглядывали план западного участка; он пестрел крутыми отрогами и обрывами. Да, здесь было над чем задуматься, и не зря Арсений Петрович был так озабочен.

Спать легли далеко за полночь. Арсений Петрович еще оставался за рабочим столом, склонившись над чертежами, а я незаметно уснул под завывание ветра.

Утром я проснулся, когда еще было темно. Арсений Петрович уже был на ногах, а сотрудники партии с рабочими уходили на свои участки. Одни шли прорубать просеки, другие — на съемку местности, третьи — рыть шурфы и бурить скважины. Они торопились, чтобы с рассветом быть на месте и использовать все светлое время короткого зимнего дня. Мы вышли с Арсением Петровичем, намереваясь обследовать один из крутых отрогов, который, по его расчетам, придется пересекать коротким тоннелем.

За ночь снегу еще прибавилось, и на открытых местах намело сугробы. Арсений Петрович, знавший хорошо местность, шел впереди, проминая след. Лыжи мы с собой не взяли — пользоваться ими в сильно пересеченной местности, заваленной упавшими деревьями, было невозможно. Продвигались медленно по крутым склонам, спускаясь в глубокие лога, поднимаясь на водоразделы. На крутых подъемах приходилось карабкаться на четвереньках, а на спусках сползать на боку, увлекая за собой снежные сугробы. Особенно тяжелым был подъем на водораздел, где намечался тоннель. На крутых местах мы несколько раз срывались и вновь отчаянно карабкались, утопая в снегу. Снег набивался в валенки, за воротник, в одежду, от нас валил пар, и я заметил, что Арсений Петрович временами тяжело дышит и держится за левый бок. Я предложил ему отдохнуть, но он, засмеявшись, ответил:

— Если будем тихо ходить да о здоровье думать, тогда нам здесь делать нечего! — И стал карабкаться еще быстрее.

С гребня хорошо было видно всю окружающую местность. Глубокие и крутые лога казались бездонными ущельями. Гребень отрога, на котором мы стояли, обрывался в глубокую долину Верхней Удоми, заросшую хвойным лесом. Глядя на эту изрезанную глубокими складками местность, трудно было представить себе, что здесь пройдет железная дорога.

Пронзительный северный ветер, гнавший поземку, заставил нас укрыться в молодом ельнике. Там мы развернули карту.

— Трассу с седла, где стоит наш лагерь, — стал рассказывать Арсений Петрович, — будем прокладывать по левому склону долины Верхней Удоми, направляясь в ее верховье. А вот в этом месте, — показывая на карту, сказал он, — она должна спуститься к реке и, сделав петлю, перейдет на левый берег. Над этим решением я думал много ночей и убедился, что оно единственно правильное, — заключил он.

— А как же будут разрабатываться такие глубокие выемки в скале? — спросил я.

— Только массовыми взрывами на выброс, — не задумываясь, ответил он.

Я представил себе взрыв десятков тонн аммонала, от которого содрогнется земля и огромная скала, поднятая на воздух, обрушится в глу-

бокие лога, освободив путь. Где-то глубоко под нами пробьют тоннель, и поездка с грохотом будут мчаться по его темному жерлу. Но сколько труда должны вложить здесь люди, чтобы все осуществилось! С этими мыслями я, утопая в снегу, шел за Арсением Петровичем туда, где, по его расчетам, будет «удоминская петля».

Пока осматривали долину и выбирали место ее пересечения «петлей», наступили сумерки. Мы устали и были голодны. С собой у нас было по куску черного хлеба, который смерзся и не поддавался зубам.

— Давай поджарим хлеб, — предложил я Арсению Петровичу.

Он охотно согласился. Через несколько минут весело горел костер, поднимая с дымом сгоравшую на лету хвою. Мы положили хлеб прямо в огонь, а сами сели на валявшиеся вокруг костра колодины. Когда куски немного почернели, мы вытащили их и стали есть. Хлеб был горячий, хрустел на зубах, от него пахло смолой и был он на вкус немного горьковат, что, однако, не уменьшало нашего аппетита.

Возвращались на хребет, когда на небе ярко горели звезды. Арсений Петрович по дороге опять несколько раз останавливался, тяжело дыша. Но я как-то не придал тогда этому значения.

Остаток ночи мы провели над планами, разрабатывая в деталях направление трассы по тем местам, где ходили днем. Под утро, когда закончили проектировать, Арсений Петрович сказал:

— Если уж пришли помогать, то беритесь за удоминскую петлю, а мы будем с хребта прокладывать к ней трассу.

Весь трудный участок он взял на себя, а нам выделил небольшой и самый легкий.

Спорить с ним я не стал, не хотелось портить его хорошее настроение. Казалось, словно с его плеч свалились все заботы. Причиной этому, как я понял, было то, что и я признал хорошо разработанной проложенную им трассу с хребта на запад.

Вечером Катя угощала нас оладьями из серой муки и мороженой брусникой. За столом она жаловалась на мужа:

— Совсем не бережет себя. Целыми днями ходит по горам, а ночью проектирует свои варианты. Спать стал по два-три часа, да и то во сне бредит работой.

— Ладно, Катя, теперь не буду, — оправдывался Арсений Петрович. — А раньше иначе нельзя было, сама ведь понимаешь.

— Да ты и спать-то разучился, — не успокаивалась Катя. — И смотри, если слово не удержишь, я уйду в лес и замерзну там, — как-то слишком серьезно для таких слов проговорила она.

Тогда Арсений Петрович стал шутить, потом дал слово жене отдыхать по пять часов, а когда можно, то и больше.

Утром мы с Сашей, Лукиным, Митей и рабочими ушли на базу партии, где ночевали первый раз. Поселились в том же зимовье и начали изыскания на удоминской петле.

Жизнь на базе была однообразной. Днем все были на работе, вечерами вычерчивали планы, чинили порвавшуюся одежду и обувь. Иногда Саша рассказывал нам, как он на Оке ловил осетров величиной больше себя, как ходил в Мещеру за утками и охотился на медведей. Из всех трудных положений, в которых ему приходилось бывать, он, по его словам, выходил всегда победителем. Саша говорил с увлечением, и слушать его было интересно. Даже когда он сочинял совсем неправдоподобные истории, мы поддакивали, а он говорил в благодарность за это с еще большим азартом.

Только однажды, когда Саша хватил уж слишком через край, начав рассказывать, как он еще восьмилетним убил волка, мы не выдержали

и возмутились. После этого нам два вечера пришлось скучать и уговаривать «охотника», чтобы он нам рассказывал о своих приключениях.

В одну из декабрьских холодных ночей мы засиделись за полночь и только собрались ложиться спать, как с перевала прибежал рабочий, сообщив, что Арсений Петрович умирает. Мы никак не могли этому поверить. Ведь только вчера получили от него записку, которой он сообщал, что дня через три они подойдут с трассой к удоминской петле. Однако мы быстро собрались и, цепляясь в темноте за веревку, вскарабкались с Сашей и Митей на хребет.

Увидеть живым товарища мне уже не удалось. Он лежал на деревянном топчане мертвый. Натруженное сердце не выдержало нагрузки и отказалось служить этому пылкому в работе человеку, отдавшему всю свою жизнь покорению нехоженых просторов своей Родины.

Катя застыла на коленях около мужа. Плакать она не могла, только с мольбой в голосе тихо повторяла:

— Что ты, Арсений, наделал? Ведь я просила тебя поберечься. Скажи, что мне делать, ведь ты не сказал мне на прощанье ни одного слова.

Гроб сделали из лиственницы, вытесывая топорами тяжелые доски. Через день похоронили. Могилу вырыли на небольшой сопке, вблизи будущего вокзала разъезда, запроектированного Арсением Петровичем. Погода была пасмурная. Зловещие свинцовые снежные тучи нависали над хребтом, оставляя хлопья на вершинах гор. Над тайгой стоял полумрак. Все были подавлены. Не хотелось даже думать, что мы проводим нашего товарища в последний путь. Первым пришел сюда Арсений Петрович, в эти бескрайние просторы тайги и гор, и первый он отдал свою жизнь за их покорение. Оборвались короткие прощальные слова, прозвучал нестройный залп из ружей, и гроб опустили в могилу.

Холмик заносило снегом. Снег начал засыпать и Катю, стоящую на коленях перед могилой. Женщины подняли ее и повели в лагерь.

На совещании всех наших изыскателей было решено ходатайствовать перед правительством о наименовании разъезда на хребте, где работал и погиб Арсений Петрович, разъездом Кузнецовским. Наше ходатайство было удовлетворено.

Такова настоящая история с наименованием разъезда, о которой рассказывал легенды моряк девушке в яркой пижаме спустя пятнадцать лет после того, как мы похоронили своего друга на хребте Сихотэ-Алинь. Я пишу об этих молодых людях без упрека и горечи. Ведь народ — это море! Каких только людей в нем нет, и почти каждому есть свое место в жизни, почти каждый нужен. Не только этот молоденький морячок, но, наверно, и его кокетливая спутница делают нечто доброе и ценное. Что за беда, если для их беседы больше пришлось впору в эту минуту «романтическая» чепуха, чем подлинная история героической души! Но и эти молодые люди не получают ведь настоящего душевного питания из мелодраматических побасенок. Поживут они еще немного и поймут, что им самим, чтобы строить свою жизнь, необходимо совсем другое. Сейчас они пользуются тем, что им оставил Арсений Кузнецов, не задумываясь о том, кто он, — завтра они, проезжая здесь, помолчат в задумчивости, глядя на его могилу. День и ночь идут поезда мимо этой могилы на холме. Гудки локомотивов раздаются по тайге, извещая, что люди здесь трудились не зря: они связали океан с Амуром через хребет Сихотэ-Алинь.



Д. САМОЙЛОВ

★

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

СЛОВА

Красиво падала листва,
Красиво плыли пароходы.
Стояли ясные погоды,
И праздничные торжества
Справлял сентябрь первоначальный —
Задумчивый, но не печальный.

И понял я, что в мире нет
Затертых слов или явлений, —
Их существо до самых недр
Взрывает потрясенный гений.
И ветер необыкновенней,
Когда он ветер, а не ветр.

Люблю обычные слова,
Как неизведанные страны.
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло, —
И в этом наше ремесло.

КАК НА ЛАДОНИ

Подставь ладонь под снегопад,
Под звезды, под кристаллы.
Они мгновенно закипят,
Как плавкие металлы.

Они растают, потекут
По линиям руки.
И станут линии руки
Изгибами реки.

Другие линии руки
Пролягут, как границы.
И я увижу городки,
Деревни и столицы.

Моя ладонь, как материк, —
Он прочен, изначален.
И кто-нибудь на нем велик,
А кто-нибудь печален.

А кто-нибудь идет домой,
А кто-то едет в гости.
И кто-то, как всегда зимой,
Снег собирает в горсти.

Как ты просторен и широк,
Мирок на пятерне!
Я для тебя, наверно, бог,
И ты покорен мне.

Я берегу твоих людей,
Храню твою удачу.
И малый мир руки моей
Я в рукавицу прячу.

НАТАША

Ей сладок хлеб, и сон ей сладок,
И сон ей мил, и дом ей мил,
Мила ей "стопочка тетрадок
И столик с пятнами чернил.
Милы искусственные розы
И свист запечного сверчка,
А после первого мороза
Рябина жесткая сладка.
А эти танцы в воскресенье
В соседнем клубе заводском!
И провожанье и веселье,
Запорошенное снежком!
Милы ей складки юбки чинной
И новенькие башмачки.
И сладок приступ беспричинной
И обещающей тоски...
Я с ней беседую часами,
И мне не хочется стареть,
Когда учусь ее глазами
На мир доверчиво смотреть.

НАД НЕВОЙ

Весь город в плавных разворотах,
И лишь подчеркивает даль
В проспектах, арках и воротах
Классическая вертикаль.

И все дворцы, ограды, зданья,
И эти львы, и этот конь
Видны, как бы для любованья
Поставленные на ладонь.

И плавно прилегают воды
К седым гранитам городским —
Большие замыслы природы
К великим замыслам людским.



ИРЖИ ТАУФЕР

★

СОНЕТ ДЛЯ ТЕБЯ

* * *

В тот мир не брали мы с собой
виз, паспортов, вещей, валюты;
мы знали, что в конце маршрута
нам прямо с поезда — и в бой!
Тот мир стал нашею судьбой.
В том мире нам бывало круто,
но не было такой минуты,
когда б мы каялись с тобой!
В том мире — помню — снег в крови,
свист бомб над головой любви,
и поезд глеет, догорая,
и ты, высокая, до звезд,
через минированный мост
идешь, страх смерти попирая.

АТЕИСТИЧЕСКИЙ СОНЕТ

Нет, мир не лес. И люди не жуки.
А бог не великан. Я протестую!
Живых кумиров на доске матую,
и выдуманных тоже — прочь с доски!
Всевышний вертит землю вхолостую?
Нет, в это мне поверить не с руки!
Монтеры, машинисты, горняки —
вот в чью работу верю я простую!
Я мир люблю — не тихий и слепой,
а громкий мир, с безбожною толпой,
с мазками красок, с буйными стихами,
со звездочетами, с еретиками,
мир, где не бог, не царь и не герой,
где все — своею собственной рукой!

НА ЧТО СПОСОБНА ЛЮБОВЬ

Любовь — она все умеет. Зажечь костер на льду,
постель постелить на белых откосах снежных,
двух изобретателей сделать из двух неловких и нежных,
зонт над их головами вдруг превратить в звезду.
Млечный путь на мокром перроне выложить на ходу,
и, целуя сквозь дождь в губы, улыбнуться безгрешно,
и в сотый раз ошибиться, забыв об ошибках прежних...
Для всего, что любовь умеет, я и слов не найду.
Эти двое ног не замочат, пролетят над рекой,
утолят океаном жажду, до неба достанут рукой,
перетащат солнце на полюс, туда, где вчера — ни зги...
Любовь — она все умеет: молчать и стихи писать:
у любви есть туфельки Золушки, чтоб во дворцах плясать,
и есть, чтоб ходить по свету, семимильные сапоги.

Вольный перевод с чешского **Конст. Симонова.**



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ

★

ДОРОГА К НОВОЙ ЗЕМЛЕ

Из путевых заметок

1

Я впервые в Ташкенте. Полдня безуспешно ищу в киосках и магазинах путеводитель или хоть какой-нибудь справочник. В тени чинар и карагачей воркуют горлинки. На углах людных улиц продают сирень. Она лежит тяжелыми грудями на прилипших к тротуару мокрых газетах. Смуглолицые женщины то и дело сбрызгивают ее водою из ведер.

Тысячу раз писано и говорено о чудесах авиаперелетов, и все же скажу тысячу первый: нынче утром я видел, как украшали кумачом и гнрляндами хвон трибуну перед зданием Внуковского аэропорта для встречи Гагарина. Какая-то диковинная машина, помесь грузовика с огнедышащей пастью дракона, ездилa взад и вперед, выжигала горячим воздухом лед с бетонных дорожек. На елях под Внуковым картинно белел снег. И вот, пожалуйста, через три часа двадцать минут — сирень, нарциссы, белые свечи каштанов. В газонах ташкентского аэропорта цветут лимонно-желтые анютины глазки, незабудки и еще какие-то ярко-розовые цветочки на ярко-салатной мелколистной зелени; все вместе удивительно похоже на узбекские шелка, где преобладают именно эти краски — зеленые, желтые и лилово-розовые на белом.

Путеводитель наконец-то найден — издание 1958 года, в ледериновом переплете, с мутными фотографиями и суконным текстом, из которого, впрочем, можно выудить немало любопытных сведений: скажем, что всего лишь девяносто пять лет назад в Ташкенте был закрыт последний невольничий рынок и открыто первое во всем Туркестанском крае двухклассное училище.

Листаю эту книжицу в номере гостиницы «Ташкент», построенной недавно. Это большое пятиэтажное здание с широкими лестницами великолепного газганского мрамора, просторными коридорами, громоздкой мебелью и дурной вентиляцией; в холлах стоят телевизоры, а в ресторане с могучими колоннами начиная с семи вечера и до полуночи играет джаз — пять довольно умелых музыкантов и певица. Все они одеты в черное; почему-то кажется, что смокинги и длинное, до пят, платье с бисером долго висели без дела в комиссионке или захудалой костюмерной.

На площади перед гостиницей дышится куда легче. Струн фонтана, бьющие в темное небо, эффектно подсвечены разноцветными огнями. В сквере полно гуляющих — белокурые улыбки, смех, яркие платья, жизнерадостная смесь племен и наречий. Едят мороженое. Пьют газировку (на тележках забавное словечко-гибрид — «Газвода»). Пробую силу на громоздкой машине с огромным циферблатом и двумя ручками, как у пулемета «максим»; кое-кто из молодежи «дожимает» до звонка, а малорослый шуплый дяденька пытается три раза кряду — стрелка замирает, дрожа, на середине. Но дяденька не сдается, пробует четвертый раз.

У Ташкента есть свои полюсы — северный (старый город) и южный (Чиланзар — новый жилой массив, «ташкентские Черемушки»). С чего начать? Еду в старый город — через мутно-желтый, как поток жидкой охры, быстротекущий канал Анхор, по широкой улице Навои до памятника Калинин, а затем пешком по зеленому тенистому бульвару до базара, называющегося теперь Октябрьским.

На рынке — яростный шум торжища, пестрые халаты, выкрики продавцов. Горы ярко-лилового редиса, зеленого лука с необычайно длинным пером; лимонно-желтая крупная морковь, ее безостановочно рубят в лапшу острейшими ножами, не глядя и не боясь оттяпать пальцы (без такой лапши не сварить настоящего плова). Груды яблок, вяленой дыни, кураги, кишмиша, фиников, инжира, тучи мух, стекловидный желтый нават и еще какое-то лакомство, похожее на шелковичные коконы, горячие лепешки, пирожки «самса» с мясом, луком и курдючным салом, тмин, молотый красный перец и перец черный и перезимовавшие кисти винограда с чуть сморщенными крупными ягодами. Мед в бидонах и ведрах, а в других ведрах — вода, чтобы сбрызгивать стебли ревеня, розовые у корня и зеленые сверху. И, если угодно, паранджа...

Я, к слову, думал прежде, что паранджа — это именно та черная штукавина, которой прикрывается лицо женщины от посторонних взглядов. Оказалось, нет. Паранджа — это весь наряд, нечто вроде долгополого капюшона без дыр для рук, но с каким-то подбоем длинных плоских рукавов, пришитых к макушке и сходящихся сзади у подола. Сама же волосяная завеска, сквозь которую глядят (и которую можно откинуть), называется чачван.

И еще я полагал, что паранджу увидеть можно будет разве что в музее. Оказалось, нет. Вот навстречу движется нечто без лица и возраста. Из-под серой паранджи виднеются сапоги, оснащенные, несмотря на жару и сухь, остроносыми калошами.

Жарко. По узким улочкам старого города ветер носит первую весеннюю пыль. Впрочем, как утверждают местные люди, это еще не пыль. Пыль будет летом. Она погасит краски, забьется в нос, рот и уши, ляжет на кожу плотным слоем, не давая пристать загару. А пока — только первое дуновение; и двадцать пять в тени — это еще не жара.

По улочке идет старик с лицом цвета каленой меди, с серебряной недлинной бородкой, в черно-белой тубетейке и распахнутом на груди черном чапане, подпоясанном двумя платками. На спине он несет сундук — новообретенное украшение дома, анилиново-зеленый, щедро окованный блестящей фольгой, золотой и ярко-розовой.

Сундук этот — единственное яркое пятно в перспективе улицы, узкой и серо-желтой, с желто-серыми глухими дувалами, палимой солнцем. Но войдите в одну из притворенных дверей-калиток, и вы поймете, что такое микроклимат.

Чистенький — ни соринки — дворик, плотно уграмбованный и свежесполитый из протекающего тут же арыка; два-три цветущих розовых куста, две-три зеленые грядки, урючина. Посредине — деревянный невысокий помост с перлами, балхана (вот оно откуда, русское «балкон»!). Над балханой — увитая виноградом решетка-навес. В стороне, у дувала, — очаг с вмурованным тандыром, где пекут лепешки (тандыр похож на огромный глиняный горшок без дна; их формируют из глины, перемешанной с овечьей шерстью, и продают в специальных лавчонках и на базарах).

Итак, микроклимат. В узбекском дворике температура, как правило, ниже на четыре-пять градусов, чем снаружи, на улице. Воздух там увлажнен и озонирован зеленью. Там нетрудно укрыться от солнцепека под навесом или под деревом у арыка. На балхане едят, пьют чай, спят летними ночами, наслаждаясь прохладой. Внутри, в комнатах, летом тоже прохладно, а зимой тепло под защитой толстых стен из самана или сырцового кирпича.

Мне рассказывали о прохладе во дворах древних медресе; я убедился в этом, найдя в старом городе медресе Барак-хана. Снаружи к входному portalу привинчена мраморная доска, удостоверяющая, что это сооружение XVI века является памятником архитектуры и охраняется государством. Внутри, в прямоугольном замкнутом дворе, прохладно и очень чисто, каменные гулки плиты, цветущие кусты роз и жасмина, строгий ритм стрельчатой аркады.

Памятник, оказывается, живет тихой, но деятельной жизнью. В глубине двора эмалево поблескивают длинный черный «ЗИЛ» и новенькая лазоревая «волга». В покойной тишине приглушенно цокает пишущая машинка. Кое-где под арками у дверей на ковриках — пара-другая остроносых, как гуфли из «Тысячи и одной ночи», калош...

Черный «ЗИЛ», как я узнал, принадлежит верховному муфтию духовного управления мусульман Средней Азии, а лазоревая «волга» — какому-то из его заместителей. Это мне разъяснил приветливый смуглый парень комсомольского возраста, в черном пиджаке и тубетейке на коротко остриженных волосах — личный шофер муфтия. Я узнал также, что, кроме духовного управления, тут помещается мусульманская семинария. Тридцать два молодых человека готовятся здесь стать муллами. Никого из них мне увидеть не удалось (весенние каникулы); у двери одного из классов, или аудиторий (не умею назвать точнее), висит расписание лекций, или уроков (опять, вероятно, не то слово), отпечатанное на пишущей машинке арабской вязью.

Очень странно, на мой взгляд, выглядит этот стандартный канцелярский листок: сказочная гарун-аль-рашидовская вязь как-то не вяжется с понятиями «копирка» или «машинка». Но еще более странно для меня все прочее, чем живет теперь медресе Барак-хана.

Можно, разумеется, улыбнуться, глядя на расписание, отпечатанное под копирку арабской вязью. А можно и задуматься: духовная школа для молодежи в городе, где 7 ноября 1920 года декретом Ленина был основан первый Среднеазиатский университет.

Теперь в Ташкенте, кроме широко известного университета, есть еще пятнадцать высших учебных заведений, тридцать три техникума, полторы сотни средних школ. Здесь издаются четырнадцать газет и несколько журналов, работают семь театров, шесть музеев, две киностудии, телецентр. Город шумных проспектов, зеленых улиц, бульваров и парков, стадионов, современных заводов, библиотек. Город студентов, школьников, инженеров, ученых, строителей. И наряду со всем этим — медресе Барак-хана, где цветут жасмин и розы и в настороженной тишине цокает негромко пишущая машинка, отсукивая арабской вязью расписание занятий.

Не ошибся ли я, заглянув сюда, прежде чем отправиться на другой полюс жизни — на Чиланзар?

Вернемся, однако, к микроклимату. Во дворах медресе действительно прохладнее, чем снаружи, хотя почти все здесь — кирпич и камень. Мне объяснили, что это достигается за счет хорошо продуманной аэрации. На протяжении дня солнцу попеременно подставлены две стороны замкнутого прямоугольника, две образующие угол стены с аркадами; две другие остаются в тени. За счет разницы в обогреве (при открытом портале) образуется постоянный ток воздуха; пусть снаружи полное безветрие — тут всегда веет освежающий ветерок. Внутренние помещения (худжра) затенены глубиной аркады и защищены от жары достаточно толстыми стенами.

Я побывал еще в медресе Кукельдаш, высящемся над рынком и саманной лепниной старого города. Здесь, на холме Чорсу, было и лобное место, где по-восточному щедро рубили головы непокорным. Кукельдаш, как и медресе Барак-хана, построен в XVI веке. Это сооружение строгих пропорций, украшенное изразцами, не выдерживает все же сравнения по силе художественности с древними памятниками Самарканда или Бухары. Здание дошло до наших дней в полуразрушенном состоянии; теперь его восстанавливают, а по сути дела, отстраивают едва ли не заново и даже вводят в общий ансамбль элементы, каких вовсе не было прежде (скажем, двухмаршевую лестницу, ведущую от подножия холма к portalу). Не знаю, насколько закономерны и необходимы такие «новообразования».

Пока я бродил по старому городу, небо сплошь закрылось пухлыми низкими тучами; шлепаются первые крупные капли. Я катастрофически голоден; ближайшее заведение, где можно поесть, — чайхана на старом базаре. Мчусь туда сквозь всерьез расшумевшийся ливень.

В чайхане под навесом — дым и гам. Собственно, тут соединились чайхана с ошхой (столовой или, вернее, харчевней). Вдоль края навеса на длинных открытых желобах с немилосердно чадающим углем сотнями жарятся шашлыки и люля-кебаб. Потный

скуластый парень в тибетейке и распахнутой поварской куртке разливает черпаком шурпу из большого закопченного казана. Щелкает и позванивает касса, галдят желающие подкрепиться. За лепешками придется мчаться на базар — «государственные» кончились.

Ох уж этот «частный сектор»! Съев пиалу наперченной шурпы, шашлык с горячей лепешкой и погасив разгоревшийся пожар двумя пиалами зеленого чая, курю под навесом и гляжу сквозь двойную завесу дыма и ливня на старый базар. Признаться, меня несколько не умиляет его колоритность; глядя на горы редиса, лука, моркови, сладкой репы, ревеня и прочего, я вспоминаю единственный на весь город магазин «Овощи — фрукты» на улице Карла Маркса, где полки забиты консервными банками и заморскими лимонами.

Возвращаюсь в живо позванивающем трамвае. Долгий ливень кончился, на лужах вспухают и лопаются последние пузыри. На передней площадке — парень и девушка, до остатней ниточки вымокшие и хохочущие. У девушки в руках охапка полевых тюльпанов. За ними здесь ездят весной автобусом или поездом до станции Черняевская, а там пешком в предгорья. Это удивительно красивые тюльпаны, вовсе не того холодновато-красного оттенка, что наши, «европейские». Здешние горят оранжевым диким пламенем, и нет, кажется, ничего прекраснее зрелища луга в предгорьях, где они расцветают в апреле многими сотнями тысяч, — огненные острова и архипелаги среди моря весенней зелени и у подножия лиловых гор со снеговыми вершинами.

Парень с девушкой сходят у облісполкома; я схожу вслед за ними, хотя до гостиницы еще далеко. Не знаю, зачем сошел; просто, наверное, хочется поглядеть еще на ребят и вздохнуть разок-другой о том возрасте, когда так весело возвращаться после неожиданного ливня в облепившем тебя насквозь мокрым плаще, с прилипшими ко лбу волосами и охапкой цветов, забыв о насморке и так называемых приличиях.

По мутной воде уличного арыка плывет сбитая ливнем осыпь каштанов и акаций. Полно спешащих людей и нетерпеливо фыркающих машин: на стадионе «Пахтакор» местная команда встречается с москвичами. Мокрый асфальт мостовой дымится. Бронзовый Алишер Навои задумчиво смотрит на все это, пошипывая кончик бородки. Он стоит, в чалме и длинном чапане, на гранитном постаменте среди мокрой травы газона, сам тоже глянцево-мокрый, под сенью стовосьмидесятиметровой телевизионной мачты, за верхушку которой цепляются уплывающие прочь облака.

2

На Чиланзар мы поехали с Надеждой Михайловной Троховой, инженером из Гостроя республики, охотно согласившейся показать мне новый жилой массив.

Попав сюда, прежде всего радуешься размаху строительства, обилию башенных кранов, рычанию бульдозеров, то и дело проезжающим трейлерам и поставленным на ребро железобетонным блокам — словом, всей картине индустриального освоения нового куска земли.

А. К. Буров (я скажу о нем дальше) охарактеризовал архитектуру как среду, в которой человечество существует: как среду, которая противостоит природе и связывает человека с природой; как среду, которую человечество создает, чтобы жить, и оставляет потомкам в наследство.

Вот простое и очень емкое определение, с которым трудно не согласиться. А согласившись однажды, неизбежно задумываешься. отвечает ли то, что видишь перед собой, потребностям современного человека и годится ли в наследство потомкам?

Надежда Михайловна хочет прежде всего познакомить меня с теми, кто проектирует Чиланзар. Третья мастерская «Ташгипрогора» находится здесь же; мы направляемся к ней кратчайшим путем — напрямик по внутриквартальным проездам.

Выражение это, впрочем, не вполне точное. Чиланзар начали строить четыре года назад, и тут отчетливо видны изменения в градостроительной практике, происшедшие за этот короткий срок. Начинали с «периметральной» застройки, пробовали «гребенча-

тую», а теперь перешли на «свободную», так что кварталов в привычном понимании здесь по существу нет.

Пока еще трудно уловить взглядом какой-либо определенный планировочный замысел; четырехэтажные дома-близнецы тянутся шеренгами: сперва немного оштукатуренных 284-й серии, с которой начинали застройку, затем нештукатуренные кирпичные 310-й серии и, наконец, полносборные крупнопанельные — продукция недавно пущенного домостроительного комбината.

Территория между заселенными домами еще не благоустроена. Заасфальтированы только узкие пешеходные дорожки, да кое-где посажены деревца; все остальное голо, кочковато, глинисто, с выбоинами, мусором и глубоко наезженными автомобильными колеями.

Здесьшний лёссовый грунт подолгу не отдает влагу; после вчерашнего ливня по незамошенному ходить не бог весть как удобно. Черные замшевые туфли Надежды Михайловны быстро теряют первоначальный вид, но она, кажется, несколько не смущена этим. Надежда Михайловна принадлежит к патриотам своего дела. Она работала на многих стройках республики и уговаривает меня съездить на Кайраккумскую ГЭС и в другие знакомые ей места. Она хотела бы, чтобы мои впечатления были разнообразны и благоприятны, но в то же время не уклоняется от разговора о недостатках.

Третью мастерскую «Ташгипрогора» мы находим в самой гуще стройки, в одноэтажном кирпичном здании, из всех окон которого видны недавно оконченные и строящиеся дома. В светлых комнатах тесно от чертежных столов — «кульманов». Кругом молодые лица. Над одним из столов прикреплена к стене страница из «Советского экрана» — портрет Алексея Баталова (здесь работает светловолосая девушка с пышной прической). Над другими — «синьки», планы, размашистые наброски жирным черным карандашом.

Руководит мастерской Лев Тигранович Адамов, человек тоже молодой и, несмотря на свое хищное нмя-отчество, очень приветливый. Живо поблескивая черными выпуклыми глазами, он рассказывает о перспективах строительства. Из его рассказа возникает картина разумно устроенной жизни будущего Чиланзара. Двести тысяч человек будут жить на этой территории, поделенной на микрорайоны; здесь продумано и предусмотрено все: «сети обслуживания» (быткомбинат, кафе-столовая, клуб, две школы, пять детских и яслей на каждый микрорайон), и устройство дворов («тихая часть» для стариков и «шумная» для малышей), и общественно-торговые центры с магазинами, кинотеатрами, спортивными сооружениями (таких центров будет в массиве девять), и еще многое другое.

Лев Тигранович показывает макет одного из строящихся микрорайонов: снежно-белые здания, зелень, водные зеркала хаузов и бассейнов для детворы; хорошо продуманный график движения (ни одного автомобильного проезда внутри микрорайона). Чистота...

Наглядевшись вдоволь на все это (в каждом из нас с детства сидит страсть к игрушечному уменьшению), пытаюсь установить связь между настоящим и будущим, между макетом и тем, что видно из окон проектной мастерской, между тем, как станут жить здесь будущие двести тысяч и как живут сегодняшние двадцать пять (таково население Чиланзара).

Задаю Адамову кучу вопросов; он отвечает толково и подробно, однако живой блеск его глаз временами гаснет; я давно уже заметил, что многие архитекторы и строители произносят слово «будет» гораздо охотнее, чем слово «есть».

Возможны разные точки зрения. Из окна летящего самолета все внизу выглядит игрушечно-чистым. Вероятно, именно поэтому с таким удовольствием любуешься квадратами полей, цепочками домов городка, прямыми линиями шоссе и дорог и даже петляющей нитью какого-нибудь проселка, не задумываясь о том, каково приходится там человеку, подпрыгивающему на колдобинах в кузове крошечного сверху грузовика. Есть детская радость — смотреть в обратную, уменьшающую сторону бинокля. Но изобретен бинокль для того, чтобы увеличивать, приближать.

Мне порой кажется, что проектировщики новых жилых массивов иной раз смотрят

на свои детища как бы с высокого полета, пользуясь преимуществами такой точки зрения и не принимая в расчет ее недостатков.

Глядя на архитектурный макет, нетрудно объять взглядом общий замысел (если он есть), понять композицию, уловить ритмическое чередование объемов, услышать «мелодию» архитектуры. Но перенеситесь в реальный, выстроенный по такому макету район, и вы того и гляди окажетесь перед лицом удручающей монотонности — лишь потому, что архитектор не принял во внимание вашу точку зрения. Не учел того, что я рискнул бы определить как «модуль охвата взглядом».

Стоит ли доказывать силу эмоционального воздействия архитектуры? Любой человек, рассказывая о городе, запросо пользуется эпитетами «красивый», «казенный», «мрачный», «веселый» и т. п. Я говорю об этом не для того, чтобы повторять общеизвестные истины, а лишь потому, что важнейшее свойство архитектуры нередко игнорируется на деле проектировщиками и строителями.

Мне кажется, что известные указания партии о борьбе с излишествами в строительстве были восприняты некоторыми архитекторами (и не только архитекторами) нетворчески, односторонне, формально. Под флагом необходимейшей войны с «фасадничеством», нелепым украшательством у архитектуры стали отнимать неотъемлемое — художественность.

Возникло странное положение, при котором самое понятие художественности было как бы «взято на подозрение» и зачислено в излишества. Академию архитектуры переименовали в Академию строительства и архитектуры, видимо для того, чтобы подчеркнуть ведущую роль строительства (то есть техники). С такой постановкой вопроса трудно спорить. Но в то же время следовало бы задаться вопросом: а могут ли существовать архитектура и строительство раздельно или же в разных вариантах соподчиненности? Возможно ли, скажем, строительство без архитектуры или архитектура без строительства?

Впрочем, я, кажется, отвлекаюсь в сторону теоретических рассуждений. А мне хотелось прежде всего описать увиденное на Чилаанзаре.

Надежда Михайловна говорит, что не худо бы поселить в доме 310-й серии на Чилаанзаре авторов этого типового проекта и тех, кто утверждал его, — пусть бы пожил. Я добавил бы: и тех, кто строил.

Дом 310-й серии — кирпичный, штукатуренный, из так называемых малометражных. Высота комнат — 2,48 метра. Нежилая площадь сведена до минимума: крохотная передняя-тамбур, санузел с сидячей ванной, кухонька.

Для заселения этих домов, рассказывают, иной раз приходится пользоваться подъемными кранами, чтобы подать мебель в окна (на площадках лестничной клетки и в тамбурах-передних не развернешься). Но это еще полбеды, так или этак всееляются. И тут же возникают десятки неразрешимых проблем. Где просушить белье после стирки? Куда поставить трехколесный велосипед сынишки, койку-раскладушку? Куда девать зимнее пальто, пуд картошки, дорожный чемодан? И т. д. и т. п.

В макете микрорайона и рассказах Льва Тиграновича Адамова все выглядит отлично: «блоки обслуживания», быткомбинаты, кафе-столовые, общественные гаражи и прочее. Но это — будет. Но пока что есть другое. теснота в квартирах, сохнувшее на веревках перед домами белье и заколоченные фанерой, забитые разномастным барахлом террасы.

Эти террасы — единственная дань местным климатическим условиям. В домах 310-й серии они пристраиваются к фасаду в виде не связанной конструктивно с домом четырехэтажной «этажерки» на железобетонных столбах. По идее они должны уменьшать нагрев квартир солнцем и служить местом отдыха в жаркое время года. На деле же террасы эти несколько не разрешают важнейшей проблемы приспособления типового дома к особенностям местного климата.

Рассказывают, что при утверждении малоэтажных типовых домов для данной климатической зоны было решено строить «в полтора кирпича» — исходя из того, что зима в этих краях мягкая. Притом, очевидно, позабыли о лете. Следовало бы поселить

в доме 310-й серии на Чиланзаре этих забывчивых людей хотя бы на легние месяцы, когда тридцать пять — сорок в тени не такая уж редкость.

Кирпичные дома, о которых идет речь, теперь запрещено штукатурить. Стены надо класть «под расшивку». Но такая кладка гребует прежде всего качества (однородность кирпича, высокая марка раствора, тщательность выполнения). Местные глины большей частью «загипсованы», в них содержится много агрессивных солей. Перед тем как делать кирпич, глину соответственно обрабатывают, «отмучивают», но, как видно, недостаточно старательно.

Медресе, построенные из местного кирпича, стоят пятую сотню лет. В домах на Чиланзаре, построенных полтора года назад, от «расшивки» не осталось следа; между неровными по форме и цвету выветренными кирпичами зияют щели.

Не лучше обстоит дело с цоколями. По проекту их следует штукатурить цементным раствором. На деле штукатурят известковым, а поверх набрызгивают тонкий слой цемента. В самый короткий срок такой цоколь облупливается и кажется покрытым коростой.

Войдя внутрь, тоже не обрадуешься. Ступени лестничных клеток выщерблены, двери покороблены, штукатурка бугриста, полы и плиточная облицовка санузлов выполнены, как выразился один архитектор, «со всей возможной небрежностью».

Больно говорить об этом, но и молчать нельзя. Понимаешь, как ждут получения квартир будущие новоселы, и видишь, как много делается, чтобы побыстрее удовлетворить нуждающихся в жилье. Куда ни поедешь, как ни глянешь, повсюду строят, строят, строят. Огромное неоценимое народное усилие, нелегкий народный труд...

Проблема жилья, как видно, на долгие годы еще останется наиболее трудноразрешимой для всего человечества, если оно будет жить в мире, которого мы хотим и на который надеемся. Я знакомился с выкладками экономистов, подсчитавших ресурсы, необходимые для существования растущего населения земного шара в условиях всеобщего мира на много лет вперед, — выходит, что и прокормиться можно будет и одеться, обуься, а вот с жильем труднее всего окажется.

Это очень серьезный факт всеобщего значения. В нашей стране, где принята программа обеспечения жильем всех нуждающихся в самый короткий срок (двадцать лет), профессия строителя от года к году становится одной из важнейших профессий, а вопросы качества и долговечности стросний требуют самого пристального внимания, не меньшего, чем вопросы прямой стоимости или быстро ги сооружения.

Меня, признаюсь, не очень смущает, скажем, то, что сшитые на фабриках наших костюмы и платья не так элегантны, как парижские, или что наши автомобили не так еще марспански эффектны, как новейшие модели зарубежных фирм. Но меня просто-таки приводит в отчаяние плохо построенный дом. Костюмы и платья сносятся, через год-другой появятся более совершенная модель автомобиля. А плохой дом будет стоять десятки лет, в нем придется жить нашим детям, внукам, а может быть, и правнукам.

Из окна мастерской Адамова видно, как собирают крупнопанельный сорокавосьмиквартирный дом. Вчера еще над землей виднелся только фундамент, сегодня вчерне собран первый этаж.

Строит дом бригада из восьми рабочих-универсалов и одного крановщика. Процесс довольно прост. Двенадцатитонный «МАЗ» с трайлером на полуприцепе подвозит блоки, крановщик подает их на место, рабочие монтируют с помощью монтажных приспособлений. Затем идет сварка анкеров, цементирование стыков, делающее конструкцию монолитной, и, наконец, отделочные работы.

Блоки поступают с домостроительного комбината совершенно готовыми к сборке — с оконными рамами, с заделанными в стены водопроводными трубами и электросетью; отопление в этих домах «лучистое»: в панели перекрытий заложены змеевики, которые будут отдавать тепло через полы и потолки квартир.

Сооружение сорокавосьмиквартирного дома должно длиться по графику сорок восемь дней. Первая очередь комбината, пущенная недавно, рассчитана на производство ста тысяч квадратных метров жилья в год.

Я видел первые два таких дома на улице Шота Руставели в Ташкенте, собранные в качестве образца. Побывал и в недавно заселенных на Чиланзаре. Разница между «образцовыми» и серийными вполне наглядна. Стыки между блоками заделаны неаккуратно. Кое-где в квартирах заметны трещины, особенно в угловых стыках. Потолки, состоящие из двух-трех панелей, волнисты.

Как видно, понятие индустриализации строительства не может дольше оставаться только количественным — столько-то квадратных метров в минуту. Я пошел к строящемуся дому, там разгружали трайлер. Я увидел блоки с отбитыми углами, блоки с трещинами, бугристые, ноздреватые, а ведь поверхность блока должна быть идеально гладкой (эти дома не штукатурятся ни внутри, ни снаружи, предусмотрена только разделка стыков и поверхностная затирка). По проекту допуски в стыках не должны превышать половины сантиметра, на деле бывает и в пять раз больше — и это в сейсмическом районе, где семибалльный толчок не в диковинку!

Вообще не ясно еще, как будут вести себя полносборные дома такого типа и качества на здешних просадочных грунтах. Не ясно также, каково будет в них житье летом. Было много теоретических рассуждений, споров, противоположных мнений — и ни одного хорошо поставленного эксперимента в натуре. А между тем домостроительный комбинат расширяется, в Жданове заказана дополнительная оснастка, и вскоре производительность будет доведена до трехсот тысяч квадратных метров в год.

Таковы два типа домов, строящихся теперь на Чиланзаре, если их рассматривать по отдельности. Взятые вместе, они производят впечатление утомительного однообразия. Рассказывают, что трех-четырёхлетние дети, нагулявшись и набегавшись, не могут, бывает, найти свой дом. Это, впрочем, не так-то легко и взрослому. В западной части массива я видел огромные цифры, нарисованные на глухих торцах, как на ящиках: «157», «158», «159»...

Однообразие — серьезнейшая проблема современного городского строительства. Нельзя закрывать глаза на то, что индустриализация неизбежно связана с типизацией, с определенным набором стандартных деталей, или, как говорят строители, типоразмеров. Каждый трезво рассуждающий человек понимает, что типизация необходима для перевода строительства и на промышленные рельсы — без этого нужду в жилищах не удовлетворишь. При всем том нельзя также и забывать, что возможна, грубо говоря, типизация красоты и типизация уродства. Проблема техническая здесь особенно тесно увязывается с проблемой эстетической — вот, к слову, один из наиболее ясных примеров нарастающего взаимопроникновения искусства и техники.

Этому-то взаимопроникновению и должны способствовать архитекторы, овладевая новыми материалами и новой техникой, чтобы извлечь и утвердить новую эстетическую сущность. Способствовать, а не капитулировать перед лицом новых и трудных задач.

Впрочем, сами по себе проблемы строительства крупных массивов не так уж и новы. Еще в начале тридцатых годов к нам в Советский Союз был приглашен видный гамбургский архитектор Эрнст Май, построивший такие массивы на Урале и в Донбассе. Эрнст Май считал, что дома в таком массиве должны быть повернуты фронтом квартир не на шумную улицу, а в зеленый двор: что все квартиры должны получать равные порции солнца (глухие торцы — на север, юг; окна — на запад, восток); что автомагистрали должны быть вынесены за пределы массива.

Все это по отдельности было как будто бы верно; неверен был лишь общий взгляд Мая на город будущего — на все то, что он сам называл «жилищным социализмом». Угрюмые шеренги домов-солдат, выстроенные этим архитектором, отражали пресловутые взгляды на социализм как на царство безликости, где люди становятся номерами, получающими свою униформу, свое место в доме-казарме, свою регламентированную порцию «жизненных благ».

«Строчная» застройка Мая с ее механическими бездушными ритмами теперь отвергнута. Все определеннее берет верх принцип свободной застройки, учитывающий не только равенство санитарно-гигиенических условий, но и естественную тягу человека к разнообразию, живости, ко всему тому, что принято называть красотой городского пейзажа.

Однако слово «свободная» вовсе не означает свободу от законов композиции, ритма. Напротив. Нет ничего примитивнее симметричных решений во всех видах искусства. Свободная застройка гребует от архитектора-планировщика большего. Она, если хотите, должна быть как симфония, где партии всех инструментов объединены единым гармоническим замыслом (в конечном счете глубинные основы искусства едины, и не я первый говорю о музыкальности архитектуры или об архитектонике музыки).

Но как все-таки сочинять симфонии, располагая одной-двумя нотами? Как избежать однообразия, ритмической скудности, распоряжаясь одним-двумя типами домов, схожих как близнецы?

Есть несколько доступных истин, с которыми, вероятно, согласится каждый здравомыслящий строитель.

Первое. Для индустриализации домостроения необходимо типизировать ячейку дома, конструкцию, деталь. При этом набор типоразмеров на данном предприятии должен быть настолько гибким, чтобы можно было собирать из него три-четыре варианта зданий (изобретатели детских игрушек «конструкторов» давно уже взяли эту истину на вооружение). Нельзя проектировать мощные комбинаты, жестко рассчитанные на выпуск многих сотен близнецов (да притом еще не бог весть каких красавцев).

Второе. Простые формы современной архитектуры требуют особого внимания к обработке поверхности. Здесь все большее значение приобретает фактура (ее однородность или контрасты), а также качество обработки (стойкость, чистота).

Третье. Цвет играет (а вернее, должен играть) в современной архитектуре гораздо большую роль, чем он играл прежде. Цвет как средство эмоциональное, ритмическое и как действенный элемент разнообразия.

Четвертое — светотень. Никто не убедит меня, что построить гладкую унылую коробку дешевле и проще, нежели сконструировать в пределах тех же ресурсов современный дом, где поверхность стены была бы разумно расчленена (не «украшена», а именно расчленена).

Пятое — «модуль охвата взглядом». Свободная застройка не должна выглядеть ни произвольно разбросанной, ни монотонной. Она должна быть скульптурна, то есть восприниматься с любой точки (в пределах естественного угла зрения человека) как нечто цельное, художественное. Продуманное чередование жилых и общественных зданий имеет здесь существенное значение.

И, наконец, шестое — природа. Нельзя превращать территорию застройки в зону пустыни, с тем чтобы потом насаждать шеренгами чахлые деревца. (Так сделано, к слову, на Чиланзаре, где свели прекрасную ореховую рощу. В Дарнице под Киевом начисто вырубил сосновый лес.) Не лучше ли использовать естественный рельеф и разнообразие живых форм в контрасте с простыми линиями архитектуры?

Стоит прикрыть глаза — и будто наяву видишь такой город с яркими пятнами зданий между зеленью, со школами на холмах, с белеющими на лужайках скульптурами, с купами деревьев (не обязательно парк, бульвар, можно и просто так: сошлось пять-шесть деревьев, под ними скамья). Город, где из окон одного дома не видно, что делается в квартирах другого. Город, где возможны и общение и уединение. Город удобный, чистый, здоровый...

Хотелось бы подчеркнуть, что все это вполне совместимо с разумной типизацией жилого строительства, все дело лишь в подходе к типовому проекту, к планировке, дело в том самом «взаимопроникновении» искусства и техники, о котором я уже говорил.

Если будете в Киеве, обязательно посмотрите группу домов, построенных совсем недавно на Брест-Литовском шоссе вблизи Воздухофлотского. Там применены в чередовании два варианта. Достаточно простые здания облицованы гладкой желтоватой плиткой. По верху выложен керамический цветной фриз (орнаментальная полоса шириной метра в полтора-два). В хорошо прорисованные решетки балконов вделаны цветные прямоугольные панели. Соответственно цвету панелей окрашены окопные рамы (в одних домах ярко-синие, в других — зеленые). И вот несложных этих приемов (в сочетании с умеренно расчлененной плоскостью стен) оказалось достаточно, чтобы

придать домам жизнерадостный, приветливый, не стандартный вид. К ним прикоснулась рука не равнодушного человека. Рука художника.

Не знаю, насколько дороже обошлись эти дома в сравнении, скажем, с унылыми коробками чоколовского массива (думаю, ненамного). Но как бы там ни было, разница в стоимости окупится сторицею. И не потому лишь, что дома на Брест-Литовском шоссе выполнены более добросовестно, тщательно, прочно. Кроме доступной арифметическому подсчету экономии, существует еще то, что однажды было названо «большой экономией строительства».

«Архитектура дома и города должна преодолеть частные противоречия экономии во имя главной — экономии здоровья, моральных и физических сил народа. Поэтому город обязательно должен быть также и красивым». Эти слова принадлежат Андрею Константиновичу Бурову, чью книгу «Об архитектуре» горячо советую прочесть даже и тем, кто не испытывает особого интереса к делам строительным. Содержание этой книги выходит далеко за пределы специальные. И это не оттого лишь, что ее автор был на редкость разносторонним, живо и ярко мыслящим человеком, а еще потому, что, выражаясь его словами, «в архитектуре, как в большой реке, сливаются все реки, ручьи и ручейки культуры».

Мне жаль, что я не знал Бурова лично. С фотографии на фронтисписе глядят зоркие, испытующие глаза (лицо путешественника, мастера, изобретателя, книголюба). А со страниц книги встает образ прямого в суждениях, умного и беспокойного человека, из таких, которым «до всего дело». Не из высоколбых всезнаек, любящих образованность свою показать, а из тех, кому всякое знание необходимо как оружие и как инструмент, чтобы перестроить, улучшить мир.

Может показаться странным, что архитектор Буров в последние годы жизни вдруг занялся проблемой лечения рака. (Чтобы проверить свою идею, он в пятьдесят с лишним лет стал основательно изучать медицину и физику — ультразвук. Он создал специальную лабораторию, сплотил коллектив сотрудников и — кто знает! — быть может, добился бы важных результатов, если б не умер скоропостижно в 1957 году.)

Мне это не кажется странным: Буров был прежде всего человеком в самом широком смысле, а затем уже архитектором, ученым, писателем. В этом, собственно, пафос его жизни и его единственной книги.

Может показаться странным и то, что книга писалась в 1943—1944 годах, когда будто и не до рассуждений было о пропорциях Парфенона или перистилиях помпейских домов. Но действительно странно другое. Странно и грустно то, что книга увидела свет лишь в 1960 году, когда не было уже в живых ее автора.

Многие проекты Бурова остались неосуществленными. Но и осуществленных достало бы на десятерых. Он строил жилые дома, электростанции, заводы, клубы, выставочные павильоны, занимался корабельной архитектурой, театральными и кино-декорациями, интерьерами музейных залов. Он работал над проблемами сборного домостроения и первым в стране применил на своих стройках крупные блоки. Еще перед войной он предложил новый строительный материал — свам. Это была принципиально важная идея, основанная на управляемом изменении молекулярной структуры; из стеклянных волокон прессовались панели, балки, трубы — легкие, водостойкие; превышающие прочностью сталь и дюралюминий.

Здание, построенное из стекловолокнистого анизотропного материала, весит в двадцать с лишним раз меньше, чем здание из кирпича или бетонных блоков. Это было сделано, проверено, испытано Буровым в созданной им лаборатории. Были разработаны типовые проекты домов из свам. Можно лишь пожалеть о том, что экономичный материал, сырье для которого буквально лежит под ногами, остается пока еще материалом будущего.

В своей архитектурной практике Буров порой ошибался, но в отличие от многих других не забирался со своими ошибками на пьедестал. Свой широко известный дом на улице Горького в Москве (№ 25), отмеченный премией, он сам открыто оценил как ошибочную дань академизму, причем выступил с этой оценкой тогда, когда академизм был и в почете и в силе.

Нет смысла (да и возможности) пересказывать книгу Бурова. Ее страницы пульсируют яркими вспышками мыслей, образов, неожиданных сравнений. Но есть в этой книге главная стержневая мысль, звучащая и тогда, когда Буров говорит о прошлом, и когда он размышляет о будущем,— мысль о сверхзадаче художника, состоящая в том, чтобы строить мир. Не отображать или изображать, а именно строить. Преображать.

3

Я решил использовать вечер для посещения Театра имени Навои — хотелось посмотреть здание изнутри. Администратор предоставил мне эту возможность, и я провел весь первый акт балета «Маскарад» в пустых фойе, рассматривая дивную резьбу по ганчу, которой здесь покрыты не только стены, но и потолки.

Шесть небольших фойе, расположенных в трех этажах по обе стороны зала, представляют декоративное искусство шести областей Узбекистана. Неискушенному глазу трудно с первого раза уловить различия между, скажем, ташкентской и самаркандской резьбой. Воспринимаешь скорее общее — великолепное чувство ритма, певучесть линий, деликатную игру светотени.

Ганч — это местный материал, естественная смесь гипса с лёссом; его тонко мелят, варят с растительным клеем и разливают плоскими плитами — листами. По отвердевшему листу работают резцом.

Резьба по ганчу — древнее искусство. Я видел в музеях Ташкента и Самарканда резные ганчевые панели X века из афрасиабского дворца династии Саманидов. Видел на диво изящные решетки «панджара», вставлявшиеся в отдушины над дверьми богатых домов. Видел шкафы «касамон» с резными окошками для посуды.

В своем древнем, классическом применении ганчевая резьба была либо функциональна («панджара», «касамон»), либо служила декоративным украшением — в сочетании с гладкими поверхностями. В фойе Театра имени Навои она применена в такой примерно насыщенности, как во дворце эмира бухарского, — с неумеренностью так называемой восточной роскоши. Той роскоши, глядя на которую невозможно отделаться от мыслей об опалах, кальянах, гаремах и подневольных мастерах, обреченных гнуть спину для украшения жизни владыки.

Самым простым ответом на эти мысли было бы то, что ныне-де все это украшает жизнь трудящегося народа. Но украшение украшению рознь. Совершив революцию, не грех отоспаться на императорской постели, положив в изголовье шинельную скатку. Вряд ли разумно строить затем дома отдыха для рабочих в стиле ампира или рококо.

Театр имени Навои построен Щусевым по восточным мотивам. Здесь даже спинки массивных кресел имеют характерную стрельчатую форму, а обрамление лож напоминает шатры над тронном султана из восточной сказки. При всем этом здание и внутри и снаружи производит впечатление тяжелой стилизации.

Можно и не говорить о комических эффектах, когда в сплошь покрытом кружевной резьбой фойе видишь прозаические батареи парового отопления под окнами (уж эти батареи не грех было и прикрыть ганчевыми решетками хотя бы для цельности впечатления). Комично выглядят и казенные шкафчики с пожарными брандспойтами, преспокойно влезающие в тонкий ритм снежно-белой резьбы.

Впрочем, этот частный комизм лишь подчеркивает ошибочность замысла, так же как потолок одного из фойе (кажется, ферганского), где с помощью кирпича, бетона и штукатурки буквально воспроизведен айван — деревянный навес медресе, каравансарая или байского дома, — строившийся в свое время из резных балок с настилом из тонких жердей.

Андрей Константинович Буров приводит в своей книге великолепный афоризм Вяземского: «Лучшее, в чем нужно подражать древним, — это не подражать им». Сам Буров очень убедительно говорит об архитектуре «изобразительной» и созидательной. Он пишет: «С того момента, как сооружение начинает изображать не тот материал, из которого оно сделано, и не ту конструкцию, благодаря которой оно существует в пространстве, с этого момента оно перестает быть архитектурой...»

Нет, я не нахожу Театр имени Навои удачей Щусева и не могу согласиться с тем, что здание, как сказано в путеводителе, «сочетает достижения современного зодчества и архитектурно-художественные традиции узбекского народа». Это слишком серьезная формулировка, над которой задумываешься не только по данному поводу. не только в щедро украшенных ганчевой резьбой фойе или блистающем позолотой зрительном зале с огромной люстрой, поражающей прежде всего своими размерами — так что под ней даже страшновато сидеть (кто-то не без гордости сообщил мне, что она похожа на шитую золотом тубетейку).

Я видел в Ташкенте еще немало новых зданий, где уделено большое внимание стилизации. Видел дома со сталактитовыми фризами «шарафа», будто срисованными с мавзолеев пятнадцатого века. Дома со стрельчатыми, как порталы медресе, окнами и дверьми. Дома с пустопорожними башенками, смахивающими на минареты. Видел здание Театра имени Хамзы, построенное точь-в-точь «под мечеть». Видел здание министерства сельского хозяйства со стрельчатой аркадой глубокого портика, так затеняющего окна, что в самый солнечный день приходится в кабинетах зажигать настольные лампы.

На развилке дорог между Старым и Новым Ангреном возвышается четырехэтажное сооружение тоже со стрельчатыми окнами и прочими «ориентальными» цацками. Издали мне померещилось — дворец. Подъехав ближе, я прочел надпись: «Хлебо-завод».

Хотя все эти здания построены недавно — к счастью, они дело прошлое, пережитое. Их можно рассматривать попросту как образцы накладных ошибок минувшего периода. Для меня, однако, остается открытым один очень важный вопрос: а что же, собственно, такое национальная традиция в архитектуре?

Если говорить об Узбекистане, то есть дистанция крупнейшего размера между архитектурой старого кишлака с его саманными кибитками и, скажем, ансамблем Шах-и-Зинда, мавзолеем Исмаила Саманида или мечетью Биби-ханым. Верно ли будет полагать, что именно (и только) в мечетях, медресе, дворцах и мавзолеех (поскольку там наиболее полно выразился художественный гений народа) следует искать корни национальной традиции?

Те архитекторы и строители Ташкента, которые затратили немало энергии и народных средств, чтобы подгримировать свои здания под сооружения давно минувших веков, оказались бы на гораздо более верном пути, если бы вместо этого постарались решить современными средствами вопрос о микроклимате в масштабе типового дома и жилого массива, как он решен в любом кишлаке (а к слову, и в любой мечети или медресе). Потому что именно это и есть национальная традиция, вытекающая из действительных потребностей, из естественных условий жизни народа.

К слову, традиции и вообще-то не являются чем-то извечным, богоданным, что ли. Они рождаются, существуют, меняются, а если приходит час уйти, то что ж — на смену рождаются новые.

Буров говорил: «Нелепо думать, что навешивать русские детали XVII века на стену современного жилого дома, это — «по-русски». Ведь наши предки в XVII веке строили не так, как в XVI веке, и при этом оставались русскими, а мы в XX веке не должны делать, как в XVII веке. Это до того ясно, что и писать об этом как-то неловко».

Есть разница между временами, когда узбекский дехканин пахал омачом, и временем тракторов и гидроэлектростанций. Узбечка, снявшая паранджу, не перестанет быть узбечкой — только яснее становится ее взгляд и увереннее походка. Искусство, сбрасывая одежды прошлых веков, не перестает быть национальным, если оно живет сегодняшней жизнью своего народа.

И еще — о национальном колорите. Я радостно удивился, прочитав у Буроза о греческой детской игрушке одиннадцатого века до нашей эры, похожей на вятскую игрушку. В Ташкентском музее я снова обрадовался, увидев коллекцию глиняных свистулек из-под Бухары, разительно схожих с дымковскими и по форме и по яркой бело-малиново-золотой раскраске.

«Бюро обслуживания (33-583) является сокровищницей информации. Они ответят на все Ваши вопросы и дадут Вам любую необходимую справку».

Так многообещающе, хоть и не слишком грамотно, заканчивается текст отпечатанного на русском и английском языках листка, лежащего на письменном столе в гостиничном номере.

Я набрал 33-583, чтобы узнать о ближайшем рейсе на Самарканд. «Сокровищница информации» ответила мужским голосом, что справок о самолетах не дает. Позвоните в Аэрофлот.

Билетов на ближайший рейс в городском агентстве не оказалось. У меня оставались сутки свободного времени; я решил сходить на весеннюю выставку живописи в Дом офицера.

В просторных вестибюлях гостиницы «Ташкент», в ресторане и холлах этажей висит более двух десятков картин в золоченых рамах. На них, кажется, никто не обращает внимания, как не обращают внимания на выключатель, ковровую дорожку под ногами, кресло. Впрочем, выключателем, креслом, дорожкой пользуются. Картины висят просто так. Потому что нехорошо, когда стены голые. Без картин неуютно, как и без портьер с бомбошками. Картины полагаются.

На Соколовско-Сарбайском горнообогатительном комбинате я обедал в рабочей столовой; там на стенах длинного каркасно-шитового барака тоже висели картины, преимущественно натюрморты. На одних были изображены цветы в роскошной серебряной вазе, персики, виноград, на других — битые куропатки, зайцы, фазаны, а также ананасы и разрезанный спелый арбуз. За покрытыми облупленной клеенкой столами бульдозеристы, шоферы и экскаваторщики с аппетитом ели щи из сушеной капусты, биточки с вермишелью, запивали жидким компотом из сухофруктов — все три блюда с помощью алюминиевых столовых ложек. Ни вилок, ни чайных ложек в столовой не имелось.

Было время, когда я твердо верил, что станковой живописи приходит конец, и более того — желал, чтобы конец этот пришел возможно скорее. Я построил железной последовательности теорию, из которой выходило, что станковая картина есть порождение буржуазного строя. Доказывая, я зывал к историческому материализму, к мозаикам Равенны, Софийскому собору, к эпохе Возрождения — получалось, что станковая картина стала входить в силу с упадком искусства монументального, обращаящегося ко всем и принадлежащего каждому. Я напоминал о первых заказчиках «картин для себя», обо всех этих Сфорца и Медичи, бывших к тому же и первыми банкирами. Я указывал на искусство первой буржуазной республики, на голландскую живопись, на неуклонное уменьшение размеров картин, происшедшее там вследствие бюргерского желания навешать в своем доме побольше.

Я утверждал, что музей живописи есть, в сущности, не что иное, как тот же бюргерский дом, где картинам так же тесно и душно и где смотреть их, по совести говоря, невозможно. Много великих имен, как на кладбище; уходишь с головной болью...

Да, музей — это кладбище картин, восклицал я, дорогие могилки! Можно взгрустнуть, даже поплакать, подумать о прошлом, улыбнуться воспоминаниям. А сегодняшнее, живое искусство должно выйти прочь из этих тесно увешанных стен на площади, в рабочие клубы, во дворцы культуры, на стадионы, в дома отдыха... Пусть возродятся в новом качестве фреска, мозаика и т. д. и т. п.

Сколько ни заключено было в тех давних моих рассуждениях наивного ригоризма, они были, кажется, не совсем бесплодны. В них по крайней мере жила вера в то, что вместе с новым содержанием жизни должно родиться и новое, иное искусство.

На первой выставке передвижников (1871 год) было показано сорок шесть произведений (включая несколько рисунков и одну скульптуру). Из этого количества около десяти картин вот уже почти столетие украшает наши музеи (среди них «Грачи прилетели» Саврасова, «Петр Первый и царевич Алексей» Н. Н. Ге, «Охотники на привале» и «Рыболов» Перова).

На Всесоюзной художественной выставке прошлого года висело более двух тысяч полотен, о чем с гордостью сообщали газеты. Куда девались эти полотна теперь?

Не знаю, чем руководствовался директор гостиницы «Ташкент», приобретая вме-

сте с портъерами, креслами и плевательницами мыльные безыменные ландшафты в золоченых рамах. Натюрморты конвейерного производства с персиками, фазанами и ананасами в рабочей столовой были закуплены, я думаю, на средства дирекции горнообогатительного комбината. Разумнее было бы, вероятно, позаботиться о вилках, чайных ложках и более разнообразном меню.

На выставке в Доме офицера было пусто. Признаться, я был приятнейшим образом поражен, увидев среди примелькавшихся, будто сотни раз виденных серых этюдов, изображавших то чайханщика в тибетейке, то какое-нибудь малопримечательное деревце, ручеек, старушку или степь с непременными высоковольтными мачтами, три неожиданно ярких и поэтичных холста, принадлежавших кисти неизвестной мне художницы Н. В. Кашиной. Это были довольно большие холсты, написанные матовой техникой, близкой по виду к технике стенной росписи. В соседстве с другими они выглядели как живые цветы рядом с пропылившимися бумажными.

Один из трех этих холстов назывался «Поэт и муза». Молодой человек в алой рубахе и черной широкополой шляпе держал в одной руке глиняный кувшин, поднимая в другой бокал вина. Второй бокал был в руке у девушки, у юной музы в светло-сиреневом платье и белой развевающейся накидке.

Я признаю всю тщетность попыток описать словами произведение живописи («Если достаточно слов, то зачем тогда краски?» — говорил Ван-Гог). А очень хотелось бы передать радостно звенящее чувство, исходившее от этой картины, выглядевшей куда современнее иных, несмотря на всю будто бы несовременность темы и аксессуаров (так, пожалуй, «Вакхическая песня» Пушкина звучит рядом с зарифмованной газетной реляцией).

Другая картина Кашиной называлась «Клубный день». Там была изображена группа узбеков в ярких платьях у покрытого кумачовой скатертью стола с чайником и двумя синими пиалами. Розовые, прохладно-зеленые, алые и лиловые краски этой картины были сродни цветникам здешних парков, краскам предгорий и весенних лугов. Вся сцена была не то чтобы освещена, но сама светилась утренним солнечным светом.

Тем же солнцем, но уже горячо пламенеющим, была пронизана третья картина, «Золотые плоды», — наивно-сказочная сцена сада, где старики и молодые стоят в кругу под деревьями, с которых сыплется дождь оранжевого урожая.

Я не хотел бы вдаваться в специальные рассуждения насчет того, как написаны эти картины; можно было бы сказать и о музыкальности линий, и о декоративности цвета, о строгой монументальности композиции, и о том, что при всей реальности тут нет и в помине фотографических подробностей, и т. д. Скажу лишь одно: на эти картины хотелось смотреть. Я уселся на стоявшую посредине зала скамью и дал понаслаждаться глазам, думая о том, как могла бы развернуться художница на просторе стены какого-нибудь современного здания.

— Нравится? — услышал я за своей спиной.

Обернувшись, я увидел немолодого майора с зачесанными набок редееющими волосами. Майор приветливо и чуть вопросительно улыбался.

— А вам? — ответил я вопросом.

— Мне — очень! — Майор определенно нажал на слово «мне».

Я сказал, что не слыхал до сих пор имени Кашиной и, сдается, не встречал ее картин на всесоюзных выставках. Майор возразил, что это художница немолодая, опытная и хорошо известная здесь. И вне видимой связи с предыдущим добавил:

— У нас весенние выставки без жюри. Хотите, покажу еще кое-что интересное?

Он показал три висевшие в невыгодном месте картины художника В. А. Волкова — «Наш друг Пикассо» и два натюрморта, с бубном и разрезанной дыней. Это было действительно интересно, хоть и до крайности непохоже на Кашину. Живопись Волкова была беспокойно кипящая, похожая по фактуре на майоликовую поливу с ее лоснящимися затеками и густыми, горячими, будто оплавленными в огне тонами.

— А этот молодой, — сказал майор. — И тоже, как видите, талантливый.

Имя-отчество у майора оказалось редкостное — Паисий Паисьевич, да и сам он оказался не совсем обычным: я было подумал, что он из несостоявшихся художников.

Возьмет такого человека смолоду армия, прирастет он к ней накрепко — будут и маневры, и войны, и повседневщина служба, а все же останется что-то и сверх того: этюдник, мольберт, армейская выставка самодеятельности...

Оказалось, нет. Майор не был художником-любителем. Он просто очень любил живопись. Он был из тех не часто, но повсюду встречающихся людей, не пропускающих ни одной выставки, являющихся незваными на обсуждения и даже требующих вне плана слова. Короче, он был болельщик.

Естественно, мы разговорились о живописи. Майор был весьма доволен только что объявленным присуждением Ленинской премии Сарьяну; о Пророкове он сказал, что это художник необыкновенно честный, очень крепкий рисовальщик и что отмеченным премией вещам как-то тесно в рамках станковой графики, они просятся либо на плакат, либо на что-то еще большее.

Коснулись мы и здешних дел. Паисий Паисьевич огорченно посетовал, что художники его недолюбливают: он-де вносит нежелательный сумбур своими выступлениями на обсуждениях и дискуссиях. Слово ему дают неохотно и, бывает, строго отчитывают: и того-то недопонял, и этого недооценил, и напутал, и дезориентировал...

Это было так знакомо, что я не удержался от смеха, хоть смеяться тут, по совести говоря, было нечему.

Несколько лет назад я оказался свидетелем характерной сцены. Дело происходило на художественной выставке, в зале, где висела известная картина Лактионова «На новую квартиру».

У этой картины постоянно толпились; я подошел в тот момент, когда молодой человек — по всей видимости, работник музея — делился с окружающими своей точкой зрения. Картина ему, видимо, не нравилась, хоть он и говорил об этом с осторожностью, подобающей экскурсоводу. Он сравнивал ее с висящими рядом другими картинами — сравнение выходило явно не в пользу Лактионова.

Доводы говорившего принимались в настороженном молчании, пока его не нарушил иронически-властный голос, принадлежавший полному высокому человеку в светло-сером костюме и в светло-серых же летних туфлях. Человек этот подошел мягкой для своего немалого веса походкой. Рядом с ним остановилась полногрудая и тоже высокая женщина — как видно, жена. Оба слушали, время от времени переглядываясь. И наконец — будто гром с неба — прозвучало:

— Значит, вы, молодой человек, против переезда наших трудящихся на новые квартиры?

Молодой человек опешил.

— Позвольте,— сказал он,— с чего же вы это взяли?

— Я вот слушал вас здесь,— сказал высокий,— все вам, видишь, не нравится.— Он усмехнулся.— Вы ведь, кажется, экскурсовод?

— Научный сотрудник музея,— сказал молодой человек, улыбаясь.

— Тем более должны думать о своем поведении,— сказал высокий.— Следовало бы поговорить с руководством вашим, пусть бы присмотрелись к таким научным сотрудникам.

— Если вам угодно говорить с руководством,— сказал молодой человек,— то, пожалуйста, первый этаж, прямо по коридору, вторая дверь направо. А если хотите поспорить о картине...

— Мне с вами спорить нечего,— прервал высокий; лицо его вдруг потемнело.— Вы что, думаете, я не понял, о чем вы здесь разглагольствовали? Народу картина нравится, а вам, видишь, поэзии не хватает.

— Народу? Откуда это известно? У каждого может быть свое мнение о той или иной картине,— возможно спокойнее сказал молодой человек.— У меня есть свое.

— Ну и держите его при себе,— оборвал высокий.— Вам, может быть, еще этот самый абстракционизм понравится, вы и его начнете пропагандировать?

При этих словах сквозь уплотнившееся кольцо слушавших протолкался встрепанный парень с длинной жилистой шеей, вылезавшей из расстегнутого воротника коб-бойки.

— Па-па-паслушайте,— начал он, сильно заикаясь,— нельзя же так. Вы поглядите на эту картину. Тут же Маяковский под фикусом лежит, он же трижды в гробу перевернулся бы, если б увидел. Ведь это же самая настоящая проповедь мешанства, черт подери. Вы посмотрите на эти бумажные цветы, на эти узлы с барахлом, на эту кошечку, на этого пионера.

— Еще чего скажете? — проговорил, криво усмехаясь, высокий.

— Пойдем, Анатолий,— тихо сказала жена.— Охота тебе связываться.

— Да, верно,— согласился высокий.— Такому хоть кол на голове теши. Ну, а насчет вас,— он обернулся к экскурсоводу,— я так не оставляю, можете быть спокойны.

— А я вполне спокоен,— отозвался экскурсовод.

Высокий с женой покинули поле боя. Зрители рассасывались молча. Женщина средних лет в модной шляпке проговорила, ни к кому не обращаясь:

— А все-таки Лактионов — прекрасный художник. У другого посмотришь, каждый мазок заметен; а у этого — прямо не ручная работа. Все как живое. Вы посмотрите, как у него паркет нарисован. Или хотя бы горошины на платье, каждую пересчитать можно. А глобус? Ведь он же круглый, хоть рукой возьми! Видно, что человек потрудился...

Что ж, скажем, на всякий вкус не угодишь. А многим зрителям картины Лактионова нравятся, это факт, мимо которого не следовало бы проходить.

Объяснить, почему испокон веков нравятся именно такие картины, нетрудно. Восхищаться умелостью — самое естественное и не самое плохое свойство; что до меня, то и я готов воздать должное умелости Лактионова. У него достойное изумления трудолюбие и, кроме того, особый дар подражания природе, как у легендарного живописца Паррания, к картине которого слетались птицы, чтобы склевать написанные красками виноградины.

Но человек не птица, он обманывается по-своему и куда более опасно: он уносит впечатления.

Можно было бы спросить: какими впечатлениями желал обогатить людей Лактионов, с превеликой тщательностью изображая тянувшийся в новую жизнь груз мешанского старья вроде фикуса, бумажных цветов и позолоченных обоев? Что желал он сказать, изображая себя на автопортрете в виде старозаветного барина в дорогой шубе и бобровой шапке?

Тут можно бы и ответить: а что поделаешь, разве не бывает так, разве не тянется в новую жизнь плохое вместе с хорошим, фикусы вместе с Маяковским? А ведь изображено все это по правде, как есть — хоть пощупай!

Так-то так, возразит искушенный спорщик, но что же все-таки желал сказать художник своим произведением, oprичь того, что мех пушист, цветы бумажны, глобус кругл, паркет блестящ, а сукно ворсисто? Нет ли здесь самого что ни на есть обыкновенного натурализма?..

Вот тут того и гляди спор и свихнется в сторону пренаукообразной терминологии, и пойдут-поедут доказывать, чего там больше — натурализма, реализма или, упаси боже, формализма. А простейший вопрос так и останется без ответа: что же хотел сказать художник своим произведением? Какие струны души надеялся затронуть?

Не знаю, который из упомянутых ранее зрителей милее художникам. Порой мне кажется, что за своими многотрудными делами они и вообще-то забывают о существовании такой категории населения.

В самом деле, своих забот у художника хоть отбавляй.

А вот что произойдет дальше с закупленной с выставки картиной или статуей, по-думать, видимо, недосуг.

Но что же действительно происходит с тысячами полотен и статуй, появляющихся ежегодно на выставках? Много ли попадает из них в музеи? Да и только ли для того существуют живопись и скульптура?

Во времена Микеланджело не было ни художественных выставок, ни музеев; он изваял и поставил своего «Давида» на площади Синьории и вряд ли обрадовался бы,

узнав, что придет время, когда там водрузят мраморную копию, перетащив подлинник под крышу флорентийской Академии.

Тинторетто покрыл фресками плафоны «Скуола ди Сан-Рокко» в Венеции. Пусть здание стало благодаря тому музеем — во времена Тинторетто это была, выражаясь по-современному, «школа имени святого Роха», просто школа, одна из многих духовных школ.

«Сикстинская мадонна», прежде чем попасть в музей, висела двести тридцать лет в алтаре монастырской церкви небольшого городка Пьяченца. Есть в Италии еще десятки маленьких монастырей и провинциальных городков, ставших на многие столетия местом вовсе не религиозного паломничества.

Гении не развешиваются поровну между столетиями. Но все же на каждой художественной выставке бывает несколько пусть не гениальных, просто хороших скульптур. Почему же парки, скверы, бульвары и стадионы наших городов набиты второсортными поделками, а то и уродливыми бетонными или гипсовыми муляжами?

Я ужаснулся, увидев на одном из бульваров Ташкента бетонного большогоголового Гоголя, к тому же свежепосеребренного; чуть поодаль стояли ширпотребовские пионер с пионеркой, такие же самоварно-блестящие.

Серебрение статуй приняло у нас поистине грозный характер. Однажды я наблюдал, как на площади у Савеловского вокзала в Москве серебрили с помощью распылителя и автокомпрессора светофоры и указатели переходов к Первому мая. Покончив с витыми орудовскими столбиками, машина-цистерна подъехала к стоящей на площади статуе и заодно посеребрила ее.

Мы много и охотно говорим об эстетическом воспитании. Но «чувство прекрасного» не воспитаешь одними лекциями, статьями, популярными брошюрами «в помощь любящим искусство» и даже посещениями музеев.

Книга Бурова начинается главой «О единстве архитектуры». Он убедительно доказывает, что не должно и не может быть двух архитектур — первостепенной для единичных, «уникальных» сооружений, и второсортной — для всего прочего. Я хотел бы продожить его мысль, сказав о единстве культуры в целом.

Должны ли существовать, с одной стороны, «высокое» искусство для столичных выставок и музеев, а с другой — «ширпотреб» для периферии, для рабочего клуба, для городского парка?

Недавно я прочел статью, резко критикующую непроизводительные расходы в строительстве. Там было немало дельных соображений о необходимости строить быстро и экономно. В качестве одного из немногих конкретных примеров расточительности автор привел художественную роспись, примененную на строительстве речного вокзала в крупном сибирском городе (автор поставил перед словами «художественная роспись» предостерегающее многоточие, знак невыразимого словами удивления).

Нет спору, при нынешнем размахе строительства и далеко еще не удовлетворенной нужде в жилищах, школах, яслях, больницах надо всячески поощрять экономичность и строго пресекать излишества. Но значит ли это, что вместе с тем следует отнять у архитектуры ее извечных союзников — скульптуру и живопись?

Не знаю, каковы были художественные достоинства той росписи, о которой упомянул автор статьи. Но я твердо убежден, что неразумно начисто ликвидировать (хоть бы и на время) монументальное искусство.

Дело ведь до того доходит, что даже мозаика предстает на выставках в виде станковых произведений, неизвестно для чего сделанных. Странное преклонение перед картиной как высшей якобы формой изобразительного искусства приводит к тому, что художники-мозаичисты пытаются с помощью смальты имитировать масляную живопись. Не абсурд ли?

Если говорить о денежных средствах, то они в конечном счете идут из одного, общенародного кармана — и на приобретение картин со всесоюзных и республиканских выставок и на повсеместную покупку ширпотребовской продукции вроде натюрмортов с ананасами и фазанами или бетонных пионеров, пловчих и футболистов массового производства. Не разумнее ли было бы, вместо того чтобы развешивать в гостинице «Ташкент» десятки ремесленных пейзажей, найти место для одной солнечно-яркой росписи

вроде кашинских «Золотых плодов»? Не вернее ли было бы оставить рабочую столовую в Комсомольском без трафаретных натюрмортов, но вместе с тем подумать: чем ответит искусство людям, пришедшим сюда с первыми палатками, чтобы построить город в голой степи?

Что же почетнее для художника — пополнить еще одним холстом запасники музея и дирекции художественных выставок или сделать свой труд действительным достоянием людей, нуждающихся в искусстве не только музейном, но и живом, повседневном и повсеместном?

Потребность человека в искусстве не требует доказательств — она естественна. Вакуум здесь невозможен; пустота заполняется, чем придется. Поддельные цветы появляются, когда нет живых.

Было бы глубоким заблуждением думать, что современная архитектура, в отличие от архитектуры минувших эпох, чисто инженерна, что она не нуждается более в союзе с живописью и скульптурой. Верно другое: новые формы архитектуры, ее новое содержание неизбежно потребуют новой формы, нового содержания и от других пластических искусств.

Это несовратимый процесс. Что до меня, то я убежден, что этот процесс заставит художников разорвать замкнутый круг и что центр тяжести в ближайшие годы будет неуклонно смещаться в сторону мозаики, стеной росписи, сграффито, художественной керамики, в сторону всего того, что не без снисходительности именовалось «прикладным» искусством, но что играет немаловажную роль в повседневной жизни и способствует действительному воспитанию вкуса, учит понимать, что хорошо и что плохо. Разумеется, это вовсе не значит, что станковая картина должна исчезнуть.

4

Самолет на Самарканд уходил в 10.14. Еще только рассветало, когда я ехал из гостиницы в аэропорт.

Есть особое очарование в таких минутах: ночь ушла, а город еще не проснулся. Пустые улицы тихо светлеют, где-то шаркают метлы дворников; у булочной сгружают теплый хлеб. Воркуют голуби. Слышен самый далекий звук, виден каждый дом, каждый камешек, и ты — в который-то раз! — клянешь себя, что встаешь так поздно и отпускаешь все это.

Мы ехали по широким безлюдным улицам, чисто подметенным, кое-где политым водой, вдоль арыков, обсаженных деревьями; только теперь я по-настоящему увидел, сколько их в Ташкенте. Туркестанские тополя, прямые и высокие, с гладкой серо-зеленоватой корой, раскидистые серебристые тополя (скоро они зацветут, и по воздуху поплывет легчайший пух). Чинары и карагачи, каштаны, цветущая акация, орех, айлант, дуб и ясень — все это зеленое войско выстроилось по сторонам арыков, иногда в четыре шеренги. Под кронами еще дремлют ночные тени, вершины тронуты теплым светом зари.

Если бы мне когда-нибудь пришлось решить, готов ли я полететь на Луну, то первой мыслью, я полагаю, было бы: черт подери, там ведь нет деревьев!

Впрочем, я видел нечто вроде лунных пейзажей в северо-казахстанской степи: видел саманные аулы без дерева и травинки. Признаться, мне трудно было понять, как можно так жить человеку. А ведь там способны расти и тополь, и карагач, и акация, и степная береза — приложи только руки.

Среднеазиатский климат не бог весть как приятен и легок. Но поговорите с кореным ташкентским жителем — он не променяет свой город ни на какой другой. Если бы мне поручили сочинить новые заповеди, первая звучала бы так: посади хоть одно дерево у своего дома.

Когда ИЛ-14 поднялся в воздух, я без труда нашел Чиланзар — голос глинистое пятно с кубиками домов, серо-желтое среди моря зелени.

Ташкент огромен: говорят, он по площади больше Москвы, что естественно при одноэтажной преимущественно застройке. Даже из иллюминатора набравшего высоту самолета город не охватишь взглядом. Но вот уже плывет под крылом другое: петляю-

шая желтой змеей Сыр-Дарья с великой неразберихой рукавов-змеек, огибающих бесчисленные голые островки. Прямые линии дорог и каналов, нити степных арыков, квадраты полей, зеленые и желто-розовые. Кншлаки с темными пятнами вспаханной и политой земли в рамках дувалов, окаймленных зеленью. Совхозные фермы, белые, крытые этернитом. Строительство какого-то завода (голубые вспышки сварки в теплом свете раннего утра). И еще строительство — уже без вспышек. Пунктиром — бугорки деревьев (только по утренне-длинной тени узнаешь: тополь. А так вроде бы кустик).

С юго-востока наплывают дымчатые гребни Нуратинских гор. Земля внизу исподволь взбухает волнами: сперва легкая — предчувствием — зыбь, затем — бархатисто-зеленые Джизакские горы с лиловатыми глубокими впадинами и прольсынами охристой глины. Последняя дрожь остывающей (сколько же миллионов лет назад остывшей) земли. И еще — «большая дрожь» — крупные окаменевшие волны, одна за другой, и, как белая пена девятого, грозного вала, — гряда искрящихся снежных вершин.

ИЛ заходит на посадку; выраж — земля кренится, горы как бы сползают по ней вниз и вправо и, выравниваясь, уходят назад. Самарканд...

Необъяснимое чувство древней, очень древней земли — еще до того, как увидел меднолицего старика в желто-белом полосатом халате и чалме. Он ехал на ишачке, подогнув сухие ноги, навстречу нам по дороге меж глинистыми косогорами, один на пустой дороге тем ранним и чистым утром.

Потом были еще ишаки: впряженные в арбы, навьюченные вперемет мешками или ивовыми корзинами, длиннорухие, черные, с обведенными белым, как у старых клоунов, печальными глазами; ишаки серые, беломордые и просто белые, а вернее, желтоватые, с висящими под брюхом козьими лохмами. Троллейбус, обгоняющий ишаков, с аккуратной надписью по эмалевому вишневному боку: «Молодежная комсомольская бригада». И снова ишаки, и велосипедист в трусах, майке и жокейской шапочке с козырьком, и женщина, несущая на руках ребенка, а на голове что-то большое, увязанное в пестрый платок, — очень прямо идущая женщина в белой накидке, черном казакине и ярко-красных шальварах, в остроносых маленьких калошах на босу ногу. Было фырканье грузовиков, «москвичей» и «волг» и человечье бляение ведомой на веревке курдючной рыжей овцы, стриженной наголо. Были минареты Регистана в верещагинском, первосортной лазури небе и переполовиненный купол мечети Биби-ханым, лазурнее самой лазури. Был шум базара и горная тишина обсерватории Улугбека, где мраморная многометровая дуга секстанта уходит в прохладную глубину холма, как в глубину веков. Были гладкие, будто из твердой зеленоватой глины выточенные ветви чинар, и воркованье горлинок, и мягкие сережки ореха под деревьями на тротуаре (если поднять и растереть в пальцах, пахнет детством) Были студенты, высыпавшие из университета, и школьники, радующиеся, что учебный год кончается. И еще женщины в белом, черном, красном (иногда черное и красное в крапинку или цветочками, иногда паранджа). И мужчины в черно-белых тюбетейках на лоснящихся смугло головах и велосипеды, нагруженные, как ишаки, вперемет...

Был Самарканд — город, который так давно хотелось увидеть, и все как-то не выходило, не получалось.

И тут есть свои полюсы; я поехал сперва на дехканский жилой массив. Приятно все-таки сознавать, что впереди заветное: Шах-и-Зинда, Гур-Эмир, Биби-ханым. Оставлю все это «на потом», как в детстве сладкую корочку.

Дехканский массив сравнительно невелик — по генеральному плану 280 тысяч квадратных метров жилья. За семилетку должно быть построено 150 тысяч, из этого количества уже сдано больше трети.

Здесь строят дома все той же 310-й серии, кирпичные, нештукатуренные. Скоро начнут ставить и крупнопанельные: вводится в эксплуатацию домостроительный комбинат на тридцать пять тысяч квадратных метров в год, с перспективой расширения до шестидесяти тысяч. Но все же ближайшие два-три года кирпич будет существовать рядом с железобетоном в пропорции примерно четыре к шести.

Скажу сразу: я нигде еще не видел такого низкого качества строительных работ, как

в Самарканде. Нет, «низкое», пожалуй, не то слово. Надо побывать в домах дехканского массива, чтобы понять, что такое безответственность, разгильдяйство, неуважение к собственному труду.

Не стану возвращаться к проекту 310-й серии. Это нехороший, холодными руками сделанный проект. Не буду говорить и о планировке массива, в ней трудно пока еще уловить цельный замысел.

Но о качестве работ хочется не говорить, а кричать, потому что это грозит превратиться в бедствие.

Не знаю, какой прораб принял бы от мастера или бригадира дом, где все сбито-сколочено вкривь и вкось, тля-ляп, где следы неопикуемой небрежности видны повсюду — и в кривых ступенях, и в шатких перилах, и в холмистых полах, и в положенных кое-как кафельных плитках (ей-богу, нарочно так не сделаешь: одна ввалилась, другая вываливается). Не знаю, какой мастер принял бы у рабочего такую кладку кирпича, такое цементирование, такую штукатурку. Не знаю, наконец, какой уважающий свой труд рабочий позволил бы себе так работать. И однако же позволяют. Строят, сдают, принимают.

— Попробуйте не принять, — сказал главный архитектор Самарканда Эмиров. Вдаваться в дальнейшие объяснения не было надобности: план...

Нетрудно понять желание руководителей района, области или республики добиться, чтобы каждое предприятие выполняло план, чтобы не было провалов, чтобы «выглядеть хорошо». Мы знаем теперь, какими путями порой достигается эта цель.

В одноэтажном Самарканде (как и в Ташкенте) сроду не было канализации; теперь ее строят, но медленно. Трассы как будто проложены, но еще не закончен коллектор и очистные сооружения. И вот на дехканском массиве четырехэтажные дома приняты (и заселены) не подключенными к сети; сперва было попытались запечатать санузлы, затем махнули рукой, и вот уже более года спускают все в дворовые ямы. Хочу воздать должное Сергею Эмировичу Эмирову — он и не пытался приукрасить положение, сам повел меня, чтобы показать, как дети играют перед окнами в голом кочковатом дворе между зловонными канавами.

Отставание коммунального благоустройства — повсеместная серьезнейшая проблема. Можно, разумеется, сказать, что это дело сугубо временное, что пройдет год-другой, и закончат канализацию, а еще через годок спланируют территорию, и приберут когда-нибудь мусор, и замостят дороги, и насадят деревья, а то и цветы, — сказать и успокоиться.

Между тем дело обстоит вовсе не так успокоительно просто. Два, три, четыре года — немалый срок; за это время карапузы, игравшие вокруг канавы, научатся читать, пойдут в школу, старики постареют, безусые станут отцами. Родятся новые дети.

Наивно было бы утверждать, что человек, живущий в красивом благоустроенном доме, среди цветов и плеска фонтанных струй, непременно будет образцом добродетелей. Но несомненно и то, что жизнь в небрежно построенной уродливой коробке, стоящей среди куч мусора, пыли и отверделой глины, не способствует ни физическому, ни нравственному здоровью. Зловредная болезнь неряшества и безразличия прилипчива, она распространяется легко и быстро, а излечивается трудно и медленно, оставляя подчас неизгладимый след.

Знахарю не позволяют лечить. Дисквалифицируют даже нарушающего правила футболиста. Никто не станет держать на заводе станочника, систематически «запарывающего» продукцию. Почему же на стройках мирятся с бракоделством, недобросовестностью, халтурой?

Тут что-то надо сделать, необходимо принять какие-то действенные меры. Нужен, возможно, единый строительный кодекс, который охватывал бы определенные правила (и технологические и нравственные) и устанавливал неотвратимое наказание за их нарушение. Слишком большая ответственность перед будущим ложится теперь на строителей.

Необходимо, кажется мне, пересмотреть всю систему приемки выполненных работ.

Если микрорайон признается основной ячейкой современного города, то он должен и планироваться и приниматься комплексно, вместе со школой, яслями, детсадом и всем прочим, что необходимо для нормальной жизни людей (включая чистоту). Надо уменьшить опасный разрыв между «есть» и «будет», между блеском архитектурного макета или акварельной перспективы и картинами действительности. Нужен правомочный архитектурный контроль.

В строящемся городе Рудном (Северный Казахстан) я огорчился, узнав, что авторы проекта живут за тридевять земель от своего детища — в Ленинграде. На Чиланзаре я обрадовался, увидев архитектурную мастерскую в самой гуще стройки.

Но радость была преждевременной. Когда я спросил у Л. Т. Адамова, как могут мириться его сотрудники с таким качеством выполнения проекта, он ответил, что архитектор лишен действенных прав контроля, на стройке он не хозяин.

Другие говорили, что дело, дескать, не в этом — за архитектурный контроль не платят, вот и все. Вероятно, существенно и то и другое. Важнее, однако, третье: архитектурный контроль необходим.

Архитектор не может не сознавать себя хозяином на стройке. Никто не разделит с ним его нравственной ответственности, если он не просто служащий, а строитель, творец. Я мечтаю о времени, когда в центре нового микрорайона, жилого массива или даже города можно будет, не сгдыась, выбить на мраморе имена тех, кто построил все это на благо людям.

Не помню, кто (кажется, Корбюзье) сказал — настоящая архитектура прекрасна даже в развалинах. Правоту этих слов я оценил лишь теперь, в поросшем травой дворе соборной мечети Биби-ханым.

Красавица Биби была главной и любимейшей женой Тимура. Когда в последний год четырнадцатого века «железный хромец» отправился в один из своих походов, Биби-ханым решила построить в его отсутствие мечеть, которая превосходила бы великолепием все постройки столицы. Строил мечеть молодой архитектор, и случилось то, о чем вы, разумеется, догадываетесь: бедняга влюбился в царицу. Он даже затыгивал всячески дело, зная, что не увидит больше предмета своей безнадежной любви, как только окончит стройку.

Между тем Биби-ханым горючила строителя. Мечеть была задумана как нежданный подарок Тимуру, а тот уже слал вести о близком своем возвращении. Все постройки ансамбля, включая восемь минаретов, были готовы; готов был и лазурный купол мечети, оставалось лишь закончить арку-портал. И тут обезумевший от страсти малый поставил условие: один поцелуй. Всего лишь один поцелуй, иначе — ни с места.

Биби-ханым резонно предложила бедняге любую из своих приближенных; тот наотрез отказался. Тем временем Тимур со своим войском приближался к столице, и весь план царицы повис на волоске. Пришлось согласиться на поцелуй, однако плутовка в последний момент прикрылась ладонью. Поцелуй между тем оказался так горяч, что жар его проник сквозь ладонь и оставил на щеке красавицы неизгладимое пятно.

Подъезжая к городу, Тимур восхищался дивным блеском новой мечети. Дома этот блеск померк перед горевшим на щеке жены знаком неверности. «Железный хромец» задал Биби трепку, и та призналась во всем. Беднягу зодчего ждала смерть. Его искали повсюду. Кто-то донес, что его видели всходившим на минарет со своим любимым учеником. Воины Тимура ринулись туда — наверху оказался один лишь ученик, сообщивший, что учитель сделал себе крылья и улетел в Мешхед.

Путеводитель по Самарканду издания 1958 года безжалостно расправляется с этой легендой. Прозанческая старуха история утверждает, будто имя Биби-ханым ей вообще неизвестно. Главную жену Тимура звали, оказывается, Сарай Мульк-ханым, ко времени постройки мечети ей было далеко за шестьдесят, никому и в голову не могло прийти целовать эту малопривлекательную морщинистую особу. Что же касается мечети, то ее заложил сам Тимур после победоносного похода на столицу Индии, и это была самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших в мире мечетей, побольше знаменитой мечети султана Хасана в Каире или мечети Джумы в Исфагане.

И все же ее называют мечетью Биби-ханым. Легенды подчас бывают сильнее фактов (или по крайней мере желаннее).

Мне тоже хотелось думать, что именно с одного из трех сохранившихся минаретов и взлетел на своих крыльях злосчастный влюбленный, как взлетают теперь птицы — сотни, тысячи птиц, поселившихся здесь в глубоких трещинах стен, иззубренных и обдутых вековыми ветрами.

Тут больше нет людей. Тут живут ласточки, горлинки, черно-синие галки, воробьи и еще какие-то коричневые, с белой изнанкой крыльев — не то жуланы, не то афганские скворцы. Они неустанно кричат, чертя в синем небе крутые параболы — под стать гордому полету порталной арки или смелым линиям купола. Кажется, что они — не в силах рассказать — хотят крыльями дочертить, дорисовать недостающее.

А недостает здесь многого. Похоже, что мечеть действительно строилась наспех, к приезду владыки. Время обошлось с ней куда суровее, чем с другими, даже более ранними сооружениями. Землетрясения довершили то, чего не в силах были сделать годы, дожди и ветры.

Некогда все здания этого величественного ансамбля были соединены крытой галереей с колоннами, окружавшей выложенный мрамором и мозаикой двор. Теперь нет ни галереи, ни мрамора; все поросло травой. Сквозь тридцатиметровую арку портала видна сохранившаяся часть купола, о котором в XV веке сказано, что он «был бы единственным, если бы небо не было его повторением».

(В те времена ценили словесную живопись. «И все, что было в этой стране, от глиняного горшка до жемчужины, достойной царей, от прекрасных произведений искусства до гвоздя в стене, было пушено на ветер разграбления. И молния разгрома сожгла в этой стране все, и сухое и сырое, начиная от малого и кончая большим». Эти строки о монгольском нашествии из летописи Шарафуддина-Али-Язды с особенной отчетливостью вспомнились среди развалин.)

Купол мечети Биби-ханым (а вернее, сохранившаяся часть) облицован бирюзовыми плитками такой чистой яркости, что действительно спорит с небом вот уже пять веков.

Вхожу с бокового входа внутрь. Как смело и просто, какая ясность формы! Прохладно, гулко, пусто; рыжеватые стены круглятся. Тридцать пять метров полета вверх; закинь голову — и увидишь легкую летящую громаду купола, и небо, и птиц, все стремящихся рассказать, дорисовать...

Я несколько раз обошел вокруг, стоял под аркой портала, как стоят над пропастью на горной вершине, — захватывало дыхание от счастья. Сидел на ступенях подиума посреди заросшего травой пустынного двора, где доцветала урючина и доживали свой век дряхлеющие шелковицы (на подиуме — мраморный пюпитр для корана, полутора-метровый, весь покрытый резьбой и письменами, поставленный здесь Улугбеком). Сидел и не мог уйти. И небо, видное в пролет портала и пролет купола, казалось уже не сегодняшним — другим небом. Сидел, и смотрел, и слушал крик птиц и молчание веков.

Как ни далеко уведят в сторону размышления, они, словно бесчисленные рукава Сыр-Дарьи, возвращаются в главное русло. Когда я ступил на первые ступени лестницы ансамбля Шах-и-Зинда, знаменитого сборища мавзолеев на афраснабском холме, я думал о том, что вот сейчас увижу могилу «Живого царя», Магомета племянника Куссама, с ее великолепным изразцовым надгробием. Но по пути я увидел другое и позабыл о Куссаме и Магомете.

Был полдень, солнце светило резко, раскаленные камни струили сухой жар. И вдруг сквозь затененную толщу серокаменной стрельчатой арки открылось, ударило что-то лазорево-сине-бирюзовое в солнечном блеске бело-золотых мерцающих бликов. Так за неожиданным поворотом, за грядой горячих гор вдруг открывается море. Это был мавзолей Шади-Мульк-ака, построенный в четырнадцатом веке, небольшой и весь облицованный изразцовой мозаикой.

Нельзя не восхищаться тончайшей филигранью, изяществом и поразительной сохранностью этой игрушки; вдоволь налюбовавшись подробностями, я отошел назад,

чтобы еще раз увидеть общее, и снова в раскаленность жаркого дня дохнуло сквозь серокаменную арку лазурной прохладой.

Здесь, на ступенях Шах-и-Зинда, я с особенной силой почувствовал значение цвета в архитектуре. И еще я понял, откуда все это — и бирюза, и лазурь, и золото. Спустился две недели Ту-104 летел над Аральским морем; был безоблачный день, с высоты одиннадцати тысяч метров ясно виделись и охристо-рыжее золото суши и впаянная в него лазорево-лиловая мозаика моря с дельтой Сыр-Дарьи и бесчисленными островками. Земля и вода...

Перед лицом древних памятников Самарканда начинаешь лучше понимать Верещагина и не осуждаешь более суховатую доскональность его туркестанских полотен, стремление до мелочей запечатлеть увиденное.

Поездка в эти края была во времена Верещагина делом не только трудным и длительным, но и небезопасным. Все, что он видел здесь, было открытием, откровением; а может ли художник не делиться своими откровениями и открытиями?

Верещагин был одарен любознательностью ученого, смелостью путешественника и к тому же особенной способностью видеть, запоминать и воспроизводить. Его избитые серии этюдов — и туркестанские и балканские — были, в сущности, отчетами о странствиях, репортажами с полей сражений, художественными описаниями событий и неведомых земель. В те времена это оставалось в конечном счете одной из обязанностей изобразительного искусства.

Теперь эту обязанность с возрастающим успехом берут на себя фотография и кинематограф.

Те, кто страшится и чурается сопоставлений фото- и кинодокументального искусства с искусством живописи, не хотят, как видно, взглянуть в лицо фактам.

Достаточно посмотреть, скажем, альбомы французского фотографа Картье Брессона (парижский, московский или китайский), чтобы убедиться, что фотография может из ремесла стать чем-то неизмеримо большим, когда она идет своими путями. Но вот на одной из фотовыставок я увидел цветной портрет сталевара — большого размера, во весь рост, с рефlekсами, бликами и всеми прочими принадлежностями плохой живописи. Готов поручиться, что, будучи помещенным в золотую раму, он сошел бы за стандартный номер на любой художественной выставке.

Есть задачи, доступные объективу; освободив живопись от этих задач, фотография не убьет ее, а лишь поможет взмыть вверх и набрать новую высоту.

Дивное мастерство узбекских зодчих запечатлено, описано и воспето, а должно быть еще и освоено для сегодняшней жизни и для будущего. Секреты немеркнувшей яркости глазурованных изразцов утеряны; одни говорят, что краски замешивались на верблюьем молоке, другие приводят и более сложные рецепты. Дело, однако, не в том, чтобы повторять сделанное полтысячи лет назад. Современная техника может и обязана дать новые средства; дело зодчего и художника найти для них новое применение.

На Чиланзаре была сделана попытка смягчить однообразие полносборных домов разноцветно покрашенными торцами; попытка не очень удачная — за полгода и без того мутные краски выцвели и облупились. Л. Т. Адамов рассказывал, что у строителей есть несколько бочек полихлорвиниловых стойких и ярких красителей, но они густы, а растворителя нет. Разумеется, это частная неполадка; даже самая высокопрочная покраска не разрешила бы того, что не продумано архитектором с самого начала.

«Здесь были ребята из Ростова и Костромы 2.4.61», «Тут побывала капелла монтажников-электриков: Гоголев В., Матвеев Г., Надирадзе М., Литвиненко Ф., Хусанов З., Кронгард И. И.»

Эти и многие другие письменные свидетельства вы можете прочесть на стенах мечети Биби-ханым, по сторонам дивной резной двери из карагача с массивной чугушной оковкой.

Нет, кажется, ни одного сколько-нибудь примечательного места, не украшенного подобными надписями. Желающих увековечиться не останавливают ни запреты, ни опасности, ни сопротивление материала. Они забираются с зубилом на скалу, куда и орел не каждый день залетает.

Студентов Ташкентского пединститута учат, я думаю, многим полезным наукам; я был потрясен, увидев рядом со списком интернациональной «капеллы монтажников» следующую надпись: «Здесь были из Ташкента пединст. им. Низами 5 курс Естфак 17.2.60». Сегодня эти люди вышли в жизнь с дипломами учителей.

Горький назвал архитектуру каменной летописью человечества. Страницы этой летописи не только марают глупыми надписями. Их, случается, и вовсе вырывают, как говорится, с корнем.

Трудно понять, зачем понадобилось, скажем, сносить Михайловский монастырь в Киеве (на его месте предполагалось новое здание, часть тяжеловесного и чуждого киевскому пейзажу «ансамбля», к счастью не осуществленного). Можно было бы найти и более близкие по времени примеры неоправданного сноса. А можно рассказать и об улице Ленина в Риге, где бережно сохраненные старые дома (даже деревянные) превосходно уживаются с новыми (даже ультрасовременными). Красота старого Таллина или «золотой» Праги, кроме всего прочего, еще и в том, что на их улицах не утеряно ни одной строчки из драгоценной летописи веков.

Старую архитектуру не надо копировать, ее надо беречь (истина как будто бы бесспорная). Но как? В Ташкенте отстраивают почти заново (да еще и «достраивают») медресе Кукельдаш. В Самарканде я видел, как реставрируют ансамбль Регистана.

Регистан («песчаное место») — большая площадь, где при Тимуре шумел главный самаркандский базар. Позднее здесь построили три больших медресе; самое древнее из них — медресе Улугбека. Два других — Тилля-кари и Шер-дор сооружены в XVII столетии.

Теперь весь ансамбль реставрируется. Фасад медресе Шер-дор обстроен лесами. В помещении медресе-мечети Тилля-кари расположилась мастерская, где формируют, расписывают, кроют глазурью и обжигают изразцовые плитки.

Инженер, руководящий здесь всеми работами, показал мне отреставрированную часть аркады во дворе медресе Улугбека.

— Не правда ли, — сказал он, — почти невозможно отличить новую керамику от старой?

Действительно, работники керамической мастерской приложили немало стараний, чтобы подогнать новые изразцы под расцветку старых. Но роковое «почти» все же остается — новое уступает старому в чистоте тона и яркости.

Дело, однако, не только в том, что лазурь восстановленных куполов на минаретах Тилля-кари не спорит так победоносно с небом, как лазурь купола Биби-ханым. Допустим, что удалось бы достичь той же яркости и восстановить до мелочей все, как было, — подражание осталось бы подражанием и не заменило бы подлинника, как не может заменить Венеру Милосскую самая совершенная мраморная копия. (Почему? Тут уж секрет искусства и человеческой психики, с этим ничего не поделаешь.)

Впрочем, надо оговориться: реставраторы Регистана и не пытаются восстановить все, как было. Инженер, с такой гордостью демонстрировавший расписную мозаику тимпанов, искренне удивился, когда я спросил его о грубых цементных цоколях аркады.

— Да, верно, здесь был когда-то мрамор, — сказал он, — но ведь у нас-то мрамора нет, нам не запланировали. Приходится применять цемент...

Двор мавзолея Гур-Эмир, некогда вымощенный каменными плитами, теперь тоже зацементирован и обнесен достаточно уродливой бетонной оградой. В сводах склепа гробит и замазан алебастром желобок для электропроводки; надгробие Тимура освещается свисающей на шнуре голый электролампой.

В Ташкенте мне рассказывали, что прежде в республике существовал отдел охраны памятников при Управлении архитектуры; там сплотился дружный коллектив энтузиастов («из общего котла ели, лимонадом в экспедициях умываться приходилось — не хныкали»). Все реставрационные работы велись под наблюдением знающих людей из научно-исследовательского сектора. Затем произошла реорганизация образо-

вали Комитет по охране памятников, открыли при комитете производственные предприятия, дали средства, и теперь едва ли не главным мерилом деятельности стало пресловутое «освоение рубля».

Охраной и реставрацией памятников архитектуры стали заниматься люди случайные. А между тем в республике есть и ученые с мировым именем (академик М. Е. Массон, Г. А. Пугаченкова) и просто отлично знающие и любящие свое дело специалисты, которые при случае расскажут вам столько интересного — заслушаетесь. Не часто встретишь людей, так живо влюбленных в старину, — я испытал это в залах музеев, где мне показали удивительные вещи: афрасиабское радужное стекло, похожее на раковины индийских морей, и резную терракоту, и бухарское золотое шитье, и керамическую посуду X века с рисунками такими смелыми и лаконичными, что кажется, будто они сделаны сегодня. (Когда смотришь выщербленную тарелку тысячелетнего возраста с «пикассовской» голубкой, то какими же смешными и мелкими представляются иные блюстители фотореализма!)

Я видел также превосходный фаянс самаркандской художницы С. Ф. Раковой — декоративные блюда, сервизы для вина и фруктов, статуэтки, подцветочницы; смотрел — и радовался и огорчался. Радовался потому, что отрадно было встретить здесь талантливую художницу, так тонко сумевшую связать прошлое с настоящим. Огорчался потому, что все это можно было увидеть только в музее.

5

На полпути между древней и новой столицей Узбекистана, между Самаркандом и Ташкентом, обосновалась столица Голодной степи — Янги-Ер. Я отправился туда ранним утром по Большому Узбекскому тракту, содержащемуся в чистоте и порядке.

В открытые окна автобуса тянуло горной прохладой. Напарник шофера, черно-волосый, черноглазый и белозубый, перевел автобусные часы на шестьдесят минут вперед и повертел регулятор приемника.

— Нравится? — спросил он, поймав узбекскую мелодию.

Ему самому, бесспорно, нравилось; он отбивал такт пальцами на коленях, сидя в вертящемся кресле, предназначенном, как видно, для гида (мы ехали в отличном львовском автобусе марки «Турист»). Повернувшись лицом к пассажирам, парень стал метать небезразличные взгляды в сторону хорошенькой блондинки и заигрывать с ее пятилетней дочерью, везшей на руках лысую куклу с треснутым черепом и счастливой улыбкой.

В гиде никто, кажется, не нуждался, не считая меня, плявшего глаза на все: на сочную зелень пшеничных и ячменных полей, на магниевый блеск снежных вершин, то отстающих, уходя назад, то догоняющих вновь, на виноградники, на шагающие через холмы и степь высоковольтные линии, на шпалеры тутовых деревьев, на промелькнувшую женщину в черном, белом и огненно-красном и на виднеющийся вдалеке кишлак, весь какой-то округлый, без четких граней, будто не построенный, а вылепленный или отформованный из глины на гончарном круге.

Воспринимать красивое (равно как уродливое) в одиночку трудно, так и хочется подтолкнуть локтем соседа. Вероятно, смотреть самый лучший спектакль или кинофильм, сидя в пустом зале, — чистое мучение для нормального человека. Возможно, из этой простой человеческой потребности делиться впечатлениями и зародилось искусство. Так или иначе, мне очень хотелось поделиться с кем-нибудь тем, что я видел; но пассажиры автобуса, надо думать, не впервые проделывали этот путь. Их не привлекала уже ни река Санзар, петляющая в своем жестком галечном ложе, ни подступившие вплотную к дороге Джизакские горы, плюшево-зеленые, с розовыми каменистыми осыпями, ни даже Тамерлановы ворота — две отвесные (будто разрублены взмахом гигантского меча), уходящие в орлиную высь скалы, породившие легенду о том, как перед полководцем расступились горы.

За воротами Тамерлана открылась железнодорожная станция, пыхтящий белыми клубами паровоз тащил по дальнему берегу Санзара цепочку игрушечных вагонов.

Вдоль дороги громоздились штабеля бумажных мешков с удобрениями. Солнце поднялось, в автобусе становилось жарко. Черноусый пассажир снял тюбетейку, обнажив младенчески белое темя на чисто выбритом бронзовом черепе. Седобородый старик в чалме достал из-за пазухи лепешку и стал есть с достоинством, отламывая куски тонкими темно-коричневыми пальцами.

На остановке в Джизаке в автобус вошел молодой оборванец. Проведя ладонями по смоляной бородке — жестом умывающегося, — он сложил их просительно, склонив голову, и произнес несколько слов по-узбекски.

Старик перестал есть и раскричался. Его сухое темное лицо еще больше потемнело, глаза-миндалины сверкали. Оборванец удалился, бормоча проклятия. Черноусый улыбнулся и сказал:

— Бабай ругается, бабай говорит, что ему уже семьдесят и он работает и может спокойно есть свою лепешку, а такому здоровому и молодому стыдно бездельничать...

О ветровое стекло билась пчела. Бабай снова принялся за свою лепешку. Вошла и уселась женщина, очень смуглая, очень ярко и обильно одетая; на ней было два больших головных платка — черный с пунцово-красным, зеленым и желтым поверх кремового, тоже цветастого — и два халата: лиловый с изумрудными отворотами поверх полосатого, в котором повторялось, как в музыкальной коде, и лиловое, и зеленое, и розовое, и пунцовое. Все вместе было на диво колоритно.

Время стоянки истекло, мы двинулись по жарким и пыльным улицам Джизака, по Большому Узбекскому тракту на Янги-Ер.

Горы уходят все дальше вправо, теряя резкость очертаний, исподволь превращаясь в степной мираж. По сторонам дороги тянутся поля — пшеница, ячмень; свежая зелень отсвечивает голубишной у горизонта. На обочинах цветут маки и одуванчики. Пахнет польнью. Человек в оранжевой чалме гонит шлангом воду из автоцистерны в оросительную канаву. В глинистом озерце купаются бронзовотелые ребяташки. Вода, вода...

Вот наплывает издалека нечто неправдоподобно пышнозеленое среди равнины. Это тал, дерево из семейства ивовых; ткни в землю прут, дай водицы — и через год-другой будешь наслаждаться тенью.

В тени таких оазисов стоят вагончики — полевые станы. В степи сеют хлопок; три человека засевают огромное поле (двое — с трехколесным трактором, чем-то неуловимо похожим на арбу, третий занят разметкой квадратов). Верховой чабан пасет отару черноголовых светлошерстных овец. На обочинах шиплют траву ишаки. Они бродят тут по двое, по трое, поодиночке.

Подсевший в Джизаке новый пассажир говорит, что это «уволенные с работы». Держать ишаков стало невыгодно и вообще ненужно. Полно машин, а длинноухого надо кормить, поить да еще налог за него платить. Вот их и выгоняют в степь на произвол судьбы.

По совести говоря, история грустная...

К слову сказать, ишак вовсе не так непокорен или упрям. По-моему, тут скорее задумчивость какая-то: постоит, наклонив голову, поморгает печальными клоунскими глазами, помолчит, подумает, вздохнет, покричит о чем-то своем — и пошел дальше. И не просто пошел, а потащил — и чего только не перетаскает!

Однажды я видел, как по дороге двигались сами собой две тяжелые связки досок. Поверх лежал большой куль, на куле сидел старик. Подъехав поближе, я разглядел торчащие между связками ишачьи уши.

В Самарканде недавно устроили перепись — там осталось три тысячи ишаков. Вероятно, вскоре и этих уволят; увидеть живого можно будет разве что в столичном зоопарке вместе с пижамной бездельницей зеброй и лошадьё Пржевальского, никогда не знавшей ни седла, ни упряжки. Надо бы по крайней мере поставить где-нибудь в азиатских степях памятник ишаку.

Но шутки в сторону: вот один из уволенных взобрался с обочины на дорогу и

стал поперек, понунив голову. Водитель сигналил, а тот ни с места. Сбавляет скорость, гудит без умолку — ишак хоть бы хны. Мой сосед начинает печальный рассказ.

Этот немолодой с приятным широким лицом и крупными руками шофер двадцать лет просидел за рулем, отвоевал Отечественную и вот уже пятнадцатый год гоняет рейсовые автобусы по Большому Узбекскому тракту. В середине февраля он вел свой «ЗИЛ-127» из Бухары в Ташкент. Моросил дождик. И вот — едва ли не на этом же месте, что и сейчас, — на дорогу вышел ишак; вышел и стал поперек.

«ЗИЛ-127» — тяжелая машина; тормозить на мокрой дороге было опасно. И в то же время убить задумавшегося ишака Анатолий Павлович Болдырев (так звали моего собеседника) никак не мог.

— Вот поверите, хоть самого меня убейте, не могу, и все тут. Сбавил скорость, сигналю, а он ни с места. Пришлось-таки тормознуть...

Бедняга ишак остался жив. А машину занесло, и она тихонько легла в кювет.

К счастью, обошлось без жертв. Все остались целы и невредимы, кроме одного пассажира из города Навои, полезшего с перепугу в окно. Его маленько прижало, но без серьезных последствий.

Авария есть авария. Вскоре примчалась милиция. Пригнали два трактора. Автобус вытащили, поставили на колеса, и он двинулся с пассажирами дальше, но за рулем сидел другой шофер. Болдырев отправился в камеру предварительного заключения по месту происшествия, в Джизак.

Там он провел тридцать семь дней, и это были далеко не лучшие дни его жизни.

Товарищи Болдырева — коллектив ташкентского автопарка — несколько раз обращались к следователю с просьбой изменить меру пресечения. В Джизак приезжали секретарь партбюро с председателем месткома, чтобы объяснить прокурору Курбанову, какой человек Болдырев: участник Отечественной войны, ни одного нарушения за все годы, всегда на Доске почета, член бригады коммунистического труда... Курбанов отказался принять их. Тогда ему передали протокол общего собрания, поручившегося, что Болдырев не скроется ни от следствия, ни от суда. Ответа не последовало.

Наконец, обратились к первому заместителю прокурора республики Хамидову. Порывшись в кармане пиджака, Болдырев показал мне копию письма, где не очень складно, но искренне объяснялось, как он, «желая объехать внезапно возникшее на дороге животное, силами инерции массы автомобиля был затянут задом на откос дороги...» Партбюро и местком просили срочного вмешательства и беспристрастного расследования. Все было тщетно. Вслед за письмом Болдырев показал копию приговора: год тюрьмы. Мотивировка начиналась словами: «Так как обвиняемый не признал себя виновным в совершении аварии...»

Теперь он ехал из Джизака в Ташкент, чтобы подать кассационную жалобу, и с ужасом думал, что будет, если жалобу отклонят. Мысль о том, что ему, честно прожившему более полувека, придется сесть в тюрьму, была нестерпима, и он говорил об этом с таким отчаянием сильного, не привыкшего хныкать человека, что у меня подкапало к горлу.

Мы подъезжали к Янги-Еру, и я простился с Болдыревым.

Голодная степь — это миллион гектаров идеальной равнины, треугольник, примыкающий северо-западной стороной к пескам Каракумов, а двумя другими — к пологим склонам Туркестанского хребта и петляющей ленте Сыр-Дарьи...

Миллион гектаров беспощадно палимой солнцем земли, расцветающей буйно в апреле, чтобы к концу мая потерять все краски, кроме одной. Степь, равнина, куда ни кинешь глазом — все желто. Желтеет лёссовый грунт. Желтеют иссохшие кустики перекати-поля. Песчано-желтая степная черепаха ползет через дорогу. Серо-желтый кобчик нехотя взлетает с обочины и парит, распластав крылья. Где-то на горизонте взблеснет, уловив солнце, ветровое стекло идущей навстречу автомашины. И вдруг — могучий выброс клубящейся зелени, застывший, как фотография атомного взрыва; не пугайтесь — это всего лишь дерево, тал. Дерево, зелень — значит, вода...

Плодородие здешних лёссовых почв неописуемо. С виду — иссохшая глина. Дай воду — возьмешь два-три урожая в год.

Впрочем, дать воду не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Голодная степь давно уже привлекала к себе внимание. И вот — парадокс для не посвященных в тайны ирригации: более полувека назад попытались освоить восточный уголок треугольника, район Баяута. Прорыли каналы, построили хаузы-водосборники, пустили воду из Сыр-Дарьи. Революция нашла там людей, вымиравших от малярии среди кишевшего комарами болота.

Безводная пустыня — и болото... Петр Иванович Исаков, начальник технического управления «Главголодностепстроя», приподнял завесу над тайной, начертив на страничках моего блокнота несколько схем.

Я был, кажется, не слишком деликатен, отыскав Петра Ивановича в больничном саду две недели назад в Ташкенте. Но мне очень хотелось поговорить с ним, прежде чем я попаду в Голодную степь.

Петр Иванович прогуливался по дорожкам в коричневом госпитальном халате, пижамных штанах и тапочках на босу ногу. Он чем-то смахивал на выздоравливающего после фронтowego ранения, хоть и болел прозаически — печенью. У него было обветренное лицо солдата-пехотинца, выгоревшие седоватые волосы и умная, не без оттенка насмешливости улыбка. Из его объяснений я понял, как сложна проблема ирригации вообще, а проблема обводнения Голодной степи в особенности.

Если представить себе необозримую равнину в виде гигантского блюдца (загнутые кверху края), то это и будет рельеф Голодной степи. Под ее ровной поверхностью, под толщей сухого, как порох, лёсса залегают грунтовые воды.

Глубина залегания грунтовых вод имеет существенное значение. Если их уровень отдален от поверхности, скажем, на два метра, то с ними, грубо говоря, ничего особенного не происходит. Стоит, однако, грунтовым водам приблизиться к накаленной солнцем поверхности до отметки 1,5 метра, как они начинают испаряться сквозь мельчайшие поры (капилляры), пронизывающие почвенный слой. А при испарении оставляют в этом слое все растворенные соли. Налейте в тарелку немного соленой воды, поставьте на солнце; когда вода улетучится, вы поймете, что значит засоление почвы и как выглядят бесплодные солончаки. Это одна опасность.

Теперь другая. Представьте себе, что уровень грунтовых вод исподволь поднимается, все больше приближаясь к поверхности. Когда он приблизится к ней вплотную, земля станет, как губка, пропитанная водой; это и есть заболачивание. Болото на том самом месте, где недавно еще земля сухо звенела под ногами.

С чего же вдруг стали бы так подниматься грунтовые воды? — удивитесь вы. Удивился и я. Петр Иванович вынужден был напомнить мне кое-что из школьного курса физики. Он сказал, что по своей капиллярной структуре земля есть не что иное, как гигантская система сообщающихся сосудов. Если вы «даете» извне воду в одном каком-либо месте, то тем самым вызываете повышение уровня близлежащих подпочвенных вод. Таков побочный результат орошения. Постоянное просачивание ирригационной воды сквозь стенки магистральных каналов, арыков и оросительных канав неуклонно повышает «напорность» грунтовых вод, приближая их уровень к поверхности. Начинается засоление, а затем и заболачивание почвы.

Грунтовые воды Голодной степи особенно коварны. Они не имеют естественного оттока (вспомните блюдечко), в них растворено много минеральных солей. Нечего было бы и думать о рациональном освоении этой земли, если бы рядом с обводнением не шло осушение, рядом с ирригацией — мелиорация. Вместе с оросительной системой должна развиваться строго продуманная система водопонижающих устройств.

Петр Иванович начертил в моем блокноте несколько схем: горизонтальный дренаж из уложенных на разной глубине керамических труб-фильтров. Дренаж вертикальный — трубчатые колодцы с насосами; водосборные устройства, отстойники (дренажные воды после очистки могут быть использованы и для орошения)...

Из того, что он рассказывал, становилось ясно, как многосложна задача в масштабе миллиона гектаров. Но только там, в Голодной степи, можно было воочию увидеть и до конца прочувствовать размах работы. Размах, потребовавший не только воли, самостоятельности, труда, но и первоклассной технической вооруженности.

Первый декрет о начале работ по орошению Голодной степи был подписан

Лениным в 1918 году. Потребовалось четыре десятилетия, чтобы создать условия для генерального наступления. Четыре десятилетия, вобравшие в себя все, чем жила страна и что укладывается в два привычных слова: индустриализация, электрификация.

Несколько «сухих» цифр из программы, начатой в 1958 году; земляные работы — пятьсот миллионов кубометров (втрое больше, чем на Волго-Доне); бетон и железобетон — пятнадцать миллионов кубометров (в сорок раз больше, чем на Волго-Доне); жилье и культурно-бытовые сооружения — два миллиона квадратных метров.

С программой такого размаха пришли сюда люди, раскинувшие палатки на юго-восточном краю Голодной степи, в нескольких километрах от станции Урсатьевской. На карте землеустроительной экспедиции это место было обнесено зелеными точками и обозначено надписью: «Административно-производственный центр». Люди, пришедшие строить, дали будущему городу имя: Янги-Ер — Новая Земля.

В двухэтажном здании «Главголодностепстрой» пахнет акацией и степными травами. Окна распахнуты. Тихо. Немноголюдно. Трудно представить, что это штаб гигантской стройки. Впрочем, не только стройки.

«Главголодностепстрой» — удивительная организация, занимающаяся всем начиная с рывка каналов и кончая кроватками для детских яслей.

«Главголодностепстрой» — это дороги, проложенные в дикой пустыне (более шестисот километров за три года), ремонтно-механические заводы и заводы железобетонных изделий, гравийные карьеры, линии электропередач.

«Главголодностепстрой» — это питьевая вода (родниковая, из предгорий — в степь), школа-интернат, клуб, сквер с цветами, кинотеатр, чайхана с шкварчащими шашлыками.

«Главголодностепстрой» — это бульдозеры, скреперы, шагающие экскаваторы, заводы гончарных труб, дренаукладчики собственной конструкции, телевизионная мачта, поднимающаяся в Янги-Ере. И, кроме всего прочего, еще хлопковые сеялки, двинувшиеся нынешней весной по степной целине.

Вот что, пожалуй, всего особеннее и любопытнее: здесь не только строят, но и осваивают. Начальник «Главголодностепстрой» Саркисов утверждает, что к концу строительства Голодной степи вложенные сотни миллионов будут с лихвой окуплены хлопком, виноградом, шерстью, шелковичными коконами — всем тем, что должна дать новая земля.

Акоп Абрамович Саркисов не новичок в этих краях. Двенадцать лет назад он закончил строительство Фархадского гидротехнического узла (без которого, к слову, нельзя было бы двинуться в теперешнее наступление). Придет время, закончит свою миссию и «Главголодностепстрой». Что будет делать тогда Саркисов?

(Мне рассказывали о Петре Ивановиче Калижиюке, известном гидростроителе, вышедшем было на пенсию. Когда принималось решение о строительстве Нурекской ГЭС, он сказал: «Дайте-ка мне построить еще одну...»)

С Акопом Абрамовичем Саркисовым я виделся всего один раз. (В кабинете за столом сидел смуглый коренастый человек лет пятидесяти, чисто выбритый, в свежей белой рубашке; секретарша внесла пивало с изюмом и чищенными орехами. Входили и рассаживались люди — на четыре часа дня назначено было совещание.) Мы перекинулись несколькими словами; мне казалось, что я знаю этого человека давно — быть может, потому, что много о нем рассказывали, а может быть, и оттого, что так понятен был характер: человек масштаба, размаха и даже азарта, для которого сознание «я это сделал, я создал это, несмотря ни на что» является главной пружиной жизни.

Мы пришли к Саркисову с Сергеем Артемовичем Харатовым, шестидесятидвухлетним экономистом, начальником отдела перспективного планирования «Главголодностепстрой». К голой стене его по-холостяцки пустынной комнаты в Янги-Ере прикреплена фотография внучки (войдя в эту комнату, я почему-то вспомнил фронттовую историю об одном генерале, которого недолюбливали, а кое-кто и терпеть не мог за то, что тот возил за собой мирный уют: две разборные кровати с матрацами, хорошую посуду, жену).

Командный состав Голодной степи живет без «мирного уюта», по-фронттовому. У одних семьи в Ташкенте, у других — в Москве или еще где-нибудь. Такую жизнь не

назовешь сладкой. Никто, однако, не хотел бы сознавать себя дезертиром. Из действующей армии не уходят.

Сергей Артемович по субботам уезжает в Ташкент. Вернувшись к началу рабочего дня в понедельник, он походя жалуется на сердце и рассказывает о внучке. С внучки разговор как-то незаметно переключается на дела голодностепские: о том и другом Сергей Артемович может говорить очень долго. Закончив рассказ о Голодной степи вчерашней, сегодняшней и будущей, он просит записать ташкентский адрес — «загляните, если к субботе окажетесь; внучка — прелессть»... Затем звонит в гараж, чтобы устроить меня на попутную машину — в Голодную степь.

Семьдесят пять километров по дороге, вдоль рыжей насыпи канала — и то и другое три года назад существовало лишь на проектных схемах в виде линий красной тушью (канал — одна жирная, дорога — две гонкне). Шестой совхоз был отмечен красным флажком.

Таких флажков на генеральной схеме много — тридцать четыре; каждый обозначает центральную усадьбу. Впрочем, я выражаюсь не совсем верно. Привычное по отношению к совхозам выражение «центральная усадьба» здесь не имеет реального смысла: совхозы в Голодной степи строятся без отделений.

Человеку, малосведущему в совхозных делах, это обстоятельство может показаться несущественным. Строителям Голодной степи решение досталось не так-то легко. «Ближе к производству, ближе к полям!» — зывали сторонники отделений. Другие возражали: будем возить людей на работу, пустим автобусные линии, все что хотим, но давайте строить не каменные кишлаки, не разбросанные хутора, а современные маленькие города в степи, где люди могли бы жить, как должно жить человеку.

Когда Сергей Артемович Харатов рассказывал мне о ваннных комнатах в совхозных домах, я, признаться, поскреб в затылке: поглядим, посмотрим... Вернувшись, я хотел было поправить старика: не ваннные, а душевые. И раздумал.

Хотелось бы не удивляться (подумаешь, душевая, а хоть бы и ванная, что ж такого), а не удивляться нельзя. Там, где строят шестой совхоз, я видел лиловый ирис, расцветший в парке, еще не дающем тени, но уже существующем. Ясень, тополь, таджикская сосна, акация — все это еще только приживалось, деревья ловили корнями каждую каплю влаги; двадцатидвухлетняя девушка-архитектор возмущалась: «Не поливают, черти, загубят посадку...» А затем бросилась к цветку: «Смотрите, первый...»

За посадкой красили набело летний кинотеатр. Сразу же за кинотеатром простиралась до горизонта непаханая рыжая целина.

В совхозах ставят дома преимущественно двухэтажные, с «вертикальным» расположением квартир. Начинили с кирпичных, теперь переходят на сборные из силикальцита.

Это новый экономичный материал, предложенный эстонским инженером Йоханнесом Хинтом. Принципиальная идея та же, что у буровского свама: повышение прочности путем управляемого воздействия на молекулярную структуру.

Силикальцитные блоки, к сожалению, не всегда получаются такими, какими бы их хотелось видеть.

Два таллинских инженера, Ио и Луук, светловолосые, голубоглазые, докрасна ошпаренные азиатским солнцем, разводили руками, показывая блоки перекошенные, покрытые глубокими раковинами, блоки с трещинами, с отбитыми углами, блоки ослабленной прочности, крошащиеся под рукой. «У нас в Эстонии это делают куда лучше...»

Ребята приехали инструктировать, меняться опытом. Они приехали из республики, где существует прекрасный обычай: когда там заканчивают дом, к гребню крыши прибавляют шест с зеленым венком, украшенным лентами. Это древний обычай: когда-то венки с лентами — знак торжества, знак праздника — развеивались над вывершенной крестьянской избой, теперь они вьются над сборными многоэтажными домами. Хорошо, если бы эта чудесная традиция была перенята и другими республиками, если бы окончание нового дома было действительно праздником для всех — и для новоселов и для мастеров-строителей.

Но как бы там ни было — с венком или без венка, с помощью спасительного лотика или без — дома в Голодной степи поднимаются: двухэтажные, с центральным отоплением, оборудованные кухнями, канализацией, с душевыми кабинками в каждой квартире. Из Заамина в степь протянут крупнейший в республике водопровод (шестьдесят километров). Здесь никогда не станут пить мутную арычную воду (кроме того, водопровод несет еще одно благо: можно на полгода отключать оросительную систему, что заметно уменьшит подпитывание грунтовых вод).

В шестом совхозе заканчивают клуб (правда, с обязательными псевдокоринфскими колоннами в зале). В степи строят школы-интернаты (в каждом совхозе на пятьсот двадцать учащихся). Строят ясли, детсады, больницы, бани, магазины. Тянут линии электропередач. Закладывают дренажную сеть. Сажают деревья. Заканчивают Чардаринское водохранилище и начинают еще одно — Карасуйское на реке Нарын, огромное, на двенадцать с половиной миллионов кубометров. В Беговате, рядом с пущенным в ход кирпичным заводом, строят завод виброкирпичных панелей (нельзя ведь при таком размахе собирать дома «по кирпичику»). Там же введена в действие первая очередь завода гончарных дренажных труб. В Джизаке расширяют домостроительный комбинат, в Мирзачуле — ремонтно-механический завод...

Огромный фронт наступления не охватишь взглядом: по вечерам в одной из комнат двухэтажного здания «Главголднестепстроя» голоса, искаженные радиотелефоном, сообщают дежурному диспетчеру цифры — итог еще одного трудового дня.

А степь, едва отъедешь от строящегося совхоза, величественно пустынна. Только всплывают гелиосигналами ветровые стекла идущих навстречу машин да тянется вдаль рыжая насыпь у борта канала. Со временем тут посадят деревья и проложенная шагающими гигантами река потечет между тройными шеренгами ясеней, талов, акаций. А по сторонам лягут хлопковые поля, фруктовые сады, виноградники, пастбища, тугые роши.

Шофер включает приемник. Женский голос поет на узбекском языке «Искушение» Глинки, затем на русском Чайковского — «Забудь так скоро...». Дорога блестит под солнцем, стелется под колеса. От канала к горизонту убегают траншея с уложенными бетонными кольцами закрытого трубопровода. Чуть подальше в степь уползает нечто длинное, серое, прямое, на невысоких, в полроста, опорах — странная нескончаемая тысяченожка. Это — новшество, канал, приподнятый над землей, смонтированный из бетонных лотков; оросительная вода будет подаваться отсюда на поля с помощью гибких дырчатых рукавов из полиэтилена. Вот что пришло на смену продолбленному кетменем арыку.

Мы возвращаемся в Янги-Ер. Уже видна телевизионная мачта и белеющие среди деревьев дома. В школе-интернате закончились уроки: ребята лезут через кирпичную ограду, чтобы искупаться в канале, ускользнув от бдительного ока учителей.

В Ташкенте Надежда Михайловна Трохова показала мне фотографию: выжженная степь, одинокий верблюд, сухие кустики перекати-поля. «Вот место, где построен Янги-Ер», — сказала она. Следовало бы удивиться. Но мы как-то разучаемся удивляться. Была пустыня, пришли люди с палатками, построили город: ну и что же? Не такие виды-вали...

Пурга или зной, грязь, пылица, стужа, пальцы примерзают к железу, нет пресной воды, свежих овощей, бани, а люди преодолевают, строят, побеждают...

Памятной весной 1954 года я видел заснеженную степь у Тобола, километрах в шестидесяти от Кустаная, там не было даже палаток. В мае 1957 года я ходил по незамощенным еще улицам города Рудного с начальником «Соколоврудстроя» — мы толковали об архитектуре.

Я мог бы высказаться и об архитектуре Янги-Ера (как грустно и странно, что ни один из крупных наших архитекторов не взял на себя честь построить от начала до конца новый город, а ведь об этом зодчие прошлых веков могли только мечтать!). Я мог бы сказать (и скажу еще) о выборе места, об «урсатьевском ветре» (Янги-Ер поставлен в устье Ферганской долины, откуда тянет, как из аэродинамической трубы).

Скажу и о так называемых «градообразующих факторах» и «волевых решениях» (закладывали город на двести тысяч жителей без всяких на то оснований; в Янги-Ере теперь живет семнадцать, а будет не более шестидесяти).

Но прежде хочу рассказать о парне, сидевшем в янги-ерском сквере на скамье в тени молодого ясеня. Он присел, чтобы свернуть козью ножку (давно не видел, как это делается,— фунтик граммов этак на десять сгибают и раскуривают, опустив коленцем вниз). Затянувшись, парень выпустил пахучую струю дыма, задумчиво поглядел вокруг и произнес:

— В данную минуту хорошо, вот ведь в чем штука..

Сказано было как бы ни с того ни с сего, но точно и очень верно

Слова парня относились к скверу (а вернее, небольшому парку), разбитому не так давно, но уже густо зазеленевшему, с цветущими на клумбах ирисами и маргаритками, с чистыми дорожками, свежоокрашенными скамьями и забетонированной танцплощадкой.

Что говорить, строители Янги-Ера могли бы еще годик-другой повременить с такой роскошью, есть в Голодной степи дела поважнее. Но вот ведь — не повременили!..

Строить лучше будущее так, чтобы людям и в данную минуту жилось хорошо,— искусство, постигнутое далеко не всюду. Янги-Ер был для меня первым новостроящимся городом без острой нужды в жилье, без «временок», без куч строительного и всякого прочего мусора во дворах, без очередей в магазин или баню, без окостенелых колдобин и рытвин на улицах

Город выглядит уютно (зелень!). Дома не бог весть как красивы, но чисты; строят здесь куда добросовестнее, чем в Самарканде или Ташкенте.

Парень с козьей ножкой, как видно, признал во мне приезжего и счел нужным заверить, что живет здесь «чуть не с первого колышка» и что всего каких-нибудь три года назад тут, «вот на этом самом месте», была голая степь. Докурив, он отправился в чайхану есть шурпу и шашлык. На скамью напротив присели отдохнуть и поболтать три девушки, похожие одна на другую и на всех других девчат-строителей: заляпанные известкой комбинезоны и низко, к самым бровям, надвинутые косынки, чтобы уберечь хоть лоб. Бронзовый загар тут не в цене: когда хотят сказать «красивая», произносят «белая»...

Докурил свою папиросу и я. Солнце палило, но в сквере было не жарко, как и по пути к Дому приезжих, в тени цветущих акаций, стоящих плотными рядами вдоль прорытого, но еще не заполненного водой уличного арыка.

Чем бы ни разнились новые города, какие бы ни разделяли их расстояния, повсюду ранним утром звучат школьные звонки. Вспоминаю поселок Комсомольский в Казахстане, где жил чегыре года назад, я прежде всего вижу первоклассников и первоклассниц, чинно несущих свои портфели, перебирающихся через колдобины и рытвины незамощенных улиц — там, где вчера еще была «степь да степь».

В Янги-Ере я побывал в детских яслях, только что построенных. Двухлетние уроженцы новой земли шумно развлекались, когда я вошел в чистую и светлую комнату игр. Только один сидел в углу на креслице и горько плакал. «Новенький,— сказала няня, утирая ему нос.— Ничего, обвыкнется». Другие уставились на меня, смущенные появлением постороннего. Воцарилась неловкая тишина. И вдруг одна, чернявая, подошла, показывая тряпичную куклу. Не знаю, что, собственно, хотелось ей выразить, раскосые глазенки глядели весьма серьезно. За ней подошел сопящий рыжий карапуз и дал мне поддержать колесико. Я поддержал в знак дружбы. Затем стали подходить и другие. Мне совали грузовые автомобили, деревянные шарики, заводных обезьянок, пластмассового Буратино, разрозненные кубики. Девочка в мелких льняных кудряшках принесла полстраницы из «Мойдодыра». Все делалось молча; впрочем, слова были бы тут ни к чему.

«Будем строить города для людей, или еще лучше, для детей»,— писал Андрей Константинович Буров. Я ушел, унося в памяти взгляды глаз раскосых и круглых, серых, черных, карих, зеленых, голубых... Строить для детей — вот глубокая и верная мысль; там, где будет хорошо нашим детям, там наверняка хорошо будет и нам.

Вечер. В небе висит желтая, как ломоть спелой дыни, луна. Из степи доносятся странные звуки — цикады, что ли? Оказывается, лягушки.

Речные квакушки в Голодной степи... Это так же удивительно, как застывшие силуэты трех мальчишек, удящих в канале рыбу. Удивительна и река, сотворенная человеческим разумом, самая юная в мире

Южный Голодноостепский канал начат в 1959 году. Девять шагающих экскаваторов и несколько обычных протянули его в глубь степи на девяносто два километра. Со временем общая длина достигнет ста двадцати шести.

Я взобрался на откос насыпи, пока еще бугристый и голый. Степная река чуть светилась под луной, широкая и недвижная. В Янги-Ере зажглись вечерние огни. Где-то далеко шли две автомашины — столбы голубоватого света пружинисто качались над горизонтом. В ресторане люди пили теплое пиво. Это, пожалуй, самый необычный ресторан из всех, какие я знаю; он стоит на северо-восточном краю Янги-Ера, в каких-нибудь десяти шагах от канала, фасадом к глинистому откосу. За рестораном нет уже ничего, кроме вечерней степи и уходящей строго на восток чуть серебрищейся водной ленты.

Я пошел туда, в сторону Баяута и Сыр-Дарьи. Впервые за многие дни я оказался наедине с собой; мне хотелось подумать спокойно, без блокнота и авторучки.

Шагая вдоль канала, я перебирал в памяти увиденное. Мне хотелось уяснить, что именно так впечатляет в Голодной степи — гораздо больше, чем в других местах, где я побывал за последние годы.

Масштабы? Цифры? Пространство? Я загодя знал, что размах работ здесь больше, чем на всех известных до сих пор гидротехнических стройках (Суэц, Панама, Беломор, Волго-Дон). Я знал, что здесь будет производиться хлопка больше, чем в Египте, Иране и Пакистане, вместе взятых (свыше полутора миллионов тонн ежегодно). Знал я и то, что здесь работают свыше тысячи инженеров, конструкторов, изыскателей, и что тут будет построено более сотни совхозов-городов (четыре миллиона квадратных метров жилья), и что объем земляных работ составит в конечном счете почти миллиард кубов.

Мои блокноты пестрели самыми внушительными цифрами, но вот беда — нас более не поражают ни миллионы, ни миллиарды.

Нет, дело, как видно, не только в размахе и многозначных числах, хоть нельзя и не обрадоваться, когда слышишь (и веришь), что два с половиной миллиарда народных денег будут окуплены уже к концу строительства первой очереди. Я сидел в диспетчерской, когда была принята сводка о последних из двенадцати тысяч гектаров, засеянных на землях строящихся совхозов. Никто не планировал «сверху» этот посев, тут была воля самих строителей. «Крупная игра» Саркисова, где единственным личным выигрышем было бы сознание: «Я это сделал, я добился этого», — а в случае проигрыша... Впрочем, о проигрыше некогда было думать: все решала вода, ее надо дать на засеянные поля в ближайшие семь — десять дней.

Двенадцать тысяч засеянных «на пробу» гектаров... Сергей Артемович Харатов назвал Голодную степь гигантской лабораторией. Здесь испытывают новые способы ирригации (лотки, облицованные каналы, полиэтиленовые пленки, переносные трубопроводы, гибкие шланги, сифонные трубки). Здесь ставят опыты по раскислению почв и по использованию дренажных вод для орошения. Здесь автоматизируют управление скважинами. Здесь объявили войну нахрапу. Здесь делают все, чтобы не повторялась история баяутского массива, где угодливые деятели из научно-технического совета согласились в 1947 году «подрезать» средства на мелиорацию ради парадной экономии, а тысячи гектаров за каких-нибудь семь-восемь лет «поплыли», превратились в болото, и теперь приходится затрачивать огромные средства на осушение.

Нет, строители Голодной степи не могут допустить такого; они пришли, чтобы навсегда исключить случайность, чтобы сделать природу разумно управляемой. Вот тут-то и кроется главное (обращаясь не к блокноту, а к зрительной памяти, я прежде всего вспоминаю бетонную тысяченожку, уходящую в степь).

При современных возможностях статистики нетрудно, я думаю, подсчитать материальные потери, причиненные неурожайным годом. Но все кибернетические машины мира бессильны окажутся измерить ущерб, нанесенный недородом душевному строю одного какого-нибудь человека, а тем более душевному строю коллектива, человеческим взаимоотношениям вообще.

Долгая история человеческого развития есть в конечном счете история овладения силами природы; парадоксально то, что наименьшие успехи достигнуты на самом древнем участке битвы — на земледельческом поле.

Голодная степь связывает крепким узлом земли грех советских республик — Узбекской, Таджикской и Казахской. Значительность этого факта не только в символическом олицетворении дружбы. Важно и другое: именно в Азии, той части света, само название которой было синонимом отсталости, возникает огромный массив управляемой природы, рождается действительно новая земля — прообраз земледелия будущего.

В шестом совхозе стоят ряды зеленых вагончиков — там живут строители; скоро вагончики переедут на другую стройку. В Голодной степи не будет «временок», барачков. Там не будет и многого другого: саманных кибитков, глиняных тандыров, дувалов, мечетей, шумных базаров. Вряд ли кто-нибудь пожалеет об этом.

6

Мне предстояло еще раз оценить правомерность эпитета «новый» — я условился встретиться в Новом Ангрене с Александром Николаевичем Зотовым.

Две недели назад в отдел планировки и застройки «Узбекгосстроя» вошел высокий человек в светлом костюме. Держась прямо, он прошел к столу начальника отдела, поздоровался; на какую-то долю секунды рука с шляпой застыла в воздухе — куда положить? Только по характерности движения (рука осторожно опустила шляпу на стол, лица я еще не видел) можно было догадаться, что человек слеп.

Спустя минуту я увидел и лицо и обтянутую темно-синим чехлом культю левой руки и понял, что это и есть архитектор Зотов, о котором мне уже говорили.

Когда я впоследствии рассказывал об этом человеке друзьям, то почти все пытались услышанное: «Да тут ведь готовый роман или повесть!» Бывают, однако, случаи, когда простое изложение фактов уместней повести или романа.

Александр Николаевич Зотов окончил в 1937 году архитектурное отделение Ташкентского политехнического института. В ноябре 1941 года он был тяжело ранен под Москвой, более шести месяцев провел в госпиталях и вернулся домой, потеряв оба глаза и кисть левой руки.

Академик Филатов, чья клиника была эвакуирована в Ташкент, посоветовал ему сменить профессию, стать лектором. Зотов отказался. Он решил остаться, как и был, архитектором — и не только остался, но и стал одним из самых дельных и знающих (если не самым дельным и знающим) среди архитекторов-планировщиков Узбекистана. В настоящее время он руководит отделом районных планировок «Узгоспроекта» и, кроме того, строит (с первой линии на первом чертеже) город угольщиков — Новый Ангрэн.

Я намеренно опускаю подробности, хоть и мог бы рассказать немало: о взрыве мины, ослепившей двадцатисемилетнего лейтенанта, о скитаниях по госпиталям, об угрозе глухоты, о минутах отчаяния, о воле к жизни. Я опускаю это не только из нежелания описывать то, чего сам не видел, и не только из уважения к этому человеку (никакие слова не передадут ни меры его страданий, ни трудностей победы над несчастьем). Есть еще одна причина, возможно наиболее существенная: познавась с Зотовым ближе, я понял, что встреча с ним была бы ничуть не менее интересной и важной для меня, если бы он оказался зрячим.

Впоследствии я не раз ловил себя на том, что забываю о слепоте Зотова, разговаривая с ним, я не только пользовался жестами, но и, случалось, говорит «посмотрите». Я заметил, что точно так же ведут себя и его сотрудники; никого это не смущает.

Я имел немало случаев убедиться, что Зотов многое видит лучше других. Когда надо было обойти стоящий на пути предмет или перешагнуть канаву на стройке, ему подавали руку. Когда требовалось преодолеть неясность в проекте, обращались за решением к нему.

В Ташкенте он однажды сказал мне: «Если хотите увидеть два неплохо построенных здания, пройдите пешком по улице Навои до набережной Анхора. Там на углу стоит дом с башенкой и нелепым кукишем. А вот следующие два, ей-богу же, неплохие, что-то в них найдено».

Я послушался и пошел. Над угловым зданием торчал нелепый кукиш, два соседних дома оказались действительно хорошими — простой формы, добротные, с тенистыми глубокими лоджиями. Построены они были недавно, Зотов никогда их не видел.

Можно было бы привести еще несколько труднообъяснимых примеров («Слепой архитектор? Как хочешь, брат,— непонятно»). Поразительнее всего была, однако, зотовская улыбка. Казалось, она никогда не покидает его лица, округлого, в синих пороховых отметинах, с крепким подбородком и глубокими темными ямами на месте глаз (может ли так снять улыбка без их живого блеска?).

Только раз я видел Зотова неулыбающимся. Он был один в комнате, сидел, задувшись, потирая кулечей левой руки высокий лоб, прорезанный наискосок тонким шрамом и тоже окропленный пороховыми отметинами.

О том, что я вижу его в ту минуту, он не знал.

Итак, мы условились встретиться с Зотовым в Новом Ангрене. Я разыскал его в строящемся квартале и провел остаток дня с ним, тремя сопровождавшими его сотрудниками и главным инженером Новоангреного стройуправления. Александр Николаевич приезжает в Новый Ангрэн примерно раз в месяц посмотреть, как идет стройка. Для меня это был, пожалуй, лучший способ познакомиться с городом.

Увидев издали Зотова и других у строящегося дома, я замедлил шаг и остановился за углом (да простится человеку пишущему такой грех!). Александр Николаевич стоял, держа ладонь на выступе цоколя, и спрашивал у главного инженера, почему цоколь так высок. «Ведь у нас по проекту один двадцать, не правда ли?»

Когда затем Зотов, переходя от дома к дому, вникал во всякую малозаметную даже для зрячего частность, я раз за разом убеждался, что это не наигрыш, не рисовка — пусть в самой малой мере, — а попросту единственный способ жить.

Нашував ногой ступеньку, он спустился в подвал готового к сдаче трехэтажного дома, чтобы показать мне устроенные по его предложению кладовые: «Посмотрите, простая вещь, и недорого, а удобство неоценимое». Действительно, было просто и недорого, требовалось лишь настойчивое желание сделать, чтобы людям было удобно.

Поднявшись наверх, он повернулся в сторону школьного здания, стоявшего у подножия гор, замыкая перспективу широкой улицы. «Красиво?»

Было действительно красиво. Какая же сила воображения, какое «внутреннее видение» нужно для того, чтобы знать, как рисуется это светлое школьное здание на фоне поросшего арчой дымчато-зеленого Чаткальского хребта с его снеговыми вершинами, чтобы держать в памяти не только это здание, но и весь город, каждую его улицу и каждый дом, уже построенный или только строящийся?

Активное желание лишнего простых радостей человека нести добро и радость другим само по себе удивительно. Понадобилось еще несколько времени, чтобы понять, что именно в этом таился секрет победы Зотова над собственным несчастьем.

Новый Ангрэн расположен исключительно удачно — на ровном плато, в полукольце двух горных хребтов: Чаткальского и Кураминского. Их белеющие вечным снегом вершины видны здесь отовсюду, в перспективе едва ли не каждой улицы; уже одно это придает городу особенный колорит. Но, кроме чисто зрительного эффекта (что само по себе немаловажно), близость гор благотворно сказывается и на климатических условиях. Около девятисот метров над уровнем моря, чистый воздух. Первую половину дня ветер дует из долины, к вечеру — с гор; термометр всегда показывает здесь на пять-шесть градусов меньше, чем в Ташкенте. Нет пыли и степных суховея.

Это место досталось городу не без боя. «Средазгипрошахт» твердо желал устроить здесь отвалы вскрышной породы с ангренского углеразреза, а город предлагал отнестись на пятнадцать—двадцать километров, с плато на более сложный рельеф.

Зотову пришлось драться за удобства людей против удобства чиновников. Пришлось доказывать, что разумнее отвезти на десять километров дальше породу, чем ежедневно мытарить долгой дорогой горняков, едущих на работу и с работы. Пришлось пойти на риск, спроектировав первые три квартала будущего города, когда генплан еще не был утвержден в инстанциях. Пришлось наслушаться всякого: «Да ты не упорствуй, бумагу не жалко, можно и выкинуть. Ну, сделаешь по-другому...»

И все же упорствовал и добился — ценою года борьбы. Теперь улыбается: «Место ведь какое! А насчет породы — особый разговор, я с самого начала предлагал селективную (раздельную) разработку, там под галечником известняки, каолины — богатство...»

У Зотова редкостное умение рассказывать, он начинен знаниями и одарен способностью делать эти знания доступными. Затронув тему, он развивает ее логически, разумность устройства жизни — его пристрастие.

Об известняках и каолинах ангренского углеразреза он говорит, как о сокровищах Аладдиновой пещеры. Условясь съездить завтра на разрез («Увидите все воочию!»), мы возвращаемся к Новому Ангрени. Александр Николаевич попутно рассказывает, как выбирали место для Янги-Ера. Типичный пример «волевого решения». Стоило отнестись город на несколько километров в сторону, и не было бы «урсатьевского ветра», дню и ночью обдувающего Янги-Ер горячей пылью. Можно было избежать и других дорогостоящих неприятностей: на месте, выбранном для строительства, грунтовые воды стоят особенно высоко, приходится вкладывать большие средства в дренаж. Почва там настолько загипсована (минеральные соли), что поначалу в порошок разъедало бетонные фундаменты (теперь инженеры «Главголотностепстроя» придумали изолирующую смазку, смесь битума с лигроином; и все же фундаменты под угрозой).

«Волевым» было и решение заложить город на двести тысяч населения. Такой размах казался соответствующим размаху самой идеи — окзвить Голодную степь. Но, кроме величественных замыслов, нужны еще и «градообразующие факторы»: что станут делать будущие горожане, когда отсюда уйдут строители? Об этом никто как следует не подумал, и вот теперь скребут в затылках — какие предприятия построить, чтобы занять население (уже не двести тысяч, а хотя бы шестьдесят).

Неточность замысла наложила неизгладимый отпечаток. Янги-Ер начинали строить без продуманного генплана, как бы с края, с периферии; теперь город остался без акцентированного центра. Более того, из-за плановых «неувязок» город и вообще-то как бы не существует. История, обратная известному случаю с подпоручиком Киче, но столь же нелепая: город Янги-Ер не значится в «тигульных списках». Это обстоятельство имеет определенные последствия. Как известно, строителям отпускают средства лишь на благоустройство внутренней части застройки (дворы). Улицы благоустраиваются за счет других источников, отпускаемых городскому бюджету по коммунальной линии. А поскольку Янги-Ер в списках строящихся городов не числится, то и денег на коммунальное благоустройство нет. Логично?

Разговор о средствах на благоустройство имеет отношение не только к Янги-Еру. Александр Николаевич рассказывал, что Новому Ангрени отпустили в этом году сорок пять тысяч рублей по линии «внелимитных вложений». Этой суммы досганет, чтобы благоустроить семьсот метров улицы.

Такие диспропорции в планировании приводят не только к тому, что застроенная территория надолго останется неудобной для жизни и непривлекательной. Распыление средств неизбежно влечет за собой распыление ответственности.

В Новом Ангрени вот уже полгода стоит готовый к сдаче родильный дом; строители сделали свое, а другой «титулдержатель» не подключает энергию — нет ассигнований на окончание электросети и еще каких-то устройств.

В строящемся городе средства распределены между чегырьмя-пятью такими «держателями», имеющими собственные планы, взаимно неувязанные. Признаюсь, мне

трудно поверить в логичность такой системы. Мои рассуждения, быть может, покажутся кое-кому примитивными; но как ни верти, а карман-то в конечном счете один, общенародный, и все эти перегородки кажутся мне искусственными, не приносящими пользы делу.

Разумность, логичность устройства жизни — не только личное пристрастие Зотова; это, если можно так выразиться, его прямая специальность. Вот уже около трех лет Александр Николаевич руководит отделом районных планировок «Узгоспроекта».

Впервые услышав название отдела, я было подумал, что речь идет о работе явно второстепенной, о задачах «районного масштаба». Оказалось наоборот: меня подвела привычная, обиходная терминология.

Чтобы внести сразу ясность, скажу, что в понятии «районная планировка» корень «район» означает не административную единицу, а определенную совокупность природно-экономических условий. Планировка же предполагает наиболее разумное использование этих условий на протяжении длительного срока (пятнадцать—двадцать лет).

Нечего говорить о том, насколько сложна и многообразна эта работа. Надо прежде всего определить перспективу развития производительных сил района — в увязке с общими перспективами всей республики. Надо решить, что, где и как строить. А чтобы решить и решить правильно, разумно, надо каждую, пусть небольшую на первый взгляд, проблему повернуть так и этак, рассмотреть ее со всех сторон, как говорится, во всех аспектах.

Казалось бы, все, о чем я толкую, есть не более чем азбучные истины планирования. А между тем нетрудно было бы привести примеры так называемых локальных решений, не увязанных не только с общими перспективами, но даже и с чисто местными условиями.

Когда в 1948 году начали разрабатывать Ангренское угольное месторождение, то рядом с разрезом вырос город, названный социалистическим. Спустя четыре года выяснилось, что под соцгородом — очень близко к поверхности — лежит могучий (мощностью до пятидесяти метров) пласт угля, доступного разработке открытым способом и, следовательно, очень дешевого. Этот сюрприз будет кое-чего стоить: в центре «старого» Ангрена можно увидеть буровые вышки. Город, оконченный постройкой в 1952 году (тридцать семь тысяч населения), придется, хочешь не хочешь, снести с лица земли. Факт, если вдуматься, вопиющий, а все дело в том, что не оконтурили вовремя границы месторождения и не рассмотрели вопрос всесторонне, прежде чем начать стройку.

Из-за отсутствия генеральной перспективы дважды уже переносили русло реки, всякий раз обеспечивая углерезу лишь небольшой фронт работ. Непродуманность обошлась в одном случае в сто, в другом в сто сорок миллионов рублей.

Было время, решили построить в Чимкенте (Казахстан) керамический комбинат на привозном каолине из Ангрена. Теперь ясна неразумность такого решения, но вот беда — решение-то состоялось, «записано», казахи не соглашаются «отдать» комбинат узбекам. В конечном счете здравый смысл берет верх, но... будущий комбинат упорно именуется: «Чимкентский каолиновый завод в Ангрене».

Все это было бы смешно, если бы за смешным не крылось порою очень серьезное.

Вот небольшой диалог (место действия — Маргелан, кабинет директора шелко-ткацкого комбината).

Ткачиха (*двадцатилетняя дивчина из Оренбурга*). Заявление принесла, отпустите с работы, уезжать буду.

Директор. А что случилось? Обидели тебя или дома что не в порядке?

Ткачиха (*помолчав*). Да нет, обиды никакой нету...

Директор. Зарботки у тебя вроде бы неплохие...

Ткачиха. На это не жалуюсь.

Директор. Так в чем же дело? Да ты, милая, говори, в молчанку играть нечего. На все должна иметься своя причина.

Ткачиха (*краснеет, глаза полны слез*). Замуж хочу, можете вы такую причину понять?..

Когда в Маргелане строили комбинат, ставший гордостью республики, никто не подумал, что девушкам, ткущим веселые шелка, нужна будет и своя доля радости. В переводе на трезвый язык планирования это значит, что нельзя строить в небольшом городе крупное предприятие, где преимущественно заняты женщины, а мужчинам делать нечего.

Вот, скажем, строят в Бухаре еще одно «бабье царство» — меланжевый комбинат. Выбрали площадку, проект готов, остановка за малым — нет воды (теперь скребут в затылках — где взять?). А в Алмалыке сооружается медеплавильный завод. Не разумнее ли было бы строить тут и меланж — и не только потому, что проблема воды решается здесь куда проще.

В конечном счете все аспекты планирования сводятся к одному главному аспекту — человеческому. Не люди для заводов, а заводы для людей. С этой простой истиной согласится каждый; но далеко не всегда общедоступные истины прилагаются к повседневной жизни.

Солнце клонилось к закату, когда мы, пообедав, направились в Дом приезжих треста «Узбекуголь». Есть что-то нерушимо общее в этих гостеприимных домах: электроплитка с чайником в коридоре, бачок с водой, тикающие ходики, сиплые «радиоточки» в комнатах, немногословная «хозяйка»...

Не знаю, как кому, а мне здесь приятнее, чем в самых напорокошнейших гостиницах. Сюда не заносит заезжих знаменитостей, все здесь просто. По вечерам сидят в майках, пьют жидкий чай с галетами, «забывают козла» и делятся наболевшим. Услышишь тут всякое — была бы охота слушать...

На этот раз, правда, в доме было пусто; в одной из комнат двое приезжих играли в шахматы, третий — как видно, начальник автобазы — стоял на крыльце с полотенцем на шее и жаловался молчаливой хозяйке: «Не отпускают запчастей, полovina парка раскулаченная стоит...»

Мы расположились в двух смежных комнатах — Зотов, три сопровождавших его инженера и я. Моим соседом оказался инженер-«вертикальщик» (то есть специалист по «вертикальной планировке», а проще говоря, по нивелировке территорий).

Худошавый, рыжеватый, чем-то похожий на молодого Олега Жакова, он относится ко всему с напускным скептицизмом. Всякого рода патетика ему, как видно, чужда, высоких слов он чурается и ограждает себя от них иронической усмешкой. Даже говоря о Зотове, он усмехается, но только поначалу. Кажется, это единственное, о чем он готов говорить в полный серьез.

Однажды я вышел из «Узгоспроекта» с другим сотрудником Зотова, горьковчанином, пять лет назад попавшим в Ташкент. Как видно, ему хотелось поговорить с приезжим человеком; пожаловаться на климат, на то, что никак не может прижиться, на родину тянет. «Отчего же не уезжаете?» — спросил я. «Так вот ведь... — Он пожал плечами. — Зотов...» Пошагав молча, он добавил. «Хоть бы отругал когда-нибудь, и то бы легче. Уехал бы, право уехал, а так... Не могу, поверите?» И улыбнулся виновато, как бы стыдясь своих чувств.

Есть высшая математика общественных отношений, где итогом всеобщих усилий должно явиться благо для всех. А есть и простая арифметика: защитить женщину от пьяного хулигана, перевести старика через улицу, помочь попавшему в беду человеку.

Думая о Зотове, я спрашиваю себя: а что, если бы не оказалось вокруг него тех людей, что окружили его дома, в Ташкенте? Если бы не было отца — молчаливого инженера-путейца, принявшего свое отцовское горе с мужественным достоинством? Если бы не было институтских друзей — Бориса Лешинского и его жены Екатерины Васильевны Кожевниковой, Катюши, как называет ее теперь Зотов? Если бы не было девушки, окончившей в 1943-м десятилетку, девушки с тяжелой русой косой, с чьей красоте слепой лейтенант мог только догадываться (с Галиной Константиновной Зотовой я познакомился дома у Александра Николаевича, но об этом позднее).

О своем отце Александр Николаевич говорит: «Товариш, друг, по всем вопросам привык с ним советоваться». В 1943 году опытный инженер стал обращаться за советами технического характера к сыну.

Вместе с Катюшей Кожевниковой и Борисом Лещинским Зотов учился читать чертежи вслепую. Быть может, решающим днем его жизни был день, когда ему предложили принять участие в экспертизе проекта реконструкции Маргелана. Предложение исходило от наркома коммунального хозяйства Мирходжаева (теперь этот человек руководит управлением водоканализации Ташкента).

«Попробуйте»,— сказал тогда Мирходжаев Зотову. Стоит вдуматься в силу доброго слова.

В ноябре 1945 года из армии вернулся еще один институтский сокурсник Зотова — Анатолий Иванович Белов; с тех пор их привыкли видеть вместе. Если б не стесняться громких слов, можно бы сказать, что Белов посвятил свою жизнь товарищу. Скажу иначе: их столы в «Узгоспроекте» стоят рядом, они приходят на работу вдвоем и вдвоем уходят. Белов сопровождает Зотова повсюду.

Над Антошей (так называет Белова Зотов) охотно подтрунивают; он до сих пор не женат, у него забавные привычки немолодого холостяка. Но Белов не обижается (злиться в зотовском учреждении не принято).

Вот и теперь он отмахивается незлобиво от «вертикальщика», шекочущего ему пятки. Антоша любит вздремнуть после обеда, а Зотов хотел бы подытожить день. Сняв чехол с левой руки и потирая кулечей лоб, он диктует: «В северо-восточном блоке седьмого квартала дорожка проложена на расстоянии девяти метров от дома вместо пяти с половиной по проекту. Записали?»

За окном видна четкая волнистая линия Кураминского хребта. Небо зеленеет, снежные вершины наливаются последней закатной теплотой. Слышны дальние гудки паровозов и звук работающих поршней. Зотов продолжает диктовать: «При кладке цоколя не сделаны проемы для входа в магазин...» Николай Николаевич, инженер-«объемщик», приносит чай. Антоша просыпается к всеобщему злорадному удовольствию. Перечень недоделок отложен. На столе появляются галеты и сахар. Николай Николаевич подвигает стакан Зотову, тот осторожно нащупывает его рукой.

Напившись вместе со всеми, я вышел на крыльцо. Свечерело, вершины погасли; стало прохладно. Лаяли собаки, по-деревенски перекликаясь и подывая.

Собак здесь много, как и решеток на окнах первых этажей. Жить в квартире с зарешеченными окнами не бог весть как приятно; живущие ищут компромисс — делают решетки не накрест, а в виде расходящихся веером лучей.

Но форма формой... Решетка, даже изображающая восходящее солнце, остается решеткой.

Проще всего назвать новый населенный пункт соцгородом. Должны ли, однако, в соцгороде лаять цепные собаки? Этот вопрос не кажется мне ни нарочитым, ни праздным.

Да, верно, в Старом Ангрене есть Дворец культуры с непременными колоннами и нет шахтерских трущоб-«шанхаев». Здесь много зелени, асфальта, и на улицах чисто, есть бани, ресторан, кинотеатр. Кроме того, здесь много собственных (или, как принято говорить, «индивидуальных») домов.

Хорошо это или худо? Мастера диалектических ответов прежде всего заметят, что индивидуальное строительство на определенном этапе помогает решать жилищную проблему. А коль скоро это полезно, то, значит, и хорошо.

Так ли оно в действительности?

В Ташкенте за прошлый год было введено в эксплуатацию сто десять тысяч квадратных метров государственного жилого фонда и семьдесят тысяч индивидуального. Соотношение выразительное. Добавлю, что индивидуальное строительство было обеспечено легальными источниками материалов всего лишь на пятнадцать процентов.

Возникает анекдотический вопрос: откуда были взяты остальные восемьдесят пять процентов? Частичный ответ я нашел в газете «Правда Востока», где 26 февраля текущего года был напечатан фельетон о строителях собственных «теремков»; одним из героев этого фельетона оказался прокурор города Чирчика Березовский, соорудивший себе особняк, мягко говоря, не вполне честным образом.

При такой ситуации трудно, разумеется, требовать строгого соблюдения законности от «прочих смертных».

Но мне хотелось взглянуть на дело не с фельетонной точки зрения, не со стороны уголовного случая, как бы ни разителен был этот случай.

Язва собственности — страшная штука, и дело тут не измеримо ни статьями кодекса, ни гектарами латифундий. Кажется, что прибавишь к чеховскому «Крыжовнику»? Но вот послушайте: «Уродило, понимаете ли, ну просто деревья ломаются. Уж мы и ели, и квасили, и варений наварили, и намариновали, и засушили, и родственников наделили — девать некуда, поверите? Что делать — ума не приложу. На базаре торговать мне как члену партии, знаете ли, не к лицу. Так я взял, да и зарыл в землю пудов десять. Перегнило за зиму, прекрасное удобрение получилось...»

Это не придумано. Под Киевом один из таких садоводов ухитрился подключить свою проволочную ограду к сети высокого напряжения. Оголтелый мешанин желает шагать в ногу с веком. При всем том он готов хоть и сегодня «пить молоко из реки Коммуны».

В «Узбекгосстрое» мне сказали, что в последнее время напор желающих строиться «индивидуальщиков» заметно уменьшился. Я думаю, это объясняется не только бурным ростом жилищного строительства, но еще и какой-то назревшей внутри общества антисобственнической тенденцией, заслуживающей самой активной поддержки.

Александр Николаевич рассказал историю о Владимире Дмитриевиче Лысине

Юрист по образованию, фронтовик, потерявший ногу под Москвой, он был в 1955 году избран председателем ангреноского горисполкома. Год спустя заложили Новый Ангрэн, и этот факт сыграл серьезную роль в жизни Лысина. Строительство нового города необычайно увлекло этого человека. Он стал вникать во всякую мелочь, допоздна просиживал с Зотовым над проектом.

Ходить ему на протезе было трудно, он записался на курсы, научился водить машину. Когда развернулось строительство, он стал появляться на стройплощадке задолго до начала своего рабочего дня. Короче, он, что называется, «жизнь городу отдавал». Он заслужил всеобщее уважение и, как принято говорить, пользовался большим авторитетом. Как раз это обстоятельство и не понравилось секретарю горкома Алексею Григорьевичу Батыгину.

Алексей Григорьевич принадлежал к деятелям той жесткой выучки, для которых главное — нерушимая цифра. Он активно занимался вопросами угледобычи; что же касается города, то здесь его интересовали «показатели» — количество сданных метров жилплощади в процентах к плану, и не более.

Столкновение между столь различными людьми было неизбежно. Когда предгорисполкома заложил в Новом Ангрэне парк, его как следует пропесочили на бюро горкома. «Излишествами занимаешься, — веско сказал Батыгин. — Ты, брат, жилье давай, а без этих штук проживем покамест». «Позвольте, — возражал Лысин, — мы для кого, собственно, строим — для людей или лошадей? Лошадь, она, конечно, и без излишеств проживет — выпряг, и в стойло. А человеку недолго при таких условиях и в магазин за водкой сбегать».

Батыгин, однако, умел настоять на своем и держался своих представлений о твердости руководства. Начатый парк был заброшен (или, если угодно, «законсервирован»). Ташкентский совпархоз, пользуясь этим, срезал ассигнования, и деньги в конечном итоге не пошли ни на парк, ни на жилье.

Стычки антагонистов тем временем продолжались. Батыгин использовал любую возможность, чтобы прижать строптивного председателя, уличить его в отклонениях, невыполнениях и прочем. Кульминация наступила, когда на центральной площади Нового Ангрэна стали строить административное здание. Лысин резонно хотел перенести горисполком в Новый Ангрэн — ведь именно там приходилось решать все, что связано со строительством города и судьбами населения. Его обвинили в «попытке оторваться от партийного руководства», здание отдали под общежитие.

Наконец Батыгин перешел в генеральное наступление, применив испытанные сред-

ства: Лысина для начала уличили в том, что он разрешил зарегистрировать «внебрачного» ребенка.

О необходимости изменить закон, в нарушении которого обвинили Лысина, говорилось много и убедительно, и тем не менее закон существует. В данном случае речь шла о регистрации с согласия (и даже по просьбе) отца, отказавшегося «вступить в законный брак», но притом не желавшего зла ни в чем не повинному ребенку. Лысин поступил, как велела совесть, и был строго наказан.

Вменив еще десяток подобного рода провинностей, с него требовали заявление об уходе, затем густо облили грязью и предоставили отмываться своими силами. Длится эта мука мученическая четыре месяца (ходил без работы, комиссия за комиссией) — и что же? Теперь Владимир Дмитриевич Лысин работает прокурором в Алмадыке и урывает всякий свободный час, чтобы приехать в Новый Ангрен, где он (привожу собственные его слова) «оставил кусок своего сердца».

А твердокаменный Батыгин занесся сверх меры, к тому же спился и канул не так давно в безвестность.

Живому человеческому сердцу горняки Ангрена будут навсегда обязаны тем, что их новый город расположен хорошо и удобно, что дома здесь поставлены не по казенному ранжиру, что есть и кладовые в подвалах, и просторные дворы, и школа-интернат у подножия гор, и родильный дом-дворец, отвоеванный Лысиным. Но здесь все еще не хватает мест в детсадах и яслях, не домошненны улицы, отстает канализация, слабо движется озеленение, нет воды в дворовых арыках... Это — «батыгинское»...

7

Голуби взлетают с треском, похожим на рукоплескания, и рассаживаются на телевизионных антеннах. В красноватых впадинах гор еще стоит голубой дым ночи, а вершины искрятся под утренним солнцем. Мы с Зотовым едем на ангренинский разрез. Антоша с «верткальщиком» остаются в «Углешахтстрое», у них здесь дела; Николай Николаевич, «объемщик», едет с нами. Вот уже пятый год он занимается Новым Ангреном и бывает здесь едва ли не ежемесячно, а на разрезы так и не съездил ни разу; ему хочется и посмотреть и послушать, что будет рассказывать Зотов. Уж он-то наверняка знает, как интересен будет рассказ.

И верно — еще раз мне предстояло удивиться «внутреннему зрению» этого человека. Мы подошли к верхней кромке гигантского амфитеатра восьмидесятиметровой глубины; по дальним уступам ползали крошечные паровозы с думпкаррами. Зотов стал рассказывать о богатствах, лежащих над углем («Видите, первый желтоватый слой — это суглинок, лёсс, ниже галечник, затем — серовато-белое — известняки, а еще ниже — каолины...»). Он говорил о процессе выплавки алюминия, об известняковом шламе, идущем на выработку цемента, о глинежах — подземных горелых лёссах, добавляемых к цементу для защиты от агрессивных солей, — и говорил так, будто видел воочию все, начиная с тех неопишуемо отдаленных времен, когда в клочкотании остывающей магмы рождалось все это, и до будущих (недалеких уже), когда из плавильных печей нового, строящегося в районе Ангрена комбината хлынут потоки легкого нержавеющей металла.

Размах действительно грандиозный! Но вот Александр Николаевич заговорил об ореховой роще в предгорьях Чаткала, где охотился до войны на дикого кабана, — и вдруг видишь, как, в сущности, невелик разрез в сравнении с гегой громадной хребта, поросшего курчавой арчой, с пролысынами розового порфирита и вечным снегом вершин.

Царапина на теле Земли, а какое богатство! Сколько же еще неоткрытого в недрах, нетронутого?

Испокон времен люди прокладывали пути к новым землям — вширь и вдаль. Теперь пора идти за неизведанным ввысь и вглубь, с ясным сознанием единственно достойной цели — сделать жизнь, говоря словами Чехова, «полной, умной и смелой». Потому что из каждой тонны угля, алюминия или цемента может быть извлечена еще и крупица счастья — для человека.

* * *

Среди всех богатств, какими может наделить тебя судьба, есть одно действительно неотъемлемое — впечатления. Навсегда впечатались в память долина Ангрена, дорога, река, петляющая по россыпям порфирита, сочная зеленая пойма, диким пламенем горящие маки на обочинах среди зелени.

Мы ехали правым берегом, нас провожали горы — пять или шесть планов-рядов, ступенчатых от дымчато-зеленого к дымчато-синему, с вершинами, похожими на облака, и облаками, похожими на вершины.

Туда, в затаенные голубым дымом ущелья, уходили розоватыми руслами левобережные притоки Ангрена — Аблакай, Акчасай, Шавласай, а в предгорьях белели под солнцем далекие усадьбы ковхозов, и желтели растянувшиеся кишлаки, и темными свечами стояли ряды туркестанских тополей, казавшихся отсюда невысокими (за топами дымила золотом бегущая по грунтовой дороге машина).

В тутовых рощах женщины обирали с деревьев листья в подвязанные подолы платяев, надетых поверх шаровар, ярко-красных, синих или лиловых. На кукурузных полях зеленели двойные строчки всходов. Пастухи, по-монгольски избоченясь на низкорослых лошадаках, неторопливо гнали стада коров. Вода в квадратах рисовых полей отражала небо. И так было до Ахан-Гарана, где у автобусной станции пахло шашлыком и чебуреками, жарившимися в огромной миске.

Женщина в черном казакине, желтых шароварах и остроносых калошах на босу ногу подошла к окну автобуса и сняла крышку с укутанного чугуна. Горячие манты оставляли во рту вкус курдючного сала, перца и лука — таков был, наверное, их вкус и сто, и двести, и тысячу лет назад, еще тогда, когда сюда пришел первый мастер, чтобы выплавить в тигле первый слиток металла из горных недр. И сама женщина с ее ореховым лицом и светлыми ногтями на темных пальцах будто пришла оттуда, из тех незапамятно далеких времен. Она подносила молча дымящийся горшок к открытым окнам автобуса, и люди брали лоснящиеся жиром манты — старый таджик в белом халате и выцветшей синей чалме, с холеной черной бородкой, и девушка-корейка с подтянутыми припухлыми веками, и другая девушка — волжанка, полногрудая, круглолицая и смешливая, в сером лыжном костюме, одна из многих-многих тысяч девчат, носимых житейскими волнами по всем стройкам и всем концам страны. Она ехала из Ангрена в отпуск домой, на Волгу, почему-то без всякого багажа, с одними только маникюрными ножницами, щелкая ими и грозясь выстричь клоку холеной бородки старика таджика, притворно пугавшегося.

Парень из Воркуты (он нанимался в Ангрена на шахту) вытер залоснившийся рот платком. Он решил не оставаться здесь («Кому где, мне на севере привычнее»). Когда автобус тронулся, он поглядел в окно: женщина в желтых шароварах снова укутывала горшок.

— Лет через десять здесь таких не увидишь, — сказал он задумчиво и усмехнулся.

Пожалуй, он был прав. Я оглянулся, прощаясь с горами. Они уходили назад и влево.

Мне предстояло еще дважды встретиться с Александром Николаевичем Зотовым. Я побывал у него дома на улице Архитекторов. Мы пили чай вчетвером на террасе. Был очень теплый и тихий вечер, пахло табаком и маттиолой, вокруг лампы вились ночные бабочки. Галина Константиновна подкладывала мужу пирог с курагой, шутила («Он у нас сладкоежка»), иногда задумывалась, поправляя тонкой рукой копну золотисто-русых волос.

Шутя она называла Новый Ангрэн любимой женой Зотова и говорила, что с ролью второй жены готова смириться, бог с ним, но как бы Фергана или Бухара не оттеснили ее на третье или четвертое место.

Отец слушал, сдержанно улыбаясь. По вечерам он читает сыну вслух («И представьте, мирный ведь человек, куда уж мирнее, а подавай ему про войну...»).

(Восемнадцать лет назад девушка с длинной русой косой пошла учиться в строительный институт, чтобы помочь «мирному человеку» подняться. Хотелось же ей стать филологом, и она стала им, окончив еще и университет, и теперь преподает язык и литературу в школе.)

Я уходил из дома Зотовых, унося в памяти ее взгляд, то шуточный, то грустный.

Через день я зашел в «Узгоспроект», чтобы проститься. В длинной комнате, уставленной чертежными столами и увешанной картами-схемами, инженеры готовили тэд — технико-экономический доклад, концентрированный абрис разумного будущего республики. Я прошел к столу Зотова, он поднялся навстречу, приветливо улыбаясь (узнал по шагам?), и тут вслед за мной вошли в комнату две женщины.

Как выяснилось из последующего разговора, это были сотрудницы отдела, только что вернувшиеся из Москвы, со всесоюзного семинара по районной планировке. Их встретили шуточно-приветственными возгласами. Зотов стоял улыбаясь, трогая пальцами кромку стола. Он поздоровался с одной и другой. Спросил, как было в Москве, что слышно дома, все ли здоровы; у старшей еще спросил, как сыннишка.

— Да здесь он, — ответила та смущенно, — увязался за мной, соскучился.

— Так отчего же не знакомите? — сказал Зотов.

Только тут я заметил мальчика, затерявшегося между чертежными столами. Это был аккуратно одетый мужчина лет пяти-шести, в курточке и темно-синем берете, с лицом новеньким, будто только что сделанным, румяным и свежим. Пробравшись между столами, он подошел.

— Что ж, давай познакомимся, — сказал Зотов, протянув безошибочно руку на звук замерших шагов. — Тебя как зовут?

Лицо мальчика побледнело, серые глаза под русой подстриженной челкой округлились. Он медленно положил свою ладонь в протянутую навстречу.

— Что ж молчишь? — сказал Зотов улыбаясь. — Звать-то тебя как прикажешь?

— Сережа, — еле слышно прошептал мальчик. Он глядел, не отрываясь, в улыбающееся, изрезанное шрамами, окропленное порохом, светящееся добротой лицо.

Так смотрят, запоминая навсегда — на всю жизнь.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

И. ИЛЬФ

★

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ. ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ

В этом году выходит в свет первое посмертное Собрание сочинений Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Комиссия по литературному наследству писателей, работая над этим изданием, обнаружила некоторые новые материалы, никогда еще не печатавшиеся. К их числу относятся вновь найденные страницы из записных книжек Ильи Ильфа, а также письма из Америки, адресованные жене Марии Николаевне Ильф, публикуемые здесь с небольшими сокращениями.

Новые заметки из записных книжек, относящиеся к разным периодам жизни писателя, чрезвычайно любопытны прежде всего тем, что содержат множество мелочей, позднее вошедших в романы, рассказы и фельетоны Ильфа и Петрова. И пишущая машинка без буквы «е» — будущий инвентарь «конторы по заготовке рогов и копыт», и голый, намыленный человек, предвосхищающий горестную судьбу мужа людоедки Эллочки, и запись «Словарь Шекспира, негра и девицы» — запись, которой предстояло в развернутом виде открывать главу о самой Эллочке, и целый ряд других наблюдений, идей, сюжетных находок, смешных выражений — словом, всего того, что имел в виду Ильф, убеждая своего соавтора все записывать, потому что все проходит, все забывается, — таково содержание этих заметок, представляющих собой как бы простейшие элементы будущих книг.

Любопытны эти заметки и еще в одном отношении. Некоторые из них отмечают собой начало размышлений о виденном, другие служат развитием первых. Сопоставив их, можно проследить процесс постепенной кристаллизации писательских замыслов.

Но, кроме всего сказанного выше, многие из этих на первый взгляд беглых, случайных записей — подлинная литература в самом прямом значении этого слова. Не рассчитанные на читателя, не предназначенные для стороннего взора, они тем не менее представляют собой интереснейшее чтение, эти калейдоскопически сменяющие друг друга, живые, разительно точные, лаконичные и вместе с тем бесконечно красноречивые и законченные картинки с совершенно отчетливым авторским отношением ко всему виденному и пережитому.

Письма из Америки также чрезвычайно интересны. Множеством мелких деталей дополняя книгу о путешествии в Новый Свет, выпущенную Ильфом и Петровым, они полнее и явственнее рисуют облик одного из соавторов. Они иногда грустны, эти письма, даже те из них, где писатель с ненасытным любопытством глядит вокруг, с улыбкой подмечая смешное, уродливое, несообразное. Как мы узнали теперь, Ильф был уже тяжело болен в те месяцы поздней осени и зимы 1935 года, когда вместе с Петровым, мистером Троном и его женой (в «Одноэтажной Америке» они названы Адамсами) проделал длинное, утомительное путешествие через весь континент. Но он забывал обо всем, в том числе и о своем физическом состоянии, когда жадно глядел вокруг, стараясь не пропустить ни одной подробности, чтобы как можно лучше во всем разобраться и как можно более точно обо всем написать.

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

1927—1929 годы

Молодой бравый человек раз в две недели приходил в редакцию и предлагал чепуху в две строки.

Профессор Скончаловский.

Критик Двугорбов и фельетонист Не-Тыква.

Сороконогов.

Государство затаскал по судам.

Колоколамск украшается статуями.

В Колоколамске жил портной Соловейчик, настоящий разбойник.

Человек-ребус говорит: «Эх, идеология заела!»

Человек с перламутровым носом.

«Новый Мир Божий».

Человек, который мог творить чудеса: уборную он перестроил в уютную комнату.

Гражд[анин] Лошадь-Пржевальский.

Серьги раскачивались, тяжелые, как колокола.

...Внезапно стало тихо. Бывает в трамваях такая мертвая минута, когда граждане обдумывают, какую бы еще сказать гадость. И тут одуревший совершенно кондуктор заговорил стихами:

Двиньтесь, граждане, вперед,
Станьте между лавочек!

Но, не сочинив следующих двух строчек, закричал ужасным голосом:

— Получите билеты!

И склочный разговор возобновился с новой силой.

Могила неизвестного частника.

Только у актеров в наше время остались длинные высокопарные титулы.

Лоханкин.

В городе не было кожи. Она вся ушла на портфели.

Не человек, а бурдюк, наполненный горчицей и хреном.

Юбиляру поднесли 9 портфелей.

И пережил несколько тяжелых, поистине трамвайных минут.

Шкаф типа «Гей, славяне».

С песком протереть весь аппарат. «Забрались антисоветские козлы и жрут советскую капусту».

«1001 день, или новая Шехерезада».

Полный набор лит. отмычек.

В машинке нет буквы «е». Ее заменяют буквой «э». И получаются деловые бумаги с кавказским акцентом.

Воробьянинов Ипполит Матвеевич, б. предводитель дворянства, дело-производитель загса города N.

Лев Рубашкин и Ян Скамейкин.

Лицо покрылось от смущения звездами и полосами.

Извозчики ничего не знают о себе, о том, что целый класс общества пишет о них.

Упаковочная контора «Быстроупак».

Бюро похоронных процессий «Нимфа».

Голый, намыленный человек.

Сумасшедший слесарь унес ворота. Хотел строить метро.

Новелла о закрытых дверях.

Стоял на острове св. Елены и через остров Эльбу смотрел на родимую Францию.

...И ключ от квартиры, где деньги лежат.

Профессор поэзии.

В кустах сверкали брильянты.

Люди нашего круга не умирают с голода.

Выдали замуж за налетчика.

Низкий страстный голос унитаза.

Жена нашла пропавшего мужа по раб[коровской] заметке, которая его обхаивала.

Грицацев.

Бюро любовных писем.

Попойников.

Словарь Шекспира, негра и девицы.

Слабый пол доводит примус до безумия, накачивая его так, как ни один мужчина не посмеет.

Во дворе была когда-то скульптурная мастерская. И до сих пор стоит посреди жилтоварищеского дома конная статуя Суворова и пешая какому-то герою 12-го года, а какому — уже нельзя узнать. Видны только баки отечественной войны.

Палата мер и весов. Самая главная палата. Палата мер и весов решила... Палата постановила...

Меерович-Данченко.

Брюки, брошенные на стул, зазвенели, как седло.

Из этого надо сделать соответствующие оргвыводы.

Развѣ вы не видите, что я закусываю!

Страшный сон. Снится Троя и на воротах надпись «Приама нет».

Во сне он увидел самого Кассия Взаимопомощева.

Военный в бешенстве покинул трамвай. Полы его шинели свистели на ходу.

Торговал титулами в пользу детей.

Штемпельное, граверное заведение: Палата № 8. Входа нет. Дежурная няня. Выхода нет. Заперто на обед. Заперто на обед. Заперто на обед. Заперто на обед. Заперто на обед. Заперто на обед.

Изнуренков.

Сон Щукина — «Хамите, медведюля!»

Дым курчавый, как цветная капуста.

Легкий секучий дождь.

Страдальческие крики пароходов.

Железные когти крючников.

Ахают, скрипят, летают качели.

Гостиница «Стоимость».

Извозчик заплакал, тряся синими своими юбками.

Так медлителен, что мог бы жить на Юпитере.

В конторе все Ивановы. Директор боится обвинения в засилии родственников. Предлагает менять фамилии, а одному Иванову не нашлось — выкинули.

Советский служащий, а был в молодости тореадором в Байонне.

Воленс-неволенс, а я вас уволенс.

Филюрин.

На самом же моссельпромщике висел жалобный ящик, чтоб жаловаться на него.

«Как бурлит жизнь? Почему не описывается, как бурлит жизнь?»

1930 год

Никто не спрашивал его о том, что он думает о мещанстве.

Думалкин и Блеялкин.

Собаководельцы — страдалцы. Перед собаками надо унижаться.

— Теперь этого уже не носят. Кто не носит? Где не носят? В Аргентине? В Париже не носят?

Не помню я, чтоб мой отец насаждал дома коллективный быт.

Мы летим в пушечном ядре. Ничего общего со звездами, с холодом сфер.

Хотели выменять граммофон без трубы в деревне, но мужики не взяли. Им нужен был с трубой, с идиотским железным тюльпаном.

Семейство хорьков. Их принимал дуче. Они стояли, как римляне.

Очень были похожи лицами, как ни пытались это скрыть очками, баками. Все варианты одного лица.

«Здесь я читал интересную лекцию. Но до них не дошло — низкий культурный уровень».

Пушечное облако.

Когда в учреждении не вымыты стекла, то уже ничего не произойдет.

Женщина-милиционер прежде всего женщина.

Женщина-милиционер все-таки прежде всего милиционер.

В годовщину свадьбы буду выставлять на бадконе огненные цифры.

В учреждениях человека встречают гнетущим молчанием, как будто самый факт вашего прихода неприятен.

Переезжали два учреждения — одно на место другого. Одно выбросилось со всеми вещами, а другое отказалось выезжать. И оба уже не могли работать.

Чтец-декларатор.

Последнее утешение он хотел найти в снах, но даже сны стали современными и злободневными.

Ходил на заседания покушать.

Белая пароходная комната. Прикрепленная мебель. Быт пароходный, недвижимый, точный.

Самая глубокая из пропастей — финансовая пропасть. В нее можно падать всю жизнь.

Кариатиды в комнате.

Бульвар Молодых Дарований.

Добро пожаловать к нашему шалашу.

Шахматист. Лекция. Внезапно он заявил, что девятка дает больше комбинаций, чем шахматы.

Дождь дробил лысину.

«Наше время молодецкое». Жалобный рев итальянских певцов и синкопа.

«И повар там повар, а не кузнец».

Жил на свете человек с короткими ногами. Он очень от этого страдал. Ему отрезало ноги, и он попросил сделать ему длинные протезы.

Голос певца, которому кидают в шляпу медные пятаки.

Полосатые волосы.

Спецвечер, где человек каялся в своих грехах.

Этой брынзе один шаг до качковала. И этот шаг уже сделан.

Нужна склока. Иначе скучно.

Нисхождение анекдота. В первый раз его приписывают самому высокому человеку в стране, а через день уже говорят просто: «Один еврей».

Дом, где вскрывают корни.

Сумасшедший бухгалтер. «Я помню все авансы».

Самый маленький великан и самый большой карлик.

Я родился между молотом и наковальней.

Кому это нужно? Ни партии, ни рабочему классу.

Женщина-милиционер перед зеркалом. Каска. Ленга. Перо.

Не зная, побил человека, которого обожал и которому поклонялся всю жизнь.

«...и это письмо свое признаю недостаточным...»

Спорит муж с женой о наводнении. «Поднимается вода». — «Нет, падает». Подымается, падает. И жена кинулась в реку.

Королева ландшафта.

Выпьем мы за Смита...

Черные шинели, желтые ремни.

Я странствую по этой лестнице, я скитаюсь по ней.

«Это переучет товаров, по случаю которых магазин закрыт».

Аппетит приходит во время стояния в очереди.

Нарсудья — победитель факиров.

Голенищев-Бутусов.

X. уцелел от взрыва, но ходил с обгорелыми усами.

Встреча с супругами на почтамте. Думая о чистке, они так разволновались, так перепугались, что зашли на почту отдохнуть, посидеть на скамеечке.

Спокойный, тихий, лояльный человек. Оказался сатанистом, членом ордена тамплиеров. Поклонялся черному козлу. Считал, что все от дьявола.

«Она полна противоречий» (романс).

Входит, уходит, смеется, застреливается.

Удар наносится так: «Дорогой Владимир Львович, — бац...».

Твердое, мальчишеское лицо и аккуратный затылок. Пальто-реглан.

Длинные волосы, скороговорка. Узкие глаза.

Матадор. Полная горестей жизнь бывшего матадора.

А она все летала в трамвае мимо дома.

1931 год

Чудный зимний вечер. Пылают розовые фонари. На дрожках и такси подъезжают зрители. Они снимают шубы. Дирижер взмахнет палочкой, и начнется бред.

Этой книге я приписываю значительную часть своего поглупения.

Осенний день в начале сентября, когда детям раздают цветы с цветников.

Надо внести ужас в стан противника.

1933 год

На рейде Стамбула. Мог ли я думать об этом. Ночь. Огни и раскрытая дверь каюты. Гудит вентилятор. Парадный трап. Баркасы, моторки, катера, весь чистый парад морской жизни.

Кафе у марафонских автобусов. Портрет хозяина в твердом воротничке с твердыми усами. И он сам здесь же, красномордый. Усы не такие гордые.

Я писал стихи, тужась и стесняясь.

Официант тоже любит советскую власть. Он нарисовал серп и молот. Опытный Ефимов закончил рисунок.

Шторм. Обещают, что он будет еще больше. Тонкая пыль из Сахары покрывает корабль. Мы пытаемся писать, но ничего из этого не выходит. Шторм не состоялся. Серое море. Серое небо.

Опять улочки, рыбный рынок, спруты, осьминоги, окровавленные рыбы. На улицах варят суп из спрутов. Его пьют из маленьких, почти кофейных чашек. Город огромен.

Фонтаны шумят на площади св. Петра. Полосатые швейцарцы, желтое, черное, красное. Золотая статуя Христа у вокзала. Игра в карты в вагоне, горячая, сварливая.

Что же я видел сегодня? Пантеон, чудо освещения — круглый вырез в куполе; когда там молятся, дождь не попадает в здание, теплый воздух отбивает.

Могила Рафаэля, зеленоватый квадратный гроб в нише. Мраморщики что-то переделывают, может, место для него.

Дерево, обложенное кирпичом, под которым Тассо писал свой «Иерусалим».

Флоренция ночью. Пересекаем Апеннины. Утро, гребни, туманы. Суровое утро, когда надо ехать в шерстяном плаще.

Инсбрук. Катятся тележки продавца газет, сладостей, кухни на колесах, а всего один пассажир.

Когда я пытаюсь восстановить в своей памяти...

Когда я вспоминаю...

Передо мной встает...

1936—1937 годы

Необыкновенно вульгарный человек. Он выражался: «Дайте тую, что ближе»... Или: «Топай, топай кверху...»

Список людей, получающих квартиры.

Список людей, умеющих работать.

Уважают тех, у кого не получается.

Выпьем за тех, у кого получается, и получается хорошо. С Новым годом, с новым счастьем.

Писать надо много и хорошо.

Мальчик-статист кричит со сцены: «Лиза, ты меня видишь? Это я!»

К. говорит, как англичанин, и еще подлизывает клыками.

Мама пошла к старцу, которому два человека подымали брови. От волнения и усталости не слышала его ответа. Снова два дня под солнцем, взятки и подымание бровей.

«Не говорите мне про вещь! Это была вещь. Теперь это уже не вещь. Теперь это водопровод».

В темной гостиной отец «точил голос».

Поплавок из карты в стакане с лампадным маслом.

Витя был очень возмущен тем, что учительница говорила: «До свиданья».

«Кружавчики».

Исписывает книжечку до конца деловыми телеграммами и адресами, а потом выбрасывает, начинает новую.

Разговор с Витей.

— Как ты относишься к еде?

— Презрительно.

— Почему?

— Это мне лишняя работа. Утруждает меня.

Из отчета: «Заметно растет т. Муравицкая».

Вежливость: не снимает шляпы, не здоровается, не уступает места, не уважает женщин, не говорит: пожалуйста, спасибо, будьте любезны, доброе утро, спокойной ночи.

Все морщится. Лоб у же, как у Вольтера. Только не помогает.

Работа в литгазете. Длина критических статей. Пишите короче — вы не Гоголь.

Сюжетность. Она исчезла. Нельзя найти человека, который мог бы написать рассказ. Чего недостаточно? Не хватает места или дарования?

За здоровое гулянье.

«Пуля пробегает по виску». Что она, лошадь? Или клоп?

«Наряду с достижениями есть и недочеты». Это вполне безопасно. Это можно сказать даже о библии. Наряду с блестящими местами есть идеологические срывы, например, автор призывает читателя верить в бога.

Потолстеть скорее чтобы,
Надо есть побольше сдобы.

Нам в издательстве нужен педантизм, рутина, даже бюрократизм, если хотите.

Живут в беспамятстве.

«Пошла в лад калинушка да малинушка». Веселые частюшки.

Нездоровая тяга к культуре.

Не только кормит и поит, но закармливает и спаивает.

Судьба произведения. Естественная судьба: человек пишет — книгу читают. Неестественная судьба: человек пишет — книгу не читают.

Антоша, добрый, в широких штанах.

Корней говорил: «Любитель я разных наций».

Зажим удава.

Говорил с нахальством пророка.

Здесь собралось туч на три сезона.

Он спал на тюфяке, твердом, как корж.

Я уже заранее наполняюсь гневом. Налетит, как буря, молодой идиот и заберет у меня дочь. Он будет ее мучить, лапать. Она будет бояться, но уйдет с ним...

Поцелуй в диафрагму. Он думал, что в самом деле целуют диафрагму.

Он был совершенно испорчен риторикой. Простые слова на него не действовали.

Промчался монгол на лошади, за ним агент, за агентом переводчик. Они возвращались с прогулки в горах. Серого баранчика схватили под брюхо и втащили в автомобиль.

Он стоял во главе могучего отряда дураков.

Если бы Толстой писал так туманно, как П., никогда бы мы не узнали, за кого вышла замуж Наташа Ростова.

«Они могли бы написать лучше». А откуда они знают, что мы могли бы написать лучше!

Жеманство в стихах и статьях. Век жеманства.

Необыкновенно красивая, больная чахоткой девушка. В нее влюблялись. Один заразился и умер. Она пережила всех, умерла после всех.

Эти крики вызывали у него дрожь: «Топенант! Кливер-шкот!»

Арктика в Крыму. Ветросиловая станция. Три зимних месяца она отрезана от Крыма.

«На ваших грудях», — сказали на собрании.

Бронзовый румянец на щеках тети Фани.

— Что вас больше всего на свете волнует? — спросил девушку меланхолический поэт.

Незначительный кустарник под пышным названием «Симфорикарпос».

Если человек мне подходит, я нуждаюсь в нем всегда, каждую минуту.

ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ

4 окт. 35 г.

...сегодня третий день я двигаюсь на «Нормандии». В шторм она еще похожа на пароход, по крайней мере, качает. А в тихую погоду это просто громадная гостиница с роскошным видом на море. Пароходного, в том смысле, как мы привыкли, здесь очень мало. Но так как шторм продолжается с той минуты, когда мы покинули Гавр, то в общем впечатления все-таки морские. Опять меня не укачивает, и я отношусь к этому даже с боязливым удивлением.

Самое удивительное на «Нормандии» это вибрация. Только теперь я знаю, что от вибрации все издает звук. У меня в каюте звучат стены, кровать, шкафы, умывальник, лампочки, полотенца, пуговицы на пальто, носовой платок, живопись на стене. Каждый предмет вибрирует и звучит по-своему. Не удивляйся тому, что мой почерк изменился. Это он вибрирует. Я вибрирую вместе со всеми, и весь этот сумасшедший ансамбль звуков с трудом продирается через довольно злобный океан к Америке.

Вообще удобства здесь громадные, если к вибрации относиться спокойно. Каюта у нас громадная (так как нам везет, то в Париже, когда мы меняли шипскарти на билеты, нам дали каюту не туристскую, а первого класса. Они это делают потому, что сезон уже кончился, чтобы первый класс не пустовал безобразно), обшита светлым деревом, потолок как в метро, роскошный, стоят две широкие деревянные кровати, шкафы, кресла, свой умывальник, душ, уборная. Вообще пароход громаден и очень красив. Но в области искусства явно неблагополучно. Модерн вообще штука немножко противная, а на «Нормандии» это еще усиливается золотом и бездарностью...

4 окт. 35 г.

...сейчас уже вечер, мы где-то посредине дороги, посредине океана. Тепло, темно, налетел очень мягкий дождик. Что-то пассажиры погрустнели, лежат, читают, думают. Вчера лежали почти все, из трехсот пятидесяти человек туристского класса осталось не больше 30 на ногах. Да и у тех как-то странно бегали глаза. Сегодня утихло, но у них еще не прошла душевная опустошенность, вот они и грустят. На «Нормандии» едет группа наших инженеров с радиоконструктором Шориным. Все легли костьми, показались сегодня на минуту и снова укрылись в свои каюты. Один я хожу, безумный адмирал, нечувствительный к морской болезни. Вчера в танцевальном зале было кино. И сегодня тоже. Вчера показывали ужасную дрянь, и сегодня тоже. Кормят здесь отлично, без особенного вдохновения, но очень разнообразно и в количестве, превышающем возможности человеческого желудка. Ем не очень много, в меру, сплю, вообще отдыхаю после беготни по Праге и Вене. В Париже я не бегал.

В салоне для сочинения писем, где я сейчас нахожусь, живопись такая, как в фойе какого-нибудь одесского театра миниатюр в 1911 году. Прямо непонятно. Какие-то маркизы и так странно плохо нарисованные, что, кроме удивления, никаких чувств не вызывают...

В Нью-Йорк мы должны прибыть 7 октября к часу дня. В печатном списке пассажиров я значусь как Mrs (мистрис) Ильф. Это смешно. Еще едут с нами мистер Бутербродт, мистрис Бутербродт и юный мастер Бутербродт. Маршак бы написал про них стихи для детей: «Страшный мистер Бутербродт».

Океан безлюден. Ни одного парохода не видел. Идем мы быстро. Все время заполняем громадные американские анкеты: «Покрыты ли вы струпами?», «Анархист ли вы?», «Не дефективны ли вы?» И так далее...

4 окт. 35.

...О Париже могу сказать, что увидел в нем много, что раньше было менее заметно. И эти черты довольно отвратительны. Однако он красив невероятно. У меня все же такое впечатление, что для многих знакомых художников он уже кончился, как в свое время кончилась для них Одесса. И почти все они хотят ехать в Москву...

Почерк продолжает выбрироваться. Не удивитесь тому, что получите сразу несколько писем. Все они будут написаны на пароходе и отправлены из Нью-Йорка...

Нью-Йорк, 8 октября 1935 г.

...Хотел писать тебе еще вчера, но пристали мы к гавани только в 5 часов вечера, потому были всякого рода формальности, в городе я оказался только вечером, погулял полтора часа и так навпечатлялся, что сил уже не нашлось.

Когда подъезжал к Нью-Йорку и ходил потом по нему, то испытывал чувство гордости, что люди могут воздвигнуть такие громадные здания. Они видны за пятьдесят километров и поднимаются, как столбы дыма.

Сначала мы поселились в старомодном отеле «Принц Джордж», где много добрых негров прислуги, но уже сегодня переехали в большой современный «Шелтон Отель». Живу на 27-м этаже, из окон виден этот отчаянный город... Никакие фотографии представления о нем, конечно, не дают. Боюсь, что о нем даже нельзя рассказать так, чтобы это было понятно...

Нью-Йорк, 11 октября 1935 г.

...Мы купили прекрасную пишущую машинку, и я на ней сейчас пишу медленно и важно. В понедельник мы едем в Вашингтон в полпредство. Нас просили туда приехать на один день. Ехать надо поездом часов пять. Я забыл, что Вы не знаете, когда понедельник, но здесь иначе считают, это будет 14...

Дел и хождения очень много. Вообще хотелось бы посидеть у себя на двадцать седьмом этаже и смотреть на Нью-Йорк, но нет времени. Денег мы еще ни от кого не получили, но, как видно, что-нибудь получим.

...Вчера я был на «родео». Это состязания ковбоев. Езда на диких лошадях, быках, метания лассо, душа Техаса, чтобы сказать коротко. Как-то на пишущей машинке я еще не научился излагать свои впечатления...

Нью-Йорк, 11 октября 1935 года.

...Сейчас вечер, тепло, и в первый раз за все мои дни в Нью-Йорке идет маленький неслышимый дождь. Но даже если бы была гроза с громом и молнией, то и ее было бы не слышно. Город сам гремит и сверкает почище любой бури. Это мучительный город, он заставляет все время смотреть на себя, от этого города глаза болят.

В «Шелтоне» жить удобно. У нас номер из двух комнат, очень чисто, а туалетное помещение стоит, как видно, на вершине возможного в этой области.

Уж скоро месяц с тех пор, как я уехал. Он прошел быстро и не быстро, не знаю даже сам. Стараюсь записывать как можно больше, иначе все вылетит из головы, потом сам не вспомнишь, где был и на что смотрел. Выберу свободный час и напишу Вам какой-нибудь один мой день, подробно. Сейчас немножко устал с непривычки печатать на машинке...

Вашингтон, 13 октября 1935 г.

...Сегодня неожиданно уехал в Вашингтон на день раньше, чем предполагал. Я думал выехать завтра утром поездом, но вдруг наш спутник по «Нормандии», приехавший сюда по делам субтропических растений, предложил нам ехать с ним на автомобиле. Конечно, мы согласились, и я уже здесь. Ехали мы целый день, проехали много маленьких городков и Балтимору. Американская автомобильная дорога замечательна. Все время я смотрел только на нее, хотя сейчас удивительно красивый красный осенний пейзаж. В Вашингтоне я пробуду два дня — и назад в Нью-Йорк. Особенно интересно было ехать вечером, катисься, как на карусели, и все 250 миль дороги (это почти 400 километров), кругом, и позади, и спереди, и навстречу катят автомобили. Какие-то старухи управляют машинами, девочки, все словно сорвались и едут, едут изо всех сил...

Вашингтон, 15 октября 1935 г.

...Вчера осмотрел город и провел весь день у полпреда. Вашингтон тихий парламентский город, где на каждых двух жителей приходится один автомобиль. ...Жителей, кажется, триста тысяч, а автомобилей двести тысяч. Так что пешеходов на тротуарах нет или почти нет. Все едут по мостовой. Был в штате Вирджиния в доме Джорджа Вашингтона, патриархальном американском поместье начала прошлого века. Идиллический пейзаж и тихая громадная река Потомак.

Завтра прием в консульстве, и приглашено двести человек. При моей застенчивости это не бог весть какое удовольствие.

Но это необходимо...

Нью-Йорк, 17 октября 35 г.

...Вчера состоялся прием в консульстве. Было сто двадцать человек критиков, издателей, критикесс, деятелей и особенно деятельниц искусства. Нас здесь знают довольно хорошо и хорошо относятся. Кроме того, был Бурлюк, старый и пьяноватый, но симпатичный. Был и Мамульян, режиссер «Королевы Кристины», которую мы, кажется, вместе видели на кинофестивале. Он поведет нас на негритянскую оперу, которую недавно поставили. Все говорят, что это замечательная работа.

Прием сошел для меня хорошо, и я не очень томился. Порядок такой: консул с женой стоит на площадке лестницы и встречает гостей. Мы стоим позади них, нас знакомят. Гости говорят что-то приятное и удаляются в торжественные залы пить водку и пунш. Потом приходят другие,

тоже что-то говорят и тоже удаляются пуншевать. Потом понемногу начинают уходить. Мы все время стоим на площадке, здороваемся и прощаемся. Уходить нам отсюда нельзя, пока все не уйдут, пить и есть тоже нельзя. Продолжается это три часа. Очень интересные люди и страна тоже.

Сейчас я смотрел «Квадратуру круга»¹, которая идет на Бродвее. Очень старомодный небольшой зал. Человек в цилиндре покупал билет в кассе. Передайте Вале, что первый человек в цилиндре, которого я видел в Нью-Йорке, покупал билет на его пьесу. Перед началом представления пять американцев в фиолетовых косоворотках исполняют русские народные песни на маленьких гитарах и громадной балалайке. Потом подняли занавес. За синим окном идет снег. Если показать Россию без снега, то директора театра могут облить керосином и сжечь. Действующие лица играют все три акта не снимая сапог. В углу комнаты стоит красный флаг. Публике нравится пьеса, смеются. Играют не гениально, но неплохо. Сборы средние. Вставлено несколько бродвейских шуточек, от которых автор поморщился бы. Кроме того, придлан конец очень серьезный и философский, насколько Лайонс и Маламут, переделывавшие пьесу, могут быть философами. Ничего антисоветского все-таки нет. Шутки и философию мы, однако, рекомендовали Маламуту удалить. Кстати, они пьесе нисколько не помогают. А так — неплохо...

Был вчера вечером в «бурлеске». Это ревью за 35 центов. Их здесь много. Вульгарно совершенно фантастически и поэтому интересно...

Нью-Йорк, 20 октября 1935 г.

...Сегодня провел день за городом. Всего час езды от Нью-Йорка — и уже совсем дикая скалистая усадьба, свежий ветер и тише, чем на Клязьме. Хозяин по случаю нашего приезда созвал множество гостей, получилось что-то вроде консульского приема, что я выношу с трудом.

С тех пор как я в Америке, два человека принесли свои книги, чтобы получить надпись от авторов. На приеме у консула — пятнадцатилетняя американочка, которая заявила, что не будет читать «12 стульев», так как ей сказали, что там плохой конец, а она книг с плохим концом не читает, а сегодня Стюарт Чейз, очень известный экономист. Он насчет плохих концов ничего не говорил...

Фотографией занимаюсь, и снимки получаются хорошие...

Нью-Йорк, 23 октября 1935 г.

...Вчера утром заехал за мной дядя Вильям с женой и мы поехали в Гартфорд, в штате Коннектикут. Дяде 56 лет, он маленький, с совершенно белыми волосами и похож на папу моего, только не лицом, а походкой и манерами. Он застенчивый, но очень смело правит машиной. Мы ехали четыре часа. Гартфорд необыкновенно красивый город, весь заваленный большими осенними листьями. В них ходят по щиколотку. Только в торговой части большие дома. Здесь живут в красивых двухэтажных домиках в две или одну квартиры. Дядя Вильям занимается второй этаж такого домика. Там я завтракал и обедал, ел сладкое еврейское мясо и квашеный арбуз, чего не ел уже лет двадцать. Вильям, муж его сестры и еще один дядя, имени которого я не узнал, сообща занимаются продажей автомобилей «крайслер», «плимут», «эссекс» и «гэдзон». Есть еще один дядя, самый старый. Его лицо я узнал по фотографиям, которые висели у нас дома. Он уже ничего не делает. Он был знаком с Марком Твенем. Марк Твен тогда был уже знаменитым писателем, много лет жил в Гарт-

¹ Пьеса В. Катаева.

форде, и я был в его доме. Теперь там библиотека и на стене висят оригиналы рисунков к «Принцу и нищему». Познакомился он с Марком Твеном так: в 1896 году он был разносчиком и ходил по дворам, что-то продавал. Что продавал — он теперь уже сам не помнит. Марк Твен жил рядом с Бичер-Стоу. Они сидели оба в саду, и Марк Твен заинтересовался дядей, потому что дядя носил длинные волосы и сразу было видно, что он из России. Великий юморист долго его расспрашивал о России и просил дядю заходить каждый раз, когда он будет проходить мимо со своими товарами. Дядя говорит, что Твена все в городе очень любили. Но памятника ему нет до сих пор, хотя город богатый и всяких монументов много...

Нью-Йорк, 26 октября 1935 г.

...Все время некогда. Американцы бегут, и я тоже бегу. Но устаю не сильно и живу сравнительно размеренно. На ночь ем апельсины. Натощак тоже съедаю апельсин. Перед завтраком выпиваю стакан апельсинового сока. Всякого рода соки это чисто американская особенность. Они пьют их несколько раз в день обязательно. Перед обедом они выпивают стакан томатного сока. До этого я еще не дошел. Есть еще банановый сок. Это не очень вкусно. Потом есть сок грейпфрута. Это громадный лимон-апельсин. Вообще американцы едят здоровую санаторную пищу — много зелени, очень много овощей и фруктов. Если бы они этого не делали, то в своем Нью-Йорке захирели бы очень быстро. Ну, пьют порядочно. Без коктейлей не обходится ни одно свидание. У нашего издателя даже в самом издательстве есть холодильный шкаф, и, поговорив с нами, он быстро составляет какой-нибудь коктейль и ставит на стол. При этом он действует так ловко, как будто никогда не издавал книг, а всегда работал в баре...

Этот город я полюбил. Его можно полюбить, хотя он чересчур большой, чересчур грязный, чересчур богатый и чересчур бедный. Все здесь громадно; всего много. Даже устрицы чересчур большие. Как котлеты...

Нью-Йорк, 29 октября 1935 г.

...Что же я делал последние дни? Позавчера видел Хемингуэя. Он большой, прочный и здоровый мужчина. Спрашивал, не знаем ли мы Кашкина. Почему вдруг Хемингуэй спрашивает про Кашкина? Потом оказалось, что Кашкин переводил его «Смерть после полудня» на русский язык. Хемингуэй был во фланелевых штанах, жилетке, которая не сходилась на его могучей груди, и в домашних чоботах на босу ногу. Очень привлекательный и какой-то очень мужской человек. Он мне понравился. Приглашал приехать к нему в маленький городок на самом юге Флориды, где он живет, в Ки Вест. Мы обещали, но мы всем все обещаем, а когда мы успеем это сделать — непонятно. Никак не можем выбраться из Нью-Йорка, то одно задерживает, то другое. То мы заняты, то надеемся получить еще деньги, много всего.

Потом Дос Пассос повел нас в ресторан «Голливуд» на Бродвее — обедать. Он сказал, что мы увидим мечту нью-йоркского приказчика. Действительно, это было счастье матроса, после двухлетнего плавания сошедшего на берег. Посреди зала, на низенькой эстраде, танцевали девушки и девки, полуголые, голые на три четверти и голые на девять десятых... Лица у девушек тупые, или жестокие, или вдруг жалкие. Ресторан полон. И все это в семь часов дня. Потом Дос с женой сели в свой старый, 27 года, «крайслер», который сторожила на соседней улице их большая, давно не бритая собака, а мы снова дали обещание. Обещали ему обязательно приехать в Ки Вест, где он тоже будет жить.

Потом пошли гулять, попали в Гарлем, часть Нью-Йорка, где живут только негры, и зашли в ресторан «Ю-бенги-клуб» посмотреть негритянские танцы. Танцы интересные, но очень половые. За столиком рядом с нами оказался Робсон, негритянский певец. Он недавно был в Москве. Вы, наверное, помните. Завтра он к нам придет.

Вчера утром надо было идти завтракать в литературный клуб. Называется он «Немецкое угощение». Это значит, что каждый сам за себя платит. Собираются там по вторникам для шуточного завтрака. Наши издатели Фаррар и Рейнгардт требовали, чтобы я произнес на завтраке речь по-русски, а Женя чтобы прочел эту же речь по-английски. Там принято говорить смешные речи, в этом клубе. Я, конечно, как оратор отпал сразу ввиду решительного и обычного моего отказа. Мы сочинили короткую комическую речь на тему о том, как нам, куда бы мы ни приехали, говорят, что это еще не настоящая Америка и что нам надо ехать дальше. Эту речь перевели на английский язык, и Женя ее мужественно прочел, хотя за круглыми столами в зале отеля «Амбассадор» сидело множество американцев и было от чего застесняться. Речь была встречена весьма дружелюбно. Потом говорил какой-то актер, потом хозяин «Мэдисон Сквер Гарден». Это большой театр-цирк. Там бывает бокс, большие митинги и прочее. Там я был на состязаниях ковбоев. Он говорил, что ему все выгодно... Он всем сдает свой зал. После этого нам всем четверем навесили на шею большие гипсовые медали. В промежутке между речами и медалями подали завтрак, очень странный. Сначала рыбу, потом сразу мороженое и кофе. Как награжденный медалью, я за завтрак не платил.

В три часа заехал за нами мистер Трон с женой, оба пожилые и симпатичные американцы, и мы поехали за 170 миль в Скенектеди, прежде область могикан, а теперь город, где помещаются заводы «Дженерал Электрик», заводы самой передовой американской техники. Скенектеди — это родина электричества. Здесь его, в общем, выдумали, здесь работал Эдисон, здесь работают мировые ученые. Приехали туда уже в десятом часу. Безумие думать, что по американской федеральной дороге можно ехать медленно или останавливаться. То есть, можно и останавливаться и ехать медленно, но когда впереди идут тысячи машин, когда тысячи машин надвигаются сзади, остановиться или замедлить ход невозможно, не хочется... Вся Америка мчится куда-то, и остановки, как видно, уже никогда не будет. Навстречу тоже двигались тысячи автомобилей, серебряные цистерны с молоком для Нью-Йорка, отчаянной длины грузовики, которые везут на себе сразу по три новых, 1936 года, автомобиля из Детройта. Остановились в обычной американской гостинице, где три воды — горячая, холодная и ледяная. Ледяная, впрочем, оказалась на этот раз просто холодная. Погуляли пять минут и сразу налетели на русского. Мы купали у него корнфлекс и заспорили по-русски, кукуруза это или нет. Тогда он неожиданно вступил в разговор и на хорошем русском языке подтвердил, что корнфлекс — это и есть кукуруза. Он здесь 22 года, считает, что работы нет из-за машин. Слишком много машин, и они работают только на хозяина. Он чернорабочий, но так в Америке думают и многие весьма культурные люди.

Целый день мы смотрели электрические чудеса. Завод имеет триста пятьдесят зданий, мы были только в трех, правда в самых больших. А кроме того, есть еще и люди, что все-таки интересней всего. Здесь надо было бы побыть хоть неделю. Теперь ты понимаешь, почему мы не можем уехать в путешествие. Так много интересного, что никак нельзя наконец выбрать день и уехать. Скенектеди, конечно, загроможден автомобилями. В нем живет девяносто тысяч человек. Все они зависят от завода. Он наложил отпечаток на всю их жизнь. Среди города течет маленькая индей-

ская река Могаук. О Скенектеди расскажу тебе, когда приеду, иначе слишком много придется писать. Выехали в пять часов, снова катились, катились без конца. На этот раз обгоняли цистерны с молоком для Нью-Йорка. Один раз обогнали громадный закрытый грузовик, на котором везли лошадей. Если бы я был лошадей, для меня было бы унижением, что меня везут в грузовике...

Нью-Йорк, 4 ноября 1935 г.

...Наконец мы приобрели машину и уже на днях, через два или три дня, едем. Это новый «форд». Мы его взяли в рассрочку, поедем на нем два месяца и, если не сможем заплатить за него полностью, отдадим назад. Это выгодно, и это нам устроили. Денег у нас достаточно. Конечно, хотелось бы иметь больше, и можно было бы даже их получить. Но тут имеются некоторые обстоятельства. Дело в том, что у нас здесь прекрасная репутация и выступать нам с чем попало нельзя. Американские журналы хотят, чтобы мы писали сразу об Америке. А писать сгоряча и впопыхах не хочется. Может быть, когда мы еще поедем и в голове прояснится, мы будем писать для здешних журналов. Но и сейчас денежные дела удовлетворительны. Поедет с нами, кажется, мистер Трон с женой, о которых я вам уже писал. Это американец, великолепно знающий Америку, а жена его прекрасно правит автомобилем. Мы их почти уговорили ехать.

Только что я пришел со спектакля «Порги и Бесс». Это опера из негритянской жизни. Спектакль чудный. Там столько негритянского мистицизма, страхов, доброты и доверчивости, что я испытал большую радость. Ставил ее армянин Мамульян, музыку писал еврей Гершвин, декорации делал Судейкин, а играли негры. В общем, торжество американского искусства.

Позавчера был на концерте Рахманинова Где я еще был? Столько смотришь, что сразу забываешь. Да, после спектакля Мамульян повел нас за сцену, чтобы мы сказали труппе несколько слов. И, конечно, самая негритянская негритянка вдруг заговорила по-русски. Оказывается, до революции она восемь лет выступала в России. Она произнесла даже такое слово, как «губерния». Потом откуда-то пришла индианка, настоящая индианка, и тоже стала говорить по-русски. И сама при этом очень смеялась...

Нью-Йорк, 6 ноября 1935 г.

...Сегодня я очень жалел, что тебя нету здесь. Я был на выставке Ван-Гога. Громадная и замечательная выставка. Сто живописей и сто двадцать пять рисунков собраны со всего света. Ну, просто поразительно. Здесь и почтальон в ярко-синем мундире, и портрет актера, и мост, и автопортрет с красной бородой, и крестьяне, которые едят картофель, и пейзажи, и букет необыкновенный, и ночное кафе со столиками на улице под синим небом с колоссальными звездами, все, о чем мы только читали и мечтали посмотреть... Тут еще подобрано несколько вещей для характеристики времени Ван-Гога: несколько Сезаннов, портрет Ван-Гога работы Гогена. Это когда они жили вместе. Ван-Гог изображен пишущим подсолнухи. Хороший портрет. Потом висит Дега и еще что-то. Это только Нью-Йорк может себе позволить. Он так богат, что все может сделать. Одновременно открыта выставка Манэ, сорок лучших вещей. В галереях на 57-й улице собраны неслыханные богатства. Кое-что можно только посмотреть, а кое-что можно и купить — продается.

То же делается в области музыкальной. Всех можно услышать за зиму: Рахманинова, Стоковского, Клемперера, итальянских певцов, что

угодно. Но это уже стоит дорого. Мы, впрочем, по возвращении в Нью-Йорк будем слушать это бесплатно. Есть один театральный деятель, который все это нам устраивает.

Тюрьму Синг-Синг я смотрел очень подробно. Ужасное впечатление производит, конечно, электрический стул. На стуле Синг-Синга окончили свои дела двести мужчин и три женщины. Он помещается в большой комнате с мраморным полом. Очень чисто. Висит надпись «Тишина». Стоят четыре деревянных дивана для свидетелей. Почему-то имеется умывальник. Есть столик. В соседней комнате производят вскрытие тела. А еще в соседней — до самого потолка навалены гробы. За дверью распределительный щит. Включают рубильник — и все. Человек, который включает ток, получает полтора доллара за каждое включение. В остальном тюрьма очень культурная, с чисто американским высоким уровнем жизни. За исключением старого корпуса, построенного еще в 1825 году. Это уже совсем султанско-константинопольская темница. Страшная. Начальник тюрьмы обещал, однако, что если меня к нему пришлют, то он поместит меня в новом корпусе.

Был я на боксе в громадном зале «Мэдисон Сквер Гарден». Сражался Карнера с каким-то немцем. Избил его самым ужасным образом. Не так был интересен бокс, как публика. Ревели и галдели. Вообще американцы шумные люди, веселые и крикливые, когда у них нет особенных забот. Свои газеты они шваркают прямо на тротуар. Идет человек и держит в руках газету весом в три фунта. И вдруг как шваркнет ее. Вечером по всему Нью-Йорку их носит ветер.

Все еще тепло, и все ходят без пальто. Дел у меня много и меньше не становится. Через два дня мы уезжаем...

...У тебя уже утро и, наверно, на Красной площади идет парад. Ну, до свиданья...

Скенеатлис, 9 ноября 1935 года.

...Сегодня я выехал из Нью-Йорка и сейчас нахожусь от него в 300 милях. Ехали мы весь день по замечательным дорогам, завтракали в придорожном ресторане. Обедал здесь, в городке, который называется Скенеатлис. Тысяча восемьсот жителей, которые все живут в отдельных двухэтажных домиках, автомобили, «Главная улица», как во всех небольших американских городах. Сегодня мы проехали больше десятка таких городов. Все они чистенькие, красивые, но, должно быть, скучно в них жить. Уровень жизни, удобства — очень большие. Ночую я в одном из таких домов. Хозяйка сдает на ночь комнаты проезжающим туристам. В таком доме шесть больших комнат, чисто невероятно, ванная на втором этаже и ванная внизу, шкаф-радио, хорошие постели. Хозяин работает и получает 25 долларов в неделю, жена любит свой домик и ничего другого не знает. Очень все это интересно.

Сегодня оставили в стороне Сиракузы, проехали Помпеи, завтра утром будем проезжать Ватерлоо.

Говорят, что Одесс в Штатах четыре или пять. Тут все есть...

Сильвер-Крик, 10 ноября 1935 г.

...Мы едем в новом «форде» красивого серого цвета, то что называется здесь — цвет пушечного металла. Ехать удобно, жена Трона правит уверенно и осторожно, сам Трон без умолку рассказывает про Америку, которую он знает великолепно. Так что все идет очень хорошо...

Сегодня смотрел Ниагарский водопад, но там столько воды, что я здесь описывать не стану, не хватит места...

Завтра вечером я приеду в Детройт, там буду два дня. Дорога до Чикаго займет еще один день. На самое Чикаго уйдет дня три. И числа восемнадцатого мы покатым дальше. Там уже очень больших городов не будет до самого Сан-Франциско.

Сегодня мы опять остановились на ночлег в частном доме. Сильвер-Крик маленький город. Я уже видел их множество. Все они похожи друг на друга. Много автомобилей, главная улица называется либо Бродвей, или Стейт-стрит (улица Штата), либо Мейн-стрит (Главная улица). В каждом есть фонтан с ангелом, который вечером освещается цветными огнями, памятник солдату гражданской войны, протестантская церковь. Зато названия городов самые разнообразные — мы проехали за два дня Сиракузы, Помпеи, Батавию, Варшаву, Каледонию, Ватерлоо, уже даже не помню, что еще. Все эти городки чистые, тихие, опрятные, но между Помпеями и Варшавой разницы нет абсолютно никакой...

В городских аптеках все книги одного и того же содержания: «Быть грешником — дело мужчины», «Пламя догоревшей любви», «Первая ночь», «Флирт женатых» и так далее. Я, кажется, еще не писал тебе про американскую аптеку. Там можно позавтракать, купить игрушку, книгу, можно поужинать, выбрать какую-нибудь мелочь из одежды. Это большие бары, где лекарства запиханы в самый уголок. Но все-таки это аптека, потому что в Вашингтоне мне подавал кофе, масло, поджаренный хлеб и апельсиновый сок доктор...

Толидо, 11 ноября 1935 г.

...Опять я проехал много маленьких городов, опять была Женева, на этот раз в штате Пенсильвания. Через час проехал Краков. Толидо это тоже не Толидо, это Толедо, но по-английски читается Толидо. Пока мы едем не задерживаясь, не останавливаясь проехали даже Кливленд, громадный город. Если всюду останавливаться, не хватит и года, чтобы проехать в Калифорнию. Пока что города только мешают. Они запружены автомобилями, и выбраться из них трудно. Через Кливленд мы пробирались целый час.

В Детройте я пробуду два дня, буду на фордовском заводе, потом — дальше...

Сегодня весь день идет дождь. К вечеру начался ливень, и поэтому мы заночевали в пятидесяти милях от Детройта, в Толидо. Опять живу в опрятном домике с холодной и горячей водой, ванной, радиошкафом и картинками на стенах. Буду спать на громадной кровати с тощей подушкой. Не помню, писал ли я вам, что американцы спят на подушках, плоских, как доллар.

Наш автомобиль ведет себя примерно и выглядит даже роскошно. В нем есть электрическая зажигалка. Можно вытянуть ноги, так что дорога не утомляет. Сегодня из-за дождя ехали не быстро и сделали двести тридцать миль. Если считать на километры, то выйдет довольно много — четыреста пятьдесят километров...

Дирборн, 12 ноября 1935 г.

...Заводы Форда находятся в Дирборне, в десяти милях от Детройта. Мы были у директора заводов мистера Соренсена, человека очень интересного. Это один из тех, которые вместе с Фордом создали современную американскую промышленность. Заводы будем смотреть завтра. Сегодня были в громадном фордовском музее машин. Это удивительное учреждение. Сейчас это, собственно, еще свалка, а не музей. Экспонаты будут

расставляться еще несколько лет. Тут все есть — первые паровые машины, первые паровозы и вагоны, первые автомобили, первые пишущие машинки, все есть. Потом был в лаборатории Эдисона, перенесенной сюда. Показывал ее единственный оставшийся в живых сотрудник Эдисона. Он на первом фонографе Эдисона записал те слова, которые тот говорил в первый раз, и эту оловянную ленту подарил нам...

Чикаго, 16 ноября 1935 г.

...уже дня четыре пасмурно, и от этого и дирборнские и чикагские виды еще чернее, еще больше мглы и дыма. Когда я подъезжал к Чикаго, мимо прошло мрачное видение металлургического завода Гэри, самого большого в мире. Очень делается на душе страшно и пустынно. И вовсе не потому, что у меня чувствительная душа.

Въезд в Чикаго вечером был великолепен, никогда еще не видел такого сплошного, бриллиантового света автомобилей. Но днем здесь, сейчас же за отелями и банками, начинаются такие трущобы, которыми можно испугать даже итальянца...

Дуайт, 17 ноября 1935 г.

...Сейчас мы остановились в маленьком городке, я поужинал в аптеке и сейчас сижу в своей комнате. На обоях красивые веточки. Во всех домах, где я ночевал, на обоях были веточки.

Из Чикаго мы почти бежали. Это уж слишком откровенный город. Вдоль озера Мичиган стоит великолепный фронт небоскребов. Весь горизонт занят ими. Я жил на набережной в отеле Стивенс. Там три тысячи комнат. В здании неподалеку выставлен кукольный домик, который какой-то дурак подарил какой-то киноактрисе. Он стоит миллион долларов. Все ходят на него смотреть. А рядом с этим, в двух шагах, совсем не фигуральных, начинается какая-то неслыханная дрянь. Разбитые мостовые, разбитые дома, пустыри, отвратительные дощатые заборы, переломанный кирпич, обломки железа, мусор и дым. Дым всякий — черный, белый, серый. В самом центре города какие-то старые фабричные корпуса, грязные железные дороги, опять какая-то ржавая жесь, расколотые унитазы. А если есть место получше, то надземная железная дорога закрывает весь свет и день. Ходил по городу с омраченной душой. Если стоять у озера, то нельзя поверить, что тут есть вся эта каменная и железная нищета, а если отойти на квартал, то не веришь, что есть грандиозный бульвар и озеро.

Вчера нас пригласили на студенческий бал по случаю объявления независимости Филиппин. Это было в клубе Чикагского университета. Там были все филиппинцы, довольно красивый народ, и филиппинки, совсем красивые. Были даже два индуса, очень торжественные, с черноватыми лицами. Они ходили в чалмах и смокингах, вроде Конрада Вейдта из «Индийской гробницы»...

Невада, 19 ноября 1935 г.

...уже два месяца, как я уехал из Москвы... я все еду, фонари светят далеко, автомобили попадают редко, страна немножко переменялась...

...Ехать очень хорошо и интересно. Вчера проехал Канзас-Сити. Этот город лежит в самом центре Соед. Штатов. Мы в городе не останавливались, проезжали его. Зашли только в первое попавшееся кафе согреться кофе, потому что было довольно прохладно. Хозяин кафе послушал, как мы говорим, и вдруг заорал: «Где ты живешь?» —

и после рассказал всю свою жизнь и показал фотографии родственников. Тридцать пять лет назад он уехал из Бессарабии. И это в математическом центре Америки. Не думай, что я рассказываю тебе по порядку. Сейчас пишу, а собраться с мыслями не могу...

Невада — это маленький город в штате Миссури. Семь тысяч жителей, автомобили, семьсот безработных, получающих пособие, громадный Сити-Холл (ратуша), соки апельсиновые, аптеки, где завтракают, и все, что вы уже немножко знаете...

Оклахома, 20 ноября 1935 года.

...сегодня я переночую в Оклахома Сити и поеду дальше. Через два дня я буду в Санта-Фе и там задержусь на двое суток. Потом в Грэнд Кенйон — посмотреть дикую природу, потом в Лос-Вега — посмотреть гидростанцию, которая там сейчас строится. Потом — в С.-Франциско. Никогда в жизни не думал, что буду в Оклахоме. Почему Оклахома, что за Оклахома? Сейчас я почти проехал Средний Запад. Здесь пшеница, элеваторы, фермеры, старинные трогательные форды, негры едут куда-то целыми семьями, с ведрами, деревянными лестницами и вообще каким-то еврейским скарбом. И уже начинаются какие-то ковбои, которые гонят стада маленьких и красивых коровок. Америка немножко изменилась.

Я писал тебе из Ганнибала, но не писал, что это такое. Маленький город на Миссисипи, где Марк Твен жил до двадцати лет. Тут есть памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну, и все знают, с кого писали Бекки Тэтчер, и у ее дома стоит мемориальная доска. Город чем-то не похож на другие, есть какие-то склоны, подьемы, обрывы, он очень похож на город Тома Сойера. Памятники паршивые. Собираются воздвигнуть еще один — всем героям Твена сразу и ему самому заодно. Он обойдется в миллион долларов и при такой сравнительно небольшой цене будет одним из самых безобразных памятников в мире. Я видел его модель...

Амарилло, 21 ноября 1935 г.

...Встаем мы в семь часов утра. Я бреюсь теперь каждый день, иначе нельзя. В половине восьмого мы все вчетвером идем завтракать. Завтракать можно в кафе, или в аптеке, или в кондитерской. В начале девятого мы выезжаем. Едем до часу, останавливаясь только тогда, если нужно купить бензин, который здесь называется газолин. Вся дорога уставлена газолиновыми станциями. Это организовано так, что лучшего нельзя желать. Станции есть всюду. Едете ли вы через пустыню или мимо хлопковых плантаций на юге.

Обед происходит в маленьком городке. Так как городки одинаковые, то и обеды не бог весть как разнятся один от другого. Затем едем часов до семи или восьми. За день проезжаем приблизительно триста миль. Совсем не устаю. Дороги бетонные, белые, ни пыли, ни грязи на них нет. Я уже отъехал от Нью-Йорка на две тысячи пятьсот миль. Сегодня за Оклахомой, окруженной тонкими нефтяными вышками, въехали в пустыню. Ну, пустыня, конечно, американская. Шакалов нет. Есть заводы, газолиновые станции, туристские лагеря.

В городе Оклахома нефтяные вышки стоят в самом городе, почти на центральных улицах. Дело в том, что нефть нашли и в самом городе. Ее сосут изо всех сил. Да, в пустыне есть немножко песку. Но говорят, что песку будет больше, когда будем проезжать Аризону. Сегодня ехали через северную часть Техаса. Здесь он называется Тексас. Уж видел ковбоев. Здоровенные деревенские парни на хороших лошадах... в Сан-

Франциско я буду 29 ноября. До свиданья... хотел очень много тебе написать, но просто засыпаю...

Галлоп, Нью-Мексико, 26 ноября 1935 г.

...Санта-Фе оказался городом совсем мексиканским по виду. Нет ни кирпичных, ни деревянных американских домиков. Дома глинобитные, разноцветные. Жители ходят в ковбойских шляпах и в сапогах на высоких каблучках. Принимать их всерьез трудно. На другой день поехали на индейскую территорию. Здесь живут индейцы — пуэбло. Дома у них красноватые, горы красноватые, а реки красные. Я послал тебе много открыток с хорошими фотографиями индейских жилищ. Шел снег, когда я приехал в деревню. Индейцы стояли на крышах, завернувшись с головой в фабричные голубые одеяла. Губернатор, к которому надо обратиться за разрешением осмотреть деревню, тоже индеец. Он сидел в своем доме на приступочке у чисто выбеленной стены и смотрел на глиняный камин, в котором пылало одно полено. Он стар и болен. Ему все равно уже. Бледнолицые братья хотят пошляться среди индейцев? Хорошо, он не возражает. Опять стал смотреть на полено. Индейцы в снегу — это было то, что я представлял себе меньше всего. Женщины не очень красивы, но почти у всех мужчин замечательные лица. И дети, конечно, очень хорошие. Это все расскажу тебе, когда буду дома, это надо долго рассказывать.

Снег шел два дня, потом начался дождь. Вчера вечером выехали из Санта-Фе в Альбукерк в такой дождь, какого даже на Клязьме не бывает. Вот забыл тебе рассказать. Позавчера вечером мы обедали в Таосе, в городке неподалеку от Пуэбло. Ресторан назывался «Дон Фернандо». Дон Фернандо бродил вокруг нашего столика, рассказал, что он не испанец, а швейцарец, а под конец обеда сообщил, что в Таосе живет одна русская и как раз она сейчас в зале ресторана, слышала, что мы говорили между собой по-русски, и очень хочет с нами увидеться. Подошла она к нам минуты через три. Маленькая, немолодая, довольно нервная дама. Оказалась женой художника Фешина. Уехали они из Казани лет двенадцать тому назад. Сейчас она с Фешиним развелась или он с ней развелся. Живет она здесь, в Таосе, много лет. Теперь переехала в деревушку в нескольких милях от города. Там только мексиканцы, глушь, Испания без электричества. Сидела у нас целый вечер, все время жадно говорила по-русски, тут говорить не с кем. Дала свой адрес. Где же живет русская дама? Деревня Рио-Чикито, Нью-Мексико, Юнайтед Стейтс.

Сегодня утром погода была еще дряннее. Ехали через скалистые горы. Снег, вода, потом солнце, грязь. Перевалили горы на высоте двенадцати тысяч футов. В Галлопе тепло и светят звезды...

Сан-Франциско, Калифорния, 3 декабря 1935 г.

...я приехал сюда вчера. Город большой, красивый, в общем Фриско. Еще ничего почти не видел, поселился в консульстве, консул, как все наши консулы, очень милый, простой и приятный человек. Дорогой сюда попали еще в один Национальный парк, Секвойя-парк. Извини, что я вдруг пишу все время о природе, но каньоны, пустыня, горы — все это необыкновенно прекрасно, не думать об этом нельзя. Что бы это ни было, Сиерра-Невада или громадные четырехтысячелетние деревья секвойя — все это поражает. Некоторые секвойи, самые старые, имеют имена. Одно дерево называется «Генерал Шерман», другое — «Сентинел», что значит «Часовой», «Страж»...

...Вчера даже совсем не успел тебе написать. Мои письма, наверно, приходят пачками. Это потому, что зимой из Нью-Йорка быстроходные пароходы идут уже не каждый день. А почта сдается на самые быстрые.

В Калифорнии лето, апельсиновые рощи, морской туман. После резких очертаний и блеска пустыни здесь все мягко и неопределенно...

Сан-Франциско, 7 декабря 1935 года.

...Ко многому здесь я уже привык, но вот вчера или позавчера на одной площадке в Сан-Франциско увидел маленький, совсем незаметный столбик с надписью «Конец дороги Линкольна». Это конец великой дороги, которая идет из Чикаго до Тихого океана. Я опять живо представил себе эти громадные полосы бетона, которые тянутся через весь материк. Так едешь в пустыне по дороге, едешь один, никого нет, никто не едет навстречу и не нагоняет сзади, только горы, плоскогорья, поросшие пыльными букетиками, опять красные и синие пемзовые скалы, кто-то сделал эту замечательную дорогу и ушел, не требуя похвал. В области техники это удивительно скромные люди. Линкольн-вэй — дорога на тысячи миль, а столбик крошечный, увидеть его почти невозможно...

Голливуд, 9 декабря 1935 года.

...Утром мы выехали из Сан-Франциско и приехали через четыре часа в Кармел. Это маленький город на самом берегу океана. Тепло и тихо. Пошли к Альберту Рис Вильямсу. Он писатель, много раз у нас бывавший. Живет он очень скромно. Жена его уже поджидала нас. На ней было чувашское платье. Семилетний маленький Рис Вильямс завязывал шнурки на ботинках. Потом пришел Вильямс, громадный дегина, седоватый и румяный. Жена его Америки не выносит, хотя старинная американка и из очень богатой семьи. Ей даже океан не нравится, хочется в Москву. Она успела сказать, что Черное море красивей Тихого океана, и мы все вместе отправились к писателю Линкольну Стеффенсу.

В чудном доме с садом лежал в постели знаменитый американский писатель. Ему семьдесят лет, у него большое сердце, и он уже несколько лет почти не встает. Все, о чем мы говорили, сводится к одной фразе, которую он произнес среди многих других: «Это ужасно — считать себя на всю жизнь честным человеком и не понимать, что на самом деле был взяточником». Он говорил это о себе, о всей своей жизни. Все его надежды теперь на Москву. Я не мог без волнения слушать его. Он скоро умрет, знает это и хочет умереть в Советском Союзе. Потом Вильямс повел нас обедать к мистеру Шорту. Мистер Шорт — юрист, богатый человек, у него четверо громадных мальчиков, все из того же «Нашего гостеприимства». Он почему-то написал статью о «Золотом теленке». В камине пылали бревна, а мы препирались об искусстве с английским художником. Покончив с этой сложной ситуацией, мы отправились в дом архитектора Грина. Дом построен в стиле испанских миссий, и в его большом зале с грубыми стенами было много людей. Очень странное общество. Какие-то поразительно некрасивые американские старухи, какие-то дочки обедневших миллионеров, занимавшиеся изготовлением дамских сумочек в тошнотворно интеллигентном стиле, робкие и красивые молодые люди, бывший боксер мистер Шарки, заработавший миллионы какими-то делами, не имеющими к боксу отношения. Боксер сразу наврал, что был вместе с Пири на полюсе, что он точно знает, кто убил ребенка Линдберга, и немедленно повез нас к себе. Дом его уже так близко расположен к океану, что прибой влезает в громадные

чистые окна. Мистер Шарки показал нам своих трех девочек. Они спали. Потом показывал, как надо боксировать, как надо пить ямайский ром, как надо смотреть на океан. Он очень богат, но не очень счастлив. Два года назад жена убежала от него с его же дворником. Девочек своих он так любит, что сам шьет им платья. Ну, об этом долго рассказывать. Тут попадаются очень различные люди и в очень странных сочетаниях. Ночевали у Вильямса. Утром мы опять были у Линкольна Стеффенса, распрощались и поехали в Голливуд. Приехал сейчас. Теперь двенадцатый час уже.

...Ровно месяц назад я уехал из Нью-Йорка. Мы проехали уже пять с половиной тысяч миль...

Голливуд, 10 декабря 1935 г.

...Голливуд — это уже начало обратного пути. Теперь, куда бы ни ехал, все равно я еду домой, ближе к Атлантическому океану...

...Путешествие совершается в полном порядке, и все идет очень хорошо. Здесь я еще ничего и никого не видел, потому что приехал только вчера поздно вечером. Так как приближается рождество, то во всех городах уже началась суматоха. В Голливуде на главной торговой улице стоят искусственные елки. Их множество, и на каждой горят разноцветные электрические лампочки. Вот все, что я здесь пока увидел. В Сан-Франциско было много встреч. Там, где есть наш консул, обязательно идут приемы, встречи и все такое. Среди всего другого, в последний вечер, были у русских молокан. Они пригласили нас на чаепитие. Тут увидел таких баб, которые как будто никогда из русской деревни не выезжали. Удивительный был вечер. Они пели духовные песни, и Трон пел вместе с ними. Он даже громче других пел: «Путь нам Христос указал». Он такой человек. С молоканами он молоканин, с боксерами — боксер. В Синг-Синге он сидел на электрический стул и сидел на нем с удовольствием. Это Пиквик. Ездить с ним очень приятно и смешно...

Голливуд, 13 декабря 1935 г.

...Вчера и сегодня только и делаю, что смотрю фильмы. Вчера Майльстон показал нам три картины. Одну свою — «Сенсация». Это та пьеса, которая шла в Москве, в Вахтанговском театре. Хорошо, но не замечательно. Другая — «Доносчик» — картина удивительная. Про третью — «Мерзавец» — я уже тоже писал в открытке. Конечно, в письме этого не расскажешь. Сегодня нам показал две своих картины Мамульян: «Доктор Джекиль» по Стивенсону и толстовское «Воскресение». «Джекиль» сделан превосходно.

...Сегодня в Голливуде просто жарко, как в Одессе летом. Сухо и жарко. Был в студиях, смотрел съемки, видел хороших и известных актеров, видел и плохих, но тоже известных, видел совсем уже неинтересных, но все-таки известных...

Голливуд, 15 декабря 1935 г.

...Я тебе уже писал вчера в открытке насчет предложения Майльстона. Он предложил нам написать для него большое либретто сценария. Тему мы предложили из «Двенадцати стульев», но очень видоизмененную. Действие происходит в Америке, в замке, который богатый американец купил во Франции и перевез к себе в родной штат. Майльстон один из лучших режиссеров Голливуда. Он ставил «На западном фронте

без перемен». Сюжет ему очень понравился. Мы будем писать его десять дней, а потом он сам будет делать из него сценарий...

Голливуд, 22 декабря 1935 г.

...В Голливуде ослепительный солнечный свет и летние горячие дни. 22 декабря, а сидишь в кафе, двери которого открыты на улицу и с улицы входит в помещение теплота летнего вечера.

Либретто мы написали на двадцати двух страницах. Сюжет Майльстону очень нравится, и, если не будет никаких добавлений, у нас еще останется дня два для поездок по окрестностям. 26 мая мы уезжаем в Сан-Диего на мексиканской границе и там встретимся с Тронами, которых мы на эти дни, чтобы они не томились в провинциальном Голливуде, заслали в Мексику отдыхать. Оттуда почти без остановок поедem в Нью-Орлеан. В общем, к тому же десятому января попадем в Нью-Йорк...

Голливуд, 22 декабря 1935 г.

...Написать тебе, что я сегодня делал? Не потому, что именно сегодняшней день интересен, а для того, чтобы ты знала, как мое время проходит.

...Очень поздно встал. Этого почти никогда со мной здесь не бывает, но вчера был в гостях у дочки старого Н. Сам он живет в Нью-Йорке, она здесь — и замужем за русским актером, который, конечно, снимается в какой-то студии в ролях мексиканцев, испанцев, венгерцев. Дело в том, что почти все иностранные актеры не играют в Голливуде американцев. Им мешает акцент. Они играют иностранцев, для которых акцент на экране естественен. Очень долго объяснял, но все-таки не знаю — понятно ли.

Засиделся там до трех часов, раньше уйти не удалось. Утром потащился завтракать на наш же Голливуд бульвар, в итальянский ресторан «Муссо Франк». Пил томатный сок, ел сардинки и макароны с сыром. Иногда приятно отдохнуть от американской кухни, где обед начинается с дыни, хлеб не имеет никакого вкуса, а черный кофе, хоть убей, обязательно подается перед сладким.

Потом за нами заехал представитель нашего Амкино... и мы поехали в Пассадену... Пассадена находится в тринадцать милях от Голливуда и так же, как Голливуд, считается отдельным городом. Но вокруг Лос-Анжелоса много городов, все это сливается вместе, и разобраться довольно трудно, где кончается один город, где начинается другой. Один человек здесь сказал мне, что это вообще «двенадцать предместий в поисках города», потому что и сам Лос-Анжелос похож на предместье.

В общем, приехали в Пассадену. Нам надо было зайти к некоему доктору, другу Советского Союза, на обед. Мы проезжали в городе мимо какого-то стадиона. Остановились на минутку, чтобы посмотреть, что там делается. На стадионе играли в бейсбол. Зрителей было десятка четыре. Игра уже кончалась. Впереди меня сидел старик в несвежем фланелевом костюме и с дико суковатой палкой в руках. На кого-то он был похож, этот старик. Это был Эптон Синклер. Он недавно выставил свою кандидатуру в губернаторы Калифорнии и чуть не прошел. Он собрал девятьсот тысяч голосов, а его противник — один миллион пятьдесят тысяч. Синклер является создателем нового течения под названием «Покончим с нищетой в Калифорнии». Я тебе об этом расскажу подробно. Мы познакомились тут же. Он очень обрадовался и долго твердил, что никогда так не смеялся, как читая «Золотого теленка». Он повел нас к себе, подарил три свои книги. Мы поговорили с ним около часу и расстались.

По случаю воскресенья у доктора был холодный обед. Холодный, но вкусный и похожий на русский. Тут же за столом выяснилось, что дочь доктора живет в Москве. Поговорили, поговорили и поехали домой. Я еще погулял по широким, замечательно освещенным и невыносимо скучным улицам Голливуда и пошел в свой отель. Женя забежал в кино и, наверно, сейчас уже придет. Вот и все, что было сегодня. То-есть было еще что-то, но уже не помню. Недалеко от отеля, где мы живем, есть магазин собак, птиц и обезьян. Там маленькая обезьяна воспитывает свое дитя. Сидят они в крошечной клетке, и публика на них смотрит. И трогательно и немножко страшно, до того похоже на человека.

...Устал писать. Столько накарлякал, что руки заболели. Про одного голливудского хозяина, старого Голдвина, рассказывают, что он о своей жене сказал так: «Вы знаете, у нее такие красивые руки, что с них уже лепят бюст»...

Бенсон, Аризона, 27 декабря 1935 года.

...остановился я в маленьком городе. По путеводителю здесь восемьсот пятьдесят жителей. Больше действительно нет. Обыкновенный американский городок — несколько прекрасных газOLIновых станций для проезжающих на автомобилях, две или три аптеки, продуктовый магазин, где все продается уже готовое — хлеб нарезан, суп сварен, сухарики к супу завернуты в бумагу. Что тут люди могут делать, если не сходить с ума? Некоторые сходят, но таких немного. Большинство живет, утром ест ветчину с яйцами, много и хорошо работает, любит своих жен и помогает им хозяйничать, очень мало читает и довольно часто ходит в кино. Там они смотрят фильмы, которые почти все ниже достоинства человека. Такие фильмы можно показывать котам, курам, галкам, но человек не должен все это смотреть. Однако обитатели городка смотрят и не сердятся. Можно даже услышать, выйдя из кино, как они говорят: «Я имел хорошее время». Ну, бог с ними. Почему так происходит, дело сложное и коротко рассказать нельзя.

Сюда я приехал через громадные поля кактусов. Я не сводил с них глаз. Одни из них молились, другие обнимались, третьи нянчили детей, а некоторые просто стояли в горделивом спокойствии. Удивительно. И еще интересно то, что кактусы живут, как индейские племена когда-то жили. Где живет одно племя, там другому нет места. Они не смешиваются: в одном месте растут одни, в другом — совсем другие. Я послал тебе уже несколько открыток с фотографиями кактусов и очень много снимков сам сделал, но мне кажется, что это надо видеть глазами.

В Голливуде все наши дела шли хорошо, и только на одно можно пожаловаться. Мы не увиделись с Чаплином. История этого невезения такая: когда мы только приехали, Чаплин делал музыку к своей новой картине. Ее название по-русски звучит так: «Нынешние времена». Это не очень благозвучно, но по смыслу верно. И он был так занят, что подступить было невозможно. Потом мы занялись писанием либретто и перестали в суматохе думать о свидании. А когда мы освободились, то подошло рождество, и уже ничего нельзя было сделать, никого нельзя было найти. И еще, человек, который нам должен был устроить эту встречу, оказался не слишком энергичным. Так все это произошло. Я очень жалею об этом. Утешает меня только то, что чаплинская картина с шестнадцатого января пойдет в Нью-Йорке, и я ее увижу. Это, пожалуй, даже главное всего.

Калифорнийский климат меня разбаловал. Не представляю себе морозов, холодов, дождей, инея, даже прохлады. Но пробуждение уже наступает. Аризона, конечно, не Сибирь, даже здесь можно после захода

солнца ходить без пальто двадцать седьмого декабря, но все-таки это не Калифорния.

Опять еду через пустыню, более южной дорогой, чем мы ехали в Сан-Франциско. Понимаешь, милый друг мой, это очень географическая страна, если можно так выразиться. Здесь видна природа, здесь нельзя не обращать на нее внимания, это невозможно. Последний раз я видел Тихий океан, когда ехал на встречу с Тронами в Сан-Диего. Мы ехали поездом через апельсиновые рощи знаменитой долины салатов, дынь и апельсинов Эмпириэл Валлей, мимо нефтяных вышек по берегу. Заходило солнце, красное, помятое, комичное, потерявшее достоинство светило. Красиво и грустно.

Стал бы я писать о заходах солнца при моей застенчивости. Как видно, какой-то особенный заход. Завтра вечером я должен приехать в Эль Пасо. Первого января мы будем в Сан-Антонио. Расписание пока соблюдается...

Эль Пасо, Техас, 29 декабря 1935 года.

...Техас это будет по-испански, а американцы говорят — Тексас. Сегодня отправил тебе открытку из Мексики. Мексиканский город Хуарец примыкает к Эль Пасо вплотную, надо только перейти мост через реку. Мы там были вчера вечером. Очень странно приходит пешком в другое государство.

Эль Пасо воспринимается, как какой-то трюк. После невероятной по величине пустыни вдруг на самой границе большой город, громадные здания, мужчины, одетые точь-в-точь, как одеваются в Нью-Йорке или Чикаго, девушки, раскрашенные как следует, вообще все имеет такой вид, будто бы пустыни никакой нет.

И рядом с этим городом через маленькую здесь реку Рио Гранде, тоже город, но совсем не похожий на Америку. Пахнет жареной едой, чесноком, ходят босяковатые смуглые молодые люди с гитарами, калеки просят милостыню, двести тысяч микроскопических мальчиков бегают со щетками и ящичками для чистки ботинок. Что-то похожее на Молдаванку и в то же время совсем другое. Здесь я пообедал, остерегаясь, впрочем, заказывать национальные мексиканские блюда. Я уже ел в свое время в Санта-Фе. Это вкусно, но так жжет, что без пожарной каски на голове за стол садиться опасно.

Сегодня мы все пошли смотреть бой быков в Хуаресе. Вообще-то мы должны были уехать сегодня утром, но из-за боя остались на день. Я об этом не жалею, но скажу тебе правду — это было тяжелое, почти невыносимое зрелище. Очень красивый и очень грубо построенный круглый цирк без крыши. Какое-то народное по характеру здание. Хорошие люди сидели на цементных сиденьях. Тем, которые боялись простудиться, продавали за десять центов матрачные подушечки. Играл большой оркестр из мальчиков, одетых в серые штаны с белыми лампасами. В программе было четыре быка, которых должны были убить две девушки-торреро. Быков убивали плохо, долго. Первая торреадорша колола своего быка несколько раз и ничего не могла сделать. Бык устал, она тоже выбилась из сил. Наконец быка зарезали маленьким кинжалом. Девушка-торреро заплакала от досады и стыда.

...с другими быками тоже дело шло плохо. Но особенно подлое зрелище было издевательство над четвертым. Это был шуточный номер. Матадор и его товарищи были одеты в дурацкие цирковые костюмы, делали всякие клоунские глупости, и от этого все делалось еще унизительнее и страшнее. Раз в жизни это можно посмотреть, но здесь нет

никакого спорта. Бык не хочет бороться. Он хочет назад, в свой хлев. Его надо ужасно мучить, чтоб он разозлился...

Сан-Антонио, Техас, 31 декабря 1935 года.

...Сегодня мы целый день ехали вдоль мексиканской границы, по старой испанской тропе. От тропы, конечно, ничего не осталось. Это большая федеральная дорога, без экзотики, зато очень удобная. Ковбои гонят своих коров, охотники везут на передке автомобиля убитых небольших оленей, делается все, что для Техаса обычно.

В Сан-Антонио я приехал только что, и Новый год буду встречать здесь. Это большой город. Кажется, двести тысяч населения. Еще только семь часов вечера, но уже грохочут какие-то хлопнушки. Может быть, мы пойдем в ресторан к полуночи, а может, просто будем ходить по улицам. Говорят, что в Нью-Йорке это интересно. Здесь, вряд ли.

Мне очень понравились Карлсбадские пещеры. Это было вчера. Мы ехали довольно плоской и скучной пустыней. Пустыня была настоящая, без украшений. И вот в центре этого унылого на вид плоскогорья стоит небольшой дом. В нем два совершенно нью-йоркских лифта, которые быстро свезли нас вниз, под землю, на семьсот футов. Здесь мы два часа ходили по сталактитовым пещерам. Это так красиво, необычно и удивительно, что я писать об этом не могу. Самые грандиозные в мире декорации, вот что я могу сказать...

Нью-Орлеан, 3 января, 1936 года.

...Что-то я устал сегодня, хотя не бегал. Не знаю почему. Просто путешествие идет к концу. Нельзя же все время смотреть, смотреть без конца... по совести, хочу домой. Но нельзя же все бросать. Потом будет жалко. А сейчас жалко, что не еду домой. Удивительное все-таки учреждение почта. Вот я писал тебе из Таоса. Это ведь невероятная глушь. Там и железной дороги нет. А письма пришли. Через всю Америку, океан, Европу.

Гулял вечером по городу. Это юг, настоящий американский юг. Ночь, порт, тепло. Особые кино для негров, особые улицы. Целый день сегодня ехал по Луизиане. Удивительно красивая и мягкая, добрая природа. Если дерево стоит над дорогой, то это такое большое, старое, пушистое и доброе дерево, что вырасти оно могло только на литературной почве. Какие-то текут мелкие тихие речки. На них качаются старые, разбитые лодки. На берегах негритянские деревни, построенные из щепочек. Все старомодное, поломанное, старинное. Заводы с высокими тонкими трубами и шляпки пожилых негритянок одного возраста, все старое-престарое...

12 января, 1936 года.

...Я опять в Нью-Йорке и в том же отеле, где остановился в первый день приезда в Америку...

...Надеюсь пробыть здесь не больше недели, в крайнем случае десяти дней.

...Нью-Йорк, от которого я немножко отвык, больше всех других городов в мире подходит под понятие Вавилона. Он тем не менее мне не разонравился.

Нью-Йорк, 15 января 1936 г.

...за много дней в первый раз мне никуда не надо отправляться, никуда не надо бежать. Я пообедал один в кафетерии рядом с гостиницей и теперь один в номере. Сажу себе, думаю, что думаю — не знаю. Что-то сердце болит, хочется домой.

...Что-то сердце у меня болит в Нью-Йорке. Ем очень много, наверно от этого. Напротив гостиницы готическая церковь. Это считается хороший тон — готическая. В маленьких городах этого нет, куда им. У них с колоннами, вроде дома Жолтовского. Рядом Пятая авеню и сейчас же Эмпайр билдинг. К нему привыкнуть нельзя. Хожу вокруг него, хожу и что-то бормочу все время. Если вслушаться, то все какие-то глупости: «Ах, черт! Ну, ну! Ох, здорово!» Так что вслушиваться противно. Для рекламы Эмпайр освещается, в пустых комнатах горит ровный свет. Был ли я в пустыне? Это уже сделалось недостоверным. Сейчас в Нью-Йорке красиво. Свежо, ветер дует, солнце. Только весь день впечатление, что закат. Дома такие высокие, что солнечный свет только наверху. И уже с утра закат. Наверно, от этого мне грустно...



К 60-летию со дня рождения

А. А. ФАДЕЕВ

★

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Ю. Н. Либединскому

10 апреля 1935 года.

Дорогой Юра!

Твое письмо от 1 марта я получил только 26 марта, в день отъезда в Хабаровск на пленум крайкома¹. Во все время пленума трудно было ответить,—хотелось и хочется подробно написать обо всем. Разговор, правда, получится по «финскому» образцу: между твоим письмом и моим разрыв получится почти в два месяца. Больше всего меня обрадовало все, что ты пишешь о своей работе над пьесой. Не нужно говорить, как я был бы счастлив, если бы это была удача! Это была бы победа и правильной линии, и тебе придало бы новые творческие силы и чувство свободы и раскрепощенности в работе. Валя как-то писала мне, что хуже всего, если я не работаю над «Удэге», а занимаюсь второстепенными литературными делами, т. е. просто «проживаю», обмывая себя видимостью дела. Тогда уж лучше перейти на партийную (или другую) работу, чтобы — или вернуться к литературе с новыми силами, или стать партработником,— иначе — неопределенность, прозябание, пустота. Сколько раз я думал об этом и в применении к тебе! В период «рапповского конца» и прихода к новому содержанию и формам литературного бытия ты оказался наиболее уязвимым среди нас. Это тебя изрядно вышибло из настоящей, органической творческой работы (больше, чем всех нас). Я больше всего боялся, что ты не вышел из этого состояния. В таком случае, правильнее было бы бросить все, переменить весь строй жизни, среду,—переучиваться наново. Мы еще не так стары, чтобы бояться отдать 1½—2 года на переучебу. Но то, что ты пишешь про пьесу, а главное то, как ты над ней работаешь,—целиком меняет дело. Если она даже не выйдет «победительной», то ведь это не страшно (ибо выйдет вторая или третья). Главное же — войти в ту внутреннюю атмосферу творчества, в которой ошущаешь, что отдаешь делу всего себя, органически понимаешь тему и — свободен выражать все, что понимаешь и чувствуешь. Победы и поражения при таком самочувствии — это, так сказать, нормальные победы и поражения, т. е. истекающие от твоих собственных данных, а не от внешних условий, помех и конъюктур. Если это у тебя есть, можешь и дальше работать смело и не отчаиваться, даже когда «не выходит», — таких писателей, у которых всегда бы все «выходило», не было и нет. Ты не писал мне о том, какое еще новое «дело» тебе пришивали, но это сопровождает жизнь всех людей. Признаться, меня всегда больше вышибали из колеи те неурадицы и неудачи, которые происходили на личной почве, а не на общественной. Должно быть, потому, что во втором случае есть более точные, твердые и разумные категории борьбы и поведения, а в первом больше рефлексии, пережитков индивидуализма и собственной глупости. Поэтому, если и до сих пор я очень недомогаю тем, что моя так называемая «личная жизнь» поломалась целиком и полностью (поломалась по моей вине), то в наше общественное и писательское (что для меня слитно) будущее я — при всех нюансах — смотрю смело, готов сражаться до конца и чувствую

силу. К этому, последнему я призываю и тебя — ведь это то, чем определяется наша ценность и полезность в жизни.

Я с большим интересом жду переделанных «Комиссаров». Там в самом деле некоторые вопросы революции были поставлены и разрешены неверно, если глядеть с современной исторической вышки. Но эта неправильность, к счастью, не такого порядка, чтобы требовалась коренная переделка основных образов. Реалистическая здоровая тенденция — я ее очень почувствовал в свое время — пробилась сквозь схему: теперь ты, очевидно, все расставил на свои жизненно правдивые места.

Я прочел в №№ 10 и 11 «Литературного критика» введение к эстетике Гегеля и получил истинное наслаждение. Вопросы специфики искусства во времена РАППа пытались разрабатывать, к сожалению, только ты да я. Я поразился, как близко к истине мы добирались! И как жалко, что все это было искажено у нас недостатком знаний, догматизмом и групповой борьбой. Благодаря такому искажению эти работы нельзя даже переиздать, а между тем — это пока единственные попытки применить марксистскую философию к современной практике литературного творчества.

Я уверен, что выход «Эстетики» Гегеля на русском языке даст огромный толчок в этом направлении. К сожалению, сам я уже долго не вернусь к теоретической работе (не в смысле изучения, а в смысле реализации), — все силы отдаю и буду отдавать непосредственной творческой работе. Третья часть «Удэге» подходит к концу, — думаю, понадобится 20—30 дней, чтобы добить ее. Страшно подумать, что это только половина романа. Много новых, современных тем лезет в голову. Некоторую разрядку буду делать через небольшие рассказы, но основные силы отдам роману, — пока не кончу. Я по-прежнему сижу на 19-й, изредка выезжая в город или в воинскую часть, или (как в этот раз — на пленум) на какой-нибудь интересный съезд или собрание. Очень много читаю. Но в смысле всяких житейских радостей жизнь идет довольно однообразно. Очень скрашивает ее то, что я живу «на родине» и так всё и всех здесь знаю и меня знают, что даже сидя на даче, я — в своей стихии и движусь вперед вместе с жизнью. Кроме того, в последнее время я начинаю получать все больше и больше писем из Москвы, порой от людей совершенно неожиданных — и поэтому, хотя и с запоздаaniem, обо всем информирован.

Я желаю тебе большой удачи, милый Юра, и прошу не забывать меня. То, что у нас возникали иногда «принужденности» в отношениях, это, должно быть, верно. Но ведь их не бывает только в жизни идеализированной, а живая жизнь — она такова. Дружба приобретает не милыми словами и теплыми улыбками — хотя они тоже очень вкусны — а жизненным опытом, и тем она прочнее.

Крепко жму руку тебе и целую.

Александр.

¹ А. А. Фадеев был избран членом Дальневосточного крайкома ВКП(б) в январе 1934 года, на 11-й партийной конференции Дальневосточного края.

А. Н. Толстому

6 ноября 1940 года.

Алексей Николаевич!

Направляю тебе книгу В. Василевской «Пламя на болотах» с предисловием Е. Усиевич. Это предисловие даст тебе совершенно достаточный материал для характеристики этой книги в докладе. Предисловие это правильное. В нем не отмечены, однако, некоторые существенные художественные недостатки книги.

1) То, что является исключительным достоинством книги, — глубокое знание быта украинской деревни, под гнетом панской Польши, — это же поворачивается, в известном смысле, как недостаток книги: быт самодовлет. Изображение жизни крестьянина, осадника, иногда настолько перегружено бытовыми деталями, описаниями предметов и обстоятельств, что заслоняет целое. Если бы не исключительная страстность автора, если бы не глубокое сочувствие его угнетенным людям, — книга вообще не поднималась бы над уровнем так называемой бытовой литературы.

2) Отсюда некоторые типические художественные недостатки книги: растянутость, отсутствие экономии в диалогах, излишне подробные описания природы, быта, дум и чувствований.

3) Очень трудно судить о стиле, поскольку это перевод. Тем не менее книга изобилует тяжеловесными выражениями.

• Вместе с тем, В. Василевская — настоящий художник. Достаточно прочесть на выборку отдельные места и главы книги, чтобы видеть ее достоинства. В предисловии Е. Усиевич эти достоинства книги правильно подчеркнуты.

С приветом Ал. Фадеев.

А. Н. Толстому

10 января 1943 года.

Желаю тебе еще долгие годы сохранить могучую силу твоего глубоко русского таланта.

Сердечный привет!
Фадеев.

С. М. Эйзенштейну

21 мая 1945 года.

Дорогой Сережа!

Как ни печально, что мы с тобой здесь не встретились,— что ты удираешь отсюда в Барвиху, где тебе будет и свободнее и веселее, и главное, что это уже этап по пути выздоровления.

Инфаркт — это гадкая вещь, но у людей не старых, к каким мы, к счастью, пока принадлежим, не пьющих, к каким, к сожалению, принадлежишь только ты, а главное — способных к размеренному трудовому режиму, на что ты, как человек, в общем не склонный к суетности жизни, а привыкший жить в мире собственных разносторонних интеллектуальных интересов, вполне найдешь в себе достаточной собранности и организованности,— у людей этого возраста и склада сей инфаркт может так и остаться в памяти, как опасный звонок, а жить и работать можно еще десятки лет.

Я это знаю потому, что это было с моим родным отцом, когда он был в сорокалетнем возрасте, и он лечился около года, а потом он прожил до семидесяти.

Конечно, я не мог заболеть интеллигентной болезнью, поскольку я человек изменный. Сейчас я выдержал страшный бой за два яйца всмятку, которыми я просил заменить мне манную кашу, одержал победу и съел эти нормальные куриные яйца, чувствую себя много подвинувшимся вперед по пути выздоровления. Если бы мне дали бифштекс по-деревенски, я завтра уже пел «Ой да ты, калинушка», а послезавтра мог бы выписаться. Но здесь этого не понимают, и теперь я болею только от голода.

Милый Эйзен, обнимаю тебя и желаю тебе окончательного здоровья. Надеюсь, мы будем встречаться почаще, а не то, как показала жизнь, можно эдак и умереть, не выдавшись.

Salud! Rot Front!

Александр Фадеев
(Эсквайер).

К. М. Симонову

23 октября 1946 года.

Дорогой Костя!

У К. И. Чуковского есть очень хорошая работа о Некрасове, которую он готовит к 125-летию поэта — в начале декабря. В этой работе есть несколько вполне самостоятельных глав, рассматривающих Некрасова как новатора в области формы в связи с принципиальной новизной его народной темы в русской поэзии XIX века. Написано это необыкновенно просто, талантливо и очень убедительно...

Ты сделал бы благое дело, если бы напечатал какую-либо из глав...
Вызови его.

Сердечный привет!
А. Фадеев.

О. Д. Форш

Март 1948 года.

Милая Ольга Дмитриевна!

Прости, что, наобещав с три короба... я так долго злоупотреблял твоим терпением и ни разу не написал тебе. Но учти, что ко мне в должности генерального секретаря нужно относиться, как к невменяемому. Мне редко удается сделать вовремя что-нибудь путное, поскольку я постоянно увлекаем стихией так называемых «неотложных», т. е. суетных дел. Сейчас я уже вполне доспел для Канатчиковой дачи, но все еще не дают отпуска.

Возвращаю тебе книжечку «В старом Тифлисе». Я ее, конечно, прочел, и рассказы, особенно тот, который дал название всей книжечке, доставили мне истинное удовольствие. Но одновременно они объяснили мне, почему библиотека «Огонька» не смогла их выпустить. Тираж библиотеки 100 тыс. После первых же ее опытов — она, т. е. библиотечка, получила совершенно ясные указания: не издавать книжек, могущих иметь значение для более или менее узкого круга читателей, интересных только для наиболее образованного и искушенного круга интеллигенции, а выпускать книги для широких слоев народа, книги современные, политически актуальные. На этом основании и зарезали ряд неплохих книжек, но имеющих звучание для определенного круга людей, — в том числе и твою.

Действительно, в основании большинства твоих рассказов в этой книжке лежит анекдот. Для понимания тонкости большинства из них требуется специфическое образование или, во всяком случае, знание этого круга фактов.

Я не хочу этим сказать, что рассказы твои — книжные и что существа их не поймет хорошо грамотный человек. Я хочу этим только сказать, что очень неширокий круг интеллигенции может воспринимать ту специфическую тонкость строения и организации материала, на которой держится каждый из рассказов и без понимания которой — они неинтересны.

Извини, если этим своим суждением доставил тебе некоторое огорчение. Меня всегда удивляло, почему при твоём неисчерпаемом жизнелюбии, знании людей и тонком их понимании, при такой биографии с ее разнообразными географическими маршрутами ты в своей прозе так укрепилась на истории, а в стиле до сих пор не можешь отрешиться от некоторых элементов стиля, свойственного самой дурной на свете символистской прозе. Я, конечно, человек балованный и, к моему сожалению, «научен» видеть и понимать известные прелести даже этого глубоко чуждого мне стиля.

Но мне всегда казалось, что он в известной мере сковывает твою душу. И те произведения, где душа звучит через все препоны, не случайно получают общенародное значение.

Таков роман «Одеты камнем». Как давно он написан, насколько больше формального мастерства достигла с той поры твоя рука, а роман продолжает жить, и я с удовольствием увидел его в избранной серии к 30 летию революции.

Не подумай, что я в какой-либо степени стараюсь охаять все другое, написанное тобой. Нет, это все — произведения таланта и мастерства, все имеет своих почитателей, все влетает в развитие нашей советской культуры. Мне хочется просто сказать тебе, что именно мне самому больше нравится.

Живешь ли ты уже на даче или это только в проекте? Напиши мне о всех своих делах издательских.

Сердечный привет Тамаре.
Крепко жму руку и обнимаю.

А. Фадеев.

О. Д. Форш

15 декабря 1954 года.

Милая Ольга Дмитриевна!

Ты была сегодня на исключительной высоте¹. Пишу об этом не для того, чтобы сказать тебе комплимент. А просто потому, что мы все тобой любовались.

Голос звучал свободно, сильно, просто. Была какая-то горжесть во всем, что происходило в зале.

Мы стояли за дверью, любовались гобой и говорили о том, какая ты сильная, мужественная и умная женщина.

Я ужасно рад за тебя и крепко, крепко жму твою руку, вынесшую в жизнь столько большого хорошего писательского труда, умную милую руку.

Твой А. Фадеев.

¹ Написано во время первого заседания Второго Всесоюзного съезда советских писателей. Съезд был открыт вступительной речью О. Д. Форш.

К. А. Федину

Март 1952 года.

Дорогой Костя!

Когда человек прошел 60 лет по жизни, ему уже каких-нибудь 30 дней — не расчет. Вот почему я, не сумев поздравить тебя по своей болезни вовремя, обнимаю тебя 30 дней спустя и желаю тебе здоровья — все остальное у тебя есть.

Теперь уже десять лет разницы наших возрастов не имеют того значения, какое они имели двадцать пять лет тому назад. Тогда ты был для меня писателем старшего поколения. И я никогда не забуду, что ты был первым, кто заметил и поддержал рукопись «Разгрома».

С того момента, как я прочел «Города и годы», первую из твоих книг, какую мне довелось прочесть, и с первых дней нашего личного знакомства, я почувствовал в тебе ту предельную писательскую честность, которая является одной из главных черт именно русской литературы. Глубоко национальные истоки «Братьев» только укрепили во мне это чувство.

Я сам был воспитан нашей русской традицией в этой писательской честности. И поэтому всю жизнь любил тебя, — даже когда мы расходились в оценках тех или иных явлений жизни и литературы. И в общем я многому у тебя учился.

Идя путем реализма, ты очень многое правильно видел даже тогда, когда некая логическая кривая твоего разума, казалось бы, должна была стать в противоречие с изображаемым. Это означает, что ты всегда был художником прежде всего (несмотря на более логический склад ума, чем у многих твоих собратьев по перу!). Все-таки это противоречие имело место и до известной степени тормозило тебя. И нет среди твоих товарищей другого, который был бы так счастлив, как я, когда умный талант твой набрал полную силу реализма и, обогащенный действительными героями нашей жизни, живой, раскрепощенный, поднял тебя неизмеримо высоко среди твоих современников старших и младших поколений.

Я очень рад за тебя. Ты напишешь нечто еще более возвышенное и в то же время матерьяльное, потому что все изображаемое тобой и раньше всегда можно было увидеть, услышать и ощупать.

Только тебе, как и многим из нас, надо побороться за себя в смысле времени.

А за здоровье наше мы должны побороться прежде всего с самими собой.

Давай выезжать иногда на охоту, что ли! Прими от меня соответственный подарок — на память добрую.

Крепко жму твою руку и обнимаю тебя.

Твой А. Фадеев

Числа не ставлю, т. к. день твоего рождения все еще длится для меня.

А. Ф.

З. Н. Шапиро¹

25 апреля 1954 года.

Дорогая Зоя Николаевна!

Вместе с Вами, всеми близкими тяжело переживаю кончину Лидии Николаевны. Одна из зачинателей, она оставила глубокий след в развитии советской литературы.

Мне лично она всегда была дорога как человек кристальной чистоты, прямоты, как чудесный товарищ, как учитель, поддержавший мои первые шаги в литературе.

Примите мое соболезнование и сочувствие.

. Ваш Александр Фадеев.

¹ Сестра писательницы Л. Н. Сейфуллиной.*В Главную военную прокуратуру*

2 марта 1956 года.

Направляю Вам письмо поэта Ахматовой Анны Андреевны по делу ее сына Гумилева Льва Николаевича и прошу ускорить рассмотрение его дела.

Я не знал и не знаю Л. Н. Гумилева, но считаю, что ускорить рассмотрение его дела необходимо, поскольку в справедливости его изоляции сомневаются известные круги научной и писательской интеллигенции. Сам он (согласно имеющимся в деле и дополнительно прилагаемым здесь документам крупных советских деятелей науки) является серьезным ученым и притом в той области, которая сейчас при наших связях со странами Азии, нам особенно нужна: он — историк-востоковед.

Его мать — А. А. Ахматова — после известного постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» проявила себя как хороший советский патриот: дала решительный отпор всем попыткам западной печати использовать ее имя, и выступила в наших журналах с советскими патриотическими стихами. Она является в настоящее время высоко художественной переводчицей лучших произведений поэзии наших братских республик, а также Запада и Востока. Патриотическое и мужественное поведение старого крупного поэта, после столь сурового постановления, вызвало глубокое уважение к ней в писательской среде, и А. Ахматова была делегатом на 2-м Всесоюзном съезде советских писателей.

При разбирательстве дела Л. Н. Гумилева необходимо также учесть, что (несмотря на то, что ему было всего 9 лет, когда его отца Н. Гумилева уже не стало) он, Лев Гумилев, как сын Н. Гумилева и А. Ахматовой всегда мог представить «удобный» материал для всех карьеристских и враждебных элементов для возведения на него любых обвинений.

Думаю, что есть полная возможность разобраться в его деле объективно.

Депутат Верховного Совета СССР писатель А. Фадеев.

С. В. Кригер¹

28 августа 1954 года.

Дорогая Соня!

...Пишу тебе из Челябинска, куда попал в связи с работой над романом, — пишу вот по какому поводу.

Я получил письмо с Дальнего Востока от бывшего комиссара бригады, в которой я был комиссаром полка (а потом стал комиссаром той же бригады), Ф. П. Булочникова. Он просит меня, в связи с его работой над воспоминаниями, подтвердить и напомнить некоторые факты, связанные с кампанией по разгрому атамана Семенова в Забайкалье. И вот в этой связи мне необходимо подтверждение и напоминание некоторых деталей, связанных с моими встречами с тобой и с Тamarой² в те же времена или чуть-чуть предшествующие тем временам, когда я попал к Булочникову. Я буду само собой писать еще и Тамаре, но заодно проверю и у тебя, правильно ли я запомнил некоторые моменты.

1. Мы приехали из Владивостока — Тамара, Игорь Сибирцев³ и я — в Благовещенск и там вскоре расстались, попав на разную работу в разные места. У меня осталась в памяти первая встреча с Тамарой после этой разлуки. По-моему, это произошло на какой-то станции с населенным пунктом на Амурской железной дороге. Это было, по-моему, еще до начала военных действий против Семенова, и я даже не уверен, была ли та организация, в которой Тамара занималась политпросветительной или культпросветительной работой, — была ли эта организация военной или гражданской. Но запомнилось мне, что Тамара и другие жили в вагонах поезда. Под управлением Тамары находилась, в числе прочего, какая-то труппа актеров. Она с ними была в дружеских отношениях. Особенно ей нравился один пожилой актер, про которого она, смеясь, говорила: «Ох, и циник!» Мы вместе с Тамарой присутствовали на выступлении этой труппы в каком-то стационарном клубе со сценой (я хочу этим подчеркнуть, что представление давалось не из агитвагона) — может быть в железнодорожном, может быть в поселковом. Там была инсценировка то ли стихотворения «Каменщик, каменщик в фартуке белом...», то ли стихотворения «...темнее той ночи встает из тумана видением грозным тюрьма». Певец и певица, еще молодые, муж и жена, пели: «По старой Калужской дороге, на 49-й версте...» Они, эти певцы, а особенно певица, мне очень понравились, и после представления я, помнится, пошел к ним в гости, в вагон — пить чай. У меня осталось такое ощущение, что тогда тебя, Соня, там не было, что тогда ты еще не работала вместе с Тамарой. Но если и ошибаюсь, то напиши мне. а) Когда это было? б) Где это было? в) Была ли эта военная (политотдельская) работа или гражданская — просветительная? Я уже ничего этого не помню.

2. Я отлично помню наши встречи с тобой и с Тамарой уже в прифронтовой обстановке, то есть помню тебя и Тамару и весь окружающий политотдельский быт, но у меня совершенно ушло из памяти, где это было и была ли это одна встреча, длившаяся несколько дней, или я уезжал, а потом вновь приезжал — уже по должности инструктора политотдела дивизии или комиссара 22 Амурского стрелкового полка. Мне это как раз важно, чтобы дать Булочникову более точные сведения, как и когда я попал к нему в бригаду, на этот самый полк — комиссаром.

Чтобы тебе легче было мне ответить, я напишу, как мне все это сейчас представляется, и предварительно расскажу небольшую предисторию. Когда только что начались военные действия против атамана Семенова, я возвратился после чуть ли не месячной поездки по Амурской железной дороге (вплоть до Нерчинска и Сретенска) по организации и инструктированию комсомольских ячеек — вернулся в Благовещенск. Игорь был тогда комиссаром бригады, расположенной в Благовещенске, ею командовал Петров-Тетерин. Я очень хотел быть вместе с Игорем, в этой или в другой бригаде, но вместе с ним, и когда меня посылали в эту поездку по комсомольской линии, мне обещали, что это временно, что я по-прежнему, как это было в Приморье, числюсь за армией (хотя я и не был зачислен в эту бригаду).

Когда я вернулся в Благовещенск, большая часть бригады вместе со штабом, с Игорем, с Петровым-Тетериным уже отбыла на фронт. Грузился в вагоны последний полк, как раз тот самый, в котором находились в большинстве знакомые мне приморские партизаны, среди них — мои чугуевские односельчане. Я понял, что если я с ними не уеду, мне с Игорем не повстречаться и не работать вместе. И наскоро отчитавшись в обкоме РКСМ, сославшись на данное мне раньше устное обещание, но не получив никаких формальных бумаг об отправлении на фронт, то есть в известной степени полузаконно (но и придаться ко мне трудно было, т. к. по приезду из Приморья я еще нигде не успел взяться на учет), — и уехал вместе с этим полком. Я понимал, что самовольно меня в полк не зачислят, и знал, что даже Игорь, при всей его любви ко мне, не может меня самовольно назначить на ту или иную должность в бригаде. Но я рассчитывал вот на что. Во время своей работы в Нерчинске я очень понравился работникам стоявшего там штаба и политотдела — то ли Забайкальского фронта, то ли одной из армий, — там был комиссаром Лебедихин, с которым я позже много встречался в Москве. Он и его товарищи уже тогда уговаривали меня остаться, обещая все законно оформить. Но я рвался к Игорю и не остался. Теперь я понимал, что бригада,

где Игорь, попадет «под начало» этих людей и, может быть, меня направят в эту бригаду.

Одним словом, когда я добрался, то есть доехал вместе с этим полком до какой-то солидной политотдельской организации фронта, или армии, или даже дивизии (вот это ты и попробуй мне напомнить), то есть туда, где были люди, знавшие меня,— я вынужден был расстаться с полком, чтобы получить формальное назначение. Вот здесь, по-моему, я и встретился с тобой и с Тамарой.

Теперь ты мне и попробуй ответить, что это был за политотдел — фронта или армии, или одной из дивизий? Где вы сами-то работали? Где вы тогда стояли, в каком городе или пункте? У меня такое ощущение, что это был политотдел фронта или армии и что я тогда задержался среди вас, дожидаясь назначения. В памяти моей осталось, что в этом назначении сыграли роль комиссар дивизии Логинов — той самой дивизии, в составе которой я потом и воевал,— и начальник политотдела этой дивизии (а может быть, он был повыше, чем дивизии,— я теперь уже забыл), не то Камсков, не то Камков — люди, с которыми я уже был знаком по той прежней своей «комсомольской» поездке. Знакомы ли тебе эти люди? У них вы работали или «повыше»?

Мне дело представляется так, что эти знавшие меня работники как раз в период моего приезда к вам, то ли потому, что сами приехали в ваш политотдел по своим делам, то ли потому, что в это время штаб дивизии находился там же, где и ваш политотдел, уговорили начальство и меня самого «пойти на работу» к ним, а не к Игорю. Так я очутился в этой дивизии, а потом в бригаде Булочникова.

У меня осталось в памяти, что, ожидая назначения, я провел с вами несколько дней, но жил я где-то отдельно от вас.

А потом у меня осталось в памяти, будто бы я еще раз приезжал к вам, всего лишь на одни сутки — по какому-то поручению из дивизии (возможно, за литературой) или уже из полка (но если из полка, то, конечно, я не имел возможности быть у вас в период военных действий, это могло быть уже после полной победы над Семеновым). Почему мне кажется, что я приезжал к вам еще раз? Потому что я хорошо запомнил, что мне негде было ночевать, и я остался у вас, где вы жили с Тамарой и, кажется, еще с кем-то из девушек, и за неимением места мы с Тамарой, как люди, знающие друг друга с детства, спали, как брат и сестра, на одной койке. А потом мы с тобой прощались, стоя у окна, и дружески обнимались и говорили друг другу что-то хорошее на прощанье, потому что мне надо было уезжать.

Помнишь ли ты это? Действительно ли это была вторая встреча? Или это все происходило в ту же, одну, встречу, длившуюся несколько дней, а просто я перед отъездом задержался у вас, припозднился и вынужден был остаться ночевать? В обоих случаях — где это было? Когда, в каком месяце (конце октября или начале ноября? Если я приезжал из полка, то это могло быть уже только в конце ноября или в декабре).

Просмотри, дорогая моя Соня, все мои вопросы по ходу письма и все изложенные мною факты, дополни и поправь их своей памятью, и тогда я смогу ответить Булочникову, когда и откуда я к нему попал.

Мой адрес (до 20 сентября — письма из Москвы идут сюда 5—6 дней): г. Челябинск, Главный почтамт, до востребования. Фадееву Александру Александровичу.

Ты сейчас, наверно, очень перегружена, но ты отвечай кратко, потому что тебе не нужно вводить приводящих обстоятельств, а ты можешь кратко комментировать или исправлять мои.

Крепко жму твою руку и обнимаю тебя.

Саша.

Извини меня за анафемский почерк!

¹ Кригер (Иляхина) Софья Варфоломеевна — участница партизанского движения на Дальнем Востоке.

² Головинина Тамара Михайловна — активная участница большевистского подполья и партизанского движения на Дальнем Востоке.

³ Сибирцев Игорь Михайлович — двоюродный брат и любимый друг А. А. Фадеева. Активный участник большевистского подполья и партизанского движения на Дальнем Востоке. Погиб в бою с белогвардейцами и интервентами в декабре 1921 года под Хабаровском.

В бюро Дальневосточного крайкома ВКП(б)

Дорогие товарищи!

Во время поездки по краю¹, мне удалось посетить Улахинскую долину (ту ее часть, которая входит в Яковлевский район).

Эта долина (села Чугуевка, Соколовка, Саидагоу, Бреевка, Извплинка, Архиповка, Каменка, Кокшаровка, Угорка, Антоновка, Саратовка, Самарка, Жилонлевка, Окраинка) сейчас находится в чрезвычайно заброшенном состоянии в смысле внимания к ней со стороны партийных, советских и хозяйственных организаций. Между тем, Улахинская долина, особенно село Чугуевка, являются центрами партизанского движения в Приморье. Уж не говоря о том, что очень значительный процент населения в селе Чугуевке (почти половина) был активным участником партизанской борьбы, эта долина в течение 3-х лет, с 19 по 22 гг., кормила почти все партизанские отряды Приморья, которые проходили через нее и неделями и месяцами жили в ее селах.

Вместе с тем благодаря наличию в Улахинской долине значительных слоев стареров, стодесятильников, которые в настоящее время отсюда удалены, но корни их остались там, классовая борьба в период коллективизации носила особенно ожесточенный характер, и остатки классово враждебных сил, пытающихся влиять на население, имеются там и до сих пор.

Исходя из этого, я ходатайствую перед Крайкомом и Крайисполкомом о проведении ряда мероприятий по улучшению культурного положения в долине:

1. Необходимо учредить в Улахинской долине МТС, ибо в тех селах, где жили стареры, до сих пор пустует около 2 000 га прекрасной земли, а в сущности говоря, Улахинская долина является долиной очень плодородной.

2. Необходимо учредить в Чугуевке медпункт, который был там до революции, а сейчас нет.

3. Построить в селе Чугуевке школу-семилетку, так как старая дореволюционная школка сгорела и ребята учатся по хатам.

4. Послать в долину хорошего радиста и комплект радиоприемников, так как во всей долине нет радио.

5. Если не предполагается в связи с льготами, предоставляемым населению ДВК, разрешить колхозам более отдаленных местностей иметь свои мельницы, то необходимо где-то в районе Бреевки или Извплинки поставить еще одну государственную мельницу, иначе крестьяне более дальних деревень в верховьях реки Улахе должны везти хлеб за 50 и больше верст по отвратительным дорогам, убивая лошадей и время.

6. Провести новую дорогу от районного центра (село Яковлевка) до Чугуевки. Старая дорога пришла в невероятный упадок. Ежегодно на ней гибнет масса лошадей. Из-за этой дороги сельпо сидит без говаров. Если подсчитать средства, затрачиваемые ежегодно на ремонт этой дороги, то должен сказать, что гораздо выгоднее построить новую, тем более, что большое количество мостов для предполагающейся новой дороги уже сделано, но потом работа по неизвестным причинам прекратилась, и мосты зря гниют.

С коммунистическим приветом

Член Далькрайкома А. Фадеев.

[Написано в начале 1934 года.]

¹ Речь идет о поездке А. А. Фадеева по Дальневосточному краю, которую он совершил в августе 1933 — январе 1934 гг.

А. А. Суркову

12 ноября 1951 года.

Дорогой Алексей Александрович!

Пишу тебе личное письмо в связи с предстоящим моим пятидесятилетием. Как ты прекрасно понимаешь, эта дата в сущности ничем принципиально не отличается от той, когда тебе исполняется 49 или 51. Между тем ко мне поступают сведения, что некоторые лица и организации придают этой дате в моей общественной и литературной биографии чрезмерное значение. Может быть, они думают, что «так надо», что имеются на этот счет какие-нибудь «указания». Кроме того, я в жизни моей соприкасался более или

менее тесно с таким широким кругом людей в самых разных сферах деятельности, что среди них находится немало добрых людей, которые от чистого сердца, по соображениям возрастным и приятельским, искренно рады «раздуть кадлю» и довольно бессознательно подстрекают к этому других. Это меня расстраивает и даже пугает.

Это ставит меня в неловкое и смешное положение. Никто почему-то не задумывается над тем простым обстоятельством, что среди многих своих друзей литераторов, ничуть не меньших, а зачастую и больших по своему творческому литературному значению, я «выделяюсь» в сущности только своим должностным положением в качестве Генерального секретаря Союза писателей, к тому же члена ЦК ВКП(б). Но это последнее обстоятельство только обязывает меня к большей скромности. И я очень и очень боюсь парадной шумихи, которая многими и многими не может быть воспринята иначе, как шумиха, поднятая по моему собственному желанию или, во всяком случае, с моего благословения.

Вот почему я обращаюсь к тебе с личной просьбой — помочь мне провести эту злополучную дату, как можно более тихо.

Все, что можно сделать в этом отношении по линии Союза писателей, я излагаю в официальном письме в Секретариат, каковому письму прошу придать более серьезное значение, чем это запрашивается с первого взгляда. Вместе с тем я прошу тебя лично, как исполняющего обязанности Генерального секретаря, помочь мне в другом, более гонимом деле, о котором неудобно писать официально, чтобы не обидеть лиц заинтересованных. Я прошу предупредить Институт мировой литературы, Гослитиздат, «Советский писатель» — это можно сделать, поговорив доверительно с директорами этих учреждений с ссылкой на то, что делается это с моего ведома, — чтобы они отнеслись строго к предлагаемым в печать «монографиям», посвященным творчеству Фадеева. Как это ни нелепо, но мне стало известно, что мне — автору лишь двух с трудом законченных произведений и одного незаконченного романа, который к тому же нуждается в коренной переработке, — собираются посвятить труды размером в тридцать и больше печатных листов каждый. То есть размером больше, чем все мои произведения, вместе взятые...

Я не могу позволить, чтобы меня ставили в такое глупое и пошлое положение... Я не имею никакого стремления кокетничать своей скромностью и, как всякий литератор, был бы рад прочесть о себе добросовестную критическую статью или даже массовую популярную брошюру... «монографии» о ныне живущих и далеко еще не закончивших своего творческого пути литераторах — штука несвоевременная и противоречит самому духу нашего советского общества.

Подумать только! Мы не имеем монументальных монографий о жизни и деятельности величайших людей партии — Дзержинского, Кирова, Орджоникидзе, Фрунзе... У нас до сих пор нет настоящих больших правдивых книг о Горьком, Маяковском, Алексее Толстом. И вот, по случаю того, что А. Фадеев является Генеральным секретарем ССП и членом ЦК ВКП(б), недалековидные люди готовят ему «сюрпризы» размером в 30—40 печатных листов в надежде кому-то «потрафить».

Я просто не могу позволить подобной нескромности и лично прошу тебя не допустить до выхода в свет подобных книг.

Если лица, от которых зависит выпуск этих книг, не внемлют твоим словам, я решаю показать им это мое письмо... Повторяю, я с интересом и уважением прочитал бы статьи или брошюры о себе... но я ясно вижу нескромность, надуманность, общественную вредность толстых «монографий» о нашем брате и хочу уберечь от неприятностей не только самого себя, но и... литераторов.

С приветом А. Фадеев.

Дорогой Алеша! просьба моя к тебе имеет столь важное значение для меня, что я очень прошу известить меня, какие меры ты смог предпринять для ее удовлетворения.

Публикация и комментарии С. Преображенского.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЖДАНОВ

★

ИЗ ЗАМЕТОК О ДОБРОЛЮБОВЕ

К 100-летию со дня смерти

1. ЮНОША-ГЕНИИ

Когда перелистываешь страницы, написанные Добролюбовым, постоянно находишься во власти радостного удивления: какая смелая, упругая мысль, сколько железной последовательности в суждениях, неотразимой логики в доказательствах, в спорах с противниками! И как свежо, молодо, изобретательно его перо! Темперамент публициста-бойца угадывается за этой внешне спокойной манерой неторопливо понижывать мысль за мыслью, довод за доводом...

Когда он успел написать так много? Шесть больших томов составляют полное собрание его сочинений, вышедшее в наше время (1934—1939). В каждом томе в среднем пятьдесят—шестьдесят авторских листов да сюда еще не вошли некоторые позднее обнаруженные материалы, а также письма Добролюбова.— их сохранилось не менее трехсот¹. Нельзя не удивляться, что вся эта масса статей, рецензий, фельетонов, стихотворений, сатир и т. д. написана автором, не дожившим до двадцати шести лет. Белинский в этом возрасте опубликовал лишь первые свои статьи. Чернышевский едва только начал печататься.

Но еще удивительнее другое. Несмотря на молодость, Добролюбов стоял в самом

центре литературного движения своего времени, в самой гуще современной жизни. Он умел оказывать влияние не только на литературу, но и на состояние педагогики, философии, социологии. Вспоминаются слова Чернышевского, сказанные им в некрологе Добролюбову: «Ему было только 25 лет. Но уже четыре года он стоял во главе русской литературы,— нет, не только русской литературы,— во главе всего развития русской мысли».

Эти слова, опубликованные сто лет тому назад в ноябрьском номере журнала «Современник», были первой оценкой исторического значения Добролюбова. В свое время они подверглись осмеянию в реакционной печати («Мертвого человека они поставили на ходули, одели в маскарадный костюм вождя русской литературы...»— писал один из журналов, враждебных «Современнику»). Но теперь мы знаем, насколько прав был Чернышевский в своем прозорливом суждении.

В самом деле, едва ли не все области культуры и знания охвачены в работах Добролюбова. Первое место среди них занимают, конечно, широко известные статьи на литературные темы (о Гончарове, Островском, Тургеневе) и примыкающая к ним публицистика («Литературные мелочи прошлого года», «Русская цивилизация...», «От Москвы до Лейпцига» и другие). Эти подлинные манифесты передовой литературно-общественной мысли в свое время оказывали непосредственное влияние на умы читателей. В сознании многих поколений имя их автора неотделимо от имен крупнейших художников слова. Ведь мы не можем теперь представить себе, скажем,

¹ В связи со столетием со дня смерти Добролюбова Гослитиздат предпринял издание нового собрания его сочинений в десяти томах. В последний том будут впервые включены письма критики; разбросанные по разным журналам и сборникам, они до сих пор практически оставались недоступными для читателей. Первый том нового издания выходит к юбилею.

драматургию Островского, забыв о ее истолковании в статьях «Темное царство» и «Луч света в темном царстве». Также невозможно размышлять о Тургеневе и оценить его романы, минуя статью «Когда же придет настоящий день?». То же о Гончарове, то же о Достоевском, о молодом Щедрина, о Марко Вовчке, об Аксакове, о Кольцове, о Плещееве, о Никитине, о Шевченко, о Полежаеве и Языкове, о десятках других, менее значительных...

Начиная со школьных лет мы нередко представляем себе Добролюбова как автора нескольких блестящих литературно-критических статей. Но подлинный Добролюбов — не школьный, не хрестоматийный — неизмеримо шире и разнообразнее. Попробуйте заново, сегодняшними глазами, перечитать его сагиру в «Свистке», его лирику, где отчетливо слышны некрасовские напевы, и особенно его рецензии, и вы увидите, как глубок Добролюбов, как он полон мыслей, до сих пор живых и нужных людям.

О чем только не писал Добролюбов! Он охотно касался событий международной жизни (достаточно вспомни цикл статей об Италии) и следил за развитием антиколониального движения на Востоке — в статье по поводу восстания сипаев в Индии (1857 г.) он писал: «Все, что веками накопело в груди несчастных поколений, служивших жертвою высших классов, поднялось теперь и вырвалось наружу с ужасным неистовством. После этой борьбы индийцу уже трудно погрузиться в прежний сон».

Он интересовался историей социалистических учений на Западе (статья «Роберт Овен и его попытки общественных реформ») и размышлял о путях исторического развития России, подвергая критике реакционные взгляды славянофилов.

От вопросов истории он переходил к вопросам естествознания, после истории литературы обращался к педагогике, философии и психологии.

В одной из своих рецензий он очень здраво рассуждал о значении торфа для народного хозяйства России. В другой с полным знанием дела критиковал «Исследование о торговле на украинских ярмарках», оперируя статистическими данными, выкладывая целые столбцы цифр. В третьей излагал догматы и моральные нормы буддизма, сравнивая его с христианством и — между строк — развенчивая миф о Христе.

В четвертой обосновывал прогрессивную методику преподавания географии. В пятой говорил об авторитете учителя, который должен служить идеалом для учеников...

Но о чем бы ни шла речь в его статьях, какую бы тему, пусть самую далекую от современности, ни затрагивал Добролюбов, он всюду вносил дух боевого демократизма, непримиримости ко всему, что чуждо или враждебно народу, тому народу, которому были отданы жизнь и труд великого шестидесятника.

В статьях, посвященных русской истории, Добролюбов выдвигал на первое место народ как движущую силу исторического развития; его взгляд на роль личности в истории резко противостоял концепциям официальной историографии, карамзинской «государственной точке зрения». Выдающимся социологом Добролюбов проявил себя в статье «От Москвы до Лейпцига», где высказаны замечательные мысли о положении рабочего класса в Западной Европе, находящегося под двумя гнетами — не изжитого еще феодализма и растущей капиталистической эксплуатации. По этой причине, указывал Добролюбов, «теперь в рабочих классах накапливает новое неудовольствие, глухо готовится новая борьба, в которой могут повториться все явления прежней...» (подразумевались события революции 1848 года).

Многие выступления Добролюбова способствовали утверждению материалистических принципов в изучении природы, в области естественных наук и философии. Разоблачению философского идеализма, мистики, лженаучных теорий Добролюбов посвятил несколько статей и рецензий («Органическое развитие человека...», «Об истинности понятий» и другие).

Особенно важна его рецензия-памфлет по поводу книжки В. Берви «Физиологическо-психологический сравнительный взгляд на начало и конец жизни». История этой рецензии не лишена интереса. Добролюбов хорошо знал, что профессор Казанского университета Берви — невежда и ретроград. Его книжка достаточно ясно свидетельствовала об этом. Берви выступал против материалистов, воображающих «открыть тайны природы», и призывал всех содействовать «отражению идеи материализма». Но Добролюбова возмущало не только это — мало ли было врагов передовой мысли и науки! Его особенно удручал тот факт,

что с высоты своего невежества казанский профессор пытался поучать студентов, калечить их молодые умы. «Пусть бы г. Берви,— писал Добролюбов,— мечтал, о чем ему угодно, пусть бы он проклинал современное развигие естественных наук... но ведь все это он преподает своим юным слушателям: вот в чем беда».

Добролюбов, зная о недовольстве студентов своим профессором, зная, что им грозило наказание за отказ от посещения его лекций (дело уже дошло до министра), решил поддержать справедливые требования молодежи. Он язвительно высмеял в «Современнике» книжку казанского «философа», полную «разных диковинок», и установил, что уровень познаний ее автора не выходит за пределы представлений средневекового алхимика. Примечательны те полемические средства, которые помогли молодому критику «Современника» окончательно скомпрометировать почтенного профессора. Он подметил его склонность к дешевой популяризации, к повторению одних и тех же истин и даже оборотов речи, и вот что из этого вышло. Приведа глубокомысленный пассаж из книжки Берви — «Кто взглянет на труп человека, или на застреленного зайца, или на зарезанную курицу, не останавливаясь скажет, что это суть тела мертвые. Почему? Потому что они перестали жить, лишились жизни. Следовательно, смерть лишает животное жизни...» — Добролюбов пародировал его следующим образом:

«Повидимому, так нам кажется, можно так думать, что г. Берви, почтенный г. В. Берви, г. заслуженный профессор В. Берви полагает, даже имеет убеждение и твердую уверенность в том, что популярность, простота изложения, общепонятность представления вещей или предметов состоит в том, не в другом в чем заключается, как в том, чтобы повторять несколько раз, много раз повторять, переворачивать на разные лады простые истины, самые простые положения, всем понятные вещи, предметы, ни в ком не возбуждающие недоумения».

Один из мемуаристов сообщает, что профессор Берви немедленно подал в отставку после появления статьи Добролюбова.

Понимая, что смешное убивает, критик охотно и часто пользовался оружием смеха. Можно было бы написать целое исследование о том, как юмор, сатира, ирония служили нашему критику и как они обога-

тили самые серьезные его работы; мы уж не говорим о фельетонах и пародиях «Свистка», где Добролюбов является сатириком в чистом виде, во многих отношениях не знающим соперников.

Удивительно, сколько силы было в его уме и таланте! Он умел охватывать необъятно широкий круг явлений жизни и литературы, умел подчинять свой анализ одной мысли, одной цели — этой мыслью пронизано все им написанное. «Он знал одной лишь думы власть...» В этом, пожалуй, и заключается ответ на вопрос, каким образом он успел сделать так много: гениальная одаренность и твердость убеждений соединились в его натуре. Обе эти черты Добролюбова были видны современникам. Известно, что иные из них не сумели вполне оценить Добролюбова при жизни. Но, по словам Некрасова, сказанным после смерти критика, «сила таланта и честной правды, впрочем, начинала уже брать свое: в последнее время чаще и чаще стало слышаться мнение, что этот человек не без права стал во главе современного литературного движения». Это мнение разделял и такой идейный противник Добролюбова, как Достоевский. Признавая его в качестве единственного современного критика, который «заставил себя читать», Достоевский писал: «В его таланте есть сила, происходящая от убеждения».

О гениальности рано погибшего литератора постоянно говорили в кружке «Современника». Чернышевский в некрологе Добролюбову, обращаясь к народу, восклицал: «До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем хотел он тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих». Эти слова не могли увидеть света в тексте «Современника», они пришлись не по вкусу цензуре. Но их, конечно, знал Некрасов; позже, в сатире «Недавнее время», он повторил выражение Чернышевского «юноша-гений».

2. ПРОПОВЕДЬ НОВОЙ МОРАЛИ

В памфлете, направленном против казанского профессора Берви, наша выражение забота Добролюбова о воспитании молодого поколения. К вопросам педагогики он возвращался постоянно на протяжении всей жизни начиная с ранней статьи «О значе-

нии авторитета в воспитании» (1857) и кончая одной из последних своих работ — «От дождя да в воду» (1861). Это не удивительно, если вспомнить, что воспитание нового человека — деятеля и борца — было одной из центральных проблем, стоявших перед революционерами-шестидесятниками. И понятно, что мысли Добролюбова о воспитании нисколько не устарели донныне. К ним почаше следовало бы обращаться нашим педагогам, которые должны воспитывать людей честных и трудолюбивых, мужественных и благородных.

Суждения Добролюбова свободны от всякой казенщины, штампа, унылой морализации. Основой развития ребенка он признавал его собственную здоровую природу, открытую для добра, для беспредельного нравственного и умственного прогресса. Все в руках педагога, все зависит от его мастерства и образа мыслей. Вот почему Добролюбов с такой прямоотой обрушился на знаменитого хирурга Пирогова, когда тот под влиянием официальных кругов поддерживал требование физических наказаний в гимназии (статья «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами»). Вот почему он высмеивал отжившую педагогическую систему и сурово обличал реакционных воспитателей, внушавших молодым людям «молчалинскую теорию умеренности и аккуратности», необходимость смирения и покорности — весь «кодекс отвратительной морали», прямой целью которого была подготовка преданных слуг самодержавного государства.

Размышляя о судьбе молодого поколения, Добролюбов хотел видеть в нем людей мыслящих и самостоятельных, воодушевленных твердыми убеждениями, высокими идеалами, готовых к сознательному служению народному делу. И неопишное негодование овладевало им, когда ему в руки попадала книжка вроде «Науки жизни», сочиненной чеким Е. Дымманом. Она-то и содержала в концентрированном виде «кодекс отвратительной морали», против которого ополчался Добролюбов. Автор внушал молодым людям, что они должны «со всеми ладить», приобретать общее уважение и наживать состояние. Лицемерие он изображал под видом вежливости, подлость — под именами угождения и искаательства, мошенничество называл ловкостью, шарлатанство — сноровкой и т. д. Все это он пересыпал «громкими воззваниями о

честности, добросовестности, братолюбии, помощн несчастным и т. п.»

Не так-то просто было дать достойный отпор проповеднику гнилой морали угодничества. Дело в том, что книжонка Е. Дыммана была благоговейно посвящена наследнику русского престола. Но и это не убергло ее от добролюбовской расправы. Критик блестяще справился с трудной задачей: он не только уничтожил автора своим сарказмом, но и сумел выразить здесь свои заветные мысли о несовместности нормального развития человеческой личности с российским общественным устройством.

Критик представил читателю такое рассуждение. Человеку нужно счастье, он имеет право на него и должен его добиваться. Счастье, в чем бы оно ни состояло, применительно к каждому человеку порознь, возможно только при удовлетворении первых материальных потребностей человека. При современном направлении общества тот, кто будет неуклонно следовать своим высоким стремлениям, ни разу не уступит обычаю и силе, тот не может достигнуть обеспеченности, то есть не может и думать о достижении счастья: известно, что такого человека не терпят в обществе и не дают ему ходу как беспокойному и опасному вольнодумцу. «Согласны вы принять эти три положения? — обращался Добролюбов к читателю. — Или, может быть, вы скажете, что наше современное общество уже дает простор честным людям... Неужели вы решитесь сказать это? В таком случае немного же имеете вы за душою честных убеждений!..»

Развивая свою мысль, Добролюбов приходил к выводу: «Если настоящие общественные отношения не согласны с требованиями высшей справедливости и не удовлетворяют стремлениям к счастью, создаваемым вами, то, кажется, ясно, что требуется коренное изменение этих отношений... Почувствуйте только как следует права вашей собственной личности на правду и на счастье, и вы самым неприметным и естественным образом придете к кровной вражде с общественной неправдой... Тогда-то, и только тогда, можете вы с полным правом считать себя честным человеком, и вам уже возможно будет отвергать темные сделки с ложью и неправую силу...»

Призывы к борьбе с общественной неправдой, с «темным царством», порождающим

эту неправду, заключены не только в статьях по вопросам воспитания, но почти в каждой статье Добролюбова. Перечитай-те финальные строки статей «Забитые люди», «Когда же придет настоящий день?», «Деревенская жизнь помещика в старые годы» — они звучат как призывы революционной прокламации, хотя и опубликованы в подцензурной печати. В одних мы находим прямое обращение к читателям, к народу: «...Следите за непрерывным, стройным, могучим, ничем несдержимым течением жизни, и будьте живы, а не мертвы». В других выражена твердая вера в близкую победу над мраком: «Придет же он, наконец, этот день!» И если ничтожная книжонка «Наука жизни», посвященная наследнику, дала повод критике говорить о необходимости коренного изменения ложных общественных отношений, то «Детские годы Багрова внука» Аксакова позволили ему воспроизвести в своей статье тягостные картины жизни крепостного поместья и тут же написать слова, согретые ясной надеждой на будущее: «грядущие поколения ожидают не принужденный труд без вознаграждения, а свободная, живая деятельность, полная радостных надежд на собрание плодов, на неотъемлемую, собственную жатву того, что посеяно. Скорее же прочь все остатки огживших свое время предрассудков!»

3. КАКОЙ ВЗГЛЯД БЫЛ У ДОБРОЛЮБОВА?

Первая же статья Добролюбова, появившаяся в «Современнике», несмотря на свою академическую, казалось бы, тему, привлекла к себе общее внимание. Под статьей стояла подпись: Н. Лайбов. Современники свидетельствуют, что статья эта, посвященная журналу XVIII века «Собеседник любителей русского слова», наделала много шума. «Она была прочтена всеми,— вспоминает И. И. Панаев.— «Скажете, кто писал эту статью?» — слышались беспрестанные вопросы».

«Кто такое г-н Лайбов, автор статьи о «Собеседнике?» — запрашивал Тургенев В. П. Боткина из Парижа. Через несколько дней он обратился с тем же вопросом уже к Панаеву: «...статья Лайбова весьма дельна (кто этот Лайбов?)». Некрасов, стремясь поддержать интерес Тургенева к молодому литератору, советовал ему внимательно

читать отдел критики «Современника». Он писал ему в Рим 25 декабря 1857 года: «...ты там найдешь местами страницы умные и даже блестящие: они принадлежат Добролюбову, человек очень даровитый».

Но вот Добролюбов стал постоянным сотрудником, а вскоре и одним из руководителей некрасовского журнала. Упрочилась его репутация как критика строгого, неприязненного, неподкупного. Определились его литературные вкусы и симпатии. И даже те, кто скептически относился к появлению вчерашнего студента в редакции солидного журнала, даже те, кто еще совсем недавно, глядя на него и на Чернышевского, поговаривал, что русская литература окончательно «провоняла семинарией», в конце концов вынуждены были отдать должное его уму, знаниям, исключительной одаренности и образованности. Тургенев, например, в разговорах с А. Я. Панаевой не скрывал своего удивления перед его начитанностью, перед основательностью его познаний в западно-европейской литературе.

Однако, отдавая должное молодому критику, писателю, принадлежавшие к старой либерально-дворянской интеллигенции, по вполне понятным причинам не испытывали к нему особенной симпатии. Тон его статей находили слишком резким, манеры недостаточно светскими. Литераторов старшего поколения шокировала независимость Добролюбова, его уверенность в своей правоте и явное пренебрежение к «современным либеральчикам», даже обладавшим литературными именами. Мемуаристы отмечают, что одни из этих «имен» усердно интересовались мнениями Добролюбова, другие даже заискивали перед ним, третьи просто побаивались его острого языка и смелых суждений.

На обедах в редакции «Современника», которые часто устраивал Некрасов, Добролюбов и Чернышевский обычно держались в стороне, мало участвуя в общем оживленном разговоре. Однажды за столом зашла речь о каком-то мелком стихотворце, писавшем оды Николаю I; он вздумал хлопотать о перемене своей невыразительной фамилии на фамилию Николаевский. Молчавший до этого Добролюбов вдруг сказал: «Как переименовали Грязную улицу».

Все знали, что незадолго до этого Грязная улица в Петербурге была переименована в Николаевскую. Услышав меткую реп-

лику, П. В. Анненков, сидевший на другом конце стола, повернулся в сторону «инглистов» и, подняв ладони над тарелкой, изобразил ими рукоплескание. Но там это не было даже замечено, прибавляет к своему рассказу описавший этот эпизод П. М. Ковалевский.

В редакции «Современника» ясно обозначились две группы, два течения, разделенные серьезными разногласиями. С приходом Добролюбова эти разногласия обострились, стали для всех очевидными прежде всего потому, что молодой литератор с резкой прямоотой выражал свои мнения, не скрывая своих симпатий и антипатий. Об этой его черте превосходно рассказал Некрасов, выступая на вечере памяти Добролюбова 2 января 1862 года: «Он смеялся в лицо глупцу, резко отворачивался от негодя, он соглашался только с тем, что не противоречило его убеждениям. Если к этому прибавим, что он не только не заискивал у авторитетов, но даже избегал встреч с ними, да припомним ту независимость, с которою он высказывался печатно, то поймем, почему в литературе его немногие любили».

О том же свидетельствует Чернышевский: «Никто никогда не действовал с такою полною независимостью от всех окружавших, как он. Никакие личные отношения не могли поколебать его, когда он считал нужным поступить так или иначе».

То же подтверждает Панаев: «Слово и дело никогда не противоречили в нем, и никогда в своих поступках он не допускал ни малейшего, самого невинного уклонения от своих убеждений».

Не приходится удивляться, что к человеку такого склада люди, не разделявшие его образа мыслей, относились настороженно и с опаской. Да и он относился к ним холодно, смотрел на них недоверчиво, саркастически. Интересно, что многим трудно было выносить его взгляд. Известный либеральный публицист К. Д. Кавелин рассказывает, как он однажды читал лекцию в университете и вдруг почувствовал, что ему стало не по себе. Он посмотрел перед собой и увидел, что из аудитории прямо на него устремлены глаза Добролюбова — «глаза василиска», по выражению рассказчика.

Тургенев острит, что от одного только взгляда Добролюбова стынет суп и покрываются морозными узорами окна (это не мешало ему признавать достоинства добролюбовской критики).

Но совсем иное впечатление производит взгляд Добролюбова на его друзей и единомышленников. Например, Н. В. Шелгунов, выразительно рисуя спокойствие и сосредоточенную силу, поражающую многих в Добролюбова, замечает: «К нему было вполне применимо замечание Гейне о неподвижном взгляде богов. У Добролюбова был именно этот взгляд богов, неподвижно устремленный как бы в беспредметную точку. Но за этим спокойным, неподвижным взглядом скрывалась затаенно-страстная, сильная и цельная натура...» А когда Шелгунов посетил больного Добролюбова и рассказал ему о начавшемся общественном возбуждении (в связи с арестом М. Л. Михайлова), то, по словам мемуариста, он смотрел на него «уже не неподвижным взглядом богов: его прекрасные, умные глаза горели, и в них светилась надежда и вера в то лучшее будущее, на служение которому он отдал свои лучшие годы и свои лучшие силы».

4. ОДИН ПАМЯТНИК ДВУМ ВЕЛИКИМ КРИТИКАМ

В облике Добролюбова слились воедино и выразились с необыкновенной полнотой наиболее яркие и типичные черты передового деятеля эпохи шестидесятых годов — революционного демократа и просветителя, социалиста, идеолога крестьянской революции. Добролюбов выступил прямым продолжателем литературных и революционно-гражданских традиций Белинского, и знаменательно, что это ясно ощутили уже современники молодого критика.

Силой своей убежденности, боевым темпераментом, тонкостью и мастерством литературно-художественного анализа он заставил многих своих читателей, хорошо знавших Белинского, вспоминать именно о «неистовом Виссарione» и о той роли, какую играла его критика для литературы и для общества. Об этом начали говорить еще при жизни Добролюбова. Прочитав статью «Что такое обломовщина?», Гончаров, пораженный его «прониканием того, что делается в представлении художника», писал: «Этими искрами, местами рассеянными там и сям, он живо напомнил то, что целым пожаром горело в Белинском». Позднее цензор Бекетов, перепуганный статьей «Когда же придет настоящий день?», писал Добролюбову: «Критика такая, каких давно никто не читал, и напоминает Белинского».

После смерти Добролюбова, когда друзья и соратники подводили итог его деятельности, им постоянно приходилось сравнивать только что умершего критика с Белинским. Некрасов в своей речи над могилой Добролюбова говорил: «В Добролюбова во многом повторился Белинский, насколько это возможно было в четыре года: то же влияние на читающее общество, та же проникаемость и сила в оценке явлений жизни, та же деятельность и та же чахотка». Герцен, откликаясь на кончину Добролюбова, с которым у него еще недавно были серьезные споры, сообщал в «Колоколе»: Добролюбов «похоронен на днях на Волковом кладбище возле своего великого предшественника Белинского». И даже Тургенев, все больше признававший значение Добролюбова, в позднейших своих выступлениях в печати уже называл его имя рядом с именем Белинского, утверждая, что оба они «блестящим образом» разрешали «великую и важную задачу», стоявшую перед литературной критикой в России.

Нельзя считать случайностью, что друзья Добролюбова позаботились о том, чтобы он был похоронен рядом с Белинским. Это было специально отмечено в некрологе «Современника», написанном Чернышевским. Здесь сообщалось также, что «почитатели памяти этих честных граждан намерены поставить один памятник им обоим вместе». Тогда же редакция журнала объявила в газетах о сборе средств на сооружение памятника.

В том же ноябрьском номере журнала (1861) Панаев в обозрении «Петербургская жизнь» писал по этому поводу: «Смерть соединила Добролюбова с Белинским. Возле благороднейшего литературного деятеля нашего поколения лег благороднейший и талантливый литературный деятель нового поколения. Белинский дождался достойного гостя... Новое поколение будет, конечно, благодарнее и памятливей нашего — и не зарастет тропа к этим могилам».

Историческая справедливость сближения Добролюбова и Белинского подтверждается, с другой стороны, и тем фактом, что в лагере, враждебном «Современнику», очень опасались такого сближения. Там усердно старались противопоставить литературную деятельность Добролюбова критике Белинского. Это был один из самых излюбленных методов реакционной печати в борьбе против литературной позиции «Современника».

Рептильный журналист Е. Зарин, не скупясь на похвалы Белинскому, произносил их только для того, чтобы указать те его достоинства, которых будто бы лишен был Добролюбов. В своей статье в «Библиотеке для чтения» он доказывал, что в статьях Добролюбова не было «того свободолобного чувства, которое так умел воспитывать всегда пламенный... Белинский».

Летом 1861 года, еще при жизни Добролюбова, известный ученый Я. К. Грот выступил в «Петербургских ведомостях» (№ 109) со статьей «Белинский и его мнимые последователи», направленной против «партии, лживо прикрывающей себя, с одной стороны, знаменем Белинского, а с другой именем всего молодого поколения». Грот напоминал суждения Белинского о Жуковском и делал нужный ему вывод: «Вот с каким живым сочувствием замечательный русский критик 40-ых годов говорил о писателе, от которого презрительно отвернулась в наше время холодная отрицательная школа. Нет, Белинский не признал бы ее своей дочерью, он сам от нее отвернулся бы с негодованием...»

Для подкрепления своей позиции Грот ссылался на статью А. В. Дружинина в «Библиотеке для чтения», который за год до этого, явно метя в ту же цель, то есть в Добролюбова, утверждал, что «вести родовую родную словесности со вчерашних деятелей есть первый несомненный признак ценителя с черствой, не восприимчивой душой, хотя, может быть, очень честного, очень убежденного. Белинский как человек в высшей степени восприимчивый... был до крайности далеко от этой современной нам тенденции».

По всем признакам это было начало целой литературной кампании. В нее не замедлил включиться и журнал «Русский вестник» (1861, № 6), где появилась статья М. Лонгинова «Белинский и его лжеученики», открыто продолжавшая линию Дружинина — Грота. Отказавшись от академической корректности своего предшественника, Лонгинов раздраженно восклицал: «Как же не восставать на явления, подобные обстоятельству, выведенному на свежую воду Я. К. Гротом, который доказал, что разные крикуны, выдающие себя последователями и учениками Белинского, не читали хорошенько даже и его сочинений?»

Вся эта кампания была направлена прежде всего против Добролюбова, хотя его и

не называли ю имени. Ведь ни для кого не было секретом, что именно он являлся вождем «отрицательной школы», именно его упрекали в черствости и отсутствии восприимчивости, стараясь и в этом отношении противопоставить его Белинскому. Эти старания враждебного лагеря наглядно показывают, насколько прав был Чернышевский, когда в своих «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова» настойчиво и убежденно говорил о страстности и искренности Добролюбова, стремился указать глубоко человеческие черты в его облике и с такой резкостью нападал на тех, кто считал его человеком «без души и сердца». Из приведенных только что цитат видно, что эти нападки Чернышевского имели вполне определенный адрес.

Продолжением полемики, начатой Дружининим, явилась статья З-на (Е. Зарина) в «Библиотеке для чтения», служившая как бы ответом на некролог Добролюбову. Здесь высмеивались основные мысли некролога и, в частности, сообщение о сборе средств для будущего памятника. Если бы мы стали делать памятники «разным рецензентам», тупо острил Зарин, то «для этого недостало бы ни денег, ни мрамора». Фельетонист всячески пытался принизить роль Добролюбова в «Современнике», и это вызвало глубокое возмущение Чернышевского, выступившего по этому поводу с известной статьей «В изъявление признательности». В прогрессивной печати, поддержавшей «Современник», появились протесты против наглого пасквиля. Д. Д. Минаев писал в «Русском слове»: «Г. З-н (кто ты, прекрасная маска?) доказал нам, самым положительным образом, как бесцветна и бесследна была вся трудовая жизнь Добролюбова... Напрасно бы мы думали ждать пощады от г. З-на, напрасно бы думали защитить перед ним имя человека, глубоко нами уважаемого, в которого даже враги его не решались бросить камня».

Показывая ничтожество фельетониста. Минаев писал: «Пока жив был Добролюбов, пока его голос... раздавался в русской журналистике, маленькие букашки не смели выползать из своих щелей и только пугливо показывали на свет божий свои крошечные головки. Но вот, когда смерть сковала этот голос честного и энергического деятеля... зашипели, завозились эти З-ны, сильные и смелые перед холодным трупом».

В лагере противников «Современника» деятельность Добролюбова вызывала особое раздражение именно потому, что молодой критик опирался на наследие Белинского, продолжал его традиции. Сам он осознавал себя преемником работы Белинского в русской литературе, работы во имя будущего. Отзывы Добролюбова о своем предшественнике, полные великого уважения, показывают, что он был в его глазах идеалом русского деятеля. «Да, в Белинском,— писал Добролюбов,— наши лучшие идеалы, в Белинском же история нашего общественного развития... Идеи гениального критика и самое имя его были всегда святы для нас, и мы считаем себя счастливыми, когда можем говорить о нем».

5. КРИТИК И ПИСАТЕЛЬ

Добролюбов испытывал постоянный и острый интерес к творчеству Тургенева, считая его одним из крупнейших современных писателей. Он называл его «живописателем и певцом той морали и философии, которая господствовала в нашем образованном обществе в последнее двадцатилетие». К идеям и образам тургеневской прозы критик обращался очень часто, то усматривая в них отражение характерных моментов в жизни русского общества, то полемически заостряя свои оценки тех или иных мыслей писателя. Разбирая роман «Накануне», он даже упомянул о своем намерении когда-нибудь в другой статье «проследить всю литературную деятельность г. Тургенева». Это говорит о многом.

Добролюбов не раз обосновывал мысль о различии между художником, который изображает предметы, имеющие важное общественное значение, рисует жизнь общества или характер человека, и художником, отдающим свой талант выяснению «отношения дола к пригорку». Ясно, на чьей стороне были в этом случае симпатии Добролюбова. И он не мог не ценить реалистическое мастерство Тургенева, его способность чутко воспринимать потребности жизни, отмечать все сдвиги, происходящие в общественном сознании. Тургенев привлекал его своим умением «тотчас отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, только что еще начинающее проникать в сознание лучших людей».

При этом критик умел рассматривать художника как целое, таким, как он есть, со всеми его сильными и слабыми сторонами. Да, разумеется, он видел и его слабые стороны, видел, говоря современным языком, как политические взгляды либералопостепеновца накладывали свою печать на художественные возможности большого писателя, в чем-то ограничивали их. Однако он считался с особенностями дарования художника, с его индивидуальностью, и не требовал от него того, чего он не мог дать. «Автор наш вовсе не хотел, да, сколько мы можем судить по всем его прежним произведениям, и не в состоянии был бы написать героическую эпопею», — сказано в статье о «Накануне». Следовательно, и претензии этого рода со стороны критики были бы незаконны и недействительны — так думал Добролюбов.

Он встречался с Тургеневым в редакции «Современника». В это время принципиальные разногласия разделяли маститого писателя и молодого критика. По меткому определению В. И. Ленина, Тургеневу претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского. Им же был не по душе аристократизм Тургенева, его либерально-дворянские симпатии. Но это не мешало Добролюбову объективно рассматривать прогрессивное значение тургеневского таланта и его место в русской литературе, Тургеневу же — признавать неоспоримые достоинства добролюбовской критики, с конечными выводами которой он далеко не всегда был согласен.

Известно, какую упорную, можно сказать титаническую борьбу, вел критик «Современника» против идеологии российского либерализма в ее разнообразных проявлениях. В этой связи ему не раз приходилось выступать с полемикой против тургеневской философии и морали. Последовательный характер носила его борьба с мировоззрением «лишних людей», изображенных Тургеневым хотя и критически, но со значительной долей сочувствия. Отдавая должное их честным стремлениям, Добролюбов неизменно указывал на то, что эти качества утратили практическую ценность в условиях нового времени, когда революционная демократия выдвигала свой идеал человека-деятели, когда назревал кризис всего общественного уклада старой России. Еще в статье об «Обломове» Добролюбов с при-

сущей ему прямою указал на обломовские черты в облике тургеневского Рудина.

Непримиримый противник всякой половинчатости и фальши, Добролюбов чуть ли не в каждой статье конца пятидесятых годов обращался к политически острой теме разоблачения либерализма. Стремясь нарисовать (в статье «Николай Владимирович Станкевич») целостный характер, революционную натуру, противостоящую всякой нерешительности, непоследовательности, мягкотелости, Добролюбов утверждал необходимость слияния в душе человека чувства и долга, гармонии между обязанностью и внутренней потребностью. Такая гармония была присуща, по мнению Добролюбова, «новым людям», стремящимся слить «требования долга с потребностями внутреннего существа своего... переработать их в свою плоть и кровь внутренним процессом самосознания и саморазвития».

Добролюбов дорожил этой мыслью как одним из самых заветных своих убеждений. Для себя он давно решил проблему чувства и долга, между этими категориями в его душе не было ни малейшего противоречия. Но с тем большим старанием он пропагандировал свою мысль — и не только в печати. Например, в письме от 6 августа 1859 года к М. И. Шемановскому, одному из верных своих друзей, он шумно раскритиковал его за пессимистическое мнение об отсутствии условий для «честной деятельности», о невозможности ее создать. «Бедный ты человек! — восклицал Добролюбов. — Вот что значит любить добро и даже честную деятельность — по принципу, а не по влечению натуры. Оно и действительно так: принцип велит быть честным, но честным быть нельзя; значит, — нечего делать, — надобно быть бесчестным или отказать от всякой деятельности... Удивительно успокоительная мораль!.. Никто, понимаешь ли, никто в свете не в праве приказывать тебе быть честным, не красть, не пить и пр., точно так, как никто не запретит тебе выпить яд, обложиться змеями или лягушками... Но ведь ты ничего подобного не делаешь просто потому, что тебе самому это противно; что ты этого выдержать не можешь...»

«Если мы с тобой не дошли еще до этого, — продолжал Добролюбов, — то, конечно, нечего нам и предъявлять претензий на плодотворную общественную деятельность. Но это не значит, что мы должны

опустить себя... Нет, теперь наша деятельность именно и должна состоять во внутренней работе над собою, которая бы довела нас до того состояния, чтобы всякое зло — не по велению свыше, не по принципу — было нами отвергаемо, а чтобы делалось противным, невыносимым для нашей природы... Тогда нечего нам будет хлопотать о создании честной деятельности: она сама создастся, потому что мы не в состоянии будем действовать иначе, как только честно.

Такова была мораль «новых людей», с предельной ясностью выраженная лучшим из них. Именно этой морали противостояло понимание долга как «нравственной вериги», самоотречения, жертвы, характерное для Тургенева и развитое им, в частности, в новелле «Фауст». Речь шла об одном из этических вопросов, принципиально важных для Добролюбова, поэтому он счел нужным выступить с прямой полемикой против Тургенева (впрочем, не назвав его по имени): «Не так давно один из наших даровитейших писателей высказал прямо этот взгляд, сказавши, что цель жизни не есть наслаждение, а, напротив, есть вечный труд, вечная жертва, что мы должны постоянно принуждать себя, противодействуя своим желаниям, вследствие требований нравственного долга». Добролюбов опровергал этот тезис, ибо он противоречил убеждению революционных демократов, считавших, что чувство долга, то есть общественное призвание человека, должно стать внутренней потребностью его души.

В другой своей статье («Литературные мелочи прошлого года»): Добролюбов подтверждал свою мысль примером Белинского, у которого «внешний, отвлеченный принцип превратился в его внутреннюю, жизненную потребность; проповедовать свои идеи было для него столько же необходимо, как есть и пить».

Итак, Добролюбов полемизировал с Тургеневым по важнейшим вопросам. Но мы знаем, что это не мешало ему с уважением относиться к писателю, с неизменным интересом следить за его деятельностью. Критик понимал, что художественное творчество Тургенева неизмеримо шире его либерально-дворянских пристрастий, что одно отнюдь не сводится к другому. Чуждый всяких сектантских представлений, Добролюбов прежде всего заботился о судьбах русской литературы. Насколько же выше стоял он в этом

отношении некоторых современных «исследователей», готовых с легкостью перечеркнуть наследие великого мастера, сохранив от него лишь репутацию либерала! Добролюбов умел отделить то, что можно назвать предрассудком писателя, от его художественного метода, основанного на реалистическом познании действительности. Разбирая роман «Накануне», он указал: «Для нас не столько важно то, что хотел сказать автор, сколько то, что сказалось им, хотя бы и не намеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни».

Реалистический метод писателя явился прочной основой, позволившей Добролюбову дать широкое революционное истолкование тургеневского романа, в котором запечатлелись первые веяния нового времени. Это и сделало статью «Когда же придет настоящий день?» одной из вершин русской литературной критики и публицистики.

Известно, что Тургенев был решительно не согласен с трактовкой «Накануне», предложенной Добролюбовым. Он упрасивал Некрасова не печатать неприятной, а может быть, и опасной для него статьи. Он не хотел видеть, что критик был самого высокого мнения о его мастерстве, правдивости, общественной чуткости, он не заметил его слов о жизненной актуальности романа. По воспоминаниям Чернышевского, Тургеневу казалось, будто Добролюбов «третирует его, как писателя без таланта, какой был бы надобен для разработки темы романа, и без ясного понимания вещей». И тем не менее Тургенев понимал, сколь выдающееся явление представляла собой критика Добролюбова. Он испытал известное влияние этой критики, оно сказалось, хотел он этого или не хотел, в следующем его романе — «Отцы и дети», содержащем яркую картину общественных настроений и борьбы шестидесятых годов. Недаром ведь Салтыков-Щедрин прямо называл этот роман «плодом общения» его автора с «Современником». «Там были озорники неприятные, — писал сатирик, — но которые заставляли мыслить, негодовать, возвращаться и перерабатывать себя самого». Первым из этих «озорников» был, конечно, автор статьи о «Накануне».

Через месяц после смерти Добролюбова Тургенев писал Анненкову: «Огорчила меня смерть Добролюбова, хотя он собирался меня съесть живым». А спустя несколько лет, когда страсти улеглись, обиды и распри

постепенно забылись, Тургенев уже печатно признал справедливость статьи о «Накануне», против которой он так энергично протестовал. Отметив, что Добролюбов тогда «по праву считался выразителем общественного мнения», Тургенев заявил, что его статья была «исполнена самых горячих — говоря по совести — самых незаслуженных похвал». Еще позднее он назвал эту статью «самой выдающейся» среди многочисленных журнальных откликов на роман «Накануне».

Такова порой бывает судьба критики. Признание приходит к ней не сразу, иной раз оно требует далекой исторической перспективы.

6. «НО СЛИШКОМ РАНО ТВОЙ УДАРИЛ ЧАС...»

Ранняя смерть Добролюбова произвела огромное впечатление на современников. Об этом свидетельствуют и речи на похоронах, и многочисленные некрологи, появившиеся в печати, и письма людей того времени. Салтыков-Щедрин в декабре 1861 года писал Анненкову: «Смерть Добролюбова меня потрясла до глубины души, хотя, видев его в начале ноября, я и ожидал этого известия. Да, это истинная правда, что жить трудно, почти невозможно». Чернышевский восклицал в одном из писем: «Я тоже полезный человек, но лучше бы я умер, чем он... Лучшего своего защитника потерял в нем русский народ». Некрасов писал в «Современнике»: «Наше сожаление о нем не имеет границ и едва ли когда изгладится».

Друзья умершего критика сделали все, чтобы увековечить в памяти народа образ своего соратника. Похоронам его они сумели придать характер политической демонстрации, и можно думать, что эта демонстрация явилась первым общественным выступлением революционной организации «Земля и воля», начавшей складываться вокруг редакции «Современника». Сохранились довольно подробные сведения о том, как более двухсот человек, среди которых были литераторы, студенты, офицеры, гимназисты, собралось на Литейной, чтобы проводить в последний путь Добролюбова, ставшего властителем дум молодого поколения. Простой дубовый гроб несли на руках до самого Волкова кладбища. На церковной паперти после отпевания с речами выступили Некрасов и Чернышевский. Затем у самой могилы говорили М. А. Антонович,

Н. А. Серно-Соловьевич, Н. Л. Тиблен и какой-то студент.

Общий мотив всех выступлений заключался в стремлении объяснить смерть Добролюбова тягостными условиями его жизни, неравной борьбой, нравственными страданиями, то есть в конечном счете связать его гибель с наступавшей политической реакцией.

Особенно смелой была речь Чернышевского. По словам очевидцев, он сказал, что публика должна знать подлинные причины смерти Добролюбова, затем вынул из кармана тетрадку и прочел несколько заметок из дневника покойного, в которых говорилось о цензурных преследованиях печати, о репрессиях против студентов, об арестах и ссылках и т. д. Перед тем как начать чтение, Чернышевский сказал: «Я прочту вам некоторые заметки, из которых вы ясно увидите причину его смерти». Другой современник запомнил слова, что Добролюбов «умер жертвой цензуры». Какой-то военный, пораженный речью Чернышевского, сказал своему товарищу: «Какие сильные слова! Чего доброго, его завтра или послезавтра арестуют».

Агентура Третьего отделения имела достаточно оснований сделать вывод, что смысл речей на кладбище клонился к тому, чтобы «все считали Добролюбова жертвою правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно».

Некрологи, появившиеся в журналах и газетах вопреки цензуре, сохранили довольно полную картину общественной демонстрации, сопутствовавшей похоронам Добролюбова.

Приведем забытый рассказ одного из очевидцев похорон, опубликованный в 1905 году в журнале «Русская старина» и содержащий дополнительные штрихи для характеристики тех событий, о которых мы только что говорили¹.

«...Публика состояла по преимуществу из литераторов и ученых, между которыми упоминаю Некрасова, Панаева, Пыпина, Антоновича, Кавелина, Спасовича, Шелгунова; было несколько дам и студентов, ма-

¹ Воспоминания Н. В. Рейнгардта, из которых мы заимствуем этот рассказ, вошли в сборник «Добролюбов в воспоминаниях современников» (составитель С. А. Рейсер), выходящий в ближайшее время в Гослитиздате (Ленинград).

лочисленность которых объяснялась тем, что большая часть их была арестована. Умерший Добролюбов лежал в совершенно простом, некрашеном гробе; лицо его мало изменилось, напоминало скорее уснувшего, чем умершего. Когда после отпевания гроб вынесли на паперть, выступил Некрасов и с сдержанными рыданиями в голосе, со слезами на глазах произнес несколько теплых слов о покойном.

«Вся жизнь его,— говорил поэт,— была посвящена в защиту забитой личности, интересы которой принимал он близко к сердцу...» После него вышел из кучки и подошел к гробу гладко выбритый господин и громким, энергическим голосом произнес: «Так как смерть Николая Александровича последовала неожиданно для публики, то ей интересно будет знать, какие причины ускорили ее». Сказав эти слова, он стал читать отрывки из дневника Добролюбова, отрывки, общий смысл которых приводил к заключению, что неблагоприятные внешние условия тяжело отражались на болезненной натуре покойного, чем ускорили приближение трагической развязки. Прочитав отрывки из дневника, означенный господин с большим чувством прочел затем некоторые стихотворения, между прочим: «Я ваш, друзья, хочу быть вашим» и «Пускай умру, печали мало» ...Охарактеризовав, после всего сказанного им, в общих чертах литературную деятельность Добролюбова, оратор затем с необыкновенным чувством произнес: «какого мы человека потеряли, ведь это был талант. А в каких молодых годах он кончил свою деятельность, ведь ему было всего 26 лет, в это время другие только учтись начинают».

Стоявший рядом со мной какой-то неизвестный мне господин заметил: «ну, даром ему это не пройдет, достанется же ему!»

— Скажите, пожалуйста,— обратился я к этому господину,— кто этот оратор, верно студент?

— Нет, это Чернышевский,— отвечал тот. Таким образом в первый раз только на похоронах Добролюбова мне пришлось услышать Чернышевского, статьями которого, как и значительная часть молодежи того времени, я сильно увлекался.

После речи Чернышевского гроб отнесли к приготовленной могиле, и тут произнесены были речи Ангоновичем, Тибленом, которого Чернышевский несколько раз останавливал за резкие выходы против противников Добролюбова. После Тиблена говорил какой-то студент, который в теплых словах охарактеризовал значение Добролюбова, как продолжателя Белинского и Грановского в развитии русского общества; после этого студента говорил Серно-Соловьевич, который предложил для увековечения памяти покойного поставить ему на общие средства памятник. После всего этого засыпали могилу и разошлись» («Русская старина», 1905, № 2, стр. 452—453).

Образ Добролюбова — революционера, публициста и критика — на долгие годы остался в памяти поколений как пример самоотверженного служения долгу, пример силы и красоты человеческого духа, пример подвига во имя будущего.

А. ДЕМЕНТЬЕВ

★

ДВЕ ПОЗИЦИИ

В июне прошлого года в США под заголовком «Искусство в Советском Союзе» вышел в свет специальный номер журнала «Атлантик», посвященный литературе и искусству нашей страны. Скажем сразу, это было издание для Америки необычное.

Во вступлении к этому номеру «Атлантик» редактор журнала мистер Уикс называет его «открытым окном, в которое можно увидеть живое искусство талантливой народа». И хотя во вступлении говорится о том, что «каноны социалистического реализма чужды американскому образу мышления», все же читателю сообщается, что у советских писателей «больше свободы мысли, больше выразительности и разнообразия чувств, чем он ожидал бы». Чувствуется, что редактор «Атлантик», решив познакомить американцев с «живым искусством талантливой народа», оказался в трудном положении: ему пришлось столкнуться с распростиженным ложным представлением о советской литературе, которое внушено читателям американской пропагандой.

Но как бы то ни было, специальный номер журнала получился достаточно объективным. Наряду с очерками советских авторов о нашей музыке, о нашем театре, балете, кино в нем помещены: воспоминания С. Маршак о Горьком, стихотворение В. Маяковского «Бруклинский мост», отрывок из второй книги «Поднятой целины» М. Шолохова, глава из «Василия Теркина» А. Твардовского, отрывки из переработанного издания «Вора» Л. Леонова, из «Хуторка в степи» В. Катаева, «Дневных звезд» О. Берггольц и сценария С. Антонова «Дело было в Пенькове», статьи К. Федина, Мухтара Ауэзова, И. Эренбурга, К. Симонова, стихотворения

С. Щипачева, М. Алигер, А. Твардовского, Б. Пастернака, Е. Евтушенко.

Как видим, «Атлантик» знакомит американцев с теми произведениями, которые могут дать серьезное и довольно разностороннее представление о советской литературе, с теми — весьма различными — писателями, которые хорошо известны в нашей стране. Краткие справки, предпосланные произведениям советских писателей, помещенным в журнале, отличаются точностью и лишены какого-либо недоброжелательства. Даже справка о Пастернаке не содержит антисоветских выпадов, обязательных в этом случае для буржуазной печати.

Одним словом, как я уже говорил, получилось издание для США необычное. Как правило, в многочисленных статьях, обзорах и информациях американских критиков и публицистов, в «исследованиях» и «трудах» американских университетских ученых вроде Г. Струве, Э. Симмонса, В. Мэтьюсона, М. Слонима, Дж. Гибiana и других, в словаре Е. Харкина советская литература или объявлялась крайне слабой, почти несуществующей, или изображалась в совершенно превратном виде. Благодаря «Атлантик» американцы могли убедиться в том, что их вводили в заблуждение.

Об этом свидетельствует ряд писем читателей, напечатанных в прошлом году в августовской книжке «Атлантик». Вот что писал редактору журнала Дж. Е. Букер из Вашингтона: «Сэр! Если бы каждый американец мог прочитать ваш июньский номер от доски до доски, это было бы замечательно... Боюсь, что американский народ почти столь же плохо осведомлен о положении в России, как и о положении в своей собственной стране. По милости покойного сенатора Маккарти и его последователей

вряд ли приходится ожидать, чтобы печать или кто-либо из общественных деятелей сказал доброе слово о том, что делается за «железным занавесом», из опасения, что их объявят коммунистами».

Еще более энергично писал Губерт Филипп из Фресно (Калифорния): «Сэр! Спасибо Вам за июньский номер «Атлантик», в котором столько места отведено русскому искусству. На меня как бы повеяло свежим ветром. Этот номер журнала служит залогом того, что оковы, державшие в тисках наши умы, шоры, мешавшие нам видеть все, что касается новой России, постепенно будут убраны».

Скажу откровенно, что вместе с Губертом Филиппом и мы порадовались появлению номера журнала «Атлантик», посвященного русскому искусству, и у нас возникла надежда, что препятствия, мешающие американцам знать правду о Советском Союзе и советской литературе, будут устранены.

Но разного рода мастера дезинформации по-прежнему распространяют всякие враждебные небылицы про нашу страну и оханяют, чернят нашу литературу. Об этом, в частности, свидетельствует сдвоенный третий-четвертый номер другого американского журнала, «Партизан ревью» за июль-август этого года. Это тоже специальный номер, посвященный советской литературе, но поразительно, до чего не похож он на специальный номер «Атлантик»! Назван он «Диссонирующие голоса в советской литературе», и если в «Атлантик» — правда (пусть и не полная), в «Партизан ревью» — все ложь.

Когда знакомишься с изданием, подобным специальному номеру «Партизан ревью», то чувствуешь себя неловко. Полемизировать, спорить? Но разве можно опровергать заведомые и предвзятые измышления, появившиеся на свет в явно недобросовестных и не имеющих ничего общего с литературой целях? А с другой стороны, возникает естественное желание выступить против фальсификации и искажения советской литературы, желание помочь зарубежным читателям снять шоры, которые стараются сохранить люди, подобные издателям «Партизан ревью», и «литературоведы», подобные неизвестным Патриции Блейк и Макс Хэйуорду, соорудившим номер этого журнала, посвященный советской литературе.

Во вступительной статье к материалам, помещенным в журнале, говорится, что главная цель составителей будто бы заключалась в том, чтобы «показать, что советский период отнюдь не был таким бесплодным в смысле литературных достижений, как это часто думают», что процесс литературного творчества не прерывался, и некоторые из произведений советской литературы стоят на уровне великих традиций русокой классической литературы.

Казалось бы, намерение самое хорошее, но пусть читатель не спешит с выводами. Декларация редакторов имеет особый, враждебный советской литературе смысл, и в этом легко убедится каждый сразу же, как только он обратится к подборке произведений, напечатанных в журнале.

Где же здесь произведения, которые стоят на уровне великих традиций русской классики? Для каждого очевидно, что в таком случае в издании должны быть представлены произведения Горького, Маяковского, А. Толстого, Фадеева и других выдающихся советских писателей. Но редакторы «Партизан ревью» сделали иначе. В журнале нет и произведений тех ныне здравствующих писателей, с которыми вполне резонно считал нужным познакомиться американцев «Атлантик»: М. Шолохова, А. Твардовского, К. Федина, Л. Леонова, С. Маршака, В. Катаева и других.

Зато в журнале напечатан декадентский этюд Б. Пастернака «Безлюбие», не обративший на себя никакого внимания при своем появлении (1918) и заслуженно забытый, но привлекший внимание Макса Хэйуорда и Патриции Блейк тем, что в нем, по их мнению, уже содержится центральная идея пресловутого романа «Доктор Живаго»; статья Е. Замятина «Революция, литература и энтропия»; «Красное дерево» Б. Пильняка; отрывок из наиболее сомнительного произведения М. Зощенко «Перед восходом солнца».

Становится ясным, что качество, художественный уровень произведений Патриции Блейк и Макс Хэйуорду были совершенно безразличны. Важно другое: найти «диссонирующие» произведения в советской литературе и попытаться выдать их за проявление великих традиций русской классической литературы. Но едва ли читатель, даже и слабо знающий советскую литературу, поверит редакторам «Партизан ревью», пред-

ложившим его вниманию упомянутые произведения Пастернака, Пильняка, Зощенко.

Разумеется, при желании редакторы специального номера «Партизан ревью» могли бы найти и другие «диссонирующие голоса» в литературе нашей страны, особенно в литературе двадцатых годов. Советская литература складывалась в процессе суровой классово-борьбы, в процессе преодоления пережитков капитализма и чуждых влияний в идеологии. Поэтому разного рода «диссонирующие голоса» порой звучали у нас в литературе. Но истины ради следовало бы отметить по крайней мере два обстоятельства: 1) что такие «голоса» звучали в стороне от главного направления советской литературы; 2) что постепенно они сходят на нет. Последнее и не удивительно, так как в наших условиях петь не в лад — значит, петь фальшиво, не в лад с правдой, гуманизмом, прогрессом. Но понятно, что если бы Патриция Блейк и Макс Хэйурд обратили внимание хотя бы на одно из этих обстоятельств, то номер «Партизан ревью», посвященный советской литературе, выглядел бы совершенно иначе.

Почувствовав, что из «Безлюбия», «Красного дерева» и «Перед восходом солнца», как говорится, каши не сварить, редакторы решили присоединить к ним отрывки из мемуаров К. Паустовского и И. Эренбурга, рассказ А. Грина «Создание Аспера», рассказ И. Бабеля «Дорога», стихотворение С. Есенина «Русь советская», отрывок из повести Л. Кассиля «Дорогие мои мальчишки», стихотворение Юлии Нейман «1941» и юмореску В. Полякова «Пожарник Прохарчук». Разумеется, от этого подборка произведений, напечатанных в «Партизан ревью», расширилась, но стала еще более неубедительной и показывает лишь полнейшее отсутствие у редакторов издания элементарного вкуса и понимания советской литературы. Только этим и можно объяснить нелепое объединение известного стихотворения С. Есенина «Русь советская» и ничем не примечательного стихотворения Юлии Нейман, рассказов А. Грина, И. Бабеля и фельетона «на случай» В. Полякова. Но главное в том, что составители проявляют вопиющую недобросовестность, выдавая «Русь советскую», мемуары К. Паустовского, И. Эренбурга, повесть Л. Кассиля «Дорогие мои мальчишки» и другие произведения за «диссонирующие голоса» в советской литературе и ставя их в один

ряд с «Красным деревом» Б. Пильняка, злобной статьей Е. Замятина или с повестью М. Зощенко «Перед восходом солнца». У нас спорят о мемуарах Паустовского и Эренбурга, высказывают возражения против некоторых мотивов этих произведений, но вряд ли кому придет в голову зачислить их в разряд «диссонирующих», то есть чуждых советской литературе произведений. Редакторам «Партизан ревью» пришлось искусственно препарировать воспоминания Паустовского и Эренбурга, вырвав из них далеко не самые характерные главы. Однако и эта операция не поможет им представить белое черным. И конечно, только рассчитывая на то, что читатели не знают повести Л. Кассиля «Дорогие мои мальчишки», редакторы журнала выдают напечатанный ими кусок из этого произведения за «антисталинскую сатиру». Если бы читателям «Партизан ревью» удалось познакомиться с этой вещью, они без всякого труда убедились бы в том, что это заявление редакторов — чистейшая фантазия.

Обзор Макса Хэйурда «Советская литература 1917—1961 гг.» не только не спасает положения, но, наоборот, усугубляет фальшь и предвзятость, проявившиеся в подборке литературных «иллюстраций».

Статья Макса Хэйурда повторяет все избитые измышления Г. Струве, Э. Симмонса, Дж. Гибнана и других «специалистов» по советской литературе. Подобно им, он замалчивает творчество Горького, рисует годы нэпа как золотой век советской литературы и всемерно старается дискредитировать литературу тридцатых и сороковых годов, пытается противопоставить Блока, Есенина и даже Маяковского революции и социализму, безуспешно стремится оторвать от советской литературы «Тихий Дон» М. Шолохова, творчество Л. Леонова или романы И. Эренбурга. И все это голословно, без всяких доказательств, без анализа (хотя бы и самого беглого) романов, повестей, поэм, стихотворений, пьес, созданных советскими писателями.

Больше того: как раз самая характерная черта обзора Макса Хэйурда и состоит в стремлении любым способом уйти и увести других от разговора о самой советской литературе, о книгах советских писателей. Макс Хэйурд предпочитает говорить об условиях, в которых создавалась советская литература, об «изменявшемся климате, в котором жили и творили совет-

ские писатели», о чем угодно, но только не о творчестве советских писателей, не об их произведениях. По-видимому, в сфере общих рассуждений вокруг да около советской литературы мистер Хэйурд чувствует себя увереннее, чем среди книг писателей.

В начале статьи Макс Хэйурд, как и положено в подобных изданиях, повторяет затасканные измышления о том, что в нашей стране якобы отсутствует свобода, необходимая для развития литературы. Затем он вытаскивает на свет божий старые плоские анекдоты о социалистическом реализме и наконец сообщает читателям разного рода несвежие сплетни и слухи насчет отношений между современными советскими писателями. Вот и все содержание обзора. Для литературы в нем места не нашлось.

При этом все искусственные построения Макса Хэйурда, Дж. Гибiana и других «исследователей» советской литературы рассыпаются в прах при первом же соприкосновении с действительностью.

Так, например, они утверждают, будто советские писатели лишены творческой свободы. Но там, где нет свободы, там нет места вдохновению, а следовательно, нет и искусства. Кем же в таком случае была создана литература, пользующаяся признанием всего прогрессивного человечества, вызывающая боязнь и ненависть у врагов социализма, заставляющая их принимать все меры (в том числе и выпуск специального номера «Партизан ревью» с измышлениями Хэйурда) для борьбы с ее влиянием на умы читателей всего мира? Конечно, в свое время культ личности оказывал отрицательное воздействие на советскую литературу, но и тогда она в своем основном потоке была верна народу и правде жизни.

Продолжают твердить, что социалистический реализм придуман и навязан советской литературе «сверху», Сталиным. Но сам же Хэйурд пишет, что советская литература отличается от всех других литератур мира. И если бы он вместо собирания всякого рода анонимок о социалистическом реализме дал себе труд серьезно ознакомиться с его сущностью, он бы смог и сам понять и показать читателям «Партизан ревью» отличительные особенности советской литературы. К стати сказать, он не стал бы тогда легкомысленно противопоставлять творчество М. Шолохова социалистическому реализму. Изображая в «Тихом Доне» и «Поднятой целине» торжество

революции, трудный путь становления социализма, рисуя образы людей труда, строящих новый мир, М. Шолохов выступает в литературе как один из крупнейших представителей социалистического реализма.

Макс Хэйурд настойчиво пытается отыскать и раздуть те или иные «противоречия» и «диссонансы» в нашей литературной жизни. Если поверить Хэйурду, у нас идет в литературе что-то вроде войны между «двумя лагерями», между «неосталинистами» и их противниками, между «реакционными» и «прогрессивными» органами. Как я уже говорил, изображая эту «войну», Хэйурд не брезгает ни сплетней, ни слухом, опускаясь до уровня любителя «изучать жизнь» через замочную скважину. Между тем положение в современной советской литературе не имеет ничего общего с той картиной, которую нарисовал Хэйурд. Были в ней и острая идейная борьба против носителей ревизионизма, против проявлений культа личности и догматизма в литературе, шли и идут споры по разным творческим вопросам, но только нет в ней войны двух лагерей и непримиримых противоречий. Здесь мистер Хэйурд выдает желаемое им за действительное. Советская литература едина в своей верности делу партии, высоким идеалам коммунизма, передовым идеям века, принципам социалистического реализма.

Совершенно очевидно, что статья Макса Хэйурда и весь специальный номер «Партизан ревью» не только не ставят своей задачей познакомить читателей с советской литературой, но, напротив, прилагают все усилия к тому, чтобы дезинформировать и дезориентировать их. Приведу еще несколько примеров, показывающих, насколько низок уровень представлений Хэйурда и с каким бедным запасом знаний взялся он за освещение истории нашей литературы.

Известно, какое огромное значение для нашей литературы имеет работа В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература». Хэйурд в своей статье говорит, что она написана в 1906 году и не имеет в виду беллетристику. В действительности работа В. И. Ленина была напечатана в ноябре 1905 года, но дело не в этой неточности. Пусть читатель сам судит, имеет ли эта статья отношение к художественной литературе или нет. «Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель?» — спраши-

вал В. И. Ленин. И отвечал: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания». Пусть читатель внимательно прочтет эту небольшую по объему работу Ленина, и он увидит, что позантствованное у ревизионистов представление о ней Хэйурда совершенно неправильно.

Очень важную роль сыграло в истории советской литературы постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». Как известно, это постановление было связано с развитием советского общества — с успехами социалистического строительства в нашей стране, с укреплением морально-политического единства советского народа, с переходом всей нашей интеллигенции в массу своей на позиции социализма. В этих условиях не было уже никакой нужды в сохранении особой Ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Эта ассоциация была ликвидирована, и все советские писатели объединены в единый союз. Ликвидация РАППа предшествовала (начиная с 1929—1930 годов) суровая критика ее на страницах партийной печати. Хэйурд обо всем этом или не знает, или умалчивает. В своей статье он пишет, что постановление ЦК ВКП(б) появилось неожиданно, так как партия якобы до этого времени безоговорочно поддерживала РАПП. О причинах ликвидации РАППа он ничего не говорит, зато приводит фантастическое утверждение, что рапповцы оказались чужды Сталину по своему темпераменту. И подобная чепуха выдается за историю советской литературы!

Макс Хэйурд утверждает, что после постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» советская литература будто бы перестала существовать, и годы 1947—1953 отмечены в истории советской литературы «полнейшим бесплодием». То же самое, заметим, пишет и Дж. Гибиан. Но давайте проверим эти утверждения и тогда убедимся, что именно в эти годы в советскую литературу вошли,

проявили себя Вера Панова, Галина Николаева, Михаил Бубеннов, Василий Ажаев, Борис Полевой, Виктор Некрасов, Валентин Овечкин, Всеволод Кочетов, Эммануил Казакевич, Сергей Антонов, Даниил Гранин, Михаил Луконин, Алексей Недогонов, Сергей Орлов, Константин Ваншенкин и многие другие известные и у нас и за рубежом писатели, что в эти годы были созданы такие произведения, как первые части трилогии К. Федина, «Русский лес» Л. Леонова, трилогия Ф. Gladкова, романы И. Эренбурга, последние повести М. Пришвина, поэма А. Твардовского «Дом у дороги», что это время—время роста литератур всех народов Советского Союза. Выходит, что и Хэйурд и Гибиан говорят своим читателям и в этом случае неправду.

Как я уже говорил, Макс Хэйурд, как и Г. Струве, Э. Симмонс и им подобные, пытается представить лучшие произведения нашей литературы (начиная с «Двенадцати» А. Блока) как нечто чуждое советскому строю и советской культуре. Но делает он это бездоказательно и весьма легковесно. Достаточно сказать, что сведения о Блоке Хэйурд черпает из книги М. Зошенко «Перед восходом солнца», а Л. Леонову приписывает религиозное мессианство и следование традициям русского православия. Но, пожалуй, самое сенсационное «открытие» Хэйурда — это обнаружение им в современной литературе ряда произведений, которые он называет «зубатовскими», то есть написанными будто бы с целью «нейтрализовать» влияние, которое могут оказать на читателей произведения «действительно оппозиционных писателей». Иначе говоря, Хэйурд и допустить не может, что в Советском Союзе есть честные писатели. Вот они и выдумывают какую-то зубатовщину. И с таким отношением к нашим писателям Макс Хэйурд берется писать о советской литературе! Но что же может в подобном случае выйти из-под пера, кроме клеветы и фальсификации?

Да, неблагоприятную роль взяли на себя Патриция Блейк и Макс Хэйурд. Вместо того чтобы укреплять дружбу и культурные связи между народами, они пытаются разжечь вражду между ними. Но как бы то ни было — у лжи короткие ноги.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Д. Милютина. Страницы героической борьбы.— **И. Питляр.** Судьбу человека определяют его убеждения.— **Э. Кузьмина.** Страна внимания.— **Юрий Полетина.** Метаморфозы одного романа.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Е. Осликовская, А. Снегов. Прошлое, которое зовет к будущему.— **С. Эпштейн.** Угасающий капитализм.— **Н. Болотников,** действительный член Географического общества СССР. «В любом случае вперед—звучит радостнее».

Литература и искусство

СТРАНИЦЫ ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

П. Бляхин. Дни мятежные. Трилогия. Редактор Г. Блистанова.
«Советский писатель». М. 1961. 740 стр.

Писатель и человек, заметил как-то А. Фадеев, неотделимы один от другого, «если речь идет о писателе настоящем». Эти слова могут быть отнесены и к Павлу Андреевичу Бляхину.

Главный итог его многолетней литературной деятельности — трилогия «Дни мятежные». Повести «На рассвете», «Дни мятежные» и «Москва в огне» издавались и переиздавались в разные годы. И можно только порадоваться, что они наконец вышли в свет как единое целое. Трилогия скреплена не только единством темы, сюжета, последовательностью событий, но прежде всего личностью автора — главного героя всех трех книг, — его партийностью, верой в торжество революции и большой любовью к людям.

Павел Бляхин родился в семье бедного крестьянина. Свой трудовой путь он начал батраком у родного дяди и очень рано познал все тяготы батрацкой жизни, которые никогда уже не изгладятся из памяти. «До сих пор вспоминается один жаркий июльский день. Мы всей семьей жали хлеб серпами. Впереди шел дядя. Я двигался за

ним, не разгибая спины, стараясь не отставать. Поясница мучительно ныла, костенели пальцы, перед глазами плавали разноцветные круги. Мокрая рубашка прилипла к телу. Хотелось упасть на колючую щетину сжатой пшеницы и заснуть мертвым сном. Но до вечера было еще далеко, надо жать и жать, спешить за дядей. Я раз за разом хватал левой рукой пучок колосьев, правой срезал его острым серпом, откладывал в сторону и снова хватал и резал. Голова становилась все тяжелее, земля уплывала из-под ног. Я закачался и, взмахнув серпом, с криком упал на землю. Из левой руки хлестала кровь...»

На глазах у читателя проходит начало жизненного пути Павла, первые шаги в революционном движении. Мы видим людей и обстоятельства, которые формируют его характер. Видим, как этот поначалу робкий паренек, одержимый с одной стороны романтической жадью подвига, с другой начитанный всевозможными предрассудками, духовно растет, становится стойким профессиональным революционером.

Биографический материал книги тесно

переплетен с большими историческими событиями. Со страниц трилогии встают живые картины того действительно мятежного времени, когда набирала силу и разгоралась первая русская революция. Мы ощущаем ее дыхание, перед нами проходит жизнь целого ряда социал-демократических организаций — астраханской, бакинской, тифлисской, ташкентской, московской и других.

Особенно колоритно описана работа подпольной организации в Астрахани, где шестнадцатилетний Бляхин начинал свою революционную деятельность. Здесь он получил первые уроки и первый опыт подпольной работы. Здесь его нарекли первой подпольной кличкой «Красная рубашка», здесь же он вступил в ряды социал-демократической партии.

Как партийный агитатор Бляхин выполняет ответственные поручения, разъясняя и защищая взгляды большевиков на революцию везде, куда бы его ни послала партия. «Такова уж судьба подпольщиков, — пишет Бляхин. — ...Всего лишь год проработал в Астрахани — «провалился». Комитет отправил меня в Баку. Здесь продержался тоже около года. И вот уже лечу в Тифлис. А долго ли пробуду в Тифлисе, неизвестно. Перелетная птица!»

В этих словах восемнадцатилетнего подпольщика сквозит легкая грусть, но ни малейшего колебания. Трудности и опасности подпольной борьбы никогда не пугали его, как не пугали никакие вообще трудности. А сколько их было в его жизни! И в жизни любого из его товарищей!..

На протяжении одного только 1904 года дважды был арестован и попадал в тюрьму сам Бляхин, арестована была почти в полном составе вся бакинская общегородская партийная конференция большевиков, трагически погибли ближайшие друзья Бляхина — Алеша Маленький и Миша Кудрявый. Но Павел Бляхин, как и тысячи других большевиков, шел на все опасности подпольной работы спокойно и сознательно. И о чем бы ни рассказывал писатель — о выполнении самых сложных и трудных поручений, о подлинно героических поступках, — рассказ его неизменно прост, совершенно лишен ухищрений, чужд словесного пафоса.

Большую привлекательность придает книге яркая романтическая окраска. И она так естественна! Ведь герой трилогии еще юноша. Он жаждет подвига, и, конечно же, подпольная работа в немалой степени

манит его той таинственностью, какой окружены все действия и жизнь подпольщиков. Он презирает опасность и даже смерть — разумеется, во имя идеи. Сквозь эту призму и написана вся трилогия. С чувством меры и вместе с тем тепло и задушевно рассказывает писатель о своей работе и о работе своих ближайших товарищей.

Герои «Дней мятежных» — люди особого духовного склада, высоких душевных качеств. Участники революционной ломки старого мира, они принесли с собой и новую мораль — мораль интернационализма, гуманизма, высокой жертвенности во имя идеи и во имя товарищества.

Перед нами проходит «огненный трибун» А. Джапаридзе, человек неукротимой энергии С. Аллилуев, молодой, полный обаяния Ванечка Фиолетов, строгая и справедливая Землячка, Инесса Арманд, «работавшая с самим Лениным», Литвин-Седой, Южин и многие-многие другие. А рядом с теми, чьи имена увековечены в истории революционного движения, с любовью и нежностью рассказывает Бляхин о рядовых большевиках — Антоне, Максиме, Алеше Маленьком, Раечке, Заре, Варяге, Елене Егоровне и других. Предельно строгие и суровые во всем, что относится к подпольной партийной работе, они в общении между собой, в своем отношении к товарищам по борьбе, к окружающим — простые, душевные люди.

Бляхин, обычно так тепло относящийся к людям, становится непримирим, беспощаден, когда речь заходит о врагах партии. Суть меньшевизма он раскрывает в образах «прохвостов» Шендриковых. Вот как Бляхин рассказывает о своей встрече с главарем астраханских, а затем и бакинских меньшевиков Ильей Шендриковым: «Он стоял посредине зеленой полянки. Его речь, подкрепленная красивыми ораторскими жестами, шла свободно, сверкала острыми словечками.

Все неотрывно смотрели на оратора, изредка улыбаясь, порой удивленно раскрывали глаза, но сидели спокойно и чинно, как в театре на интересном спектакле.

Слушая Илью, я невольно сравнивал его речь с пламенными выступлениями Антона. Да, Илья говорил куда свободнее, ярче, замысловатее. Но почему его слово не зажигало меня, как слово Антона? Почему его призывы не трогали сердце? Странно...»

В этой характеристике нет ни одного обидного слова, и все же она настораживает.

Постепенно, по мере углубления образов, Шендриковы предстают перед нами «голенькими». И читатель убеждается, что меньшевики объективно играли на руку врагам революции, а частенько и сознательно предавали и продавали интересы рабочего класса.

В автобиографии П. А. Бляхин писал: «В моей жизни переплетались две линии, две дорожки: одна основная и главная — это жизнь и работа в рядах партии; другая, проведенная тонким пунктиром и то с большими интервалами, — это жизнь в литературе, дорожка к писательству».

На «дорожку к писательству» Бляхин потянулся в те ранние годы, когда еще батрачил у дяди. Тогда, примерно в одиннадцатилетнем возрасте, он написал свой первый рассказ «Весенний сад», о котором, конечно, нельзя говорить всерьез. Но в 1903 году его стихотворение — явное подражание горьковскому «Буревестнику» — было напечатано в газете «Асхабад». С этого времени, с различными интервалами, Бляхин неизменно возвращался к литературному творчеству. Условия подпольной работы, естественно, отвлекали его, не до литературы тут было... Но после Октябрьской революции и гражданской войны он создает ряд пьес и киносценариев, многие из которых ставились с немалым успехом. Широкую славу принесла Павлу Андреевичу повесть «Красные дьяволята», воскрешающая героинку гражданской войны, а затем и одно-

именный кинофильм, поставленный по его же сценарию в 1923 году.

В последние годы своей жизни П. Бляхин работал с увлечением над четвертой автобиографической повестью — «Лучше смеяться, чем плакать», действие которой происходит в годы реакции, последовавшей за первой русской революцией. Смерть помешала писателю закончить это произведение, но и в таком виде оно представляет большой интерес. Сейчас «Советский писатель» готовит книгу к изданию.

В первые же дни войны Бляхин в возрасте пятидесяти шести лет добровольцем ушел на фронт и в рядах Краснопресненской Коммунистической дивизии народного ополчения сражался пулеметчиком. И только по указанию ЦК партии был переведен спецкором в армейскую газету.

В литературном наследии Бляхина сохранилось много материалов, связанных с Великой Отечественной войной. Военные дневники, письма, записки.

До последнего дня своей жизни Павел Андреевич мечтал написать книгу «Дни и люди нашей армии», в которой хотел отразить накопившийся за годы войны материал, «Успею ли?» — с тревогой спрашивал он самого себя.

К сожалению, не успел... Смерть оборвала все замыслы, планы писателя. Но долгая жизнь несомненно ждет Бляхина в его произведениях.

Д. МИЛЮТИНА.

★

СУДЬБУ ЧЕЛОВЕКА ОПРЕДЕЛЯЮТ ЕГО УБЕЖДЕНИЯ

Лилли Промет. Акварели одного лета. Повести и рассказы. Перевод с эстонского И. Кононова и Г. Муравина. Редактор Д. В. Тевекелян. «Советский писатель». М. 1961. 476 стр.

Книга, из которой взяты эти превосходные слова, написана эстонской писательницей, пока еще мало известной русскому читателю.

Повести и рассказы, вошедшие в сборник «Акварели одного лета», в большинстве своем посвящены прошлому. Сравнительно недавнему, правда, прошлому, но все же прошлому — тридцатым годам нашего века. События, изображенные в этих произведениях, происходят еще в буржуазной, довоенной, быстро фашизирующей Эстонии. От наших дней, следовательно, их отделяет не только временной, но и социальный

барьер. И вместе с тем книга Лилли Промет по своей проблематике, да, пожалуй, и по своей художественной манере во многом современна и своевременна.

В трех небольших повестях сборника — «Одинокий», «Мекка» и «Служители святого искусства» — говорится о судьбе художника в буржуазном обществе (в «Мекке» это не столько тема, сколько фон для развития событий). И здесь мы убеждаемся, что судьба человека в этом обществе во многом определяется характером убеждений, исповедуемых этим человеком. У художников демократического и реали-

стического направления она, как правило, трагична. У тех, кто сознательно связал себя с «сильными мира сего», она благополучна и легка, но с неизбежностью ведет к отходу от истинного искусства, к творческому бесплодию. Необычайно четкая граница отделяет в повестях Промет одних от других: настоящих художников от художников-дельцов, людей — от «нелюдей».

Герой повести «Одинокий» (на мой взгляд, лучшей в сборнике) — старый художник, не пожелавший продать свои убеждения и свой талант за «чечевичную похлебку» признания и благополучия. Писательница создает выразительный характер человека, нравственный облик и вся творческая судьба которого определены его общественными убеждениями. Длительные невзгоды, постоянная борьба с горькой нуждой, невозможность работать над тем, что дорого его сердцу, и для тех, кто дорог ему, сформировали его характер, суровый, угловатый, трудный, характер человека неподкупного и непримиримого, всегда и всем говорящего правду в лицо. Когда-то в воображении Одинокого теснились грандиозные композиции, посвященные судьбе родного народа. Ему не удалось создать их. Старому талантливому художнику уже много лет не дают никакой работы. Все знают, что он «красный», что «...в двадцать четвертом году он на учебном совете как лев защищал сына одного расстрелянного коммуниста, когда мальчишку хотели исключить из школы». Но Одинокому и его маленькой внучке нужно жить, и вот старик рисует на продажу цветы, много лет подряд — одни и те же цветы: астры, лебедино-белые каллы, анемоны, скромные васильки. В сущности, на свете не так уж много различных цветов, но на акварелях Одинокого они никогда не повторяются, каждый живет своей жизнью, дышит, шевелит лепестками...

Старик умирает в страшной нищете, так и не дождавшись освобождения родной Эстонии. Его, очевидно, дано будет увидеть маленькой Мийлу, внучке художника, которая так мужественно делит с ним все тяготы жизни. Любовный и пылкий взгляд девочки, обращенный к деду, помогает нам лучше и полнее понять его скорбный образ. Художественная манера писательницы гибкая и подвижная. Иногда окружающее преломляется через сознание ребенка. Другой эпизод дается «от себя», лирически окра-

шен отношением к нему взрослого человека, писателя. Сочные, обладающие чисто живописной силой «мазки» слагаются постепенно в единую картину, создают цельное впечатление. Строго отобранная «вещная» деталь таит в себе лирический подтекст, а порой и символический смысл.

Вот Одинокий закончил серию своих акварелей. Мийлу помогла ему окантовать их и прикрепить к ним матерчатые петельки. «Сегодня дедушка идет продавать картины. Мийлу уже раньше несколько раз пыталась узнать, куда дедушка ходит их продавать. Но дедушка отвечал всегда одинаково:

— На Голгофу, дитя.

Что такое Голгофа? Это далеко? Это дом? Там дедушку ругают?.. Дедушка не хочет говорить с Мийлу об этих делах. Мийлу все сама понимает: туда нужно идти. На Голгофе дают деньги». А вот дедушка с пустой папкой, тяжело поднимаясь по лестнице, возвращается домой — «на Голгофе приняли картины». Сейчас можно и на рынок пойти — «после Голгофы он всегда ходит на рынок...».

Так раскрывается перед ребенком загадочное слово «Голгофа»...

Герой повести «Служители святого искусства» Юлиус Кивисепп молод. Его, талантливого скульптора, выпускника художественного училища влечет к себе искусство «...могучее, трагическое и страстное». И — верное жизни, близкое народу. Недаром свою дипломную композицию он назвал «Копальщицы картофеля» и постарался воплотить в ней свои горькие детские воспоминания и свои представления о жизни. И конечно, это не вызывает одобрения училищного начальства, благополучных буржуа от искусства. «Выражение лица женщины не нравится мне, — говорит Юлиусу директор училища. — Почему она так грустна и сердита? Когда человек работает с таким настроением, работа не подвигается. Вы видели в Эстонском художественном музее панно господина Рооза «Дары осени»? Проследим за выражением лиц его женщины. Они радостны, да и как им не радоваться, если они убирают урожай».

Но Юлиус не собирается ничего менять в своей скульптурной группе. И ему, иначе мыслящему, жестоко мстят. Придравшись к пустяковой юношеской проделке, его исключают из училища, исключают накануне выпуска, без диплома — по существу с

волчьим билетом... Юлиусу очень больно, но он не сломлен, он понимает, что правда есть, хотя пока она и «не здесь». «Сперва мне казалось, что я теперь ни на что не способен,— говорит он Теа, девушке, которую любит,— ни работать, ни жить, что все пропало. А сейчас... у меня чешутся ладони... Я хотел бы начать новую работу...» И это не пустые декларации, не просто «правильные слова». В Юлиусе столько юного обаяния, убежденности в своей правоте, силы, смелости и таланта, что ему веришь и в него веришь, как верят в него его друзья и единомышленники, наивная любящая Теа, суровая и умная Анита.

Совсем иными и по-иному изображены в повести те, кто мнит себя истинными служителями «святого искусства»,— пошлый и светлый сброд людей, торгующих собой и своим дарованием, готовых перегрызть друг другу горло из-за глотка «жирной похлебки». Директор училища Сепик, сторонник «классических форм» в искусстве; сластолюбец и стяжатель, «меценат» Отто Мезикпп; Эдуард Рооза, преподаватель класса живописи и одновременно «председатель правления целевого капитала» училища; умелый подхалим инспектор Сау и многие другие представители этого «избранного общества» изображены писательницей с нескрываемым сарказмом, безгильностью и ненавистью, в манере откровенного и острого гротеска. Они во всем, и в понимании задач творчества, и в отношении к жизни и ее благам, резко противостоят молодым героям повести — Юлиусу, Аните, Теа, тем, кому в будущем суждено стать истинными служителями истинного искусства.

Те же контрасты найдем мы и в повести «Мекка». Очень убедительно, в лаконичной и резкой манере разоблачает и здесь писательница пеструю шайку хищных, пошлых, бесталанных и беспринципных служителей буржуазного искусства — модного поэта Луфде, скульптора Пюхалеппа и их друзей, шумных завсегдатаев кафе «Мекка».

Но здесь, в этой повести, мы сталкиваемся и с «оборотной стороной» дарования Промет, с неожиданным ее тяготением к «трогательному», сентиментальному, назидательному... В самом деле, острое, гротескное изображение богемствующих подонков буржуазного искусства сочетается в «Мекке» с весьма банальной и банально описанной историей облыбления бедной официантки «Монны Лизы» богачом скульптором Ах-

ти Пюхалеппом. А чтобы было еще жалостнее, официантка в свою очередь отвергает искренне любящего ее бедного художника («А совсем возле кухни, за отдельным столиком курил бледный и печальный юноша по имени Арманд Кулль...», «Ох, как часто мы не ценим тех, кто по-настоящему любит нас... Быть может, во время своей долгой болезни молодой человек думал только об этом свидании?» и т. п.).

В лучших своих вещах писательница очень тенденциозна и, как мы видели, не скрывает своих симпатий и антипатий. Но там тенденция, как правило, заключена в самой художественной ткани произведения, порою в контрастном сопоставлении картин, а чаще в спокойной неторопливости, с какой писательница подбирает один к одному точные штрихи, бытовые и психологические детали. Здесь же — и, к сожалению, в некоторых других местах сборника — тенденция грубо обнажена, наивная назидательность примера «бьет в нос». И это очень огорчает при чтении в целом интересной книги Лилли Промет. Ибо сентиментальность и прямолинейная, обнаженная дидактичность — враги искусства, враги художественного характера. Не случайно официантка Туули (прозванная Монной Лизой за свою загадочную улыбку) начисто лишена характерных, конкретных психологических черт, лишена определенных убеждений и верований, которые, как нам только что показала сама писательница в «Одиноком» и «Служителях святого искусства», во многом и формируют зерно человеческого характера (за исключением тех случаев, конечно, когда самое отсутствие убеждений и составляет суть характера «бесхарактерного» человека).

Об этих «сентиментальных кляксах» и «обнажившихся схемах» уже справедливо писал критик Б. Рунин в рецензии на книгу Л. Промет в «Литературной газете» (7 сентября 1961 года).

Думается, однако, что в своем определении художественной манеры Лилли Промет он несколько преувеличил «акварельность» ее прозы, «незаметную мягкость перехода одного тона в другой».

Истинно «акварельной» представляется мне только одна вещь сборника — маленькая повесть (или рассказ) «Акварели одного лега», давшая название сборнику и единственная в нем о современности.

Это действительно очень светлая и прозрачная вещь, чем-то напоминающая ранние рассказы Сергея Антонова с их мягким и сдержанным юмором, лиризмом, игрой теплых и светлых тонов.

В приморский рыболовецкий колхоз приезжает на лето молодой художник — студент Луйги Тоомапозг. Он ходит с рыбаками в море, пишет портреты своих новых друзей, влюбляется в задорную пастушку Хейди (впоследствии, впрочем, выясняется, что она вовсе не пастушка, а медальстка, поступающая осенью в университет; она лишь временно заменяла заболевшего пастуха). Луйги снимает комнату в большом и красивом доме Матильды — бывшей служанки госпожи Ассора. Всю свою жизнь Матильда верно служила своим господам, нянчила их больных детей, отказалась от своего собственного счастья. И настолько сроднилась с лакейской психологией эта работящая и скромная женщина, что и сейчас не может с ней расстаться. Все ей кажется, что дом не ее, что она только стережет его для старых хозяев. Жители деревни отвернулись от Матильды. Она совершенно одинока.

В характере этом, на мой взгляд, заключено зерно подлинной душевной драмы.

Жизнь человека прошла впустую, отданная служению богатым и жестоким «идолам». Это «непрожитая жизнь» — непрожитая, но уже прошедшая... И Матильда с помощью Луйги как будто уже начинает сейчас сама понимать это.

Но как раз этот словно бы уже начавшийся отказ от многолетних заблуждений не кажется мне здесь убедительным. Слишком уж он легковесен, художественно недостаточно обоснован...

Особо следует отметить несколько крохотных рассказов сборника, посвященных детям («Гриб», «Наконец-то!», «Любовное письмо», «Березовая каша» и другие). Психологическая наблюдательность и тонкая лирическая проницаемость делают их яркими прозаическими миниатюрами.

Итак, новый для русского читателя писатель. Что принес он нам?

Умение рисовать судьбу человека и его характер как следствие его убеждений. Яркость и определенность общественных симпатий и антипатий. Своеобразную живописную манеру повествования — сочную, рельефную, емкую.

Что ж, для первого знакомства это немало!

И. ПИТЛЯР.

★

СТРАНА ВНИМАНИЯ

Ф. Кривина. В стране вещей. Редактор Э. Мороз. «Советский писатель». М. 1961. 216 стр.

«Я путешествую по невидимой стране. Невидимая страна — это страна внимания и воображения. Страна внимания начинается у изголовья, на стуле, который, раздеваясь перед отходом ко сну, вы придвинули к своей кровати». Так говорил Юрий Олеша, в чьих книгах герой видит, как смеется буфет, слышит, как шептнула стеклянная пробка. Ваза там похожа на фламинго, а оса полосата и кровожадна, как тигр.

И вот нас снова зовет в такую страну молодой ужгородский писатель Феликс Кривина. Взгляни, прислушайся — и узнаешь, как Часы мечтают избавиться от своей Гирри, как Подушка недовольна своим мягким характером, как скрипит старый Пень, о который все спотыкаются: «...Не все сразу. Приму сколько успею: ну и народ — шагу без меня ступить не могут!»

Вы скажете — но это не о вещах. Это же

явная аллегория. А сколько мы уже читали уныло-иносказательных басен, где груз человеческих грехов взваливают на первого попавшегося беззащитного зверя? В чем отличие от них басенок Ф. Кривина?

Закон любой басни таков: переносный смысл существует только тогда, когда его есть с чего переносить, когда есть какой-то прямой смысл.

Для того чтобы быть сопоставимыми с миром человеческих норм, вещи, животные должны ожить, обрести свой голос. В рассказах Ф. Кривина вещи верны себе, своему характеру: по-разному действуют в жизни Колун и Рубанок, а мягкая Резинка смотрит на семейное счастье иначе, чем ее подружки — Бритвы.

Происходит как бы двойное движение метафоры. Все фигуральные словечки и обороты, присвоенные человеком из окружающего мира для выражения своих чувств, вещи за-

бирают вновь себе, возвращают к «первоисточнику». Но так как мы помним и об этом втором значении, то вещи становятся живыми, к ним самим уже применим не только прямой, но и переносный смысл, и страна вещей превращается в страну смешных и печальных происшествий, удивительных знакомств и знакомых проблем.

Волшебная палочка, которая помогает расколдовать мир вещей,— это могучий, лукавый и неожиданный русский язык.

Вот выглянула во двор любопытная ветреная Форточка, восхищено хлопая Футбольному Мячу. Он был в ударе, и вообще привык к легким победам, и встреча состоялась. А потом все жалели Форточку, у которой так нелепо была разбита жизнь. А вот другая судьба — Люстра, которая сумела добраться до своего потолка (в ресторане) и прожигала за вечер столько, сколько скромным настольным лампам хватило бы на всю жизнь. Опытный Лом взялся за недоτροгу — Дверцу сейфа. Она молчала, но он то знал, что скрывается за этой внешней замкнутостью. Убеждения Дверной Ручки (должно ли помещение быть открыто или закрыто) зависят от того, кто на нее нажимает. Ни одно слово здесь не нарушает реальной правды вещей и в то же время создает несомненный человеческий характер. И не один читатель, пожалуй, братски посочувствует, как старому товарищу, молчаливому мужественному Гвоздю, на которого надевает кольцо массивная Портьера: «Гвоздь почувствовал, что ему придется нелегко. Он немного согнулся и постарался поглубже уйти в стенку».

И однако, при всей очеловеченности образов Ф. Кривина, не всегда стоит пытаться переводить их на конкретный язык повседневности дословно. Ведь если непременно извлекать мораль из каждой поэтической выдумки, можно домыслиться и до того, что вся «Золушка» придумана затем, чтобы внушить молоденьким девочкам, как дурно возвращаться домой после двенадцати часов ночи. Сказка научит чему-то только тогда, когда запоминается не вывод из нее, не мораль, а неразделимый художественный образ.

«И что в этом Смычке Скрипка находит? Только и знает, что пилит ее, а она еще радуется...» И уже родилась на наших глазах душа Скрипки. Не к чему разбираться,

что это — душа артиста, который тем вдохновеннее, чем больше терний на его пути, или душа женщины, которая отвечает неутомимой нежностью на непосильно требовательную, придирчивую, мучительную любовь. Или это вообще человек, который именно в испытаниях и невзгодах раскрывает силу и красоту души?

Этот маленький рассказик можно толковать по-разному, но все эти смыслы скрыты где-то в подтексте, их угадываешь чутьем, не отдавая себе в том отчета. Так возникает «воздух» кривинской миниатюры. И в такой-то дышащей, живой цельности и войдет в нас та мысль, какую хотел заронить нам в душу автор. И нет нужды раскладывать ее на отдельные элементы, хотя все они есть: и современность и критичность, борьба «с бюрократизмом, невежеством, пьянством, пустословием, зазнайством и другими пережитками прошлого», как справедливо говорится в предисловии к книжке Ф. Кривина.

Современность маленьких басенок Кривина не только в том, что «в стране вещей» появились новые герои. Холодильник, Циркуль или Патефонная Игла. Усложнились и характеры вещей и их общественные и деловые взаимоотношения. Конечно, со времен Андерсена вещи заговорили другим языком, и электрическая лампочка вынуждена решать более сложные проблемы, нежели ее бабушка — стеариновая свечка. И даже у обыкновенных вещей иногда появляются странные замашки. Расческа, например, была столь неровной в обращении с волосами, что однажды на поприще своих трудов обнаружила вместо шевелюры Лысину: «С кем же прикажете работать?» А Выключатель, хотя и занимал на стене не особенно высокое положение, так зазнался — «Я — самостоятельная руководящая единица и не позволю каждому вертеть собой!», — что его сняли, да, да. И больше он уже ничего не проворачивал и не давал никаких руководящих указаний. К сожалению, вещи-современницы хорошо знают, что такое оратор — Водопроводный Кран, который круглые сутки льет воду, и Пломба, у которой хоть и веревочные, но крепкие связи.

Случаются у вещей удивительные неприятности по службе. Бывает, что Электрическая Лампочка не может устроиться на работу к Пустому Патрону, так как это совсем не нравится Чайнику и Утюгу,

который работает в этой сети благодаря своему другу Жулику, и без удостоверений с круглой печатью ей не поверят, даже глядя на ее двести свечей, что она Лампочка, а не Табуретка.

А при отборе экспедиции за Ломаным Грошом отклоняют кандидатуру Веника (правда, он знает местность, но у него родственница с подмоченной репутацией — Половая Тряпка). Зато удостоены избрания кристально чистой Стакан (который в самом начале поисков разбился) и полированный Шкаф (он не может сдвинуться с места, но зато у него все гладко).

Да, и такие бывают чудеса. Что ж, постарайтесь, чтобы в нашем человеческом мире ничего похожего не было. Может, тогда и у вещей все пойдет на лад.

Но не думайте, что в мире вещей все уж так плохо. Там живет Кремень, который ринулся навстречу бурям и ветрам океана, зато стал закаленным, отточенным и блестящим, есть там и славный Парень Гвоздь, который добровольно идет на стенку (там пока еще пусто, никого нет, но ведь должен кто-то быть первым?). Это очень хороший, очень прямой Гвоздь, еще бы, ему ведь стену одолеть надо, тут без прямоты не обойдешься.

Так доказывает Ф. Кривин, что его маленькому жанру по плечу разные и большие нагрузки. По самому своему происхождению, по лукавой иносказательности это должна быть острая басня, злая притча, шуточная или ядовитая притча. Поэтому так много в книжке метких критических жал. Но оказывается, что «рассказы о вещах» могут дать и портрет героя наших дней. А вот как может крохотная миниатюра передать ощущение своеобразных масштабов «Космического века»: «Маленькая Снежинка, медленно опускаясь на землю, спрашивает у встречных Кустов: — Это Земля? Скажите, пожалуйста, какая эта планета? — Да, кажется, это Земля, — отвечают Кусты... Но в голосе их не чувствуется уверенности» — ведь они присосли к одному месту, они никогда не видели Землю со стороны, как снежинка, пришедшая с высоты.

И наконец, юмористическая побасенка может превратиться в лирический этюд. Такова зарисовка «Сочувствие»: «Бедняжка, ты так бледна, — говорит Фонарь далекой Звезде. — Иди ко мне, я поделюсь с тобой ог-

нем, я буду освещать тебе дорогу». Это как будто ехидная насмешка над убогой самоуверенностью и ограниченностью, которая считает себя ярче всех и не знает цены неподдельному, не искусственному свету. Но вдруг после какой-то встречи, жизненного впечатления эта сценка обернется доброй улыбкой сочувствия простому и бескорыстному существу, которое щедро готово поделиться всем, что у него есть, даже с богатыми и счастливыми, кому этот дар вовсе не нужен. Так поэтическая миниатюра дает каждому то, что он может услышать.

И только одного превращения, одного лика этого изменчивого и прихотливого жанра не хотелось бы видеть совсем. Но, увы, случается, что он выступает в виде голого и прямолинейного нравоучения. Тогда теряется свежесть, «новонайденность», неповторимость кривинских образов, сразу же слабеет и точность слова. Слово из хрестоматии для начальной школы взят рассказ о путешествии Капли по земле и в облаках, да и о песчинках, которые, видите ли, плохо жили потому, что металл не отливали, сады не выращивали, дома не строили! Тут исчезает ценнейшее свойство всякой сказки — единство прямого и переносного звучаний, и в результате — голая декларация: «Ведь объединить может только общее дело...» — это говорит герой сказки! Пропадает в этих назидательных проповедях даже самая форма жанра, лаконичного и емкого, вытекающая длинными и вялыми словоплетениями. Эта группа рассказов, явно чужеродная в книге, приходит даже в прямое, подчас комическое противоречие с остальным ее материалом. Так, в начале есть остроумная басенка о Краеугольном Камне (Куске Угля), который провозглашал, что «мы несем в мир тепло... И пусть мы сгорим, друзья, но мы сгорим недаром!» Его друзья не говорили громких слов, они просто сгорели, а сам Краеугольный Камень оказался камнем обыкновенным. А в дидактическом цикле «Счастье» дрова поют буквально ту же песню как откровенно, как ответ на размышления человека о том, что такое счастье! Той же прямолинейностью и аморфностью грешат нередко и стихотворения Ф. Кривина (сборник «Вокруг капусты», 1960, «Советский писатель», и «Вещи вещи», 1961, «Библиотека «Крокодила»). Уж очень неглубока мысль, что «в добрый час сошлись моток с иголкой», поскольку вместе они вышили салфетку, которая «привлекает глаз

и украшает полку!» Не хватает юмора и чувства стиля в занятном по мысли противопоставлении комнатного доша дождю, который воспет с пафосом восемнадцатого века:

Но вернется своецравный ливень,
Явится на землю блудным сыном,
Припадет он к истомленной ниве
И разглядит все ее морщины.

С нежностью, волнением и тревогой
Приласкает трепетную сушу...

И напротив, бывает, что попусту обыгран элементарный трюк, скажем башмак, который «сел в калошу» — никакой стоящей мысли за этим не скрыто.

Есть и в стихах свои удачи и находки.

Спичкам жить на свете нелегко,
Спички — беспокойные творения.

Даже с лучшим другом — коробком —
Не обходится у них без трения.

Для чего им жизнь свою растрачивать
На такие вздорные дела?
Спички, спички, головы горячие ..
Но без них ни света, ни тепла.

Но лучше всего удаются Ф. Кривину его своеобразные «вещные» рассказы-картинки. И очень хорошо, что в «Библиотеке «Крокодила», где переиздано, пожалуй, самое удачное из обоих сборников Кривина, их сопровождают веселые, остроумные иллюстрации Е. Мигунова, который сумел придать верную физиономию (в прямом и переносном смысле) каждому своеобразному жителю удивительной «Страны вещей».

Э. КУЗЬМИНА.

★

МЕТАМОРФОЗЫ ОДНОГО РОМАНА

Глеб Алехин. Мертвый хватает живого. Роман. «Нева», №№ 6, 7, 8. 1961.

Авансцена романа Глеба Алехина занята трупом.

В 1921 году жители Старой Руссы были потрясены загадочной смертью уполномоченного Губчека Леонида Рогова: «...улица дважды как бы акнула выстрелами. Затем из дома уполномоченного Губчека выскочил неизвестный, пересек дорогу и не хуже питерского «попрыгунчика» махнул через высокий забор парка». Подоспевшая собака угрозыска не взяла след, а в межзоне дома начальник старорусского угрозыска Воркун нашел тело друга с кровавой раной в затылке, два валяющихся на полу браунинга и две стреляные гильзы. Никто не сомневался в том, что Рогов стал жертвой преступления.

Поиски убийцы, сложная и тревожная обстановка первых дней нэпа с его острыми «метаморфозами», иностранная агентура, диверсии, заговоры монархиста Таганцева и патриарха Тихона делают определенную жанровую позицию автора. Она им даже подчеркнута. «Дни листались как страницы детективного романа», — с восхищением говорит Г. Алехин о событиях в Старой Руссе. Многие в романе подтверждают эту жанровую позицию: все сюжетные нити ведут к предельно законспирированному, загадочному диверсанту по кличке Рысь, кото-

рый принимает обличия положительных героев и совершает преступления, так сказать, за их счет. Детективные ситуации — одна сложнее и запутаннее другой! — следуют со стремительностью кинокадров, мгновенно меняясь и взаимно исключая друг друга, как узоры взбесившегося калейдоскопа. Непрестанные интриги Рыси, которая умеет менять (вот она жуть!) мужской голос на женский, создают невообразимую путаницу: по очереди в качестве кандидата на убийцу Рогова и его пособников заподозреваются почти все положительные герои романа. Из сыщиков они становятся обвиняемыми, из обвиняемых — сыщиками. Словом, все происходит как в самом модном детективном ателье.

Но в романе Г. Алехина есть и другие особенности, на которые нельзя не обратить внимания.

Сумасшедший фейерверк «гипотез-ищек» выстреливается так поспешно, сами гипотезы так противоречивы, подозрения так нелепы, все открытия по ходу следствия так случайны, что читатель вправе подозревать, что целью автора было снижение, разоблачение детективного жанра. Следственные потуги старорусских шерлоков холмсов весьма близки к приемам следствия, знакомым нам по чеховским «Драме на охоте» и

«Шведской спичке». Близки и результаты их потуг.

Подтверждает это впечатление и неожиданная концовка романа. Да, «все смешалось в деле Рогова!». И жестокая любовь. И иступленная, «совсем по Достоевскому» ненависть. И опасные заговоры. И жуткая, неуловимая Рысь. Но к самой смерти Рогова они непричастны: Рогов покончил с собой, симулировав убийство, так как увидел в нэпе измену революции. Симулировал потому, что не хотел самоубийством уронить авторитет партии. А «попрыгунчиком» оказался «красный сыщик» — рабочий паренек Лешка, который зашел в дом, услышал выстрелы в мезонине и... сбежал, боясь, что его сочтут убийцей.

Трудно с такой концовкой увидеть в романе Г. Алехина «всамделишный», «сто процентный» детектив. Правильнее предположить, что роман находится «вне онога, но как бы в онома», как говаривал в свое время Салтыков-Щедрин, а детективный скелет романа есть не больше, чем мистификация. Что весь калейдоскоп детективных ситуаций является своеобразной «обманкой» (или приманкой!), на которую должен наброситься доверчивый читатель. Что детективная схема маскирует какой-то неясный нам пока «подтекст».

В самом деле, сразу же за трупом (и за труп!) в глубине сцены ожесточенно спорят две философские системы, две школы. Над еще теплым телом Рогова скрестили шпаги «логики» и «диалектики». Во главе вторых стоит самодетельный философ Калугин, на сторону которого, по мере посрамления «логиков», переходят «инстинктивный диалектик», начальник угрозыска Воркун и «красный сыщик» Лешка. «Логика» во главе с профессором криминалистики Оношко пытаются раскрыть тайну «убийства» Рогова, пользуясь силлогизмом, построенным по известному из формальной логики типу: «Убийство ответственного работника — политическое дело. Убит Рогов — ответственный работник. Значит, убийство Рогова — политическое дело, значит, убийцу следует искать среди неблагонадежных...»

Им возражает Калугин, который — ни больше, ни меньше! — «подметил порядок мира в целом и расположил общие законы в строжайшей системе»: «...Все зависит от места, времени, условий. Сначала изучите место происшествия, временные показатели, обстановку, а потом уже намечайте рабочую

гипотезу. В противном случае, вы рискуете, осматривая место происшествия, с первых шагов подгонять улики под вашу гипотезу. Отсюда — уверенность, апломб, эффект, а в итоге — ложный след, то есть пустоцвет!»

Логика, применяя свой силлогизм для раскрытия «убийства» (которого — мы это знаем, а они не знают! — не было вовсе), постоянно срывает «пустоцветы», попадают впросак. Это они заводят следствие в тупик, им читатель обязан массой нелепых гипотез и маниакальных подозрений, поражающих, как молния, местных шерлоков холмсов. Иначе и не может быть, потому что логика только «обозревает» явления, тогда как диалектика «пронизает» в глубь явлений. Это они делают без особого труда, так как гениальный самоучка Калугин открыл «принцип соответствия форм и законов», что дало в его руки «ключ проникновения» в глубь явлений. С помощью «ключа» диалектики вот-вот раскроют тайну «убийства» Рогова — уже Калугин заговорил о необходимости искать дневник Рогова, в котором может содержаться тайна его смерти...

Так как персонажи романа шеголяют философскими терминами, охотно рассуждают о «метаморфозах» наблюдаемых ими явлений, бросают замечания о Гераклите, Вольтере, о его «Кандиде», о Достоевском, написавшем в Старой Руссе «Братьев Карамазовых», даже цитируют его (кстати, в романе немало ситуаций, сделанных «под» Достоевского, и не только изображенне ревности брата погибшего Карпа Рогова, весьма схожей с ревностью Мити Карамазова), то возможен один вывод: все это должно подсказать догадливому читателю, что ему предлагается философский роман, прославляющий торжество диалектики.

Не будем обольщаться видимостью! Находка дневника бьет не только по логикам, но и по диалектикам — те тоже подозревали убийство, но приписывали его таинственной Рыси, и автор оставляет в дураках равно обе школы. Наружно он соблюдает должный респект к диалектикам: старается возвести на пьедестал ума, приводит целыми страницами поучения Калугина, окружат его умиленно слушающими неопфитами, которые благоговейно смотрят учителю в рот. Но это видимость, «явление»! На самом деле споры между школами так схоластичны, поучения Калугина так напыщенны и назойливы, аргументы так убоги, поводы споров так легко соскальзывают в анекдот, что —

не может же автор этого не понимать! — от респекта и пьедестала почти ничего и не остается. С гораздо большим правом можно предположить, что автор ставил своей целью (скрытой, конечно) окарикатурить и осмеять обе школы и делал это на протяжении романа с самым благочестивым выражением лица.

Опять мистификация! Опять «боковики» или «соффиты» какого-то неизвестного нам «театра».

И все же роман Глеба Алехина «философичен». Он дает представление об одном из участков теории познания, воспроизводя механизм рождения отдельной истины. Возникло неизвестное явление (смерть Рогова). Оно вызывает к жизни массу «гипотез-ишек», которые по мере их проверки и сличения постепенно отсеиваются (работа логиков), пока не останется «в малом... многое, а во многом главное» (дневник Рогова). Из этого «главного» путем диалектического «проницания» (выманяют дневник у спрятавшего его Карла Рогова) и рождается истина, устанавливающая новые связи и опосредствования с уже существующим (самоубийство Рогова и психологическая виновность профессора Оношко в самоубийстве).

Куда как хорошо! Писался роман, а написалась методразработка. Не простая, а «в лицах» (нельзя сказать «в образах», ибо люди здесь изображены на редкость хаотично, аморфно или претенциозно).

Так из груды жанровых обломков, составляющих роман Г. Алехина, вырисовываются контуры уже отработавшего свое, архаичного «романа-аллегории» с его узкой утилитарностью и наглядностью. Это и есть третий — настоящий! — план романа, если отбросить все «от Достоевского» и густой налет литературной безвкусицы от себя. (Что касается последнего, то вот просто на выборку несколько примеров: «Ее глаза, подернутые к вискам, бросали зеленые лучи то на кухонную дверь, то на окно» — это о загадочной рыжеволосой вдове, богомолке и

оперной певице Тамаре. «Желтые, коротко подстриженные волосы, большие глаза в сонной дымке, маленький чувственный носик и сильно припухшие, точно от поцелуев губы» — это о Любке-чекистке, помогающей раскрыть заговор монархистов.)

Что же все-таки остается в душе читателя после чтения этого романа? Каков смысл его, «оседающий» в нашем сознании, — объективно, независимо от того, что хотел сказать автор?

Ни логики, ни диалектики не смогли раскрыть «убийства» Рогова из-за единичности, исключительности этого случая. Как бы ни рассуждал о «профилактике» преступлений Калугин, единичные, исключительные случаи невозможно предупредить. На то они единичные.

Алехина же, видимо, оболыцает единичность.

Все шатко, все неверно в мире, изображенном Алехиным. Хрупки и зыбки «гипотезы-ишейки» старорусских шерлоков холмсов. Коварны их чувства — они любят и готовы предать, идут на свидание, чтобы взять любимую за шиворот. Сказочны их «метаморфозы»: красавица вдова гадает сразу на четырех королей, четырех Парисов — любит одного, отдается другому, готова бежать с третьим, выйдет замуж за четвертого. Бывший командир полка и герой возвращает партийный билет и сразу же открывает ресторан. Секретарь трибунала связывается с бандитами и диверсантами. Уважаемый профессор подталкивает друга на самоубийство. Да есть ли что-нибудь устойчивое, постоянное, прочное в том мире, который рисует Алехин? Нет, в нем все зыбко, все обманчиво, мгновенно.

Но при таком видении мира все сходит со своих мест, дрожит, мчится, пляшет, прыгает, кружится, дразня, высывая языки, издеваясь и ускользя. И справедливо говорит о себе один из персонажей романа:

«Мы участники буффонады!»

Вот что позвякивает на донышке романа.

Юрий ПОЛЕТИКА.

★

Политика и наука

ПРОШЛОЕ, КОТОРОЕ ЗОВЕТ К БУДУЩЕМУ

Очерки истории Коммунистической партии Украины.
 Руководитель авторского коллектива кандидат философских наук И. Д. Назаренко.
 Редактор В. П. Булкина. Государственное издательство политической литературы УССР.
 Киев. 1961. 656 стр.

Накануне XXII съезда КПСС вышло несколько новых работ по истории коммунистических партий союзных республик, в их числе «Очерки истории Коммунистической партии Украины».

Появление этого труда, написанного с позиций XX съезда КПСС, является большим событием. На идейное вооружение современного поколения коммунистов, всех советских тружеников поступает правдивая, дышащая марксистско-ленинское освещение кардинальных вопросов развития общества, различных этапов революционной борьбы и построения социализма история Коммунистической партии Украины, очищенная от искажений и фальсификации периода культа личности Сталина.

В книге освещены, в соответствии с общепринятой историко-партийной периодизацией, основные этапы жизни и борьбы одного из передовых отрядов великой ленинской партии — большевистских организаций Украины: от возникновения первых марксистских кружков до развернутого строительства коммунистического общества.

Большим достоинством нового исторического труда является то, что в нем ярко и доказательно показана неразрывная связь революционной борьбы пролетариата Украины с революционным движением всей России, возглавляемым российским пролетариатом и его марксистско-ленинской партией.

Уже к концу XIX столетия Украина превратилась в один из наиболее капиталистически развитых районов страны, мало чем отличающийся по экономическому уровню от Центральной России. За какие-нибудь два-три десятка лет на юге России вырос мощный огряд пролетариата. Численный рост рабочего класса на Украине шел параллельно с его концентрацией на крупных промышленных предприятиях.

Книга начинается главой о развитии капитализма в России, о коренных изменениях в экономической и общественной жизни Украины во второй половине XIX столетия.

Распространение марксистских идей и возникновение первых большевистских организаций Украины быстрее всего шло, естественно, в ее промышленном районе. От него-то и тянулись нити, которые связывали украинских марксистов с марксистами всей России. Екатеринослав — место ссылки ряда выдающихся руководителей рабочего движения в Центральной России, таких, как Бабушкин, Шелгунов, Моисеенко, — оказался и местом возникновения первых крупных марксистских кружков, работу которых высоко ценил В. И. Ленин.

Киевский и екатеринославский «Союзы борьбы» были основными участниками I съезда Российской социал-демократической рабочей партии, и вскоре представители этих организаций заняли видное место среди борцов за идеи ленинской «Искры».

Так же тесно переплетаются и революционные действия русских и украинских рабочих. В ответ на события 9 января вспыхнули забастовки солидарности во многих промышленных городах Украины. Первыми по призыву большевиков забастовали киевские рабочие-мегаллисты, вслед за ними рабочие Екатеринослава, Горловки, Енакиевы, Юзовки, Мариуполя. А месяц спустя прокатилась волна забастовок в Харькове, Николаеве, Александровске, Николаеве, Сумах, Полтаве, Кременчуге. Забастовочное движение охватило шахты, рудники, металлургические заводы Донбасса. Большим политическим событием тех дней была стачка железнодорожников, подготовленная киевскими большевиками; забастовочный комитет возглавлял старейший член Коммунистической партии А. Г. Шлихтер.

Тут, кстати, среди многих серьезных достоинств рецензируемой книги надо отметить и еще одно: исторические события связываются в ней с именами их участников, инициаторов, вдохновителей; перед читателями проходит славная плеяда видных деятелей пролетарской революции, гражданской войны, социалистического строительства на Украине

На страницах этой книги оживают светлые образы лучших представителей партии рабочего класса, которые стали жертвой произвола в период культа личности Сталина и были преднамеренно вычеркнуты из истории пролетарской революции и социалистического строительства на Украине. Современное поколение коммунистов в этом историческом труде увидит истинную роль в борьбе за Советскую Украину таких известных руководителей большевистских организаций, как Станислав Косиор, Влас Чубарь, Павел Постышев, Евгения Бош, Юрий Коцюбинский, Леонид Пятаков, Владимир Затонский, Лаврентий Картвеллишвили, Мендель Хатаевич, Иван Клименко, Василий Аверин, Николай Тарногородский и многих, многих других несгибаемых большевиков, отдавших свою жизнь за торжество ленинизма.

Особенный интерес в рецензируемой книге представляют материалы, характеризующие специфические для Украины условия развития революционного движения и работы Коммунистической партии, сложное переплетение классовых и национальных интересов и сил, попытка общероссийской контрреволюции использовать Украину как плацдарм для борьбы с Советской Россией при военной и всякой иной помощи иноземных империалистов.

Весьма рельефно представлена роль украинской националистической буржуазии — предателя интересов украинского народа в его борьбе за свое классовое и национальное освобождение. Случилось так, что о судьбах украинского народа «пеклись» две части украинской буржуазии: одна — вскормленная в Российской империи и другая — в Австро-Венгерской. Обе эти «половинки» были единодушны: с помощью националистического шовинизма они пытались «оградить» украинский народ от большевистских идей и социалистической революции.

Украинская буржуазия ухватила немалый куш в ходе промышленного развития страны и капитализации сельского хозяйства. Стремясь расширить и свое политическое влияние, она отравляла сознание рабочих и крестьян проповедью различных лжетеорий: о безбуржуазности украинской нации, о приоритете национального единства над классовой солидарностью. Эти «теории» послужили впоследствии питательной средой для возникновения множества печальной славы мелкобуржуазных партий.

Они, как известно, в свою очередь «питали» различные антисоветские выступления, осложнившие социалистическое строительство Советской Украины. Больше того, эти «идеи», ставшие знаменем националистической контрреволюции, и поныне вдохновляют с помощью иноземных империалистов украинскую эмиграцию, сконцентрировавшуюся после второй мировой войны в аденauerской Германии и на североамериканском континенте.

Выход в свет «Очерков» кладет конец вольным толкованиям и прямым извращениям ряда принципиально важных событий в жизни украинских большевистских организаций, в первую очередь такого важного вопроса, как образование Коммунистической партии Украины.

В книге с предельной ясностью освещен вопрос о роли так называемых «левых» и «правых» в КП(б)У. Там написано, что: «Несмотря на ряд политических и практических ошибок так называемых «левых» и «правых», большинство их не было связано ни с какими уклонами в РКП(б), а сами эти названия являлись условными. В общепартийных вопросах, и прежде всего в вопросе о мире и мирной передышке, большинство их твердо стояло на ленинских позициях, вело решительную борьбу против «левокоммунистических» элементов в своих рядах и проводило большую положительную работу по организации рабоче-крестьянских масс на борьбу за восстановление и упрочение Советской власти на Украине».

В «Очерках» подробно, со ссылкой на документы охарактеризована роль совещания большевистской фракции ЦИКа Советов Украины совместно с партийными работниками из различных районов республики, которое состоялось в апреле 1918 года в Таганроге.

Таганрогское совещание явилось важным этапом на пути создания Коммунистической партии Украины и выработки правильной тактики борьбы против оккупантов и буржуазно-националистической контрреволюции. Его решения, как написано в «Очерках», «...исходили из необходимости сохранения мирной передышки для упрочения Советской России как главного условия и решающего фактора победы революции на Украине и сыграли огромную роль в развертывании повстанческо-партизанского движения украинских рабочих и крестьян против оккупантов и националистиче-

ской контрреволюции, за восстановление Советской власти». Решение Таганрогского совещания об образовании Коммунистической партии Украины, говорится далее, было подтверждено Пленумом ЦК РКП(б) 3 мая 1918 года.

Наконец, в «Очерках» полностью объяснены истинные решения первого учредительного съезда Коммунистической партии Украины по вопросу о вхождении в РКП(б).

В книге совершенно точно сказано, что съезд выразил волю коммунистов Украины к сохранению и упрочению неразрывного единства КП(б)У с Российской Коммунистической партией (большевиков) и дальнейшему сплочению своих рядов вокруг ленинского Центрального Комитета. А затем объяснено, что в условиях того времени это решение съезда являлось сугубо конспиративным. Его надо было хранить в тайне, чтобы не дать немецким империалистам повода к обвинению правительства Советской России и РКП(б) в нарушении Брестского мира. В несекретном же документе, в обращении «К товарищам — коммунистам Украины», в тактико-дипломатических целях было сообщено, что «теперь формально закреплена самостоятельность украинских организаций в вопросах украинской работы, ставшая фактом уже давно».

На этих событиях в жизни КП(б)У необходимо остановиться более подробно потому, что они особенно широко использовались некоторыми историками.

Еще на XX съезде КПСС товарищ Микоян напоминал об историке, который в эпоху культа личности Сталина «договорился даже до следующего: не будь среди украинских партийных руководителей тов. Антонова-Овсеенко или тов. Коспора, возможно, не было бы махновщины и григорьевщины, Петлюра не имел бы успеха в отдельные периоды, не было бы и увлечения насаждением коммун (кстати, явление не только украинское, а общее для партии в то время) и сразу, видите ли, на Украине была бы взята линия, на которую вся партия и страна перешла в результате нэпа».

В том и сказалось влияние культа личности в исторической науке, что иные историки склонны были объяснять многие сложные события в развитии советского обще-

ства не реальными обстоятельствами классовой борьбы, а «вредительской деятельностью» тех партийных руководителей, которые через многие годы после того, как возникли упомянутые сложности, были несправедливо объявлены «врагами народа». В историю Украины и историю КПУ много искажений подобного рода внесли статьи и книги А. Лихолата и некоторых других историков, которые усматривали в деятельности Коммунистической партии Украины сплошную цепь ошибок, уклонов, неправильных решений, сознательное вредительство и сепаратистские отклонения от ленинской линии.

В «Очерках» все эти необоснованные нападки и антиисторические извращения опровергнуты со всей убедительностью и ясностью.

«Очерки истории Коммунистической партии Украины» помогут разобраться с правильных историко-партийных позиций в существовании многих и многих волнующих вопросов боевого прошлого украинских большевиков. В них хорошо рассказано о борьбе, которую вели коммунисты Украины за линию партии на протяжении всей ее истории против оппортунистов всяких мастей, в том числе против «левого коммуниста» Ю. Пятакова, троцкистов, правых и национал-уклонистов, в особенности против носителей и идеологов украинского национализма.

Новая работа по истории партии Украины открывает большие возможности для дальнейших исследований, для углубленной творческой работы над отдельными темами, над историей отдельных партийных организаций, над созданием многотомной истории КП(б)У. Но думается, что для обстоятельного исследования, отвечающего исторической роли Коммунистической партии Украины, надо использовать в равной мере и документы и живые свидетельства.

Хочется, чтобы история первой в мире социалистической революции, ее вдохновителя — Коммунистической партии, ее отдельных организаций была написана как можно полнее, как можно ярче. Это прошлое нашего народа настойчиво зовет его вперед, к коммунизму.

Е. ОСЛИКОВСКАЯ, А. СНЕГОВ.

УГАСАЮЩИЙ КАПИТАЛИЗМ

Е. Варга. Капитализм двадцатого века. Редактор М. Рабинович. Госполитиздат. М. 1961. 148 стр.

Эта небольшая книга поражает богатством мыслей. Сжата, как конспект, она насыщена интереснейшим цифровым и фактическим материалом. Книга заслуживает тем большего внимания, что в ней иллюстрируется и развивается ряд важнейших теоретических положений, вошедших в Программу КПСС.

Имя автора книги академика Е. Варги, старейшего советского экономиста-международника, широко известно. Задолго до второй мировой войны его периодические прогнозы капиталистической конъюнктуры внимательно изучали не только деятели рабочего движения, но и враги социализма. Два года назад научная общественность отметила восьмидесятилетие Евгения Самойловича Варги. Рассматриваемая книга представляет собой расширенный доклад, сделанный маститым ученым в день юбилея. В авторском предисловии оговорено, что эта работа, не будучи историей капитализма — сделать это в такой небольшой книге невозможно, — представляет собой попытку показать основные изменения, которые произошли в капитализме на протяжении нынешнего века.

Почти полстолетия назад Ленин дал чеканную характеристику империализма — высшего и последнего этапа капитализма. Многие десятилетия этой эпохи прошли на глазах у нынешнего поколения. Но выросло и молодое поколение, которому не только начало века, но даже события первой мировой войны кажутся чуть ли не древностью.

Между тем понимание особенностей этой эпохи имеет исключительное значение. На ленинском учении об империализме базируется его теория пролетарской революции. Научный анализ современного империализма — в целом и в отдельных странах — лежит в основе стратегии и тактики коммунизма.

Как выглядел мир к началу двадцатого века? Жизнь шла медленнее. Путь от Москвы до Нью-Йорка, который сейчас продолжается десять часов, требовал около двух недель. Население земного шара было вдвое меньше теперешнего — за шестьдесят лет прирост населения оказался таким же, как за всю предшествующую исто-

рию человечества. Автомобилей во всем мире было всего восемь тысяч, причем почти все они были произведены в США. Электричество только начинало внедряться в производство. Прimitивной была военная техника — новинками считались бездымный порох, полевой телефон. Ни моторизованный транспорт, ни ганки, ни самолеты, не говоря уже о ракетах, на вооружении не состояли. В 1900 году военные расходы в США составляли сто девяносто один миллион долларов, в то время как в текущем 1961 году на эти цели выделяется более пятидесяти миллиардов долларов. Объем мирового промышленного производства был вшестеро меньше современного производства стран капитализма. Мир был уже поделен между империалистическими державами, назревал его перелом. И хотя капитализм казался еще прочным и непоколебимым, взрывчатка была уже заложена. Весь ход развития вел к общему кризису капитализма.

Автор рисует быстрое нарастание этого кризиса. Начальный этап был озаглавлен возникновением первого в мире пролетарского государства. Это усилило действие внутренних сил, ведущих к крушению всего капиталистического строя. Второй этап охватывает последние двадцать лет, когда образовалась мировая социалистическая система. «Итоги второй мировой войны обманули надежды империалистов обеих военных группировок, — замечает автор. — ...В итоге послевоенного развития число мощных мировых экономических держав фактически сократилось до двух: Советский Союз и США». Главное внимание Е. Варга уделяет новому, или третьему этапу общего кризиса капитализма, когда соотношение сил коренным образом изменилось в пользу социализма.

«Ни громадный рост богатства буржуазии, ни возросшая мощь монополий, ни полное развитие государственно-монополистического капитализма, — пишет Е. Варга, — не приостановили исторического процесса крушения капитализма, не создали — как после первой мировой войны — временную стабилизацию капитализма, не укрепили экономику капитализма». Напротив того, «капитализм наших дней во многих отноше-

ниях не только политически, но и экономически слабее капитализма начала века».

Автор показывает шаткость экономики современного империализма, подробно останавливаясь на отдельных его чертах. Он подкрепляет свои доводы новейшими данными о хронической безработице, значительной недогрузке предприятий, перераспределении национального дохода в пользу монополий, махинациях монополий, ставших еще более независимыми от банков, о расстройстве денежного обращения, внешней торговли и так далее.

«Мир все еще является местом нужды, голода, несчастья для громадного большинства неимущих»,— писала два года назад «Таймс». Хотя за шестьдесят лет произошел огромный прогресс в области науки и техники, в мире по-прежнему существуют голод, нищета, страх перед завтрашним днем. Около полутора миллиардов человек в капиталистических странах живут в бедности. А при нынешнем развитии техники, полагает Е. Варга, можно было бы, сбросив оковы капитализма, производить в двадцать—тридцать раз больше, чем в начале века.

Все растущая доля производительных сил капитализма направляется на военные цели—разрушение и истребление. Около двадцати процентов всей рабочей силы трудится прямо или косвенно для нужд войны и производит совершенно ненужные для народа предметы. Милитаризм—самое яркое доказательство загнивания современного капитализма.

Все меньшим становится число людей, объективно заинтересованных в сохранении капиталистического строя. Резко уменьшилась численность буржуазии по сравнению с пролетариатом. В США всего лишь один процент населения владеет двумя третями национального богатства, в Англии— тот же один процент—половиной. Еще сильнее уменьшилась организаторская роль буржуазии в процессе производства. Почти все эти функции выполняют теперь наемные директора, управляющие. Ненужность капиталистов в системе современного производства становится все более очевидной.

Капитализм, указывает Е. Варга, еще существует благодаря тому, что в высокоразвитых странах буржуазия, помимо аппарата насилия, на основе роста производительности труда и эксплуатации слаборазвитых стран может еще улучшить положение ча-

сти рабочих и с помощью религии, реформизма и других видов буржуазной идеологии удерживать их под своим влиянием. Но это явление преходящее.

Все помнят, какой ажиотаж возник на нью-йоркской бирже после воинственного выступления президента Кеннеди. Резко поднялись цены на акции предприятий, выпускающих вооружение. Наоборот, пессимизм и падение акций на бирже возникают при каждом признаке ослабления напряженности. «Было бы, однако, неправильно утверждать,— пишет Е. Варга,— что капитализм на нынешней стадии развития не мог бы существовать без военных заказов вообще».

Новый этап общего кризиса капитализма, как известно, возник в мирных условиях, в обстановке соревнования и борьбы двух систем. Внутренние законы империализма по-прежнему ведут к войне. В ней заинтересованы монополии, которые наживаются на военных поставках, военщина и ярые враги социализма. «Вместе с тем поставщики вооружений могут обойтись без открытой войны; поддержание международной напряженности, гонка вооружений обеспечивают им получение огромных сверхприбылей. При современном исключительно быстром развитии военной техники отдельные виды оружия непрерывно устаревают и заменяются новыми».

Третья мировая война, пишет Е. Варга, вряд ли возникнет, если народы всех стран будут активно бороться за мир, если вопрос о ней будет решаться здравомыслящими государственными деятелями капиталистических стран. «Политика мирного сосуществования,— говорится в Программе КПСС,— отвечает кровным интересам всего человечества, за исключением воротил крупных монополий и военщины».

Один из разделов книги посвящен важной современной проблеме—пути развития слаборазвитых стран. Империалисты много шумят о помощи этим странам. Е. Варга убедительно показывает, что действительная помощь слаборазвитым странам противоречит самой природе империализма.

Сегодня мир капитализма имеет еще перевес над миром социализма—по населению, территории и объему производства. «Но экономический перевес капиталистического мира над социалистическим быстро

ликвидируется гораздо более стремительными темпами развития производства в странах социализма», — пишет Е. Варга. По его расчетам, в будущем темпы роста капиталистического производства будут в силу целого ряда причин значительно ниже, чем до сих пор.

Громадное преимущество социалистического лагеря — в содружестве и взаимной поддержке входящих в него стран. Важным фактором является то, что СССР не только ликвидировал атомную монополию США, но и опередил их в очень важных отраслях науки. Это преимущество будет все больше возрастать. Поэтому «механическое противопоставление социалистического мира капиталистическому по численности населения, по размерам территории или объему производства, как это делают защитники капитализма, совершенно непригодно в качестве мерила сил двух общественных систем. Мощь социалистического лагеря гораздо больше, чем общая совокупность всех сил стран, составляющих его». Кроме того, объективно громадное большинство населения капиталистического мира является союзником социалистических стран, а не национальной буржуазии.

В заключительной части книги Е. Варга рисует перспективу дальнейшего развития капитализма и высказывает ряд прогнозов

на более короткие сроки. Он предвидит, что периодически повторяющиеся хозяйственные циклы в странах капитала будут иметь тенденцию к укорочению, а кризисы перепроизводства будут более глубокими, чем после второй мировой войны. Двадцатый век войдет в историю человечества как век гибели капитализма, как век торжества коммунизма.

Книга Е. Варги — пример обобщения новых явлений в развитии капитализма. Разработка проблем современного мирового развития, объективный анализ новых процессов капиталистической действительности необходимы для продвижения СССР к коммунизму, для обогащения марксистско-ленинского мировоззрения. Понимание этих процессов — необходимое условие успешной борьбы с идеологами монополистического капитала, защищающими угасающий буржуазный строй, с реформистами и ревизионистами.

Книга Е. Варги — образец и научной и популярной литературы. Она еще раз показывает, что о самых сложных вещах можно писать просто и даже увлекательно.

Книга Е. Варги незаменима для каждого, кто стремится более глубоко разобраться в современной мировой экономической обстановке.

С. ЭПШТЕЙН.

★

«В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВПЕРЕД — ЗВУЧИТ РАДОСТНЕЕ»

Владимир Ажажа. «Северянка» уходит в океан. Редактор И. Л. Перваков. 112 стр. М. Г. Равич. Отогретая земля. Редактор Л. И. Гришина. 200 стр. Е. К. Устиев. По ту сторону ночи. Редактор С. И. Смуглый. 192 стр. О. Чистовский. Мечта Розы Мамета. Редакторы Т. Н. Щербиновская, И. П. Беляева. 104 стр. Географгиз. М. 1961.

Все четыре книги написаны советскими исследователями, теми самыми «бывальными людьми», за привлечение которых в литературу некогда так ратовал А. М. Горький.

Тот, кого интересует процесс все более глубокого проникновения советского человека в тайны природы, может проследить по этим книгам, как многогранны устремления наших ученых, как широк диапазон их работ. Действительно, где только не встретишь сейчас советских исследователей! Вот, к примеру, география четырех рецензируемых книг: Крайний северо-восток и Юг нашей страны. Субарктика и Антарктика.

«Прогресс науки и техники в условиях

социалистической системы хозяйства позволяет наиболее эффективно использовать богатства и силы природы в интересах народа...», — говорится в новой Программе КПСС. Эта гуманная направленность исследований советских ученых, конечной целью которых служит благо людей, четко проступает во всех четырех книгах.

Особенно отчетливо проявляется она в книге Владимира Ажажи «Северянка» уходит в океан». «Северянка» — боевая подводная лодка, по решению Советского правительства переоборудованная в научно-исследовательское судно для подводных изысканий. Жюльверновская тема! Не мудрено, что В. Ажажа вспоминает «Наути-

лус» и его капитана Немо. Автор пишет и о другой подводной лодке — «Наутилусе» англичанина Герберта Уилкинса и норвежца Харальда Свердрупа, пытавшихся использовать обреченную на слом подводную лодку для научных целей. Экспедицию Герберта Уилкинса и Харальда Свердрупа субсидировал газетный трест неизвестного Херста, конечно же ради рекламы.

«Северянка» — эта подводная научно-исследовательская лаборатория — выполняет и важные практические задачи: наблюдение за поведением различных видов промысловых рыб в разное время года; проверка работы тралов, сетей и других орудий лова; использование ультразвуковых гидроакустических приборов для поимки рыбы.

Скептик пощиплет плечами: искать сельдку? Какая проза! Где уж там до жюльверновских приключений! Но стоит прочесть книгу, и убеждаешься, как романтичны поиски сельди, как нова и захватывающе интересна работа ученого под водой. В ряде мест, там, где приводятся различные исторические, географические и иные справки, книга написана несколько сухо, но стоит автору начать говорить о подводных исследованиях или о своих товарищах по плаванию, как повествование оживает, увлекает меткостью наблюдений, новизной впечатлений.

Естественно, результаты работ первого похода «Северянки» скромны. Далеко еще не совершенно научное оборудование, да и сам подводный корабль. И все же это стало началом важнейших исследований океанической толщи с помощью активного подводного корабля-лаборатории. Был сделан первый шаг, и теперь человек не отступится, пока не раскроет всех тайн Мирового океана, который для науки во многом еще остается «белым пятном».

Впрочем, «белых пятен» еще немало и на суше. О том, как «стираются» они с карты планеты, можно узнать из книги М. Равича «Отогретая земля». Автор — доктор геолого-минералогических наук, участник советских антарктических экспедиций — описывает свои путешествия к шестому континенту. В книге много интересных впечатлений, зарисовок природы Антарктики, эпизодов, в которых показаны трудности работы исследователя в тамошних условиях.

Геолог смотрит на природу, восторгаясь и вместе с тем размышляя о наблюдаемом. Камни ему кажутся согревающими душу,

граниты-рапакиви напоминают о родном Ленинграде, а чарнокиты — солнечную Индию. Но наряду с поэтичными описаниями в книге М. Равича немало страниц и даже глав, заполненных сухими, энциклопедическими сведениями, извлеченными из научных докладов. И это оскучивает книгу.

Я предвижу возражения: автор — ученый, а не беллетрист, от него можно и не требовать художественных живописаний, да и профиль издательства — Географического — как будто обязывает, чтобы книга содержала познавательный материал. И все же читатель вправе ждать от авторов подобного рода книг большей живости, увлекательности, без ущерба, конечно, для их познавательности. Эти претензии могли бы показаться чрезмерными, если бы не было книг академика В. А. Обручева, В. К. Арсеньева, книги полярного исследователя Г. А. Ушакова «По пешоженной земле» или сборника рассказов памирского геоботаника К. В. Станюковича «Тропую архаров», изданных тем же издательством.

Но главный упрек М. Равичу заключается в том, что он мало, слишком мало рассказывает о своих товарищах, с которыми делил трудности и радости открытий, — о моряках, легчиках и даже коллегах-геологах. Ведь, в сущности, только с одним человеком — командиром вертолета В. П. Колошенко автор и познакомил читателя, уделив отважному пилоту несколько фраз. Чаще же всего М. Равич называет лишь фамилии, не находя даже самых кратких характеристик для мужественных советских людей, которые своим трудом, энтузиазмом согревают студеную землю Антарктиды.

К сожалению, этим грешат авторы многих книг о путешествиях. А ведь читателя интересует не только факт открытия или пусть даже самое добросовестное красочное описание впечатлений автора, но и характеры, внутренний мир, переживания участников событий. В этом отношении выгодно выделяется книга Е. Устиева «По ту сторону ночи». Возникает лишь вопрос: зачем было давать этой безусловно интересной книге столь нарочито «завлекательное» заглавие, которое к тому же никак не отражает ее содержания?

Е. Устиев — представитель сравнительно редкой геологической специальности. Он — вулканолог — рассказывает о том, как стиралось одно из «белых пятен» на карте северо-востока Советского Союза. В августе

1952 года внимание летчиков, пролетающих над центральной частью Южно-Ануйского хребта, было привлечено удивительным зрелищем. Между широко раздвинувшимися горами параллельно хребту с востока на запад тянулась большая черная, как уголь, долина. Она настолько резко выделялась на красочном фоне осеннего ландшафта, что казалась неправдоподобной. На обратном пути самолет вновь пролетел над краем загадочной долины, и наблюдатели были поражены еще более удивительным зрелищем.

«Среди высоких мрачных гор,— пишет Е. Устиев,— изрезанных крутыми ледниковыми цирками, поднималась строго коническая возвышенность с зияющим крутым кратером. Именно отсюда и начиналась громадная черная река, почти на 60 километров заполнявшая все дно долины.

— Убей меня бог, если это не вулкан! — вскричал один из операторов.

Это действительно был вулкан и притом в такой части континента, где его появление оказалось совершенно неожиданным для нас — геологов!»

Масштаб работ отряда Е. Устиева несравнимо скромнее любой антарктической или подводной экспедиции, но и на его долю выпало немало приключений, лишений, опасностей. К гниющей черной долине Монни и неведомому вулкану автор и его помощники отправились на лодке с подвесным мотором. Они пробирались по порожистым рекам, преодолевали полымя таежного пожара, тянули бечевой свою лодку, шагали с тяжелыми тюками на спине по болотам и камням. И когда следишь по книге за перипетиями путешествия этой четверки, не можешь оставаться равнодушным. Взволнованность автора, его восхищенные, радость или огорчение невольно передаются читателю. «Нами целиком владеют деловые интересы, не оставляющие почти никакого места для отвлеченных восторгов,— говорит Е. Устиев.— Сейчас важнее всего ничего не пропустить, все увидеть и возможно больше понять!» Автор лукавит: по книге не заметно, чтобы он отделял «деловые интересы» от «отвлеченных восторгов». У него они органически связаны, переплетены меж собой — это-то и придает книге особую прелесть.

За пылкую эмоциональность, подкупающую искренность, хороший литературный

язык остаешься благодарен автору и с сожалением расстаешься с его увлекательной книгой.

И вот последняя из четырех книг — «Мечта Розы Мамета» О. Чистовского. Действие ее разворачивается в песках Каракумов. Старый проводник Роза Мамет ведет через пески топографический отряд. Палящая дневная жара сменяется пронизывающим холодом ночи, изнурительные переходы от колодца к колодцу следуют один за другим. Нелегкий труд выпал на долю топографов, но задание они выполнили: их изыскания помогли гидротехникам, сооружающим канал в пустыне. Мечта старого туркмена Роза Мамета осуществляется: вода пришла в пески, оживила их. Таково краткое содержание книги.

В ней много интересных приключений, ярко показан тяжелый труд изыскателей, пейзаж, животный мир Каракумов. Книга безусловно полезна, читается легко. Но вместе с тем она может служить примером того, как портит книгу попытка О. Чистовского (или, возможно, Т. Чистовской, которая, как указано на титуле, принимала участие в подготовке книги) во что бы то ни стало «беллетризовать» повествование.

При чтении книги меня все время не покидало ощущение того, что автор, с одной стороны, будто бы боится отойти от факта, а с другой стремится подать этот факт «покрасивше», позанимательнее. Отсюда отсутствие непосредственности, излишняя риторика и порой навязчивая назидательность. Чтобы передать читателю интересные факты, сведения, автор прибегает к «игре в вопросы и ответы»: задает иногда до трогательности наивные вопросы, заставляя отвечать на них всезнающего Роза Мамета.

Верится, что Роза Мамет — человек, умудренный годами, обладатель богатого жизненного опыта, большой знаток пустыни — оказал огромную помощь изыскателям. Но нужно ли было автору прикидываться порой таким несмышленным простаком, чтобы дать возможность высказываться словоохотливому аксакалу?

Верится, что Роза Мамет знал множество пословиц, присказок, поговорок своего народа. Но зачем же в книге О. Чистовского он рассыпает эти крупинки народной мудрости в таком количестве, что их хватило бы для доброго фольклорного сборника? И тут

уж не знаешь, у кого из пятерых не хватило чувства меры: у Розы Мамета, у автора, у Т. Чисговской или у двух редакторов книги?

Е. Устиев в конце своей книги пишет, что после возвращения из экспедиции он опубликовал несколько научных статей об Анюйском вулкане и о лавовом потоке в черной долине Мэнни. «Открытие недавно угасшей вулканической деятельности в этой части мира внесло новую страницу в книгу о Земле». Но в научных статьях, сетует автор, не говорится ни слова о том, что испытали, выстрадали и передумали искатели: «в специальных работах не место романтике приключений и дружеским излипаниям!»

Вот почему можно радоваться, что все

четыре автора интересующих нас четырех изданий, помимо научных трудов, написали и книги, в которых, хотя и в разной степени, передана «романтика приключений». Они сделали полезное дело. Такие книги, как показывает жизнь, не залеживаются на книжных полках и прилавках, у них свой обширный круг читателей. И этот круг «болельщиков» географической популярной литературы из года в год растет. Девиз советских исследователей, неволью вырвавшийся у Е. Устиева — «Назад! Горькое слово! В любом случае вперед — звучит радостнее», находит отклик в сердцах советских людей.

Н. БОЛОТНИКОВ,

действительный член

Географического общества СССР.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

М. ГРИН. У карты шестьдесят пятого года. Географгиз. М. 1961. 168 стр. Цена 26 к.

О близком будущем нашей страны увлекательно рассказывается на страницах книги «У карты шестьдесят пятого года». Перед читателем раскрываются богатейшие клады родной земли — новые месторождения нефти, газа, руды, предстают невиданные еще искусственные моря, каналы, превращающие пустыни и засушливые степи в плодородные земли. Могучие энергетические узлы возникнут в Сибири и Казахстане на базе дешевых углей Кузбасса, Караганды, Экибастуза, Канско-Ачинского бассейна и неисчерпаемых ресурсов гидроэнергии сибирских рек. Мощность одних только гидроэлектростанций этих районов примерно в двадцать раз превышает мощность всех электростанций дореволюционной России. Количество газа, которое будет добыто в 1965 году, даст столько же тепла, сколько весь уголь, добываемый за год в Донбассе, Подмосковном и Печерском бассейнах, вместе взятых.

Большое развитие получит химия. Строится сто тридцать новых и реконструируются сто сорок действующих заводов. Ряд городов Поволжья — Волжск, Саратов, Энгельс, Новокуйбышевск, Казань, Ярославль и другие — уже становятся центрами разнобразной химической промышленности.

Карта 1965 года, испещренная условными обозначениями, ясно показывает, что весь ход хозяйственного развития нашей страны, ее «экономическая ось» с каждым годом перемещается все дальше к востоку — на Урал и за Урал. Там создаются мощные экономические районы, равных которым еще не было. На их долю к концу семилетки придется сорок четыре процента общесоюзного производства чугуна, около половины стали, проката, угля, электроэнергии, дипломатериалов, шелковых тканей. Описанию развития этих районов уделено в книге немало интересных страниц.

Взгляните на карту шестьдесят пятого года, и перед вами во всем величии предстанет огромная и многосторонняя деятельность советского народа, создающего материально-техническую базу коммунизма.

Е. Р.

★

И. В. ЛАДА. Если мир разоружится... Издательство Института международных отношений. М. 1961. 112 стр. Цена 16 к.

Читая эту книжку, представляешь захватывающую картину могущества человеческого гения, который мог бы переустроить жизнь на нашей планете, избавить ее население от нужды и страха перед войной. Все было бы достижимо, если мир разоружится. А пока... пока этого нет и происходит следующее.

На деньги, затраченные на постройку современного истребителя, можно накормить досью двадцать миллионов человек. Каждая американская атомная подводная лодка — это две с половиной тысячи больничных коек, а население США нуждается в восьмистах тысячах коек. Каждый авианосец — это девяносто пять школьных корпусов, а в США не хватает пятисот тысяч классных комнат.

Если говорить о населении земного шара в целом, то весьма показателен следующий расчет. Первая мировая война поглотила двести миллиардов долларов; их с избытком хватило бы для того, чтобы купить дом с большим участком земли каждому из семидесяти четырех миллионов солдат, мобилизованных в эту войну. За счет средств, израсходованных всеми странами на военные цели за последние десять лет, можно было бы построить сто пятьдесят миллионов домов, то есть полностью покончить с жилищным кризисом в мире. Эти цифры заставляют глубоко задуматься.

Показав, каким тяжелым бременем для человечества является гонка вооружений, автор знакомит затем со многими интереснейшими проектами преобразования нашей планеты и улучшения жизни людей. Для осуществления этих смелых, но технически обоснованных проектов нужна всего лишь небольшая часть гигантской суммы в сто миллиардов долларов, которую ежегодно поглощают военные расходы. Что же это за проекты?

Здесь и сооружение в слабо развитых странах десятка крупных плотин, подобных Асуанской, и двух десятков металлургических комбинатов, подобных Бхилайскому. Здесь и наступление на вечную мерзлоту, препятствующую освоению севера Азии и Америки, и наступление на пустыни, зани-

мающие треть поверхности земной суши, и использование несмежных и почти нетронутых еще богатств Мирового океана, и многое-многое другое, вплоть до проникновения человека в космос.

С чувством гнева узнаешь, что проект мощной приливной электростанции в бухте Ранс, давно утвержденный французским правительством, не осуществляется из-за «финансовых затруднений». Между тем стоимость строительства этой электростанции не превышает трехдневных расходов на войну в Алжире.

Последняя глава «Путь к разоружению» посвящена неуклонному проведению советским государством — с первых дней его существования — миролюбивой ленинской внешней политики.

А. Орлов.

★

Д. ВИРНЫК. Жизненный путь большевика. О А. Г. Шлихтере. Госполитиздат. М. 1960. 40 стр. Цена 4 к.

Член Коммунистической партии с 1891 года. Один из старейших русских марксистов. Видный советский государственный деятель. Выдающийся ученый. Таким был Александр Григорьевич Шлихтер.

В небольшой книжке о жизненном пути А. Г. Шлихтера приведено много интересного материала, который принесет большую пользу нашей молодежи.

Особенный интерес представляет та часть книжки, где рассказано о его работе на Украине. Народный комиссар земледелия РСФСР, которого на этот высокий пост призвал лично Ленин в трудные дни становления советской власти, А. Г. Шлихтер стал накануне коллективизации наркомом земледелия Украины.

Не кто другой, как А. Г. Шлихтер, почувствовал «поэзию тракторных колонн», как он назвал одну из своих статей и как озаглавлен один из разделов книжки. Еще на XV партийном съезде Шлихтер говорил, что «по мере приспособления самого крестьянства к новым формам сельского хозяйства, когда колхозы станут крупными и крепкими хозяйствами, объединяющими несколько тысяч гектаров», они смогут «приобрести для себя собственные тракторы».

Злободневно и ярко его обращение к участникам Всеукраинского агрономического совещания, хотя оно происходило более тридцати лет назад: «Не следует забывать, что мы не только зодчие науки, но и строим хозяйство, которое требует от науки, чтобы она отвечала требованиям момента. Я не говорю о том, что наука должна оторваться от своих научных исканий и проблем и размениваться на мелочи, обслуживая только практические задачи нашего строительства. Совсем нет. Мы требуем только того, чтобы наука, осуществляя свои абстрактные задачи, не встала только в небесных просторах и не забывала бы, что

достижения науки в области сельского хозяйства нам нужны не только через 10—20—30 лет, а они нужны теперь».

Очень хорошо, что жизненный путь ученого-большевика станет известен широкому читателю.

Е. О.

★

В. В. ШУЛЬГИН. Письма к русским эмигрантам. Соцэзгиз. М. 1961. 96 стр. Цена 10 к.

Жизненный путь В. В. Шульгина в высшей степени необычен. Член Думы (правый), редактор «Киевлянина», славящийся своим острым пером. В Февральскую революцию этому убежденному монархисту суждено было принять отречение Николая II. После Октябрьской революции участвовал в организации белого движения. Затем — эмиграция. В 1925—1926 годах нелегально побывал в Советской России и по возвращении за границу посвятил этой сенсационной поездке не менее сенсационную книгу. Вскоре, однако, выяснилось, что его «тайное» путешествие было от начала до конца известно органам советской власти. В 1944 году в город, где он проживал в Югославии, вошла Советская Армия. Шульгин был препровожден в Москву, судим и приговорен к длительному заключению. В 1956 году досрочно освобожден. С тех пор проживает во Владимире на Клязьме, куда из-за границы приехала к нему жена.

Сейчас В. В. Шульгину 83 года. Он снова с юношеским пылом посвятил себя общественной деятельности. Его воодушевляет борьба за мир, которой он хочет отдать остаток своих дней.

Этот старый человек, так много переживавший на своем веку, имел мужество осознать свои ошибки. Он не стал коммунистом, но он понял правоту дела, защищаемого коммунистами. В письмах к русским эмигрантам, опубликованных за рубежом, он призывает включиться в эту борьбу всех русских людей, волею судьбы оказавшихся на чужбине. Ныне письма эти выпущены отдельным изданием в Москве.

Письма к русским эмигрантам ценны своей искренностью. Они уже вызвали большой отклик за рубежом и несомненно внесут свою лепту в великое дело борьбы за мир.

В отдельно опубликованном «Правдой» письме Н. С. Хрущеву Шульгин пишет: «...Дорогу к счастью преградил страшный барьер — это призрак войны... Если война разразится, то люди в своем целом могут быть отброшены к пещерному периоду, и сама мысль о счастье человечества может быть утеряна. Поэтому так ценна твердая воля, выраженная в проекте Программы, — не допустить этой катастрофы»

Л. Любимов.

★

Г. ФРОЛОВ. *Наша Вера. Документальная повесть.* Кемеровское книжное издательство. 1961. 104 стр. Цена 34 к.

Книга молодого журналиста Г. Фролова знакомит читателя с Верой Волошиной — человеком удивительной цельности, ясности, чистоты, рассказывает о ее жизни и о ее героической гибели. Вера Волошина была в одном отряде с Зоей Космодемьянской и так же, как она, попав в руки гитлеровцам, была казнена после тяжелых пыток. Случилось это в совхозе «Головково» Наро-Фоминского района. Обстоятельства смерти Веры были неясны: считалось, что она погибла во время одной из боевых операций; товарищи по отряду видели, как Вера упала, сраженная вражеской пулей, но тела ее не нашли.

Г. Фролов после долгих и упорных поисков узнал правду. Он нашел людей, которые знали, как погибла Вера. Раненная в бою, истерзанная пытками, с перебитой рукой, она держалась гордо и смело; стоя под виселицей, она запела «Интернационал». Г. Фролов разыскал могилу Веры. Он рассказал людям о жизни Веры, о ее мужестве и честности, о ее доброте и веселости. Ничего необычного нет в облике Веры Волошиной, каким его рисует автор книги, — это простая, хорошая советская девушка. И вместе с тем совершенно ясно, что ее жизнь — прямой путь к подвигу, естественная и прочная основа подвига.

Книга Г. Фролова — памятник героине. Его работа, проникнутая горячим чувством, заслуживает искреннего уважения.

А. Громова.

★

НОЯХ ЛУРЬЕ. *Лесная тишина. Избранные повести и рассказы.* Перевод с еврейского. Гослитиздат. М. 1961. 454 стр. Цена 86 к.

Вышли избранные повести и рассказы Нояха Лурье (1886—1960), одного из старейших советских еврейских писателей. Из немалого литературного наследия писателя в книгу вошли две повести («Лесная тишина», «Янек») и пять рассказов («Что сказал Нафтоле», «Простая жизнь», «Ребенок в степи», «Улыбка», «Единственная дочь»).

Лучшая вещь в этой книге и в творчестве Н. Лурье — повесть «Лесная тишина», давшая заглавие всему сборнику.

В повести много автобиографического. Подобно герою повести Дане, Н. Лурье родился и рос в Полесье, в семье смолочура, учился грамоте у еврейского учителя — «меламеда» и ушел из семьи из-за того, что порвал с религией.

Повесть Н. Лурье реалистична и живописна. В ней сочетаются поэзия детства и любовь к природе Полесья, боль за горести и страдания людей и порою веселый смех. Перед нами плывет длинная вереница самых разнообразных людей с их неповторимыми и вместе с тем типичными судьбами,

с их жизненно верными своеобразными характерами.

Другая повесть Н. Лурье «Янек» посвящена скитаниям девочки, оставшейся сиротой во время первой империалистической войны и под видом мальчика Янека пополнившей собою целую армию беспризорных детей, которых так много было в 1915—1923 годах. Дойдя до крайней черты своих злоключений, Соня-Янек находит приют у комсомольцев-учащихся.

Из рассказов, вошедших в сборник, наибольшее впечатление производит «Ребенок в степи». Это рассказ о том, как женщины, обреченные на смерть гитлеровцами, поднимают бунт и ускоряют свою гибель, чтобы дать в суматохе убежать и спастись единственному уцелевшему среди них ребенку. С глубоким волнением написал Н. Лурье о их мужестве, о материнском подвиге.

В конце сборника помещена обстоятельная статья Веры Смирновой о покойном писателе.

Ф. Левин.

★

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ. *Огниво. Стихи.* «Советский писатель». М. 1961. 135 стр. Цена 10 к.

Конечно, горько, когда поэту уже за пятьдесят, а выходит только первая книга его стихов. Горько, что почти двадцать лет Варлам Тихонович Шаламов был насильственно оторван от литературной работы. Но настоящий поэт, какие бы тяготы ни выпадали на его долю, всегда остается самим собой. Его не оторвешь от поэзии, потому что поэзия для него — естественная внутренняя потребность. Подтверждение тому книга стихов Варлама Шаламова.

Эта книга вобрала в себя многолетний опыт ее автора. И хотя в нее, надо думать, вошло не все, что написано им, эта книга дает достаточно определенное представление о поэте — человеке вдумчивом, неторопливом, сосредоточенном. Он, этот человек, знает, почему фунт лиха, и не бросает слов на ветер. Он умеет не только глядеть, но и вглядываться. И потому-то он видит то, что не бросается в глаза. Он видит, что север Сибири (этому краю посвящены многие его стихи) не только пугает человека суровой и неласковой своей природой, но и дает ему возможность помериться силами с этой природой — и выйти победителем из этой борьбы.

И работа, какой бы изнурительной она ни была, — а известно, что на Севере она нелегка, — оставляет добрый след в жизни человека. Об этом прекрасно сказано в стихотворении «Память»:

Если ты владел умело
Тонором или пилой,
Остается в мышцах тела
Память радости былой...

Эти точные движения,
Позабитые давно, —
Как поток стихотворенья,
Что на память прочтено.

С такой же точностью пишет Варлам Шаламов о природе. Кто хочет убедиться в этом, тот пусть обратится к сборнику стихов В. Шаламова. Правда, сделать это не так-то просто. Этот интересный сборник вышел ничтожно малым тиражом — в две тысячи экземпляров. Но кто любит стихи и следит за поэзией, тот отыщет эту маленькую книжечку и будет вознагражден за свои поиски.

Л. Левицкий.

★

Б. РИФТИН. Сказание о Великой стене и проблема жанра в китайском фольклоре. Издательство восточной литературы. М. 1961. 246 стр. Цена 70 к.

Если бы древним грекам была известна китайская культура, если бы они знали о грандиозных сооружениях китайцев, то, несомненно, им пришлось бы увеличить традиционное число чудес мира. И к семи классическим чудесам они по праву добавили бы восьмое — одно из величайших творений человечества, Великую китайскую стену длиной в десять тысяч ли.

Сооружение Великой китайской стены породило множество народных песен и легенд, в том числе и «Сказание о Мэн Цзян-нуй». На протяжении вот уже около двух тысяч лет оно живет в китайском народе. Этому до сих пор популярному в Китае творению народного гения посвятил Б. Рифтин свою книгу.

Знакомясь с работой Б. Рифтина, вновь убеждаешься в том, насколько отличный от других стран и народов путь прошла китайская культура. Непрерывное ее развитие утвердило в Китае, как нигде, силу традиции, силу преемственности. Отсюда — устойчивость, «живучесть» тем, сюжетов, образов в народном творчестве. Б. Рифтин проделал большую работу: вскрыл пласт за пластом исторические слои в сюжете сказания о Мэн Цзян-нуй, дал своеобразный «геологический» разрез развития сюжета на протяжении нескольких эпох — от древнейших песенных вариантов до созданных на основе сказания современных музыкальных драм.

В своем анализе Б. Рифтин опирается не только на опубликованные произведения

китайского фольклора, но и использует многочисленные рукописные материалы, привлекает достижения научной мысли в различных областях: истории, религии, философии и археологии.

Книгу Б. Рифтина с одинаковым интересом прочтут как специалисты, так и все те, кто любит литературу великого китайского народа.

Р. Белоусов.

★

ТАДЕУШ КОНВИЦКИЙ. Дыра в небе. Перевод с польского. «Молодая гвардия». М. 1961. 350 стр. Цена 85 к.

Пестрый мальчишеский мир населяет повесть Тадеуша Конвицкого, действие которой происходит в затхнутом местечке буржуазной Польши. И в этом мире происходят войны — «горцы» сражаются против «долбняков» по всем правилам своей «стратегии» и «тактики», у них свои заботы и радости.

Не все подростки мирятся с жизнью сонного местечка. Сирота-пастушонок Полек Крывко — главный герой повести — полон ожидания чего-то нового, необыкновенного, что встряхнет местечко с его ксендзом, полицейским, пьяными, ремесленниками. Он сам чего-то ждет, мечтает, ждет чуда! Но чудес не бывает. «Небо не продырявится», — говорит польская пословица.

Полуразрушенная бумажная фабрика, где в былые времена революционные рабочие сражались с царскими войсками, как магнит, притягивает к себе неутомимого парнишку. Он ищет там в подвалах следы этих отважных людей. И находит стреляные гильзы, горы книг, изъятых в свое время из обращения и свезенных сюда в макулатуру. Полек едва не платится за свою смелость жизнью: он провалился в глубокий колодец. Но беда не сломила духа подростка. Оказывается, и в небе можно просверлить дыру.

Прочитав последнюю страницу повести, чувствуешь, что из этого парнишки будет толк, что он найдет то, что ищет, — правду и тех людей, которые принесут новую жизнь.

Л. Лерер.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТЗДАТ

Н. С. Хрущев. Отчет Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза XXII съезду партии. Доклад и заключительное слово 17 и 27 октября 1961 года. 192 стр. Цена 22 к.

Н. С. Хрущев. Заключительное слово на XXII съезде КПСС 27 октября 1961 года. 48 стр. Цена 5 к.

Ф. Р. Козлов. Об изменениях в Уставе Коммунистической партии Советского Союза Доклад на XXII съезде партии 28 октября 1961 года. 48 стр. Цена 5 к.

Резолюция XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза по отчету Центрального Комитета КПСС. (Принята единогласно 31 октября 1961 года). 32 стр. Цена 3 к.

Программа Коммунистической партии Советского Союза. Принята XXII съездом КПСС 144 стр. Цена 16 к.

Устав Коммунистической партии Советского Союза. (Утвержден XXII съездом КПСС) 32 стр. Цена 3 к.

Материалы XXII съезда КПСС. 464 стр. Цена 90 к.

Ленин о дружбе с народами Востока. 400 стр. Цена 62 к.

Л. Барулина. Великий философ-материалист (К 250-летию со дня рождения М. В. Ломоносова). 80 стр. Цена 9 к.

Дитер Бергнер, Вольфганг Ян. Крестовый поход евангелических академий против марксизма. 176 стр. Цена 20 к.

С. Гершберг. Движение коллективов и ударников коммунистического труда. 304 стр. Цена 52 к.

Лев Кассиль. Разговор с культурным человеком (Заметки писателя). 32 стр. Цена 3 к.

Люди бессмертного подвига (Очерки о дважды Героях Советского Союза). Сборник. Книга первая. 464 стр. Цена 70 к. Книга вторая. 512 стр. Цена 78 к.

Международный ежегодник. Политика и экономика. Выпуск 1961 г. 432 стр. Цена 1 р. 5 к.

Проблемы политической экономики социализма. Сборник. 304 стр. Цена 65 к.

М. Рахматов. Африка идет к свободе. 88 стр. Цена 10 к.

П. А. Рогозинский. Журналист в командировке (Заметки корреспондента). 120 стр. Цена 15 к.

Блас Рона. Основы социализма на Кубе. 244 стр. Цена 29 к.

В. Тихменев. Куба — да! 176 стр. Цена 10 к.

Утро космической эры. 764 стр. Цена 2 р. 45 к.

Жан Фревилль. Морис Торез. Перевод с французского. 116 стр. Цена 14 к.

С. А. Хейнман. Экономические проблемы организации промышленного производства. 336 стр. Цена 51 к.

А. Шерстюк. «Нет» провокаторам из Западного Берлина (Записки советского журналиста). 32 стр. Цена 4 к.

СОЦЭГЗИЗ

М. Б. Богачевский. Налоги капиталистических государств. 322 стр. Цена 80 к.

М. Г. Гутцайт. Хроническая безработица и недогрузка предприятий США. 370 стр. Цена 92 к.

Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX—XIV вв. 632 стр. Цена 1 р. 75 к.

Н. Ф. Колбенов. Совершенствование руководства промышленностью СССР. 1956—1960. 235 стр. Цена 50 к.

И. М. Краснов. Классовая борьба в США и движение против антисоветской интервенции (1919—1920 гг.). 303 стр. Цена 79 к.

Т. Разумова. Земные блага — человеку. Рост благосостояния советского народа. 187 стр. Цена 39 к.

Г. В. Чичерин. Статьи и речи по вопросам международной политики. 516 стр. Цена 78 к.

Экономика капиталистических стран в 1960 году (Экономически развитые страны). 442 стр. Цена 76 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Авраменко. Обращение к реке. Стихи. 144 стр. Цена 18 к.

А. Балтрунас. Дальние дороги. Роман. Перевод с литовского. 420 стр. Цена 70 к.

Р. Бежанишвили. Взлет. Повести и рассказы. Перевод с грузинского. 184 стр. Цена 37 к.

Ю. Боров. О трагическом. 392 стр. Цена 90 к.

И. Варламова, Н. Вигилянский. Мы из Новой Каховки. Повесть. 208 стр. Цена 40 к.

Ю. Герман. Здравствуй, доктор! Документальная повесть. 104 стр. Цена 13 к.

Н. Грибачев. Орбита века. Публицистика. 96 стр. Цена 10 к.

Х. Давлетшина. Иргиз. Роман. Перевод с башкирского. 536 стр. Цена 89 к.

П. Далецкий. Рассказы о старшем лесничем. 180 стр. Цена 15 к.

В. Журавлев. Взлет. Стихи. 92 стр. Цена 15 к.

В. Инфантьев. Для дальнейшего прохождения службы. Повесть. 208 стр. Цена 25 к.

А. Кешоков. Чужое мгновение. Роман. Перевод с кабардинского. 536 стр. Цена 89 к.

С. Крутилин. За поворотом. Очерки. 280 стр. 51 к.

С. Маршан. Ради жизни на земле. Об Александре Твардовском. 108 стр. Цена 26 к.

В. Осинин. Нежданные пристани. Стихи и поэмы. 148 стр. Цена 16 к.

В. Сафонов. Опаленные солнцем. Путевая повесть. 208 стр. Цена 28 к.

Н. Сидоренко. Плещеево озеро. Лирика. 128 стр. Цена 13 к.

А. Сизоненко. Море замерзает у берегов. Рассказы и повесть. Перевод с украинского. 264 стр. Цена 49 к.

В. Солухин. Как выпить солнце. Стихи. 84 стр. Цена 12 к.

Н. Тихонов. Пять звезд над зеленой землей 1959—1961 гг. Стихи 88 стр. Цена 10 к.

В. Узилеский. Хозяин голубых дорог. Повесть. 160 стр. Цена 15 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Ходжа Ахмад Аббас. Пшеница и розы. Рассказы. Переводы с урду и английского. 311 стр. Цена 63 к.

Эрик Аморим. Корраль-Абьерто. Роман. Перевод с испанского. 199 стр. Цена 32 к.

Альфред Деблин. Берлин — Александерплац. Повесть о Франце Виберколфе. Перевод с немецкого. 535 стр. Цена 1 р. 53 к.

Бираго Диоп. Сказки Амаду Кумба. Перевод с французского. 207 стр. Цена 60 к.

Георгий Караславов. Сноха. Роман. Перевод с болгарского. 196 стр. Цена 31 к.

Ким Ман Чжун. Облачный сон девяти. Роман. Перевод с корейского. 395 стр. Цена 40 к.

Семен Кирсанов. Избранные произведения. В двух томах. Том I 279 стр. Цена 80 к. Том II 287 стр. Цена 80 к.

Ярослав Кратохвил. Деревня. Сборник новелл. Перевод с чешского. 207 стр. Цена 36 к.

Наапет Кучак. Лирна. Перевод с армянского. 183 стр. Цена 10 к.

Мое лучшее стихотворение. Стихи московских поэтов. 303 стр. Цена 57 к.

Ричард Олдингтон. Смерть героя. Роман. Перевод с английского. 427 стр. Цена 1 р. 27 к.

Б. Рюриков. Н. Г. Чернышевский. Критико-биографический очерк. 223 стр. Цена 70 к.

Ник. Ушаков. Лирика. 399 стр. Цена 60 к.

Карел Чапек. Год садовода. Перевод с чешского. 219 стр. Цена 63 к.

Чилийские рассказы. Перевод с испанского. 191 стр. Цена 38 к.

Е. Н. Чириков. Повести и рассказы. 355 стр. Цена 95 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Павло Автомонов. Когда разлучаются двое. Трилогия. Перевод с украинского. 672 стр. Цена 1 р. 17 к.

Игорь Анимушкин. Тропую легенд. 285 стр. Цена 62 к.

Турсуной Ахунова. О том, что сердцу дороже. 151 стр. Цена 37 к.

Золотой Лотос. Сборник фантастических повестей и рассказов. 240 стр. Цена 50 к.

К. Костенко. Это было в Краснодаре. 223 стр. Цена 51 к.

Вс. Кочетов. По двум тысячелетиям. Поездка в Италию. 126 стр. Цена 57 к.

Б. Кремнев. Бетховен. 320 стр. Цена 67 к.

А. Логинов. Вечный пример. Очерки о последних годах жизни Владимира Ильича Ленина. 160 стр. Цена 23 к.

А. Маркин. Океан силы. Прошлое, настоящее и будущее энергетики СССР. 176 стр. Цена 26 к.

Алексей Марков. Михайло Ломоносов. Поэма. 80 стр. Цена 32 к.

Г. Ошеверов, В. Поляковский, В. Чичков. Куба — да! Очерки. 95 стр. Цена 35 к.

Анатолий Поперечный. Черный хлеб. Стихотворения и поэмы. 159 стр. Цена 22 к.

Борис Слуцкий. Сегодня и вчера. Стихи. 184 стр. Цена 39 к.

Н. Степанов. Гоголь. 432 стр. Цена 86 к.

А. Степная. Кто ищет, тот найдет. Повесть. 144 стр. Цена 19 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

В. П. Блинов, В. С. Лельчук, Л. С. Рогачевская. О тех, кто идет впереди. Рассказ о движении к коммунистический труд в Октябрьском районе Москвы. 96 стр. Цена 15 к.

Вопросы истории сельского хозяйства, крестьянства и революционного движения

в России. Сборник статей к 75-летию академика Николая Михайловича Дружинина. 435 стр. Цена 2 р. 50 к.

М. Г. Голик. Научные основы хранения и обработки кукурузы. 348 стр. Цена 2 р.

Т. Д. Златковская. У истоков европейской культуры (Троя, Крит, Микены). 168 стр. Цена 32 к.

Литературное наследство. Том 69, книга первая. Лев Толстой. 643 стр. Цена 6 р. за две книги.

Очерки истории таджикской советской литературы. 780 стр. Цена 1 р. 70 к.

Производительность труда и себестоимость продукции в промышленности. 336 стр. Цена 1 р. 10 к.

Себестоимость продукции и рентабельность колхозного производства. 272 стр. Цена 93 к.

Советский ежегодник международного права 1960 г. 488 стр. Цена 2 р. 83 к.

Ю. И. Соловьев, Н. Н. Ушакова. Отражение естественнонаучных трудов М. В. Ломоносова в русской литературе XVIII и XIX вв. 84 стр. Цена 34 к.

А. А. Формозов. Очерки по истории русской археологии. 128 стр. Цена 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Флоримон Бонт. Германский милитаризм и Франция. Перевод с французского. 146 стр. Цена 26 к.

Иоан Григореску. Птица Феникс. Рассказы. Перевод с румынского. 113 стр. Цена 25 к.

Гарри Зихровский. Индия осушает свои слезы. Древняя страна на новом пути. Перевод с немецкого. 320 стр. Цена 75 к.

О. Корню. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и деятельность. Том 2 (1844—1845). Перевод с немецкого. 426 стр. Цена 2 р. 8 к.

Молодость в пути. Сборник рассказов. Перевод с корейского. 118 стр. Цена 31 к.

Дж. Норт. Куба — надежда континента. Перевод с английского. 102 стр. Цена 17 к.

Абу аль-Касим Саадалла. Победа Алжиру! Стихи. Перевод с арабского. 36 стр. Цена 5 к.

Митчел Уилсон. Встреча на далеком меридиане. Роман. Перевод с английского. 429 стр. Цена 1 р. 31 к.

Э. Хигби. География сельского хозяйства США. Перевод с английского. 368 стр. Цена 2 р. 24 к.

СВЕРДЛОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

К. В. Боголюбов. Зарницы. Исторические повести. 440 стр. Цена 89 к.

В. Н. Еременко. На Белоярской атомной. 39 стр. Цена 6 к.

ТАМБОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

С. И. Голованов. Равнина неоглядная. Стихи. 48 стр. Цена 7 к.

В. Е. Комов. Именитые знакомые. Рассказы, юморески. 151 стр. Цена 28 к.

М. П. Шевченко. Любовь. Стихи. 48 стр. Цена 5 к.

ТУЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. М. Атласов. Суворов. Историко-экономический очерк (Города Тульской обл.). 80 стр. Цена 12 к.

П. Т. Стародубцев. Горящее сердце (О революционере-большевике Ф. М. Бундурине) Документальная повесть. 171 стр. Цена 37 к.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1961 ГОД

Обращение Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Правительства Советского Союза. V—3.

Слово партии. VI—3.

Великий документ нашей эпохи. IX—3.

Съезд строителей коммунизма. XI—3.

НОВЫЙ ТРИУМФ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

С. Голубов. Душа мира. I—8.

С. Залыгин. Общая цель. I—10.

А. Крон. Маяк человечества. I—12.

П. Ф. Юдин, академик. Документы всемирно-исторического значения. I—3.

НА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВПЕРЕД

В. Емельянов, председатель Государственного Комитета Совета Министров СССР по использованию атомной энергии. Мирный атом на службе коммунизма. X—37.

Социализм плюс химизация. Беседа с первым заместителем председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР по химии Л. А. Костановым. Беседу записал В. Азерников. X—43.

На ближних подступах... Беседа с первым заместителем председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению П. Д. Бородиным. Беседу записал Е. Темчин. X—47.

«С чем мы, медики, придем в коммунизм?» Беседа с вице-президентом Академии медицинских наук СССР В. Д. Тимковым и главным ученым секретарем президиума академии В. М. Ждановым. Беседу записала М. Яновская. X—50.

Труд и благосостояние советского человека. Беседа с председателем Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы А. П. Волковым. Беседу записал А. Литвак. XI—9.

Рука друга. Беседа с первым заместителем председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР по внешним экономическим связям И. В. Архиповым. Беседу записал П. Волин. XI—16.

Две встречи. Беседы с академиком-секретарем Отделения геолого-географических наук Академии наук СССР Д. И. Щербаковым и с академиком-секретарем От-

деления физико-математических наук Академии наук СССР Л. А. Арцимовичем. Беседы записал Кирилл Андреев. XI—22.

ПАРТИЯ ВЕДЕТ

С. Залыгин. Писатель и Сибирь. X—25.

Берды Кербабаяев. Во весь могучий рост. Перевел с туркменского В. Курдицкий. X—8.

Александр Михалевич. Об урожае талантов. X—15.

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА!

Ираклий Абашидзе, делегат XXII съезда КПСС. Пслез разума. XII—16.

Е. Драбкина, член КПСС с апреля 1917 года. Невозможного нет! XII—6.

Мустай Карим, делегат XXII съезда КПСС. Абсолютная ясность. XII—3.

Петро Козланюк, делегат XXII съезда КПСС. У нас в Закарпатье. XII—11.

Мирзо Турсун-Заде, делегат XXII съезда КПСС. Ярче тысячи солнц. XII—13.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Чингиз Айтматов. Верблюжий глаз. Рассказ. Перевели с киргизского автор и А Дмитриева. II—54.

Рафаэл Арамян. Арарат из Бюракана. Рассказ. Перевела с армянского Э. Кананова. IX—154. Рассказ о маленьком мальчике и немолодом шофере; О чем рассказала крыша; Сердце; Отметки на двери. Рассказы. Перевела с армянского Елена Алексанян. IX—157.

Тадеуш Бреза. Бронзовые врата (Римский дневник). Перевели с польского Ю. Мирская и Э. Гессен. III—85.

Георгий Владимов. Большая руда. Повесть. VII—128.

Владимир Войнович. Мы здесь живем. Повесть. I—21.

А. Глебов. Правдоха. Рассказ. V—75.

Ефим Дорош. Сухое лого. 1960. VII—3.

Е. Драбкина. Повесть о ненаписанной книге. VI—135; VII—191.

И. Исаков. Пари Летучего голландца (Из невыдуманных рассказов). VIII—160.

Эм. Казакевич. При свете дня. Рассказ. VII—52.

М. Коршунов. Я слушаю детство. Рассказ. V—100.

Юрий Куранов. Перевалы Усинского тракта. IV—70.—Сельские зарисовки: Егора; Гости издалека; Белки на дороге. XI—117.

В. Липатов. Стрелец. Повесть. IV—7; V—31

Н. Мельников. Штаб ударной комсомольской. Очерки. I—77.—В командировке. Из записок корреспондента. X—160.

Виктор Некрасов. Кира Георгиевна. Повесть. VI—70.

В. Панава. Проводы белых ночей. Пьеса. II—7.

Алексис Парнис. Крылья Икара. Драматическая легенда в трех частях. Перевели с греческого Д. Самойлов и А. Столтидис. VIII—63.

Александр Побожий. Глухой, неведомой тайгою. Записки изыскателя. XII—59.

С. Славич. Нас много — ты и я...; Сверчок; «Мой папа». Рассказы. XI—60.

Василий Субботин. Весной сорок пятого. V—10.

Дж. Д. Сэлинджер. Посвящается Эсме. Рассказ. Перевела с английского С. Митина. III—63.

В. Тендряков. Суд Повесть. III—15.

Конст. Федин. Костер. Роман. VIII—3; IX—15; X—58; XI—37; XII—19.

Владимир Фоменко. Память земли. Роман. VI—8; VII—84; VIII—102.

Эрнест Хемингуэй (1899—1961). Из ранних рассказов: Банальная история; Могила матери. Перевела с английского Р. Райт. IX—165. **Алексей Эйсер.** Он был с нами в Испании. Странички воспоминаний. IX—169. **Р. Орлова.** После смерти Хемингуэя. По страницам зарубежной прессы. IX—173.

Джон Чивер. Управляющий. Рассказ. Перевела с английского Т. Литвинова. IV—87.

Ирвин Шоу. Ставка на мертвого жокея. Рассказ. Перевел с английского Д. Соловьев. II—124.

И. Эренбург. Люди, годы, жизнь Книга вторая. I—91; II—75.—Книга третья. IX—88; X—124; XI—126.

РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Лино Новас Кальво. Плохой человек. Перевела с испанского Р. Сашина. V—108.

Рамон Рубин. Разбойники. Перевела с испанского Р. Сашина. V—119.

Эдуардо Ариас Суарес. Гвардиан и я. Перевела с испанского Р. Сашина. V—123.

СТИХИ

Америко Абад (Уругвай). Мой квартал (Из стихов поэтов Латинской Америки). Перевел с испанского М. Самаев. I—17.

Маргарита Алигер. Из лирики: Стихотворение — голубая жилка...; Бывают дни... Я все плачу, я все плачу...; Вошла в мою душу откуда-то с тыла...; Огонек; Осенний день; Золушка. I—72.— Две встречи (1958. 1960): Берлин; Веймар; Мальчик; Дрезден; Издали...; Курфюрстендамм; Поэзия и правда; В дороге; Мюнхен; Нюрнберг. Стихи. III—3.

Мелих Джеведет Андай. Человек думает...; Я не могу привыкнуть... (Из стихов современных турецких поэтов). Перевел А. Янов. IV—100.

Ахмад Абд Ар-Рахман (Суданский поэт). В этот день. Стихи. Перевели с арабского Н. Ицков и Ю. Сваричовский. V—6.

Ольга Берггольц. Возвращение. Стихи V—7.— Из писем с дороги; Песня после дороги. Стихи. IX—85.

Рыгор Бородулин. На Шкловщине. Стихотворение. Перевел с белорусского Яков Хелемский. X—158.

Петрусь Бровка. Два стихотворения: Апост; Письма. Перевел с белорусского Яков Хелемский. III—61.— Желанное — не за горами. Стихотворение. Перевел с белорусского Яков Хелемский. X—4.

Константин Ваншенкин. Утро в Донбассе. Стихи: Уже входило утро в русло...; На угле отпечатана листва... I—153.— Из лирики: Река; Буксир; Кукушка; После шторма. Стихи. IV—84.— Два стихотворения: Все реже мы стихи друг другу...; Качнулась и раскололась... VIII—159.— Лунная ночь; Окна; Дом. Стихи. X—121.

Орхан Вели. Для вас; Если я застрелюсь... (Из стихов современных турецких поэтов). Перевел А. Янов. IV—98.

Анатоль Велюгин. Тростники. Стихотворение. Перевел с белорусского Яков Хелемский. X—159.

Расул Гамзатов. Раздумья; Надписи на дверях и воротах; Надписи на кинжалах; Надписи на бокалах и рогах; Надписи на могильных камнях; Надписи на очагах и каминах; Надписи на пандуре и чагане. Стихи. Перевел с аварского Н. Гребнев. VI—127.

Нил Гилевич. Замок. Стихотворение. Перевел с белорусского Л. Корчагин. XI—58.

Николаас Гильен (Куба). Песня двух солдат (Из стихов поэтов Латинской Америки). Перевел с испанского М. Самаев. I—15.

Армандо Техада Гомес (Аргентина). Девушка (Из стихов поэтов Латинской Америки). Перевел с испанского М. Самаев. I—16.

Го Мо-жо. Гимн космическому кораблю «Восток». Стихи. Перевел с китайского К. Гусев. V—5.

Джозеф Гхарти. Харматтан (Стихи поэтов Ганы). Перевел с английского А. Сендык. III—81.

Михаил Дудин. Нет смелости границ. Стихи. V—6.

Л. Завальнюк. Веселые приметы. Стихотворение. XI—125.

Николай Зиновьев. Ученик 8-го класса школы № 142 г. Москвы. Берег мироздания. Стихи. V—8.

Вера Инбер. Навек! Стихи. V—8.

Ф. Искандер. Два стихотворения. В Сванетии: Никогда не позабуду...; Хашная. I—155.

Алим Кешоков. Ради жизни. Стихи. Перевел с кабардинского С. Липкин. I—89.— Настоящий мужчина. Стихи. Перевел с кабардинского Я. Козловский. I—90.

Н. Коржавин. Из лирики: Мужество; Ночная Караганда; Инерция стиля; Осень. VII—125.

В. Коржиков. Ленинская улица. Стихотворение. IV—68.

Кайсын Кулиев. Глаза матерей; Был пахарем, солдатом и поэтом...; Любой навет заранее приемлю.. Стихи. Перевел с балкарского Н. Гребчев. XII—58.

Педро Лайа (Венесуэла) Иносказание о спящих детях (Из стихов поэтов Латинской Америки). Перевел с испанского М. Самаев. I—19.

Инна Лисянская. Тут и солнце... Стихотворение. II—122

Луис Палес Магос (Пуэрто-Рико). Уселения (Из стихов поэтов Латинской Америки). Перевел с испанского М. Самаев. I—20.

Эндрью Аманква Опоку. Афрам (Стихи поэтов Ганы). Перевела с английского Ольга Берг. III—79.

Фрэнк Паркс. Африканский рай (Стихи поэтов Ганы). Перевел с английского Андрей Сергеев. III—82.

С. Поликарпов. На ближних подступах. Стихотворение. XI—31.

Александр Прокофьев. Новые стихи: Ветка; Подражание песне; Беда моя бедовая...; Где же, где же задушевные слова...; Сибиринки; Саяна. VII—80.— Песня о России; Горит звезда пятиконечная. Стихи. X—6.

Важа Пшавела (К 100-летию со дня рождения). О смерти слышать не хочу; Молодой олень. Перевел с грузинского Лев Пенковский. IX—153.

Октай Рифат. Ответственность (Из стихов современных турецких поэтов). Перевел А. Янов. IV—99.

Д. Самойлов. Сороковые...; Слава богу!.. Стихи. Баллада о немецком цензоре (Из поэмы «Ближние страны»). VI—66.— Четыре стихотворения: Слова; Как на ладони; Наташа; Над Невой. XII—114.

Константин Симонов. Самый первый Стихи. V—5.

Ярослав Смеляков. Из новых стихотворений: Вы не исчезли; Ромашка; Кубинское стихотворение; Саперы. II—3.— В очереди за газетами. Стихи: Пол фонарем, на перекрестке...; Пропаганда; Вернулся товарищ; Первый плуг; Рязанские мараты. IV—3.

Рабиндранат Тагор. Мои песни; В день ухода Стихи (К столетию со дня рождения). Перевел с бенгали А. Горбовский V—106.

Максим Танк. Из книги «Мой хлеб насущный»: О вас я забочусь, родные края...; Патрис Лумумба; Рекламы Бродвея; Какие березы стояли...; ...А море, должно быть, само угадало...; Грибы. Стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский. IX—11.

Иржи Тауфер. Сонет для тебя. Стихи Вольный перевод с чешского Конст. Симонова. XII—116.

Сауд Ташер Как тысячу лет назад...; Детские зубы (Из стихов современных турецких поэтов) Перевел А. Янов. IV—97.

А. Твардовский. На подвиг века. Стихотворение. X—3.

Иржи Шотола. Это было в Европе. Из поэмы. Перевели с чешского М. Обручев и М. Ярмуш. XI—32.

Степан Щипачев. За мечтою вслед. Стихотворение. X—5.

Геворг Эмин. Короче слов, чем «да» и «нет»... Стихотворение. Перевела с армянского Вера Потапова. II—123.— В этом возрасте: $2 \times 2 = 4$. Стихи. Перевели с армянского Юрий Левитанский и Евг. Евтушенко. VIII—184.

НА ПУТЯХ СЕМИЛЕТКИ

Е. Осликовская Новое звено. IX—179.

М. Панфилов, главный специалист Свердловского совнархоза. Сталь. VIII—186.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

М. Белкина. Кня-Шалтырь. IV—102.

Н. Верховский. Вторая целина. X—205.

Леонид Волынский. Дорога к новой земле. Из путевых заметок. XII—118.

Николай Леонтьев. Родники живой воды. II—147.

Б. Рахманин. Поле деятельности. V—156.

НА ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕМЫ

Руд Бершадский. В двух шагах от экватора. IX—200.

Василий Галактионов. Плотина Асуана. II—168.

Ю. Корольков. В Германии через десять лет V—127.

Н. Прокогин. В Сомали III—173.

М. Стеблин-Каменский. На «Коне Золотая Грива» — в страну саг. IV—207.

С. Утченко. Рим — Лондон — Париж (Заметки и размышления историка). I—186.

Геннадий Фиш. Фрам — это значит вперед. XI—181.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

И. Бернштейн. Живое чувство современности Чехословакия. «Пламен» («Пламя») — ежемесячный литературно-художественный журнал. №№ 10, 11. 1960. II—202.

В.л. Рубин. «Младшие партнеры» на Партасе. Англия. «Таймс литерери сапплемент» («Литературное приложение к «Таймс») от 9 сентября 1960 г. II—204

Р. Фиш. Абстракции и реальность. Турция. «Еди тепе» («Семь холмов»), литературно-художественный двухнедельник. №№ 26—31. 1960. IV—219.

ПУБЛИЦИСТИКА

Л. Безыменский. Если бы не Советская Армия... VI—195.

Г. Борисовский, кандидат архитектуры. Архитектура и технический прогресс. V—168.

Н. Верховский. На новых землях. III—200.

П. Волин. В обжитых стенах. VII—237.

- Д. Данин.** Материал и стиль. I—166.
И. Зыков. Зеленый пояс (Из книги о лесах). IV—174; V—180.
А. М. Кирюхин, ученый секретарь Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. Хлеб и машины. IV—157.
М. Курьянов. Турсунуй. III—217.
А. Маркин. Энергетика коммунизма. XI—207.
Олег Писаржевский. Как живой, с живыми говоря. IV—144.
Марк Поповский. Селекционеры. VIII—197.
Герман Соколов. Вода в степи. IX—187.
А. Таланов. Три города. II—194.
С. Титаренко. Ленин о программе партии. VII—231.
П. Ф. Юдин, академик. От социализма к коммунизму. X—187.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

- С. Бондарин.** Эдуард Багрицкий. IV—130.
А. Гладков. Мейерхольд говорит. VIII—213.
Г. Козинцев. Глубокий экран (Главы из книги). III—141.
И. М. Майский, академик. Бернард Шоу (Встречи и разговоры). I—208.
Е. Ратманова-Кольцова. Путешествие в прожитые годы (Вступительная заметка Конст. Федина). IV—121.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- К. Алексеев.** В семье единой (К семидесятилетию со дня рождения П. Г. Тычины). II—216.
Ю. Буртин. Быть хозяином! VII—247.
И. Виноградов. О современном герое. IX—232.
В. Гоффеншефер. «Народ предстал перед своей судьбой». XI—234.
А. Дементьев. Две позиции. XII—212.
И. Дементьева. Приглашение к путешествию. II—222.
А. Елистратова. Трагедия молодого поколения (Молодежь в американском романе). X—246.
В. Жданов. Из заметок о Добролюбове (К 100-летию со дня смерти). XII—200.
Л. Копелев. Непреодоленное прошлое. VI—218.
Н. Коржавин. В защиту банальных истин (О поэтической форме). III—234.
М. Кузнецов. Новое в жизни и в литературе. X—229.
В. Лакшин. Спор с ветхой мудростью. V—224.
Роза Люксембург. О литературе и искусстве (Глеб Успенский Из переписки). Публикация, примечания и переводы М. Кораллова. IV—223.
Генрих Манн и будущее Германии.
Н. Серебров. О неопубликованных статьях Г. Манна. X—257.
Генрих Манн. Культурный народ (1942 год). Немецкий писатель (1944 год). Публикация и перевод Н. Сереброва. X—260.

Ю. Манн. Поэзия критической мысли (К 150-летию со дня рождения В. Г. Белинского). V—230.

А. Меньшутин, А. Синявский. За поэтическую активность (Заметки о поэзии молодых). I—224.— Давайте говорить профессионально. VIII—248.

От редакции. VIII—253.

Б. Платонов. По поводу «самовыражения» (Статья печатается в дискуссионном порядке). VI—227.

Б. Рунин. Логика спора и логика искусства (Необходимые реплики). VIII—236.

Максим Рыльский. Лирика Тараса Шевченко. III—227.

Вера Смирнова. Как была написана «Военная тайна». II—227.

А. Турков. Заметки о критике. IV—238.

М. Туровская. «Баллада о солдате». IV—246.

А. Штейн. Перечитывая старую пьесу... (К 75-летию со дня смерти А. Н. Островского). VI—234.

В. Щербина. Интеллектуальность или отвлеченность? XI—217.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

И. Ильф. Записные книжки. Письма из Америки. XII—161.

Переписка А. М. Горького с Л. А. Сулержицким (Публикация Архива А. М. Горького). Вступительная статья, подготовка текстов и комментарии А. Тарасевич. VI—171.

А. А. Фадеев. Из переписки (К 60-летию со дня рождения). Публикация и комментарии С. Преображенского. XII—190.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

И. Забелин. О культуре мышления. I—158.
Г. Тропопольский. Дорога идет в гору. XI—163.

Корней Чуковский. О соразмерности и сообразности (Главы из будущей книги). V—198.

Трибуна Читателя

«Пау Ти-сан и его товарищи». I—277.

«Рабочий быт и коммунизм». II—276.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. Алексеева, С. Маневич. Листовка-памфлет (К 90-летию Парижской коммуны). III—282.

Е. Бродский. Имени Румянцева. X—302.
Воспоминания внука Белинского. Публикация и вступление В. Нечаевой. VI—277.

Маге Залка о Фурманове. Вступительная заметка и публикация П. Куприяновского. XI—278.

В. Константинов. Первая русская песня в Японии. V—279.

Е. Прохоров. Статья «Современника» об Алжире сто лет назад. IV—281.

К. Селезнев. Штрихи из жизни К. Маркса и его семьи. II—208.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

Борис Агапов. Романтики-реалисты (А. Анфиногенов. Земная вахта). III—250.

В. Аксенов. Разговоры в сочельник (Вратислав Блажек. Щедрый вечер. Пьеса. Авторизованный перевод с чешского и сценическая редакция Б. Амеллина). I—258.

Л. Аннинский. Все глубже, все сложнее (Анатолий Кузнецов. Биенне жизни. Женщина. Старый инструмент. Рассказы). VIII—266.

А. Аскаркан. Мир Винни-Пуха (А. А. Милн. Винни-Пух и все остальные. Пересказал Борис Заходер). VIII—269.

С. Бабенышева. Обыкновенное и необыкновенное чудо (Е. Шварц. Клад. Голый король. Снежная королева. Тень. Дракон. Два клена. Обыкновенное чудо. Повесть о молодых супругах. Золушка. Дон-Кихот). II—249.

Татьяна Бачелис. Париж плачет, Париж смеется... (Г. Бояджиев. Театральный Париж сегодня). I—255.

А. Белкин. Судьба Войнич и ее книги (Е. Таратута. Этель Лилиан Войнич. Судьба писателя и судьба книги). V—258.

В. Березина. Об изучении наследия Беллинского (Ю. Оксман. Летопись жизни и творчества В. Г. Беллинского. А. Лаврецкий. Эстетика Беллинского. В. Кулешов. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. М. Поляков. Виссарсон Беллинский. Личность — идеи — эпоха). VI—257.

А. Берзер. Тут любой не утерпит... (Иван Шевцов. На краю света. Записки офицера). III—254.— Победа и поражение Ильяса (Чингиз Айтматов. Тополек мой в красивой косынке. Повесть). IV—259.

А. Богуславский. «Немой свидетель» (А. Анфиногенов. Дневники и записные книжки). I—253.

Б. Брайнина. Живое дыхание книги (М. Петровский. Корней Чуковский. Критико-биографический очерк). IV—264.

Г. Бялый. Чеховский том (Литературное наследство, том 68 («Чехов»). I—242.

Н. Вильмонт. Интересная книга (Л. Копелев. Сердце всегда слева). II—258.

Г. Владимов. Три дня из жизни Холдена (Дж. Л. Сэллинджер. Над пропастью во ржи. Роман. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой). II—254.

Валерия Герасимова. Непобедимое, человеческое... (Дневник Анны Франк. Перевод Р. Райт-Ковалевой). III—264.

В. Гоффеншефер. Глазами народа (Борис Галин. Строитель нового мира. Очерки о Ленине). II—242.

И. Дедков. Мишка и его сверстники (Константин Воробьев. Гуси-лебеди. Рассказы). VII—260.

А. Дементьев. Вместо рецензии (В. Архипов. Поэзия труда и борьбы. Очерки творчества Н. А. Некрасова). XI—258.

Н. Дикущина. Книга о дружбе (А. Фадеев. Письма дальневосточникам. А. Фадеев в воспоминаниях). V—253.

Е. Добин. Справедливость (Юрий Герман. Один год. Роман). IX—255.

Р. Зернова. Книга о любви (О. Савич. Два года в Испании. Очерки и рассказы). XI—256.

М. Злобина. Свидетельство обвинения (Жорж Сименон. Желтый пес. Цена головы. Негритянский квартал. Президент. Переводы с французского Е. Загорянского и Т. Лещенко-Сухомлиной). VI—263.— Сюрпризы Сомерсета Мозма (Сомерсет Мозэм. Дождь. Рассказы. Перевод с английского). IX—271.

Л. Зонина. Правда — революционная (Хуан Гойтисоло. Прибой. Роман. Перевод с испанского Л. Синянской). XI—261.

Е. Калмановский. Рассказы о природе (Н. Сладков. Краешком глаза). II—247.

Юлия Канэ. Новая книга Янки Брыля (Янка Брыль. Мой край родной. Рассказы и повесть. Перевод с белорусского А. Островского). I—246.

В. Кардин. «Далеко вперед видел он...» (Владимир Михайлов. Суровое счастье. Драматические сцены). IV—252.

А. Кондратович. «Лобастые мальчишки революции» (Павел Коган. Гроза. Стихи. Предисловие С. Наровчатова). II—244.— «Дело наживное» (Иван Мельниченко. Пока ты молод. Роман). IX—263.

О. Костылев. Удручающий символ (Горький в школе. Сборник статей под общей редакцией проф. В. В. Голубкова). VI—255.

Э. Кузьмина. Строгая доброта (Нора Адамьян. Ноль три. Повесть). V—246.— Страна внимания (Ф. Кривин. В стране вещей). XII—222.

Л. Лазарев. Сложная история прямой трассы (Сергей Антонов. Порожний рейс. Рассказ). III—247.— Пути, которые мы выбираем (Юхан Смуул. Ледовая книга. Антарктический путевой дневник. Перевод с эстонского Л. Тоома). VI—247.— «Далекая милая юность» (Александр Фадеев. ...Повесть нашей юности. Из писем и воспоминаний). XI—245.

В. Лакшин. Робкие мужчины (Виктор Конечный. Завтрашние заботы. Повесть). VIII—261.

С. Ларин. Герои не исчезают бесследно... (О. Горчаков. Я. Пшимановский. Вызываем огонь на себя). XI—251.

Л. Левин. «Не от локтя, а от плеча» (Вл. Луговской. Раздумье о поэзии). VII—258.

Л. Левицкий. Современная книга об историческом романе (А. Белинков. Юрий Тынянов). VII—263.

А. Липелис. Плоды учености (А. Галаян. Юмор и сатира в советской поэзии). V—255.

Е. Любарев. Первый опыт (В. Панков. Главный герой. Изображение народа в послевоенной советской литературе). III—260.

А. Марьямов. Прочная фамилия (Владислав Броневский. Избранное. Перевод с польского. Составители Т. Агапкина и В. Хорев). X—292.

Д. Милютина. Страницы героической борьбы (П. Бляхин. Дни мятежные. Трилогия). XII—217.

О. Михайлов. Добрыми глазами (Н. Мельников. Школьная знаменитость. Рассказы и очерки). XI—254.

А. Назаров, кандидат экономических наук. Таковы ли истинные взгляды Добролюбова? (М. А. Наумова. Социологические, философские и эстетические взгляды Н. А. Добролюбова). X—298.

Лев Озеров. Он возвышаться не любил (Вера Инбер. Апрель. Стихи о Ленине). IV—257.

Р. Орлова. С болью — о человеке (Артур Миллер. Пьесы). VII—267.

З. Паперный. О лирике Ярослава Смелякова (Ярослав Смеляков. Работа и любовь. Новые стихи. Из новых стихотворений). X—285.

И. Питляр. Война вошла в твой дом (Александр Адамович. Война под крышами. Роман). VI—251.— Судьбу человека определяют его убеждения (Лялли Промет. Акварели одного лета. Повести и рассказы. Перевод с эстонского И. Кононова и Г. Муравилла). XII—219.

Н. Пняшев. Ценное издание и его недостатки (В. В. Воровский. Фельетоны. Составление и комментарии О. В. Семеновского). V—251.

Юрий Полетика. Метаморфозы одного романа (Глеб Алексин. Мертвый хватает живого). XII—225.

Л. Поляк. Книга о художественном мастерстве (О художественном мастерстве М. Горького. Сборник статей). III—256.

Игорь Поступальский. Поэзия Тудора Аргези (Тудор Аргези. Избранные стихи. Перевод с румынского. Составление и предисловие А. Садецкого). X—296.

Н. Прянишников. Как не стоит писать о Чехове (А. Ф. Захаркин. Антон Павлович Чехов (Очерк жизни и творчества). IX—269.

В. Соколов. Вторая книга (В. Ажаев. Предисловие к жизни. Повесть). X—289.

И. Соловьева. «Простая пьеса» Жана Ануя (Жан Ануи. Жаворонки. Пьеса. Перевод с французского К. Хенкина). V—262.

Е. Стариков. В пятнадцать лет (А. Рыбаков. Приключения Кроша. Повесть). I—250.

В. Сурвилло. Вместе с народом (Э. Казакевич. Синяя тетрадь. Повесть). X—281.

А. Турков. Разговор трудный, но необходимый (М. Исаковский. О поэтическом мастерстве. Издание третье, дополненное). IX—259.

В. Фролов. По пути в космос (Анатолий Аграновский. Открытые глаза. Документальная повесть). XI—248.

В. Шитова. В «окончательной форме гротеска»... (В. Прибытков. Андрей Рублев). IV—261.— О вещественном и необходимом (Юрий Казаков. Северный дневник). VIII—258.

Политика и наука

В. Базыкин. Путеводитель по Луне (Н. П. Барабашов, В. А. Бронштейн, М. С. Зельцер, Н. Л. Кайдановский, А. В. Марков, К. П. Станюкович, Н. Н. Сытинская, А. В. Хабаров, Ш. Т. Хабибуллин, В. В. Шаронов, А. А. Яковкин. Луна). II—272.

Л. Барон, профессор, доктор технических наук. Книга о курском железе (Валентин Рич, Михаил Черненко. Третий полюс). VIII—273.

М. Баскин, профессор. Работа по истории русской общественной мысли (А. Н. Маслин. Материализм и революционно-демократическая идеология в России в 60-х годах XIX века). IV—270.

А. Бельская. Восток, разбуженный новой жизни (Разбуженный Восток. Записки советских журналистов о визите Н. С. Хрущева в Индию, Бирму, Индонезию, Афганистан. Записи вели: А. Аджубей, Б. Бурков, Ю. Воронов, Ю. Жуков, Л. Ильичев, В. Лебедев, В. Маевский, Ф. Орехов, Н. Пастухов, К. Перовицкий, П. Сатюков, М. Стурра, О. Трояновский, Ю. Трушин, М. Харламов, О. Четкина, Е. Шевелева. Книга первая. Книга вторая). I—262.— Всевластные монополии США (Вал. Зорин. Монополии и политика США). VIII—279.

Н. Болотников, действительный член Географического общества СССР. «В любом случае вперед — звучит радостнее» (Владимир Ажажа. «Северянка» уходит в океан. М. Г. Равич. Отогретая земля. Е. К. Устлев. По ту сторону ночи. О. Чистовский. Мечта Роза Мамета). XII—233.

Евг. Бурче. Воспоминания летчика-героя (А. В. Ворожейкин. Истребители). IX—276.

В. Владимиров. Бонн — угроза миру (Deutsche Kriegsbrandstifter wieder am Werk. Германские поджигатели войны снова действуют). I—270.

С. Воробьев. Опыт кубинских партизан (Эрнесто Че Гевара. Партизанская война. Перевод с испанского). IX—274.

М. Восленский, кандидат исторических наук. Суд народов (Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сборник материалов в семи томах). VI—271.

А. Галкин, кандидат исторических наук. Гитлер ушел—генералы остались (Л. Бельменский. Германские генералы—с Гитлером и без него). X—278.

Валерия Герасимова. Воспитание правдой (В. И. Ленин О коммунистической нравственности. Составитель сборника Н. К. Ковынев). X—264.

Л. Гордиенко, инженер. Развитие советской энергетики (Д. Г. Жимерин. Развитие энергетики СССР). III—270.

Л. Ельницкий. Роман о науке и научная романтика (К. Керам. Боги, гробницы, ученые. Роман археологии. Перевод с чешского А. С. Варшавского). IV—277.

Л. Ерихсанов. Подвиг Димитрова (Г. Димитров. Лейпцигский процесс. Речь, письма и документы. Под редакцией и с предисловием профессора Б. Н. Пономарева). X—273.

И. Ермашев. Идеи и судьбы (Зарубежная лигатура об Октябрьской революции). XI—270.

И. Забелин, кандидат географических наук. Явление науки—достояние культуры (Е. М. Крепс. На «Витязе» к островам Тихого океана). IV—273.

Д. Заславский. За кулисами английской прессы (В. А. Матвеев. Империя Флигстрит (Современная пресса Англии). VIII—275.

А. Иглицкий. Жестокие цифры (Б. Ц. Урланис. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил европейских стран в войнах XVII—XX вв. (Историко-статистическое исследование). VI—274.

М. Ильин. Родненные Великим Октябрем (П. А. Прозоров. Колхоз и коммунизм. Литературная запись И. А. Цикото). I—264.

И. Иноземцев. Портреты наших ученых (Материалы к биобиблиографии ученых СССР). VI—268.— Наш Ломоносов (Б. Г. Кузнецов. Творческий путь Ломоносова). XI—275.

В. Копылов, кандидат исторических наук. Под знаменем пролетарского интернационализма (А. Кладт, В. Кондратьев. Братья по оружию. Венгерские интернационалисты в борьбе за власть Советов в России. 1917—1922 гг.). II—269.

М. Кораллов. Живая древность (И. У. Будовниц. Общественно-политическая мысль Древней Руси (XI—XIV вв.). IX—278.

Ю. Кормнов, кандидат экономических наук. Победная поступь социализма (США проигрывают экономическое соревнование). X—270.

И. Лунин. Печать Советской Армии (Советская военная печать (Исторический очерк). II—267.

С. Марлинский, Я. Штернштейн, кандидаты исторических наук. История уральского гиганта (Е. М. Макаров. Отец заводов. Очерки из истории Уралмашзавода). VI—266.

А. Марьямов. Североморец (Адмирал А. Г. Головкин. Вместе с флотом). II—265.

А. Мельников. Дневник матери (Марцянна Fognajska. Pamiętnik matki. Марцянна Фогнальская. Дневник матери). VII—278.

И. Миндлин, кандидат исторических наук. Теория и практика коммунистического воспитания (С. Ковалев. Коммунистическое воспитание трудящихся). VII—271.

М. Михайлов. Могучее дерево (Н. С. Хрущев. О внешней политике Советского Союза 1960 г. Том 1. Январь—май. Том 2. Июнь—декабрь). XI—265.

В. Молчанов. Шарпевильская бойня и ее последствия (Ambrose Reeves. Shooting at Sharpeville. The agony of South Africa. Эмброуз Ривз. Расстрел в Шарпевиле. Агония Южной Африки). V—273.

Э. Мурзаев, доктор географических наук. Глазами географа (Н. А. Гвоздецкой. В Индии. Впечатления географа). III—275.

Е. Осляковская, А. Снегов. Прошлое, которое зовет к будущему (Очерки истории Коммунистической партии Украины. Руководитель авторского коллектива кандидат философских наук И. Д. Назаренко). XII—228.

Юр. Павлов. Латинская Америка пришла в движение (Б. И. Гвоздарев. Организация американских государств). III—277.

С. Петриковский. Славный сын рабочего класса (Григорий Иванович Петровский. Авторский коллектив: В. Бильшай, В. Лапина, М. Левкович, О. Снегов, А. Харькова). X—276.

А. Писарев. Зеркало наших побед (Народное хозяйство СССР в 1960 году. Статистический ежегодник). X—266.

М. Сидоров, кандидат философских наук. Оптимистическая книга (Дж. Бернал. Мир без войны. Перевод с английского И. З. Романова и В. М. Францовой). IV—275.

М. Слуцкий, кандидат философских наук. Наука и производство (Х. М. Фаталиев. Естественные науки и материально-производственная база общества). VIII—271.

Ник Смирнов-Сокольский. Подвижники книги (И. Д. Сыгин. Жизнь для книги. Из истории книги и издательского дела в России). VII—274.

В. Спасский. Ленинские страницы (Ленинские страницы. Документы. Воспоминания. Очерки. Составитель Б. Яковлев). IV—268.

Л. Сухаревский, доктор медицинских наук. Наш современник в науке (Марк Поповский. Путь к сердцу). I—269.

А. Таланов. Честность служит компасом (Грэм Грин. Путешествие без карты. Перевод с английского Е. М. Гольшевой и Б. Р. Изакова). VII—280.

А. Хавин. Зеркало технической революции (Технический прогресс в

С С С Р. 1959—1965). V—266.— Человек коммунистического общества (Подъем культурно-технического уровня советского рабочего класса). XI—267.

И. Халифман. Первоучитель русских пчеловодов (П. И. Прокопович. Избранные статьи по пчеловодству. Вступительная статья и составление сборника Н. Ф. Федосова). I—274.

А. Ханьковский. Об истории агрономической мысли (Ф. С. Крохалев. О сисгемах земледелия. Исторический очерк) III—273.

В. Цветов. Захватчики на Окинаве (Окинава-о сококуни каэсэ (Окинава-родинае!). Сэнага Камэдзиро. Окинава-кара-но хококу (Камэдзиро Сэнага. Доклад об Окинаве). V—276.

М. Цунц. Новое о «Молодой гвардии» (Молодая гвардия. Сборник документов и воспоминаний). V—268.

А. Черняк, кандидат исторических наук. Воспоминания старейшины советских физиков (А. Ф. Иоффе. Встречи с физиками. Мои воспоминания о зарубежных физиках). V—271.

Ю. Шарапов, кандидат исторических наук. История гражданской войны завершена (История гражданской войны в СССР. Тсм пятый (февраль 1920 г.—октябрь 1922 г.). II—262.— Октябрь в Мо-

скве (А. Я. Грунт. Победа Октябрьской революции в Москве (февраль—октябрь 1917 г.). XI—274.

Виктор Шкловский. Что видит «Вокруг света» («Вокруг света», № 1, январь, 1961). II—270.

С. Эпштейн. Банкиры и книги (Bankers, Books and Businessmen. By Joseph W. McGuire. Джозеф В. Макгуайр. Банкиры, книги и бизнесмены). III—279.— Угасающий капитализм (Е. Варга. Капитализм двадцатого века). XII—231.

Б. Яковлев. Летопись революции (В. А. Радус Зенькович. Страницы героического прошлого. Воспоминания и статьи). I—266 — Ленин и советская культура (И. С. Смирнов. Ленин и советская культура. Государственная деятельность В. И. Ленина в области культурного строительства (октябрь 1917 г.— лето 1918 г.). III—266.

Коротко о книгах: I—283; II—283, III—284; IV—283; V—281; VI—284; VII—282, VIII—282; IX—281; X—308; XI—281; XII—237.

Книжные новинки: I—287; II—287; III—287; IV—287; V—286; VI—287; VII—287; VIII—287; IX—287; X—314; XI—286; XII—241.

От редакции. «Новый мир» в 1962 году. X—317.

А. Твардовский. Несколько слов к читателям «Нового мира». XII—251.



НЕСКОЛЬКО СЛОВ К ЧИТАТЕЛЯМ «НОВОГО МИРА»

Задачи нового, 1962 журнального года, естественно, не могут быть иными, чем задачи всей советской литературы в целом, как они определены XXII съездом нашей партии, новой Программой, принятой на этом съезде.

«Главная линия в развитии литературы и искусства,— говорится в Программе,— укрепление связи с жизнью народа, правдивое и высокохудожественное отображение богатства и многообразия социалистической действительности, вдохновенное и яркое воспроизведение нового, подлинно коммунистического, и обличение всего того, что противостоит движению общества вперед».

О том, как емко и глубоко значительно содержание этого исторического документа для всей нашей литературы, я имел возможность говорить в своей речи с трибуны съезда. Здесь же я хочу только подчеркнуть, что проведение линии партии в литературе и искусстве, конечно, не является привилегией какого-нибудь одного органа нашей литературной печати. Линия одна, и в проведении ее никакой из литературно-художественных журналов — союзных, республиканских, краевых или областных — не имеет особых полномочий. Все дело в глубине и серьезности понимания своих задач каждым журналом. Богатство и многообразие жизни предполагают также богатство и многообразие форм отображения ее в искусстве.

Я не собираюсь делать отчет о работе журнала «Новый мир». Лучшей «формой отчетности» журнала является его очередной номер. Таким образом, всякий ежемесячник отчитывается ровно двенадцать раз в году, и к этому отчету мало что может добавить редактор. Подчеркивать свои успехи и достижения, если они есть, нет необходимости. Объясняться с читателем по поводу упущений и недостатков, ссылаясь на смягчающие вину обстоятельства, дело тоже малопродуктивное.

Точно так же, мне думается, не следует злоупотреблять особо щедрыми посулами и обещаниями читателю на будущее. Предпочтительнее давать обещания более сдержанные, обусловленные реальным содержанием редакционного портфеля, а выполнять их с надбавкой — за это, надо полагать, никто не осудит.

Кроме того, в десятой книге «Нового мира» напечатан подробный проспект журнала, где поименно перечислены авторы и произведения, с которыми вы встретитесь на его страницах в 1962 году.

И здесь я назову лишь некоторые имена и работы по ходу моих соображений и замечаний к редакционному плану журнала.

В проспекте отмечено, что нынешний год «Нового мира» является годом выполнения значительной части наших обещаний читателям, хотя, скрывать нечего, иные из этих обещаний уже приобретали характер как бы переходящих из года в год, из проспекта в проспект.

Я имею в виду опубликование на страницах журнала таких произведений, как третий том трилогии Константина Федина — роман «Костер» (широкоизвестные романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето», составляющие первый и второй тома этой трилогии, появились на страницах «Нового мира» несколько лет назад), и первой книги романа Владимира Фоменко «Память земли», над которым автор работал также длительное время. Но в литературном деле сроки исполнения авторами своего замысла далеко не всегда могут быть неуклонно точными. Мы уверены, что это хорошо понимают и читатели, не сомневаемся, что их терпеливые ожидания вознаграждены идейной и художественной значительностью названных произведений.

Нам удалось опубликовать в этом году, в соответствии с нашим проспектом, новые вещи В. Некрасова, Е. Драбкиной, Е. Дороша, В. Тендрякова, В. Пановой, Э. Казакевича и некоторые другие произведения. И если к ним добавить, например, талантливые повести «Большая руда» Г. Владимова и «Мы здесь живем» В. Войновича — авторов, впервые выступающих в этом жанре, — а также припомнить другие произведения, опубликованные без предварительного объявления их в плане журнала, то мы, пожалуй, имеем основания считать этот год более урожайным, чем предыдущие, и наши расчеты с читателем более полными.

Это позволяет нам увереннее смотреть и на перспективы нашего будущего года.

Однако мы озабочены не только тем, чтобы редакционный портфель был обеспечен новыми романами, повестями, рассказами, очерками, стихами и статьями литературно-критического порядка. Мы всегда помним, что на титульном листе нашего журнала сказано: «Литературно-художественный и общественно-политический», — и вторая половина этого обозначения не является случайной или формальной. Более того, редакция, зная, что многим из наших подписчиков и читателей не всегда доступны специальные журналы, ставит своей неперменной задачей удовлетворение их читательских интересов к вопросам современной политики и науки, вопросам борьбы за мир, проблемам народнохозяйственной жизни, культуры, искусства, воспитательной работы и так далее.

Разумеется, редакция далека от мысли, что публицистический отдел может в какой-либо мере заменить специальные издания, в которых читатель нуждается по роду своей профессии, в целях самообразования или в силу особых интересов к той или иной области знаний. Более ста лет назад В. Г. Белинский писал: «Смешно было бы думать в наше время, чтобы журнал был энциклопедией наук... посредством которой можно было сделаться ученым... Как бы ни велика была журнальная статья, но она никогда не изложит полной системы какого-нибудь знания: она может представить только результат этой системы, чтобы обратить на нее внимание ученых, как скорое известие, и публики, как рапорт о случившемся».

И в другом месте великий критик говорит, что журнал «популяризирует, обобщает идеи... превращает интересы и вопросы, самые отвлеченные и глубокие, в интересы и вопросы жизни, для всех и каждого равно близкие и важные, словом сближает науку и искусство с жизнью».

В решении такой задачи «Новый мир» имеет некоторые преимущества перед другими литературно-художественными журналами в виду хотя бы большего своего объема. Вокруг «Нового мира» сложился значительный актив авторов из числа видных советских ученых, общественных деятелей, публицистов, мастеров искусств и самих литераторов, тяготеющих к публицистической теме.

Редакция в меру своих сил стремится следовать тем принципам построения «толстого» журнала, которые характерны для образцов классической русской журналистики, пушкинского и некрасовского «Современника», щедринских «Отечественных записок», а также опыту лучших советских журналов разных лет. Примечателен факт, что в свое время такая важнейшая работа В. И. Ленина, как «О продовольственном налоге», была опубликована на страницах журнала «Красная новь» в непосредственном соседстве с литературно-художественным материалом.

Нельзя не отметить такое весьма положительное явление на нынешнем этапе развития советской литературы, как утверждение своеобразного жанра, в котором успешно взаимодействуют элементы художественного и публицистического или научного начала. Назову такие различные по тематике и письму произведения, как «Районные будни» Валентина Овечкина, «Деревенский дневник» Ефима Дороша, очерки Ивана Зыкова, Сергея Залыгина, опубликованные в разное время на наших страницах. О читательском интересе к этим вещам, который не уступает интересу к «чистой беллетристике» или «чистой публицистике», свидетельствуют многочисленные письма читателей и отзывы печати.

Надо сказать, что и так называемый мемуарный жанр, произведением которого «Новый мир» всегда уделял внимание, обнаруживает очевидные черты близости к современной и даже актуальной проблематике и явно перерастает собственно мемуарные границы.

Возьмем «Невыдуманные рассказы» старого военного моряка и ученого И. С. Исакова или очерки Е. Я. Драбкиной, которые при их более выраженной «беллетристичности» письма могут быть объединены тем же названием. Эти по видимости вполне «мемуарные» повествования «от первого лица» о ставших уже историческими временах и событиях, о людях с подлинными именами и биографиями обладают глубоким внутренним «контактом» с сегодняшним днем нашего развития, с самыми острыми и существенными вопросами этого дня, и, собственно, ему обязаны своим появлением на свет.

Или возьмем такие произведения профессиональных литераторов, как «Дневные звезды» Ольги Берггольц и «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга (заключительные части обеих этих книг будут напечатаны среди других наших материалов в 1962 году). При всем различии писательских индивидуальностей этих авторов, их, как говорится, роднит смятение гражданской страстности с обостренной художнической памятью к деталям жизни и лиризмом изложения; мужественный взгляд на собственный жизненный путь и неотрывная заинтересованность в делах нынешнего дня нашего общества, в частности в судьбах искусства. Не случайно автор «Дневных звезд» прямо заявляет о воздействии на его замысел великой книги А. И. Герцена «Былое и думы».

Я остановился на мемуарном жанре еще и потому, что на нем, может быть, с особой наглядностью сказывалось то пагубное воздействие, которое оказывал на литературу культ личности. И понятно, что в нынешних условиях этот жанр приобретает такое успешное развитие.

Редакция «Нового мира» намерена, как и в прежние годы, отводить страницы журнала разнообразным материалам, представляющим широкий читательский интерес. Как и прежде, «Новый мир» будет знакомить своего читателя с произведениями литератур народов СССР и литератур социалистических стран. Также мы будем печатать хотя бы отдельные из лучших образцов современной западной литературы, высказываться в статьях, обзорах и заметках о наиболее примечательных явлениях политической и культурной жизни зарубежных стран. Будучи журналом по преимуществу современной темы, «Новый мир»

вместе с тем, придавая существенное значение культурному наследию, будет, по примеру прежних лет, давать место особо ценным и интересным публикациям историко-литературного, эпистолярного и иного материала, новонайденным рукописям и т. п.

Словом, журнал, как он представляется его редакторам и ближайшим сотрудникам,— «хозяйство» столь сложное и многообразное, что как только начнешь обсказывать его планы и предположения, так поневоле впадаешь в скороговорку перечисления: тут и проза, и стихи, и литературная критика с библиографией, и статьи по общественно-политическим вопросам, и «Дневник писателя», и «Трибуна читателя», и все прочие разделы.

Но не важнее ли сказать о другом. Отдавая предпочтение существенному содержанию произведений перед ухищрениями формы, за которыми чаще всего скрывается незначительность и мелководье темы, мы будем по-прежнему, даже с еще большей последовательностью, бороться за повышение художественного качества нашей литературы, за совершенство яркой и выразительной формы, соответствующей идейно-содержательной сущности. Пусть мы и навлечем на себя, как это случилось, отдельные нарекания в излишней привередливости, даже в проявлении «вкусовщины». Кстати, в таких нареканиях слишком часто понятия «вкусовщины» путают с понятиями вкуса. А они отнюдь не равнозначны. «Вкусовщина» — это произвол, случайность, безответственность оценок и суждений; художественный вкус — это развитая эстетическая дисциплина, следование высокому эстетическому кодексу. И недаром в новой Программе партии говорится о задаче воспитания эстетических вкусов народа.

Словом, мы обязаны быть требовательными к тому, что публикуем на своих страницах, будь то молодой автор или маститый, в последнем случае — даже более строгими в своих претензиях. Точно так же мы обязаны в наших суждениях и оценках литературных новинок не выдавать мякину за чистый хлеб, поддерживать и поощрять все существенное, отмеченное знаком таланта, критиковать и отвергать все то, что способно лишь дискредитировать тему и вводить читателя в обман.

Несколько слов о критике, которая, по выражению В. Г. Белинского, есть душа всякого журнала. Говорить об отставании нашей критики давно стало общим местом. Но надо учесть, что не всегда здесь были повинны сами критики, среди которых и в старшем поколении немало людей талантливых, знающих и любящих литературу и, как говорится, владеющих пером. Мертвящая печать догматизма, регламентации мышления, характерная для периода культа личности, тормозила развитие критики, лишала ее того живого творческого порыва, без которого вообще невозможно проявление себя в этом роде литературы.

Молодые критики, начавшие выступать в последние годы, оказались, конечно, в лучших условиях, и многие из них уже показали себя людьми живой и острой мысли, большой зоркости к выявлению подлинно талантливого в литературе, к обнаружению действительных ее недостатков и изъянов. Здесь я назвал бы имена И. Виноградова, В. Лакинна, А. Меньшутина, Ю. Буртина, И. Соловьевой, А. Синявского, не боясь упрека в том, что называю критиков, чаще всего выступающих на страницах «Нового мира». Их работа заслуживает всяческой поддержки.

Пожалуй, труднее всего мне говорить о поэзии в нашем журнале. Мы старались и стараемся представить лучшее из того, что поступит в редакцию от широко известных современных поэтов. В частности, нам удается знакомить читателя с лучшими образцами многонациональной советской и мировой поэзии в переводах опытейших мастеров этого дела. У нас печатаются представители всех поколений советских поэ-

тов — от Н. Асеева, М. Рыльского и С. Маршакa до самых молодых, начавших свой поэтический путь со страниц нашего журнала.

Правда, в отношении этого литературного материала журнал более ограничен в своих возможностях «планирования» или «организации» его. Но, помимо всех таких обстоятельств, здесь не может не отражаться общее положение дел в нашей поэзии.

Чаще всего, на мой взгляд, беда нынешней поэзии состоит в ее идейной бедности, в скудости подлинно поэтического содержания, то есть попросту в скудости мысли. В одном характерном случае эта скудость пытается укрыться за щитом из высоких слов, не согретых, так сказать, на собственном огне. В другом характерном случае эта же скудость стремится украсить себя мелкобуржуазной проблематичностью в сочетании с узорчатостью формы, выдаваемой за новаторство, которое на поверку нередко является не более как эпигонством.

Выбор затруднен, ибо редакция «Нового мира» не может отдать «предпочтения» ни одной из этих двух «струй» стихотворного потока.

Но, конечно, вся поэзия не укладывается в рамки этих двух случаев. У нас есть поэты, работа которых отмечена независимо от их, так сказать, возрастного ценза и зрелостью души и подлинным богатством сердца, и место их поэзии в духовном обиходе общества весьма значительно. Мы надеемся, что новый поэтический год принесет им новые успехи.

Наши обязательства перед читателем нелегки, и судить о степени их выполнения можно будет лишь при тех ежемесячных встречах, которые предстоят нам с вами в будущем.

Я позволю себе сделать одно откровенное редакторское признание. Нам, работникам журнала, в большинстве профессиональным литераторам, знакомо весьма приятное чувство, когда в твоём журнале появляется что-нибудь по-настоящему хорошее, новое, талантливое — это такое чувство, как будто сам написал, и похвалы читателей и прессы невольно склонен принимать как бы и на свой счет, наравне с автором этого произведения. Но каждому литератору по собственному опыту известно и то далеко не веселое чувство, когда и сам написал, да ни себе, ни читателю большой радости не доставил. Так вот такое же как бы личное чувство огорчения и беды мы, редакторы, испытываем всякий раз, когда делаем промах, печатаем неудачную или недоработанную вещь и наравне с автором этой вещи, а то и в большей мере принимаем на себя попреки читателей и критику прессы. Редакторов вообще не принято хвалить, их принято критиковать, бранить, против этого правила возражать не приходится. И, между прочим, вот почему.

Журнал как некий цельный организм со своим особым обликом и содержанием — это как бы фокус, в котором нам предстает во всей наглядности сила коллективного начала в литературном деле, в этой области духовной деятельности человека, носящей наиболее индивидуальный, субъективный характер по самой своей природе.

Журнал — это средоточие широкого и разнообразнейшего в своем составе авторского коллектива, плод творческих усилий многих умов и талантов, знатоков и специалистов своего дела, самых заслуженных и почетных и самых молодых, которым суждено стать заслуженными.

И менее всего можно предположить, что каким бы то ни было редакторам и какой бы то ни было редакции, будь ее работники хоть семи пядей во лбу, под силу вести журнал одним, без наличия такого коллектива.

Свои надежды редакция возлагает именно на широкие круги своего авторского актива, в который входят не только представители литера-

турной Москвы, Ленинграда и республиканских столиц, но и большая наша литературная периферия. Мы вправе гордиться не только сотрудничеством виднейших столичных писателей, но и такими нашими авторами, как ростовчанин В. Фоменко, работающий сейчас над второй книгой своего романа «Память земли», сибиряк С. Залыгин, уже представивший редакции роман — свою первую большую вещь, воронежец Г. Троепольский, готовящий для нас новую повесть, читинец В. Липатов, напечатавший у нас уже ряд повестей, и многие другие. Это не гости из провинции, появление которых временно и случайно, это наши активные сотрудники, пользующиеся, так сказать, постоянной пропиской на страницах «Нового мира».

Мы не можем не гордиться и широкими кругами и слоями взыскательных читателей нашего журнала, чью критику, замечания и пожелания мы принимаем с благодарностью и видим в ней опору и помощь в нашей работе.

И вся наша добрая воля будет, как и прежде, направлена к тому, чтобы всячески блюсти ваши читательские интересы и держать их всегда на первом плане.

А ТВАРДОВСКИЙ.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 30/X 1961 г.	Объем 16 н. л.	Подписано к печати 1.XII 1961 г.
Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆ .	8 бум. л. — 21,92 печ. л.	Тираж 27 600.
A 08781	Зак. 1890.	

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

В 1962 году в журнале «Новый мир» будут напечатаны следующие произведения:

- О. Берггольц — «Дневные звезды».
- Ю. Бондарев — «Тишина», роман.
- Г. Бакланов — «Чужой», повесть.
- Г. Владимов — «Три минуты молчания», повесть.
- Е. Герасимов — «Шелковый город», повесть.
- Е. Дорош — «Древнее рядом с нами», очерки.
- Т. Есенина — «Чудо XX века», повесть.
- С. Залыгин — «На половине пути», роман.
- Э. Казакевич — «Новые времена», роман.
- В. Катаев — новая повесть.
- А. Марьямов — вторая часть книги «Идем на восток».
- В. Некрасов — путевые записки.
- К. Паустовский — путевые очерки.
- Л. Первомайский — «Дикий мед», роман.
- М. Светлов — «Повзрослевшие сказки».
- Г. Троепольский — «В камышах», повесть.
- В. Панова — роман-сказка.
- И. Соколов-Микитов — автобиографические рассказы.
- И. Эренбург — «Люди, годы, жизнь», четвертая книга,—
и другие произведения.

Журнал «Новый мир» выходит
без переплета и в переплете

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

городскими и районными отделами «Союзпечати», конторами, отделениями и агентствами связи, почтальонами, а также уполномоченными по приему подписки на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учебных заведениях и учреждениях.